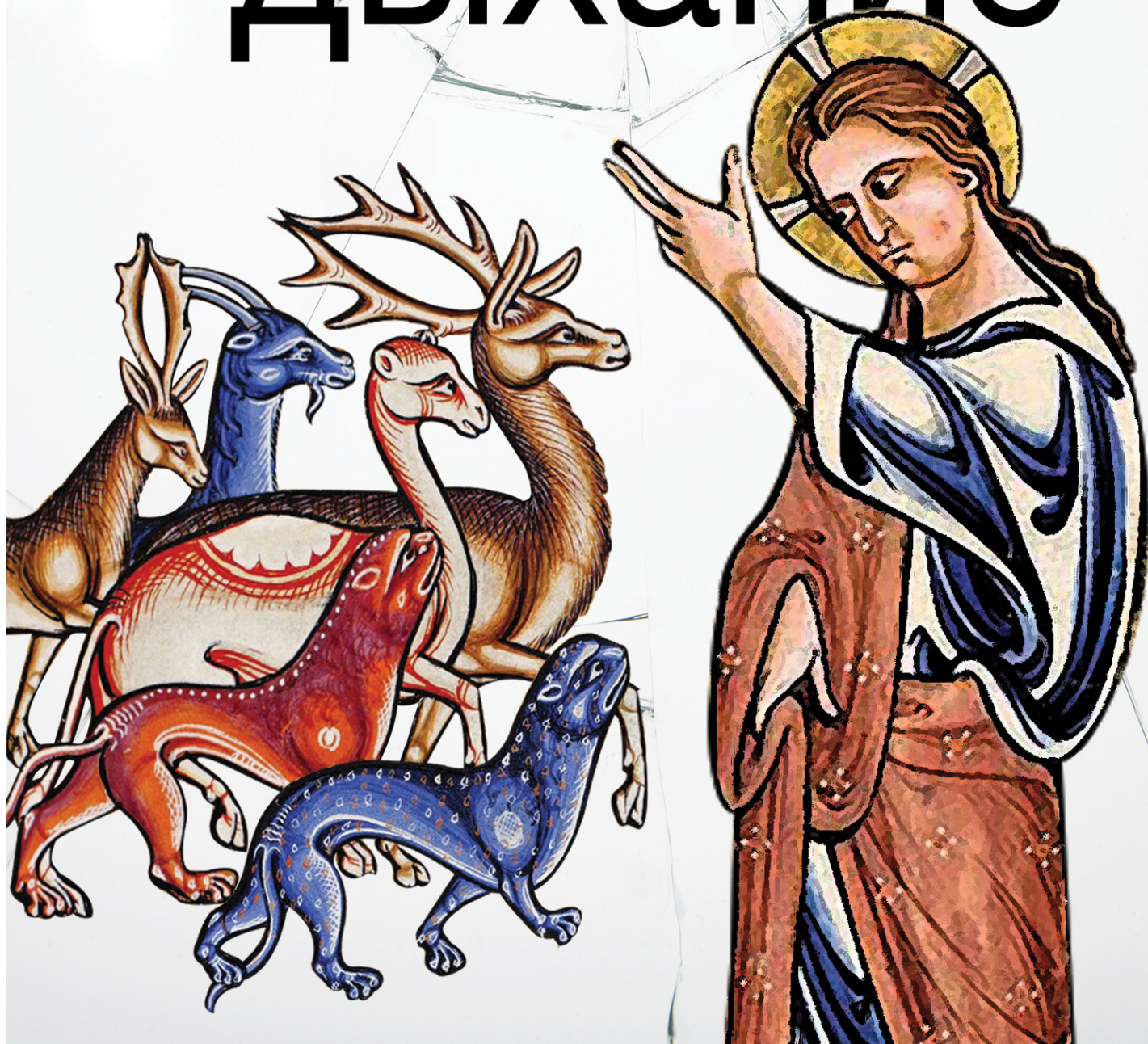


Линор Горалик

18+

Все, способные дышать дыхание



Линор Горалик

Все, способные дышать дыхание

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

Горалик Л.

Все, способные дышать дыхание / Л. Горалик — «Издательство АСТ», 2019

ISBN 978-5-17-112269-0

Когда в стране произошла трагедия, «асон», когда разрушены города и не хватает маленьких желтых таблеток, помогающих от изнурительной «радужной болезни» с ее постоянной головной болью, когда страна впервые проиграла войну на своей территории, когда никто не может оказать ей помощь, как ни старается, когда, наконец, в любой момент может приползти из пустыни «буша-вэ-хирпа» — «стыд-и-позор», слоистая буря, обдирающая кожу и вызывающая у человека стыд за собственное существование на земле, — кому может быть дело до собак и попугаев, кошек и фалабелл, верблюдов и бершевских гребнепалых ящериц? Никому — если бы кошка не подходила к тебе, не смотрела бы тебе в глаза радужными глазами и не говорила: «Голова, болит голова». Это асон, пятый его признак — животные Израиля заговорили. Они не стали, как в сказках, умными, рациональными, просвещенными (или стали?) — они просто могут сказать: «Голова, болит голова» или «Я тебя не люблю», — и это меняет все. Автор романа «Все, способные дышать дыхание», писатель Линор Горалик, говорит, что главным героем ее книги следует считать эмпатию. Если это правда, то асон готовит эмпатии испытания, которые могут оказаться ей не по силам. Книга содержит нецензурную брань

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-112269-0

© Горалик Л., 2019
© Издательство АСТ, 2019

Содержание

1. Раёк	9
2. Дрожь	14
3. Ээээээээ	22
4. «Вики»	25
5. Ссученный	32
6. Мачеха	34
7. Тоже	45
8. Коронный номер	46
9. «Лапка-башка»	48
10. Дизартрия – это...	51
11. Хипстотааааа	55
12. Стена	57
13. Длинный, короткий	58
14. Мекадем[27]	60
15. Мимими	63
16. В-в-вентролог	65
17. С комментариями автора: «Маленькие»	70
18. Хитин, стекло, кремль	72
19. Спасатель	73
20. Маленький рай	75
21. Меньшинство	77
22. Вагончик тронется	80
23. Я из тех, кого еще называют перемещенными лицами[47]	82
24. И как?	84
25. Ну́ма яльди́	85
26. С трубкой в зубах и с портфелем в руке	88
27. Поговорим еще	90
28. В самых разных областях	93
29. Намнеман[50]	96
30. Есть	99
31. Язиза́[64]	103
32. Логоклония – это...	105
33. Пропазогнозия – это...	107
34. Schönling[69]	109
35. Или нет	110
36. Мы не к тебе	112
37. Просто уточнить	114
38. Момо	115
39. Но он свободный, но он богатый	129
40. Синдром Туретта – это...[79]	131
41. И злой путь, и коварные уста	133
42. Умерла овечка, оторвался хвостик	136
43. С комментариями автора: «Овцеебы»	138
44. Раз и два – вдооох, три и четыре – выыдых	140
45. Я тебе не брат	143
46. Так вот оно что	146

47. «Галей Цаһа-а-ал» – коль а-зман![89]	148
48. Клац-клац	151
49. Гарантирую – вы меня запомните	152
50. Солнце встает	153
51. Тут буквально пара пролетов	155
52. Вопросы тут задаю я	157
53. Продолжим	159
54. Трется[97]	161
55. Оооооооо	163
56. Фиксационная амнезия – это...	165
57. Малыя бесы	174
58. Йоав Харам + Чуки Ладино	175
59. Хуже	178
60. Шнэй колот	180
61. Под нашими спортивными знаменами	181
62. Ты клюм! Клюм!	183
63. Теплые норы и мягкие кровати	185
64. Ничего не бойся[119]	187
65. По команде «сидеть»	189
66. С комментариями автора: «Ур-ур-ур»	190
67. Теперь, когда они все	192
68. Что за взвод	193
69. Надо попросить	196
70. Мамааааша	197
71. И птиц	198
72. Будущее принадлежит нам	199
73. Брадифазия – это...	200
74. Сетки надо ставить, рыть рвы, возводить стены	207
75. Круглая штука	208
76. Дышим	211
77. Енот Мико Дрор пьет порошковую кока-колу из фляжки с солдатами-репортерами на задворках радио «Галей Цаһал»	215
78. Как на фюзеляжах появились звезды	216
79. Операция «Молоко»	218
80. Как мы это назовем?	220
81. Фрагмент амбарной книги, которую Юлик Артельман заполняет по семь-восемь часов в день	221
82. Πεντάμορφος[144]	223
83. Подавился, да?[146]	224
84. С комментариями автора: «Поджопнички»	226
85. Типуль нимрац[153]	228
86. Мехабшаб[154]	229
87. Дислалия – это...	230
88. На наших и на ваших	232
89. Больше некому	235
90. Я тебя не знаю	236
91. И за всю мою жизнь наругала меня	238
92. Прелестная романтическая чистота	239
93. Лучше	241

94. «Страшная тайна Йоника»	242
95. Ему никто не отвечает	246
96. И задорный стук молотков	249
97. Бери	252
98. Раз, и второй, и третий	254
99. Интермундия	255
100. Вам судьбу я предскажу	257
101. Афазия – это...	260
102. Почти прозрачный	261
103. Нет	262
Благодарности	263

Линор Горалик

Все, способные дышать дыхание

* * *

© Линор Горалик, текст

© ООО «Издательство АСТ», 2018

1. Раёк

Покачиваясь, я боком двигался сквозь влажную, липкую жару между двумя рядами неприветливых пустых сидений; я шел к туалету в самом конце узкого помещения, и с каждым шагом все пристальнее разглядывал собственные пальцы. Муха пролетела у меня над ладонью, не отклоняясь от своей траектории, словно я и сам был просто сгустком липкого влажного воздуха. Это так испугало меня, что я остановился и почти всерьез попытался заставить свой левый безымянный палец удлиниться на пару сантиметров. Я напрягся весь, согнулся и почувствовал, как складки живота норовят и в самом деле слипнуться по причинам, не имеющим никакого отношения к жаре. Внезапно меня охватила брезгливость к собственному телу – но не та испуганная, внезапная брезгливость, которая приходит в ночном кошмаре (голый, ты идешь по раскачивающемуся вагону; справа и слева нет никого, но в любую секунду лавки могут заполниться бездельными людьми, для которых не существует лучшего занятия, чем молча смотреть на твой позор, – вправо, влево, вправо, влево). Палец мой, конечно, сохранил свою явственно неполноценную длину, как я ни напрягал пресс. С год назад я сказал Еремее: «Иногда во сне мне ясно, что я сплю». Он посоветовал сосредотачиваться в такие моменты на каком-нибудь простом изъяне моей руки – кривом ногте, родинке с дурным волосом, твердом, как заноза, заусенце – и пытаться выправить этот изъян. «Начнет удаваться это, – говорил мне Еремей, скрипя соседней раскладушкой и почесывая ранний старческий пух на голове, – начнешь быстро делать там другое, метлу в бабу или сиськи вырастить себе, помазать просто так». Он знал про контролируемые сны от отца, модного телевизионного эзотерика, милого и по-юношески волосатого человека: единственный раз, когда я видел их вместе, в родительский день на курсе молодого бойца, Ермиягу-старший, как мне показалось, старался не задеть случайно головы сына – обнимал его и охлопывал от талии к плечам, а потом обратно, после чего опять начинал двигаться ладонями вниз, удаляясь от опасной зоны. Что до снов, то мне не хотелось мацать ничего прямо на себе, а до метаморфоз метлы дело не доходило: один раз плохо прорисованный куст на периферии зрения показался мне подходящим объектом для трансформации, я напрягся и привел его в состояние какого-то кубического месива с торчащим к небу огромным соском, после чего проснулся в страхе и омерзении. Обычно я понимал, что сплю и вижу сон, когда чрезвычайно быстро летел над тротуаром. Тогда я старался замереть на месте (иногда для этого приходилось безболезненно врезаться во что-нибудь, не заслуживающее осознания) и вытягивал короткий и кривой средний палец до нормальной длины – и еще дальше: вялое телескопическое щупальце. Сейчас я не летел, а шел бочком, и кривой палец не поддавался никакому усилию («Усрешься еще», – презрительно сказал мне голос, явно несовместимый с пространством сна), и я чувствовал себя идиотом, вообразившим, что этот шаткий голый путь по узкому пустому лекторию мог быть паровозным кошмаром. Я пошел быстрее, больно шоркнул ногой о боковину одной из деревянных скамеек, пришел наконец в туалет – и, сидя на унитазе, слизнул с колена мелкий кровяной пунктир, как делал в детстве, и почмякал им, чтобы лишний раз изумиться, насколько это похоже на вкус ключа от папиного секретера. Как и во всем зоопарке, тут почему-то не работал кран – но исправно функционировал сливной бачок. Я намотал на руку побольше туалетной бумаги, дернул ручку, намочил бумагу в бурлящей струе, стараясь не касаться потрескавшегося фаянса, и старательно вытер себе живот. Не зная, какая бумага нужна Адамас, сухая или мокрая (мне казалось – сухая), я пропитал еще один отмот до чавкающего состояния, а остальной рулон прихватил с собой. Когда я боком приполз обратно, в начало экспозиции, Адамас успела одеться; стоя перед ней с текущей бумагой в одной руке и с сухим рулоном в другой, я вдруг остро застеснялся собственной наготы. С тактом, который мне уже довелось оценить, она взяла у меня мокрую бумагу и протерла лицо, а потом аккуратно положила использованную протирку на толстое стекло ближайшего террари-

ума. Гигантский жук с оленьими рогами, разбуженный внезапной темнотой, молча уставился на нас, сделал несколько слабых шагов и снова лег. «Голодный», – сказала Адамс с интонацией, которую я не мог разобрать. Я воспользовался поводом поднять с пола рубашку – в кармане у меня лежала половина батончика из сухпайка; серебристая обертка без единого печатного слова заскользила по растопленному шоколаду, как кожа по куску вареной курицы. «Бессмысленно», – сказала Адамс. – Нет ключа». Жук снова приподнялся, медленно, с дрожью взобрался на кусок коряги и уперся острым рогом в замок под самой крышкой, и от этой жалкой пародии на попытку к бегству меня передернуло. «До этих точно никому дела нет», – сказала Адамс, закручивая на голове неаккуратный сноп и прихватывая его широкой заколкой. Я сказал, что, может быть, за самыми ценными насекомыми кто-то приглядывает. «Павлины во сне за ними приглядывают», – сказала Адамс. – Спят и видят. Выпустили бы сразу на съедение, чего мучить». «Может быть, их забыли», – сказал я. Адамс посмотрела на меня и прошла мимо нескольких террариумов (я не знал другого слова для этих стеклянных ящиков и никогда не узнал). Она легонько стучала в каждый обручальным кольцом, и я понял, что это – еще одно проявление той прохладной вежливости, благодаря которой мы сейчас оказались здесь: я подал реплику, она демонстрирует интерес; и я снова почувствовал неприязнь к этой вежливой женщине и устыдился этой неприязни. Я и сам был сейчас прилежно вежлив, мы оба чувствовали себя людьми, достойно выполнившими важную светскую обязанность. Скажем, приближается вокзал, за окошком плывет край перрона, руки заползают в рукава плаща, и взаимная благодарность за то, что поездка прошла без особых неловкостей, на миг представляется порывом к дружбе. Лживое чувство; но вот вам моя карточка, а мне ваша, не будем же звонить друг другу. Я предложил ей обойти патрулем северную часть зоопарка; экспонатов оставалось мало, нас было и того меньше, она согласилась с излишним энтузиазмом, мы оба хотели прополоскать напоследок рот незначительной болтовней.

Ее муж участвовал в одной из тех тридцати с лишним позорно окончившихся стычек, которые впоследствии будут, видимо, называться «Битвой за Ашкелон», «Ашкелонской трагедией», Ашкелонским... котлом? Кастрюлей? Крышкой? Сейчас этот человек, однажды виденный мною сквозь стекло проглотившей Адамс машины, находился, судя по всему, в «Сороке», состояние его считалось «средней тяжести, но стабильным». Более внятного ответа Адамс не удавалось добиться; была какая-то операция; «Какая? В каком месте? Где на теле?» «Приезжайте». Ходили истории о том, как среди безумия этих дней больных путали друг с другом, перегруженная система задыхалась, и родственники то получали сообщения, что погиб еще живой, то узнавали об ампутации руки, когда человек лишился глаза, а один из наших ребят выяснил, как-то дозвонившись матери, что его брата приняли за ординарца, потому что он забрел в служебное помещение и прилег там на диван; ему не оказывали помощь, пока он не потерял сознание и не скатился с дивана на пол; впрочем, все, насколько я понял, закончилось неплохо.

Адамс не распространялась о состоянии мужа, но подала заявление на короткую увольнительную – после того как наш гдуд¹ все-таки заберут отсюда. Увольнительную подписали: в любом случае было неясно, что с нами делать дальше. Вчера говорили, что вертолет прилетит сегодня в четыре; потом Адамс сообщила нам, что вертолет будет завтра к ночи, и объявила сегодняшний день выходным, назначив сменяющиеся патрули. Сейчас у меня было устойчивое впечатление, что обстоятельства изменились, вертолет откладывается, но я не чувствовал за собой права задавать Адамс внестроевые вопросы. Почему-то я решил для себя, что речь теперь идет о пятнице. Сегодня был понедельник, солнце лапало узловатые колени иудина дерева, павлин вдруг выскочил из-за араукарии и посмотрел на Адамс строгим куриным взглядом, и под этим взглядом она поправила ремень автомата, туго лежащий между грудями. Рай был над нами,

¹ Отряд (военн., ивр.).

под нами и вокруг нас; и было утро, и – с Божьей помощью – предстоял вечер, день шестой. Я молча последовал за павлином, мне хотелось понять, где у него гнездо, – павлины еще до всех этих дел ходили по зоопарку вольно, как кошки ходят по городу, но я был уверен, что у всякой птицы где-нибудь да есть гнездо, и отправился следом за павлином, как хотел сделать еще со второго класса, со времен очень жаркой и слишком медленной школьной экскурсии. Я прошел сквозь стену цветущих адмумов² и тут же, охнув, схватился за их ветви, как распятый: перед (под) ногами у меня была огромная сухая воронка, полная горелого лома. Павлин слился вниз по широкой томительной спирали, а я увидел, что по ту сторону воронки среди разводов горелого хаки лежит Нбози: пятно травы под ним было изумрудного цвета, а гипс у него на ноге покрылся грязно-зеленой коростой. Привалившись спиной к железной ограде, в которой взрыв проделал приветливо изогнутую калитку, Нбози медленно водил губами, словно размышлял, окликнуть меня или нет; я понимал, что он просто что-то жует, – он всегда что-то жевал. Я помахал ему, он лениво склонил голову. Я вновь прошел сквозь зеленую стену, теперь в обратном направлении. Ада, локтем удерживая автомат, что-то поправляла, засунув руку в штаны (я не без злорадства вспомнил о туалетной бумаге), но при виде меня немедленно упорядочилась. Вместе мы просочились из негорелого мира в горелый, и ее первый шаг, конечно, твердо лег на край воронки, и она, ни разу не взглянув себе под ноги, двинулась в обход, а я шел за ней, замечая, что шагает она широкогато; но все, чему положено было утрястись, в конце концов, видимо, утряслось, так что к Нбози Ада приблизилась разбитным офицерским шагом и слегка ткнула его в бедро ботинком.

– Хамство, – сказал Нбози, чуть не выронив свое жевало из рта. На длинной нижней губе у него показалась зеленая капля, он подобрал ее языком, я отвернулся.

– Отдал бы честь кцинэ³, молодой человек, – сказал я, садясь на траву.

– Так она ш не моя кцинá, – сказал Нбози и поглядел на груди Ада, торчащие по обе стороны от автоматного ремня. Она стояла, расставив ноги; темный круг у нее под мышкой стал заметнее, когда она подняла руку, чтобы прикрыть глаза от солнца. Нбози посмотрел на это пятно и сказал, не переставая жевать губами: – Да вы сношались.

Я уставился долу и увидел несколько муравьиных трупиков, маленьких и сухих. Их повсюду носило ветром – тельца муравьев, каких-то длинненьких жучков, еще кого-то, явно не имеющего особой ценности. Ада на правах старшего по званию показала Нбози средний палец, и Нбози довольно хрюкнул.

– Как было? – поинтересовался он, уронив с губы зеленую каплю. Я понял, что рот его набит обыкновенной травой.

– Как в раю, – сказала Ада, закатывая глаза и садясь в сожженную траву, – как в сраном раечке. Солнце, природа, сдохший кондиционер, М-16. Все, что я люблю.

– Пахнет от тебя этим самым, – сказал Нбози, потянув воздух, и она быстро сдвинула ноги, и я вдруг снова подумал о ней с неприязнью: воспользоваться при мне влажным моим приношением, серой туалетной бумагой было для нее слишком интимно, мне же, кроме уставной вежливости, ничего не полагалось.

– От тебя вот навозом пахнет, – сказал я Нбози, чтобы что-нибудь сказать.

– А тсем от меня дожно пахнуть – цветоцком? – ответил он с неожиданной равнодушной ленью, словно пикировка вдруг совершенно перестала его интересовать, но не из-за моего вопроса, а раньше, в какой-то не замеченный мною, но важный для него момент. Слова у него получались медленные, с прилепетыванием, и я старался не думать о том, как они ворочаются в его слюнявом рту.

² Холмскиолдия кровавокрасная (ивр.).

³ Офицер-женщина (ивр.).

– Что колено? – спросил я. День вежливости, день любви и милости к ближнему определенно выдался у меня.

– Коле-е-но, – сказал он, глядя на Ада, на ее сдвинутые колени, которые она теперь неловко обнимала руками.

– Что колено? – повторил я.

Дальше я как-то внезапно откатился и оказался на ногах, руки мои вращались, как мельничные крылья, пока я пытался удержаться на краю воронки, а грохот цепи, которой Нбози был прикован к ограде, слился у меня в ушах с яростным матом Ада, и в короткий момент, когда эти звуки вдруг слились, мне послышалось слово «зангвиль», которого, естественно, никто не произносил.

Я качался в воздухе, как ветка, за спиной у меня была воронка, а перед самым лицом, в нескольких сантиметрах от лица – загипсованная левая передняя нога Нбози, и его раздвоенное копыто казалось мне изуродованным двупалым кулаком. Я видел, что Ада, вскинув автомат, орет на Нбози сухим высоким голосом, но не слышал ее слов, а слышал только его, он тоже орал, он орал: «Где она, скоты? – и орал: – Ублюдки, что с моей ззеной? – и: – Где Нтомби, козлы, твалли, где моя ззена? Я хотсу видеть свою ззену, я хоцу говоллить с ветелл-наллом, гады, где моя ззена, поцему со мной не говоллит ветелл-налл, я хоцу, цтобы мне пллямо ска-зали, цто с моей ззеной, вонютсие скоты!» Я махал руками, копыто дергалось у меня перед лицом, я заваливался назад и вдруг представил себе, что падение мое убьет павлина, сидящего в гнезде на яйцах, и это было чрезвычайно, чрезвычайно смешно, и вдруг я перестал слышать какие бы то ни было звуки и почему-то стал подсчитывать, сколько павлинов я видел с момента прекращения огня. Одного, например, мы с Эраном видели обгорелым и мертвым, он был коричнево-голый, как недожаренная курица, а хвост был в полном порядке – вульгарный и нежный трен исчезнувшего в огне платья. Но если еще до всей этой истории павлинов отпускали гулять по зоопарку просто так, подумал я, у них вряд ли была какая-нибудь особенная ценность. Потом я снова очнулся и увидел, как Нбози прыгает на трех ногах, отступая перед Ада, и как Ада тычет в воздух автоматом. Пасть у Нбози была раскрыта, из нее текла зеленая нитка, длинный черный язык извивался в воздухе. Мне припомнился тот блаженный миг, когда экскурсовод и два учителя внезапно оставили нас в покое (кажется, с кем-то из девочек что-то приключилось в туалете – да? нет?) Мы послушно толклись у вольера Нбози, в досталь уже на него насмотревшись, и я решился скормить ему свой недоеденный сабиях⁴. Я хотел произвести впечатление на одноклассников, на мальчиков – даже не на девочек, вот как я был юн; но когда Нбози склонил свою бесконечную пятнистую шею – безо всякой, конечно, цепи, безо всякого ошейника на ней – и сделал несколько шагов ко мне, и поднес треугольную голову к самой решетке своего огромного райского вольера, (помню, что он по-барски встал копытом на кусок влажной желто-зеленой дыни, остатки которой другой жираф – жирафа? – дожевывал над их общей бездонной кормушкой), и когда я увидел, какая у него огромная пасть, и когда лилово-черный гибкий язык обвил подношение, оставив на моих пальцах слизкую слюну, мне сделалось так дурно, что я чуть не вывалил и первую половину сабияха ему под ноги. Липкую руку я потом носил перед собой, как подбитую; возле павильона с рептилиями я вытер пальцы о лист инжира; рука стала не просто липкой, но липкой и грязной; я стыдливо понес ее дальше. Сейчас Нбози пятился и качался, и напоминал мне шаткую трехногую трость-табуреточку: старушки, жадно приобретающие чудный предмет в сувенирном магазине у входа, через час разочаровывались и в нем, и в неожиданно мелких здешних зебрах, и в самой идее возить внуков бог знает куда – обманчивый жаркий рай, пыль, пыльца. Ада орала совершенно черными словами, орала, что Нтомби сдохла, что его сраная з-з-з-зена сдохла, что ветеринаров

⁴ Традиционная израильская еда иракского происхождения – пита или сэндвич с жареными баклажанами, яйцом, свежими овощами, солениями, хумусом и тхиной.

убило осколками стекла – из-за вас, скотов, выроdkов, фриков, скотских выроdkов, они остались дежурить из-за вас, вонючих выроdkов природы (как-то так выразилась она, и мне это показалось очень понятным выражением – полагаю, и Нбози тоже); завали пасть, выродок, ты никто, ты животное, ты пасть разеваешь, да? ты теперь умеешь пасть разевать, да? языком ворочать? – а хрен, ты тварь, ты просто животное, кусок поганого мяса; таких, как Нбози, она еще десять дней назад жрала по три стейка в день, он просто тварь, животная тварь, вы просто твари, как были шесть дней назад, нечеловеки, в вас нет ничего человеческого, мы тут торчим из-за вас, выродки, нас бы давно забрали, нас бы давно вывезли, если бы не надо было охранять вас, поганое трепливое мясо, лучше бы вас поубивало всех, лучше бы он, Нбози, тоже сломал шею, как его баба, лучше бы их всех поубивало и нас бы давно забрали отсюда. Вдруг я что-то увидел в воздухе – нет, я увидел, как словно бы изменилось движение воздуха, будто воздух между ней и Нбози начал закручиваться; я пополз к Адам от края воронки; автомат бил меня по затылку, я боялся, что если просто попытаюсь схватить и оттащить ее, она выбьет мне зубы прикладом, и я начал дергать ее за штанину, а она трясла ногой, как зацепившийся за корягу ребенок, и тогда я встал на колени и начал хватать ее за талию, а воздух рядом с нами закручивался все туже, и тогда я вцепился в Адам обеими руками, и встал на колени, и попытался все-таки сдвинуть ее с места, и тут двупалое копыто влетело мне в висок. Я увидел, как оно удаляется, – как в мультике, словно бы оставляя за собою воздушный след: два широченных пальца, растягивающихся до прозрачности. Так закончилась для меня эта война. Обойдемся без дешевого саспенса: шестью днями позже она закончится и для всех остальных. После нее останутся детки – маленькие и большие слова; война нарождает их кучей, как хорьчиха хорьчат; многоголовый слизкий помет, кто помельче, а кто потолще, кто совсем ледащий, а кого поди приберей еще. Будут в этом помете и слова про «постыдное, но героическое поражение», и слова про «почетное, но героическое поражение»; и «историческая неизбежность» будет в этом помете, и «Божья кара»; родятся и маленькие конспирологические ублюдочки – глухие, трехногие, наглые и визгливые олигофрены; выйдут с последом сутулые, подслеповатые, обреченные изнурять себя чтением, онанизмом и рефлексией сиа́мские сестры – вина и невинность, а в целом никто и помнить не будет, что среди всего выпавшего нам была еще и война, короткая маленькая война; она растворится в том, для чего появится на свет жирное, огромное, дряблoе, как желе, липкое, как звериные слюни, слово «асон»⁵. Остатки моего глуда заберут отсюда – в некоторую пятницу. Что же касается мирного населения на территории, которую мы удерживали в течение одиннадцати дней, – в живых останутся четырнадцать подлежащих каталогизации особей. Смысла в их перечислении я не вижу.

⁵ Катастрофа (иер.).

2. Дрожь

Чемодан пришлось снова сдвинуть к дивану, чтобы добраться до двери. Несколько секунд Даниэль Тамарчик тихо стоял перед дверью, надеясь, что посетители уйдут. Обычно все рано или поздно уходило – но дверь мелко задрожала еще раз, потом еще раз. Он открыл. Пара за дверью выглядела настолько достоверно, что казалась невероятной: черные костюмы, звонкие улыбки. Мужчина, правда, был непокорно кучеряв, зато волосы женщины были острижены и зализаны назад, как у серийного убийцы. На ее черном чулке круглая дырочка пускала ровные лучи вниз и вверх. Ноги у обоих были до самых колен покрыты пылью и мелкими осколками. Пыль стояла везде, Даниэлю Тамарчику, как только он открыл дверь, сам воздух показался серым. Было очень холодно. Эти двое заговорили, старательно шевеля губами, заученно открывая улыбочивые рты. Даниэль Тамарчик вытащил из заднего кармана истертый бумажный лист, развернул его перед визитерами и почти уже опустил голову, как делал в такой ситуации всегда, но вдруг занервничал. Перед ним был не какой-нибудь сосед-переселенец, пришедший узнать, в котором часу тут положено занимать очередь за консервами (возня с бумажкой, пунцовое смущение на оплывшем мелкоочечном лице, губастое «простите», как результат – еще большее смущение и, наконец, удивительный в своем разнообразии набор жестов, которыми люди на памяти Даниэля Тамарчика пытались выразить чувство вины за попытку говорить с глухонемым). Разворачивая свою захватанную бумажку, Даниэль Тамарчик всегда старался смотреть в сторону или вниз и сам испытывал мучительный стыд – плохо объяснимый, но хорошо понятный стыд перед чужим стыдом. Но нынешних гостей одним стыдом не отведать, Даниэль Тамарчик отлично это видел. Он поймал сломанный карандаш, болтающийся на прищипленной к двери веревочке, прижал бумажку к проседающей крышке чемодана и нацарапал пониже прежней надписи, прорвав бумагу в двух местах:

пожалуйста, уходите

Кучерявый с наглой улыбкой записного душки, которому все сходило с рук, попытался заглянуть в двери; Зализанная, хоть и припунцовившись, наклонилась и стала гладить воздух в двадцати сантиметрах от пола, вопросительно глядя на Даниэля Тамарчика. Даниэль Тамарчик не понял, потом понял и вдруг пришел в слепую, совершенно белую ярость, от которой кровью наливаются язык и губы, и несколько секунд стоял, просто слушая эти пульсирующие губы и этот пульсирующий язык, а потом захлопнул дверь. Он вдруг представил себе, как эти люди бредут по раскуроченному асфальту со своими брошюрами, своей Библией и своей Доброй Вестью сперва к оплывшему очкарику, потом к сухой женщине, которая упорно отказывается эвакуироваться из своей висящей на уровне второго этажа чудом уцелевшей кухни, потом к голодной молодой паре с приумолкшим в последние дни младенцем – и как через пятнадцать минут два оплывших кота и высохший терьер (а у молодых, кажется, и не было никого – мыши? тараканы? – на этой мысли его слегка притошнило, как приташнивало каждый раз, когда он начинал думать о происходящем; неважно) будут сидеть на серой от пыли и холода траве перед этими костюмированными свидетелями, и свидетели будут терпеливо переворачивать перед ними глянцевые страницы брошюр. Тут он вспомнил, что у мужчины в руках не было никаких брошюр, зато на плече зализанной женщины болталась, некрасиво сминая рукав, огромная клеенчатая сумка, вся набитая какими-то углами. Он догадался, что для новой целевой аудитории с ее неловкими конечностями эти ловкие люди сообразили кубики с картинками. В последние три недели много всего появилось с картинками.

Даниэль Тамарчик снова приставил чемодан к двери, чтобы заслонить зубастую дыру, из которой постоянно тянуло серым, хрустящим на зубах холодом, и вернулся в свою ледяную кухню. Некоторое время Даниэль Тамарчик и Йонатан Кириш смотрели друг на друга. Потом

Йонатан Кирш быстро опустил голову и вжался в стенку. Даниэль Тамарчик снова взял в руки спицу. Визит свидетелей Иеговы здорово выбил его из колеи, замерзшие пальцы дрожали, кончик спицы мелко ходил вверх-вниз. Возможно, свидетели уже заходили к соседям. Возможно, соседи-то и отправили их сюда. Впрочем, нет, соседи предупредили бы их, что с Даниэлем Тамарчиком языками не зацепишься. И вообще, знай они – зачем бы тогда эта зализанная кошка гладила воздух перед своими драными коленями? Нет, они, конечно, просто обходили все уцелевшие квартиры подряд, как у них заведено. Но почему тогда Кучерявый попытался сунуть голову в дверь? Может быть, что-то услышал? От этой мысли Даниэль Тамарчик вдруг почувствовал неприятную пустоту в горле. Он силился вспомнить, куда смотрел Кучерявый, – в сторону кухни? Нет, кухня справа, туалет слева. Если бы они с Зализанной услышали хоть слово, их головы точно повернулись бы в сторону кухни. Даниэль Тамарчик попытался понять, что испытал бы в этом случае – облегчение? Тут ему снова пришлось опустить спицу и постоять немного, поговорить с собой. В очередной раз сказать себе, что его obsессия – постыдная, глупая, серая, серая история: какая разница, ах, какая разница, что произошло (или не произошло) с Йонатаном Киршем? Ему никогда не было особого дела до Йонатана Кирша. Они просто жили в одной квартире, совершенно отдельно друг от друга: Даниэль Тамарчик в спальне, Йонатан Кирш – в пустовавшей до этого гостиной. Даже когда начался асон (Даниэль Тамарчик попытался посчитать, сколько дней прошло с начала асона, и подивился тому, как остро сперва ощущается точная хронология катастрофы, – «пошел третий день», «в девять двадцать будет ровно неделя»; потом это ощущение постепенно размывается – «девять? нет, десять дней назад»; сейчас же надо было отсчитывать от такого-то числа нынешнего месяца, чтобы хоть как-то сориентироваться; ну, предположим, сорок дней) – так вот, даже когда все это началось, дней сорок назад, Даниэль Тамарчик не сразу научился делить с Йонатаном Киршем кухню – единственное помещение, которое удавалось кое-как отапливать и в котором им обоим приходилось из-за этого спать. Даниэль Тамарчик помешался на своем соседе по квартире, Йонатане Кирше, три? – нет, четыре дня назад. В тот день (в то раннее утро) оплывший сосед, трюся в убежище, проявил к глухонемому непрошеную заботу и постучал в окно Даниэля Тамарчика. Соседская опека была лишней: Даниэль Тамарчик отлично чувствовал завывания сирен, а эта сирена и вовсе оказалась ложной, как и большинство сирен в те дни (никто не понимал, что именно нужно улавливать, и как это улавливать, и кого об этом оповещать, и что делать, когда тебя оповещают, и вообще, и вообще). Даниэль Тамарчик, впрочем, никуда не бежал ни во время подлинной сирены, ни во время ложной. В лиловом утреннем воздухе висела тяжелая пыль. Даниэль Тамарчик приложил ладонь к ледяной стене, но если соседский младенец и плакал, вырванный сиреной из милосердных, млечных слюнявых снов, то делал это, видимо, совсем тихо. Даниэль Тамарчик решил разжечь уголь в десятилитровой канистре из-под оливок и погреться хотя бы пятнадцать минут. С муками вынув себя из-под трех одеял и пледа, он сунул ноги в холодные теплые тапки, дрожа, наклонился за углем, и вдруг увидел краем глаза, как Йонатан Кирш, вытянув шею, быстро раскрывает и закрывает рот, глядя на очкастого соседа, понуро и шатко возвращающегося домой (без очков). Даниэль Тамарчик так и замер, склонившись над бумажным мешком с углем и вывернув шею. Он смотрел Йонатану Киршу в рот. Он забыл, что хотел сделать, и залез обратно в свою одеяльную нору, на секунду показавшуюся теплой. Даниэль Тамарчик задыхался. Он вдруг понял, что впервые с тех пор, как намертво запретил себе делать подобные вещи (в шестнадцать лет? в семнадцать лет?), ощупывает, крутит и выворачивает пальцами свой язык, дергает себя за щеки, мнет горло, словно от этого могла внезапно обнаружиться и починиться скрытая поломка: что-то бы чпокнуло, как чпокает иногда больное колено, издав звенящую, почти сладостную острую боль, – и все бы стало нормально. Даниэль Тамарчик с омерзением вытер пальцы о внутреннюю поверхность одеяла и посмотрел на Йонатана Кирша. Рот Йонатана Кирша был приоткрыт и неподвижен, розовый язык покоился в глубине, грудь едва заметно приподнималась и опускалась.

Йонатан Кирш вроде бы спал. Даниэль Тамарчик обругал себя, но так и не смог заснуть. Потом настало утро, Даниэль Тамарчик отстоял двухчасовую очередь за сублимисом на сухом и сером морозе, в очереди говорили об утренней сирене, заботливый сосед пальцем нарисовал в воздухе длинную воронку, почти упершуся Даниэлю Тамарчику в пупок, потом согнул палец крючком, резко дернул на себя и вопросительно пожал плечами: мол, бог его знает, что это все такое. Даниэль Тамарчик отвернулся. По дороге домой ему пришло в голову жевать сублимисо сухим: так во рту все время что-то было. Это открытие поразило и осчастливило его, от сублимисной жвачки сводило усталые челюсти, он и думать забыл о Йонатане Кирше. Но вечером ему вдруг показалось, что Йонатан Кирш напевает. Он резко повернулся, едва не опрокинув на себя тарелку с супом. Йонатан Кирш сидел на своем обычном месте, приоткрыв рот, медленно чесался и смотрел, как тлеет в канистре крошечная вечерняя порция угля. Йонатан Кирш был единственным из всех знакомых Даниэля Тамарчика, кто за эти сорок дней не отощал. Доев суп, Даниэль Тамарчик лег спать раньше обычного, но не смог ни читать (высаживая глаза до наступления полной и окончательной темноты), ни играть в «пятнашки» (тоже obsessia – ища, чем утолять вечернюю смертную тоску, переплетенную со смертной же скукой, он раскопал в кладовке их с братом детские игры допланшетного периода; это было плохой затеей, дважды Даниэль Тамарчик начинал неловко, до кашля, плакать и через пятнадцать минут сдался, успев напоследок цапнуть что-то угловатое и что-то квадратное; это оказались кубик Рубика и «пятнашки»; кубик бесил его так же, как в детстве (и брат, когда собирал это адское крутилово на скорость, тоже бесил), однако в «пятнашки» Даниэль Тамарчик стал играть по семь-восемь часов в день, погружаясь в чпокающее механическое бездумие со сладостным отвращением к себе. «Пятнашки» валялись на полу рядом с матрасом, а Даниэль Тамарчик лежал, повернувшись к Йонатану Киршу спиной, и уговаривал себя не думать про Йонатана Кирша. Сквозь тонкий, рваный сон он пытался припомнить, всегда ли Йонатан Кирш так открывал рот, когда смотрел в окно, всегда ли он так двигал языком, когда кто-нибудь стучал в дверь, всегда ли его горло ни с того ни с сего начинало ходить вверх и вниз. К утру Даниэль Тамарчик смирился с тем, что его жизнь поглощена мыслями о Йонатане Кирше. Но что же, что же, что же в таком случае делать Даниэлю Тамарчику?

Даниэль Тамарчик пришел к решению. Впервые с тех пор, как были подъедены так небрежно хранившиеся в квартире мирные продукты, он поднялся со своего матраса, не думая о еде. В помещении, раньше служившем ему мастерской, а теперь застывшем от холода, он пересмотрел и перещупал циркули, карандаши, маленькие и большие монтажные ножи, острые металлические транспортиры – и всем остался недоволен. Он внутренне дрожал от решимости, но не мог сосредоточиться до конца ни на одной мысли. Он вспомнил про пахнущий тленом рыхлый пакет, шлепнувший его по лицу, когда он копался в кладовке: путанные остатки маминого вязания, клубки, мятые ученические бумажки с расчетами, расплзающиеся недовязки и лаокоонический ком спиц, соединенных жесткими лесками и перехваченных кое-где канцелярскими резинками в отчаянной маминой попытке призвать их к порядку. Спица оказалась Даниэлю Тамарчику ровно тем, что нужно. В кухне, пропахшей консервным супом (все варили консервный суп: консервы из пайка вываливались одним чохом в воду, варились или, если не хватало электричества, просто размешивались), спал Йонатан Кирш. Даниэль Тамарчик подошел к нему и ткнул его спицей в плечо. Йонатан Кирш дернулся и испуганно распахнул глаза, его рот открылся, горло прыгнуло вверх и вниз. Даниэль Тамарчик не смог ничего понять и поэтому снова ткнул Йонатана Кирша спицей, на этот раз попав в грудь. Йонатан Кирш вжался в стену, испуганно дыша. Даниэль Тамарчик ткнул еще раз, пристально глядя на Йонатана Кирша, на его рот и горло. Если Йонатан Кирш и издал хоть какой-нибудь звук, Даниэль Тамарчик не был в этом уверен. Он протянул руку и положил ладонь на горло Йонатана Кирша. Видимо, Йонатан Кирш был напуган происходящим до обмирания, потому что даже не попытался вырваться, а только судорожно повел головой и замер, скосив глаза, пыта-

ясь разглядеть сжавшиеся на его горле чужие пальцы. Даниэль Тамарчик сильно ткнул Йонатана Кирша спицей в бок. Горло Йонатана Кирша дернулось, но Даниэль Тамарчик готов был поручиться, что ничего членораздельного из этого горла не вырвалось. На секунду у Даниэля Тамарчика мелькнула мысль написать на бумажке: «Признавайся!», но это была явно нелепая идея. Даниэль Тамарчик продолжал сжимать горло Йонатана Кирша и тыкать спицей, в отчаянии понимая, что этот метод ни к чему не ведет, что ничего не получается, а если и получится, то не так, а как – совершенно неясно. Тут произошел инцидент со свидетелями Иеговы, и когда Даниэль Тамарчик вернулся в свою ледяную кухню, они с Йонатаном Киршем некоторое время смотрели друг на друга, а потом Йонатан Кирш быстро опустил голову и вжался в стенку. Даниэль Тамарчик снова взял в руки спицу. Визит свидетелей Иеговы здорово выбил его из колеи, замерзшие пальцы дрожали, кончик спицы мелко ходил вверх-вниз. Он бросил спицу на стол, вернулся в мастерскую и выудил из ящика древний диктофон. Бодренько насвистывая и испытывая отвращение к очевидности собственных уловок, Даниэль Тамарчик взял на кухне фонарик и сделал вид, что идет в кладовку искать... ннну, нннууууу, кухонное полотенце. На самом деле он быстро, на цыпочках, чтобы не услышал Йонатан Кирш, свернул в мастерскую и там, стараясь не производить лишних колебаний воздуха, медленно-медленно переставил батарейки из фонарика в диктофон, после чего вернулся, забыв о полотенце, вспомнил о полотенце, проклял себя и вернулся с полотенцем. Притворно смахнув полотенцем невидимые крошки с обеденного стола, он сунул полотенце в угол, подложив под него включенный диктофон. Окна слабо и ритмично дрожали: фургон, в котором до асона развезжал мороженщик, теперь через день возил по району солдат и армейских волонтеров с консервами, и приторная мелодия, полная щелчков и переливов, которую Даниэль Тамарчик еще помнил с детства, по-прежнему будила в здешних упрямых обитателях неуместный павловский рефлекс. Все еще насвистывая и тошняясь самим собой, Даниэль Тамарчик нарочито беспечной походкой вышел за консервами. Молодой муж отоваривал консервную карточку, ежесекундно оглядываясь на окна своего маленького домика со стесанными бурей углами (серая консервная баночка с тремя серыми килечками, плавающими в холодной пустоте). Оплывший сосед испуганно смотрел на молча прохаживающихся вдоль очереди ничейных котлов – один пыльно-серый, другой бывший белый, теперь тоже пыльно-серый. Его собственный терьер с неприятным оскалом, похожим на оскал кучерявого Свидетеля Непроизносимого Имени, тоже записной лапочка, торопливо говорил что-то насупленному сегену⁶, упершись лапами в камуфляжное бедро, и сеген изо всех сил боролся с желанием неполиткорректно погладить бойкого бадшабу⁷ по пыльной мохнатой голове. Даниэлю Тамарчику полагались банка нута и банка тунца, по карточке Йонатана Кирша солдат с каменным лицом выдал крошечный пакетик манной крупы. Крупу солдат отдал Даниэлю Тамарчику не сразу, помедлил и посмотрел на Даниэля Тамарчика со значением. Бывали случаи когда. Ничего личного, но некоторые. Даниэль Тамарчик сделал возмущенное лицо. Солдат отдал ему пакетик. Даниэль Тамарчик порадовался, что не может спросить солдата – сам-то не голодный, нет? Диалог этот привычно состоялся у Даниэля Тамарчика в голове, и Даниэль Тамарчик вышел из него победителем, а пристыженный солдат в голове Даниэля Тамарчика уронил свою каменную маску и растерянно смотрел ему вслед, пока Даниэль Тамарчик нес домой свои консервы и демонстративно отведенный в сторону манной пакетик. Он вдруг почувствовал, как страшно, до головокружения, проголодался, и почти побежал, перескакивая через вздыбленные куски асфальта. Он так хотел есть, что не сразу даже выкрал диктофон из-под полотенца (хотя заранее знал, что там пусто), но терпел, пока не вывалил консервы в трехлитровую кастрюлю и не разболтал их в холодной воде. Запах шел головокружительный. В мастерской он сунул обе руки под диванную подушку,

⁶ Старший лейтенант (*ивр.*).

⁷ Искаженное, созданное во время асона сокр. «Бааль дибур шэ-эйно бен-адам» (*ивр.*).

одной включил диктофон, а другую положил на динамик. Ровный шорох, мелкая дрожь – если даже Йонатан Кирш и сказал что-нибудь в его отсутствие, об этом нельзя узнать таким способом. Даниэль Тамарчик вдруг понял, что не может исключить некоторого издевательства со стороны Йонатана Кирша, – в конце концов, их взаимное безразличие на протяжении полутора лет вполне могло казаться безразличием только ему, Даниэлю Тамарчику. Вдруг он понял, что ничего не знает об отношении к себе Йонатана Кирша – и вообще ни разу об этом не задумался.

Он попытался успокоиться, чтобы съесть тарелку своего ледяного супа медленно, но не смог и заглотил последние две ложки стоя, капая супом на стол. У него появилась идея. Электричество должны были дать через двадцать минут. Подтерев пальцем капли и смакуя их на ходу, он сбежал в мастерскую, вытащил из перетянутой резинкой пачки синий толстый маркер и написал на листе пыльной акварельной бумаги: «Это Даниэль Тамарчик. Квартира 3. Приходите после электричества на...» – он едва не написал «чай», но вместо этого добавил: «суп». Тут он опять растерялся и занервничал, пытаясь решить, кому отнести записку. Оплывший сосед, проявлявший некоторую заботу о Даниэле Тамарчике, вызывал странное отвращение: что этому человеку делать здесь, откуда он прибрел, тряся своими подбородками, зачем осел в мертвом районе среди отказавшихся от эвакуации ошметков вроде Даниэля Тамарчика, и Йонатана Кирша, и сухой женщины с висячей кухней и мерзкими кошками, и прозрачной пары с молчаливым младенцем? После эвакуации Даниэль Тамарчик стал испытывать отвращение не только к себе, но и ко всем оставшимся: он был твердо уверен, что их причины держаться бледными когтями за свое порушенное и вымороженное гнездо (к вящей ненависти солдат, вынужденных таскать по району консервы и батарейки и производить перепись живых) были гадкими, волпыми, стыдными. Что спрятано в кухне у сушеной старухи, которая (Даниэль Тамарчик прочел это по губам разъяренного фельдшера, пока ждал, чтобы на лоб наложили шов) не позволила никому переступить порог и заставила вправлять ей сломанную ногу на узкой, забитой мусором лестничной клетке? Труп мужа в допотопной выварке времен польского галута? Десятилитровая канистра из-под оливок с его обугленными руками? Чан с головой? Бледная пара проводила сатанистские обряды со своим истерзанным младенцем, не иначе, а прикочевавший из ниоткуда лучезарный жирдяй теперь спал в комнате, принадлежавшей ранее двум шестилетним близняшкам, и, небось, нюхал их маленькие полосатые грязные трусы. Сам Даниэль Тамарчик забился во время эвакуации в мастерскую. Эвакуация означала людей, бараки, людей, людей, попытки заговорить с ним, попытки заговорить с ним, попытки заговорить с ним. Ему и так пришлось десять, пятнадцать, двадцать раз совать в нос солдатам, потом офицерам, потом ласковым камуфляжным бабенкам из сляпанной на скорую руку Службы релокации населения свои мятые записки, пока одна из этих бабенок не попыталась с улыбкой детсадовской воспитательницы хватать его за руки. Тогда он вырвался и нацарапал на листе бумаги иголкой штангенциркуля: «НЕТ!!!!!!!!!!!!!!» – и его оставили в покое. Что же до Йонатана Кирша, каждая новая буша-вэ-хирпа⁸ вызывала у него, насколько Даниэль Тамарчик мог судить, одну и ту же реакцию: он цепенел и, закрыв глаза, раскачивался влево-вправо, пока воздух завывал сиренами, а когда сирены замолкали, открывал глаза и продолжал раскачиваться – старая желто-синяя неваляшка с покрытыми пылью перьями. Когда Даниэль Тамарчик шел домой с новым свитером в пакете (два года назад?), шел, как всегда, опустив голову (и считая пуговицы, лежащие на земле, это был его способ ничего не видеть, каждый год счет обнулялся, в день перед асоном он увидел тридцать седьмую), справа и немного впереди возникла какая-то яркая штука, такая яркая, что Даниэль Тамарчик, вопреки своим правилам, остановился и повернул голову. Йонатан Кирш сидел с наглухо закрытыми глазами, твердый и неподвижный, если не считать раскачиваний вправо-влево. Вокруг были люди, машины, воз-

⁸ «Стыд и позор» (*ивр.*). Во время асона так стали называть «слоистые бури» из-за производимого ими психологического воздействия.

дух, запахи, и Йонатан Кириш показался Даниэлю Тамарчика воплощением ужаса перед всем этим, невыносимым. Даниэль Тамарчик поднял глаза. Рядом с клеткой Йонатана Кириша стоял круглый человек с лицом школьного учителя; на груди у него была табличка «Я глухонемой». Даниэль Тамарчик молча взял огромную тяжелую клетку, в которой сидел Йонатан Кириш, за ручку и попытался поднять. Человек с табличкой вынул из нагрудного кармана куртки блокнотик в клеточку – первые страницы потрепанные, следующие поновей, на самой новой было написано катаящимся ровненьким почерком: «Уезжаю продаю недорого. 17 л., м., говорящий (?)». Даниэль Тамарчик снова потянул за ручку тяжелой клетки, запрыгал на цепочке болтающийся внутри колокольчик, кусок яблока, всунутый между прутьями клетки, выскочил и упал на асфальт. Даниэль Тамарчик попытался его поднять, круглый человек засуетился, оттолкнул яблоко ногой, успокаивающе замахал руками, написал на очередной странице блокнотика какую-то цифру. Даниэль Тамарчик снова потянул за ручку и поднял клетку, но от тяжести у него немедленно заболели пальцы, и он поставил клетку обратно. Круглый человек дернулся, но потом посмотрел на Даниэля Тамарчика, поджал губы, вздохнул и начал совать ему тяжелый полиэтиленовый пакет с какими-то причиндалами, кормом, маленькой резиновой уткой, изрядно побитой клювом. Даниэль Тамарчик закрыл глаза. Круглый человек отстал, положил пакет на клетку и сделал пару шагов в сторону. Даниэль Тамарчик поднял клетку с Йонатаном Киришем и понес. С тех пор они с Йонатаном Киришем не общались. Йонатан Кириш жил в пустой маминной спальне. Утром Даниэль Тамарчик сыпал корм, менял воду и засовывал между прутьями кусок яблока. Один раз он надел хозяйственные перчатки и вымыл с мылом резиновую утку, которая стала выглядеть мерзко. Когда начался асон и нельзя было найти яблоки, он стал совать вместо яблока кусок картошки, которую Йонатан Кириш не замечал. Один раз он сунул кусок пайкового лука, и Йонатан Кириш вполне им заинтересовался, но лук пах, и через час Даниэль Тамарчик его выкинул. Когда бабенки из СРН, с их раскачивающимися сиськами, и раскачивающимися автоматами, и серыми от пыли волосами обследовали его квартиру на предмет безопасности, он надеялся, что Йонатана Кириша заберут. Но вместо этого Йонатана Кириша записали, поставили на довольствие и теперь выдавали паек, сопровождая пакетик с крупой подозрительными взглядами в его, Даниэля Тамарчика, адрес. Размышляя о том, кому отнести записку, Даниэль Тамарчик вдруг подумал, что если бы Йонатан Кириш сказал бабкам хоть слово, его бы наверняка забрали, но он, конечно, окаменел и сидел как вкопанный. Впрочем, из этого тоже нельзя было делать никаких выводов. Даниэль Тамарчик отодвинул чемодан и пошел к сухой женщине через дорогу. Ему не хотелось подниматься, поэтому он встал под ее накренившейся парящей кухней и принялся стучать камнем по куску железной арматуры, торчащей из бетона. Арматура вибрировала, кости Даниэля Тамарчика гудели, кошки сухой женщины, раскрыв крошечные острые пасти, глядели на него из глубокой расщелины в стене. Наконец старуха появилась у окна. Только тут Даниэль Тамарчик вспомнил про сломанную ногу и про то, что паек для нее клали в спущенное на длинном кабеле от телевизора ведро. Не объясняясь, Даниэль Тамарчик развернулся и пошел к оплывшему соседу, улыбочиво попытавшемуся заманить его внутрь и принявшему приглашение на суп с дряблыми поклонами и омерзительными потираниями рук.

За домом Даниэль Тамарчик нарвал оливковых листьев. До электричества оставалось минут пять. Давали его минут на двадцать-тридцать – слабенькое, мерцающее, включить два прибора сразу невозможно. Даниэль Тамарчик обычно успевал чуть-чуть зарядить макбук, вскипятить чайник и залить кипятком в один термос, а подваренный суп – в другой. Один раз он подумал запустить стиральную машинку и потом в темноте выгребал из нее разбухшие мыльные тряпки, промок сам и намочил пол. Сейчас он вошел на кухню – и люстра вдруг вспыхнула, как в плохом спектакле. Он поспешил выключить ее и метнулся к плитке, водрузил на нее кастрюлю с супом, сглотнул слюну и скорбно подумал, что порция толстяка означает для него самого, и без того вечно голодного, пробуждение без завтрака (иногда он представ-

лял себе эвакуацию как место, где всегда кормят, как огромный столовый барак, в торце которого стоит сказочный кашевый горшок, и этот горшок все варит, и варит, и варит под сияющими белыми лампами). Кормушка Йонатана Кирша была пуста, сам он смотрел на Даниэля Тamarчика черным недоверчивым взглядом. Даниэль Тamarчик взялся за пакетик с манкой и вдруг принял решение. Демонстративно, как уездный фокусник, он надорвал пакетик, глядя в глаза Йонатану Киршу. Йонатан Кирш подался вперед. Даниэль Тamarчик медленно дал тонкой струе манки политься в свою ладонь. Горло Йонатана Кирша прыгнуло и опустилось. Тогда Даниэль Тamarчик резко высыпал всю манку в тихо булькающий суп. Йонатан Кирш взмахнул крыльями и открыл рот. На секунду Даниэлю Тamarчику показалось, что вот-вот все станет ясно. Йонатан Кирш медленно закрыл рот и опустил крылья. Несколько секунд он смотрел на густой пар кипящего консервного варева, а потом закрыл глаза. Даниэль Тamarчик ощутил слабую тошноту и сказал себе, что это от голода. Оранжевая лампочка на плитке погасла. Электричество кончилось. Даниэль Тamarчик не успел вскипятить воду, а делать это на углях было рискованно и мучительно. Он вынул из кармана оливковые листья и бросил их не в термос, а в клетку Йонатана Кирша. Двумя руками он взял клетку, рывком поднял и перетащил на стол, потом отыскал пачку ханукальных свечей и старую ханукию и сделал на столе красоту. За дверью уже явно переминался с одной слоновьей ноги на другую оплывший сосед, мучился этической дилеммой: хорошо ли стучать в дверь глухонемого, не издевка ли это, упаси господи? Даниэль Тamarчик был уверен, что все извращенцы – очень вежливые, услужливые люди. Он впустил соседа и ловко отступил перед натиском взмахов и полупоклонов, повернувшись ровно так, чтобы сосед налетел на чемодан, и немножко наслаждался его неловкостью. На кухне он усадил толстяка прямо перед Йонатаном Киршем. Толстяк, считавший себя обязанным все время находиться в поле зрения глухонемого, порывался жестах выразить восхищение перед сервировкой, с уважительным видом пощупал дешевую алюминиевую ханукию и вознамерился помочь с разливанием супа по тарелкам, но Даниэль Тamarчик твердо вернул его на место за столом. О, это вечное чувство неловкости у человека, оказавшегося вне поля зрения глухонемого. О, этот вонючий и сладостный консервный суп. О, пустая кормушка Йонатана Кирша, его прыгающее горло, о, манка, разваренная манка, о, вороватые глаза соседа, который все, все понял с самой первой ложки, – похвалите же суп, мой милый Большой Брат, – нет, не поворачивается язык, и поэтому сосед делает какое-то эдакое лицо, эдакое лицо ценителя ложек, разглядывая ложку, ценителя фарфора – разглядывая печатные узоры на пластиковой тарелке. Даниэль Тamarчик очень внимательно смотрит на соседа, он готов жестоко предложить измученному отсутствием разговора толстяку вторую тарелку, но Йонатан Кирш сидит, закрыв глаза, открывая и раскрывая рот, и если бы он произнес хоть слово, толстяк, конечно же, уцепился бы за это слово. Даниэлю Тamarчику нет смысла тратить свой садистический суп дальше. Как только толстяк заканчивает шкрябать ложкой о дно тарелки, Даниэль Тamarчик пишет на этикетке манного пакетика: «Спасибо. До свидания» и медленно, уворачиваясь от второго, третьего и пятого рукопожатия, выдавливает склизкого, как ком манки, соседа за дверь, и грохает на пол чемодан с чувством человека, строящего последнюю баррикаду, и сам садится на пол, приваливается к чемодану спиной, и снимает узкие ботинки. Он вжимается головой в стену, разделяющую прихожую и кухню, и чувствует мелкое шк-шк голодным клювом по деревянной задней стене клетки, шк-шк дrrrr. Пальцы у Даниэля Тamarчика вдруг опять мокрые, он быстро вытаскивает их изо рта и вытирает о горло, язык болит, он держит пальцы на собственном горле и говорит: «Ыыыыых, ыыыыых, ыыыыых». Это надо немедленно прекратить, думает Даниэль Тamarчик и встает, ноги у него замерзли до бесчувствия, ледяной мраморный пол становится ледянее, потому что из пробоины в двери сквозит, и чемодан ничем не помогает, чемодан дрожит от ветра и ударяется об дверь, и ощущение от этого такое, будто кто-то лезет, стучится войти. Даниэль Тamarчик дошел до кухни, лизнул пальцы и задушил ими последнюю ледащую свечку. Зажав в зубах фонарик с поразительно живучими,

как выяснилось, батарейками, которые Даниэль Тамарчик все равно запрещал себе тратить попусту, он взял нож и вилку, зачем-то присервированные рядом с суповыми тарелками, и попытался открыть Йонатану Киршу рот. Кончик ножа он втиснул в зазор между черными острыми скобками клюва, а зубцом вилки уцепился за верхнюю челюсть и потянул. Йонатан Кирш застонал и слабо, жалобно задрожал шеей. Зубы Даниэля Тамарчика мелко бились о фонарик, фонарик прыгал, Даниэль Тамарчик мигал и задыхался – но вот он, язык: короткий, розовый, похожий на толстый твердый пенис. Йонатан Кирш вяло хлопал Даниэля Тамарчика по лицу и мотал головой, зубец вилки соскользнул и едва не ударил Даниэля Тамарчика в глаз, черный клюв захлопнулся. Даниэль Тамарчик сел на стул и почувствовал, как в воздухе нарастает очередная сирена, и понял, что даже не знает, где находится убежище. Он ждал, что оплывший сосед постучит ему в окно, но сосед не постучал, и Даниэль Тамарчик догадался, что больше не увидит этого странного, несчастного, заискивающего человека, не нюхающего никакие трусы, покинутого своим злым и продажным терьером – «о, заберите же, заберите меня туда, где вечная каша, и аварийные лампы, и эвакуированные породистые сучки, такие одинокие после потери своих хозяев». Даниэль Тамарчик заглянул в канистру из-под оливок и на глаз прикинул количество угля в последнем бумажном мешке, оставшемся от предыдущей раздачи, и увидел, что это хорошо, и похвалил себя. Потом он осмотрел стоящую на полке большую кастрюлю, а потом рывком взял клетку с Йонатаном Киршем на грудь и понес в прихожую. Он вынул Йонатана Кирша из клетки, и прикосновение холодных кожистых ног было отвратительно ему. Он посадил Йонатана Кирша на дно чемодана, и Йонатан Кирш закрыл глаза, сжался и качнулся влево-вправо. Даниэль Тамарчик закрыл чемодан на молнию и положил на него ладонь. Чемодан молчал. Даниэль Тамарчик открыл дверь и прямо в носках вышел на ледяную темную улицу. Пуговица, оброненная не то соседом, не то зализанной бабой и ее спутником, блеснула среди серой, черной травы. Даниэль Тамарчик перестал считать пуговицы на следующий день после асона, потому что везде были пуговицы, и туфли, и обломки очков, и маленькие кукольные тарелочки, и боже мой. Даниэль Тамарчик проходит десять шагов, ставит чемодан туда, где раньше была клумба, и возвращается домой. В соседнем маленьком доме прозрачная молодая женщина, третьи сутки лежащая лицом к стене посреди невыносимой, сдавливающей голову тишины, слышит, как два кота в кустах перестают стучать раскрашенными кубиками, делают несколько быстрых шагов, начинают переговариваться.

3. Ээээээээ

Шестая-бет (без слов). Капец. Капец. Капец.

Сорок Третий (без слов). Ну ты что. Ну ты что. Ну все. Ну все.

Шестая-бет (без слов). Уже приходили же. После сна приходили. Просто смотрели. Еды нет, и уже приходили. Не кормить. Потом опять сплю – еды нет. Значит, все. Опять придут – и все.

Сорок Третий (без слов). Ну что ты. Ну что ты. Вон пожуй. Вон что-то пахнет, там за тетрадка, пожуй.

Шестая-бет (без слов). Там нечего. Что пожуй? Что пожуй? Приходили и не кормили. Значит, все. Значит, приходили смотреть. Придут еще, и все. Прамама рассказывала: приходят, и все, берут, и все. Унесут и палкой.

Сорок Третий в сотый раз пытается раскопать мусор, в который превратилась кормушка, и, действительно, находит что-то коричневое. Сорок Третий осторожно заслоняет это что-то от Шестой-бет, тихо жует.

Сорок Третий (без слов). Ну перестань. Ну что палкой, нет, зачем, почему палкой, уносят и что-то дальше.

Шестая-бет (без слов). Дальше палкой.

Сорок Третий медленно жует что-то подвявшее, подгорелое в углу вольера, среди разнесенных взрывом фанерных щепок. Шестая-бет тоже медленно подсакивает, жует без аппетита. В облицованной кафелем большой комнате, где раньше стояли вольеры, кроме них никого нет.

Шестая-бет (без слов). Ты скажи им. Ты скажи им: нет! Не надо палкой! Надо кормить, не надо палкой!

Сорок Третий (без слов). Я скажи? Я не пробовал никогда. Я слов не знаю. Все было хорошо, я спать хочу, я не пробовал.

Шестая-бет (без слов). Ты скажи! Ты большой, скажи. Я маленькая, скажи им – я маленькая.

Сорок Третий (без слов). Я не знаю. Я не пробовал.

Шестая-бет (без слов). Давай. Давай пробуй.

Сорок Третий беззвучно открывает и закрывает рот, неловко, будто в скулах стоят чужие шарниры. Шумно дышит. Из рта падает кусочек мелкой жеванины. Шестая-бет замечает это, но не проявляет к жеванине никакого интереса.

Сорок Третий (без слов). Не могу. Странно. Где глотать – там странно получается, как будто торчит.

Шестая-бет (без слов). Ты большой! Ты большой!

Сорок Третий (без слов, слезливо). Нет, ты!

Шестая-бет (без слов). Ты большой! Говори: «Не надо!» Говори: «Не надо! Надо кормить!»

Сорок Третий открывает и закрывает рот, дышит.

Сорок Третий (без слов). Я испорчу. Нет? Я плохо скажу. Нет? Нет, я скажу так: «Не палкой!» Так? «Не палкой!»

Шестая-бет запрыгивает в неловко растопыренное, вывернутое взрывом лаборантское кресло, встает на задние лапы, смотрит в сетчатое окно.

Шестая-бет (без слов). Ай! Ай!

Ури Факельман осторожно, присев на корточки и растопырив руки, коленом толкает дверь кормовой базы. Дверь медленно открывается.

Яся Артельман (словами). У нас с Мири была крыса, я ее усыплял. Она заболела, я колол ей, чтобы усыпить. Мне до сих пор... ну, короче.

Ури Факельман (словами). То было свое. Та жила у тебя, ты был к ней привязан. Это не одно и то же. Ты же рыбу ловил?

Яся Артельман (словами). Ну когда-то, до всего. Сейчас вообще не понимаю, сейчас вообще ловят?

Ури Факельман (словами). Да еще как ловят, кам он. Есть надо, от туны всех тошнит уже. Ну и рыбы молчат, как...

Яся Артельман (словами). Фак, как эта шутка задрала.

Ури Факельман (словами). Да меня много что задрало. Задрало, кибенимат⁹, искать жратву на всех. Почему не посменно? Я не понимаю, почему мы отвечаем за жратву?

Яся Артельман (словами). Сам сказал про кроликов.

Ури Факельман (словами). Я сказал вчера, а назначили нас вчера утром. Тебя понятно почему, тебе на все класть, а я, блин, ссу.

Яся Артельман (словами). Мне не класть, я просто не ссу, как хрен чо. Фак, я стрелял в людей, ты стре лял в людей. Да, на съедобных кроликов мне, извини, класть. Я тебе утром еще сказал: давай сейчас и все. Нет, «посмотрим и доложим». Ой, девочка, сюсюсю, дядя доктор только посмотрит!

Ури Факельман (словами). И-нннах.

Яся Артельман (словами). Сам и-нннах. Сам чо рассказывал про кроликов? Говорил – мерзкие твари, жрут и срут.

Ури Факельман (словами). То до всего было. И я не убивал, мама убивала, я кормил и выносил их срach вонючий. Мэшэк¹⁰ – это другое. Там они другое.

Яся Артельман (словами). Так и это мэшэк. Это же запасник, они еда.

Ури Факельман (словами). В запаснике не еда, в запаснике замена. Умер в детском зоопарке кролик – из запасника берут замену. Еда – на кормовой базе.

Яся Артельман (словами). А эти что?

Ури Факельман (словами). Кормовая база.

Яся Артельман (словами). Ну.

Ури Факельман (словами). Блин, я не ссу, но блин, мы сейчас заходим, а они такие, ну, словами.

Яся Артельман (словами). Фак, так и люди словами, ты в армии три года.

Ури Факельман (словами). Не гони, ты стрелял в кого-то, кто с тобой словами?

Яся Артельман (словами). Кам он, это же не люди, они как были тупые, так и тупые, ты же знаешь, они же не поумнели, а...

⁹ «К ебаной матери» (ивр.)

¹⁰ Хозяйство, ферма (ивр.).

Ури Факельман (словами). Они не поумнели, они просто заговорили. Не лечи меня, а?

Яся Артельман (словами). Я не этого ссу. Я ссу, что мы сейчас дверь откроем, а они вжик и умотали. С утра все поняли и стоят такие, ждут.

Ури Факельман (словами). Они же тупые, нет?

Яся Артельман перекладывает автомат на другое плечо, становится у Факельмана за спиной в позе вратаря перед одиннадцатиметровым, раскидывает руки.

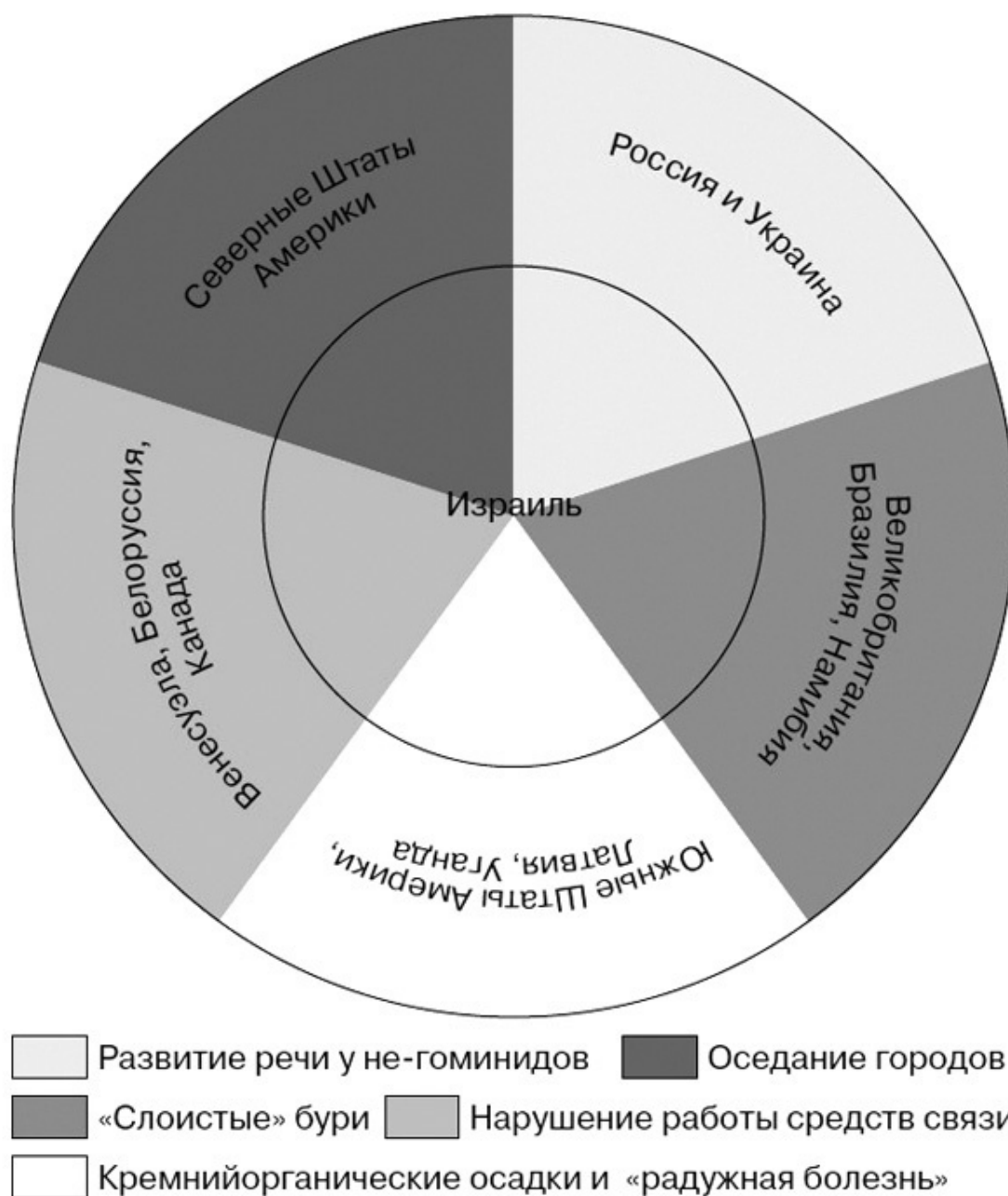
Яся Артельман (словами). Поехали.

Сорок Третий (словами, громко, визгливо). Ай! Ай!

Ясю Артельмана рвет.

4. «Вики»

Тряся коленкой, Михаэль Артельман принялся писать коммент, дописал до «изволите полагать», заметил коленку, заставил себя выдохнуть и быстро скрестил ноги. Шестой пункт бесил его настолько, что он тряс коленкой (а это обычно только когда очень больно или уж если разозлиться до белизны). Седьмой, впрочем, тоже бесил. Особенно если считать, что ни шестой пункт списка, ни седьмой не имели никакого права на существование, поскольку реально зафиксированных феноменов было пять, а все остальное, по глубокому убеждению Михаэля Артельмана, было вовсе не признаками асона, а признаками неумения следовать формальной логике, отдавать себе отчет в происходящем, читать, что написано черным по белому, удерживаться от истерики – ну, понятно. Михаэль Артельман не склонен был к участию в интернет-срачах, и бесконечные списки «Ликов асона» вызывали у него обычно не это, коленное, раздражение, а другое: тупое, ноющее, быстро переходящее в усталую скуку. Но на этот раз очередную картинку со списком перепостил Виктор Бозин, выпускающий редактор «Резонера». В «Резонере» Михаэль Артельман печатался раз в пару месяцев, а когда-то, пока не выдохся, вел колонку: маленькие реальные истории (в литературной, конечно, обработке), всякое увиденное и услышанное, цайтгайт. Впрочем, сейчас он собирался возобновить колонку, что-то открылось в нем опять такое. Виктор Бозин был старый друг и человек безупречной рукопожатности, а у Михаэля Артельмана было железное правило: всегда беречь своих и уж тем более никогда не сражаться с ними публично. Но восемь ликов асона! Восемь, значит. А главное, картинку Виктор Бозин сопроводил текстом в таком духе, что, мол, «нет сил ничего добавить», и что «только мутная вода собственного бессилия – и еще чувство вины за вещи, не имеющие к происходящему никакого отношения. Просто за себя и за прошлое. И за слабость перед близкими, которые сейчас в Израиле, за недостаточную любовь, за мелочи, на которые разменялся». Тут оставить бы человека в покое: сейчас все металось между истерикой и оцепенением, все чувствовали себя свидетелями апокалипсиса, но какого-то вялого и пустого, понарошечного: не то завтра умирать, не то просто ушлые собачки теперь у каждого метро будут выпрашивать «на еду деткам», а в остальном живем и жить будем – по крайней мере здесь, в Москве. Но Михаэль Артельман едва не потерял терпение и не написал Виктору Бозину вот это вот ерническое и недостойное «изволите полагать», а дальше про то, что дотистромоз, из-за которого стали ярко-красными иголки большинства хвойных растений на территории Европы, случается уже второй раз за последние пять лет и вызван грибом *Dothistroma septosporum* (просто в этот раз цвет поярче и территория побольше). И еще про то, что пункт «Животные изрекают пророчества» – это бред, хуйня; тот факт, что животные что-то изрекают, – это да, это ничего себе, а пророчества любой городской сумасшедший изрекает – Вы же, Витя, не постите это у себя, правда? О том, что «Все лики асона берут начало в Святой Земле», Михаэлю Артельману даже начинать разговор не хотелось, он собирался просто запостить из «Википедии» вот это:



Схема, иллюстрирующая географическое распространение пяти основных составляющих асона

– и надписать даты: животные в Омске заговорили (смотри ту же «Википедию») на неделю раньше, чем поступило первое внятное сообщение из Рахата; плюс оседание Бостона случилось 25 марта в 14:11, а Беэр-Шевы – только через 7 минут 17 секунд после этого. Да, на бедном Израиле, как ловко пошутил Гаврилов, в этот раз действительно «сошелся клином белый свет», но «берут начало» – извините. Вместо того чтобы размазать пункт восемь, Михаэль Артельман собирался просто написать: «С другой стороны, Витя, спасибо, что не „Семнадцать ликов асона“ и не „Пятьдесят шесть ликов асона“, а то гуляет по сети и такая красота. Ну правда, всем тяжело, но давайте хоть те, кто в своем уме, продолжают оставаться в своем уме?» Потом ему, Михаэлю Артельману, было бы тошно и стыдно, и день пошел бы насмарку, и он бы не написал тому же Виктору Бозину по делу, по которому собирался написать; вместо этого он бы сидел, адреналиново тряся в ожидании Витиного коммента, а потом адреналиново

трясся бы при написании собственного коммента на коммент, а потом еще бы подтянулись всякие умненькие, и все это был бы какой-то позор и недостойная гадость. Спасла коленка и то, что заставило Михаэля Артельмана обратить внимание на коленку: одна из участниц срача постила голосовые комменты, и автоматический TTS разворачивал их для быстрого просмотра таким способом, что получались тексты с неуловимой Илюшиной интонацией. Ровно с той интонацией – припомнил Михаэль Артельман и немедленно затосковал, – от которой в мучительный период предразрыва он начинал дергать коленкой: как бы рациональный разговор происходит у людей, как бы предлагают тебе «обсудить», или «выработать схему, по которой мы...», или «найти способ, чтобы друг друга не...», но в самом строении фразы обнаруживается нечто выматывающее, ноющее, делающее Михаэля Артельмана немедленно во всем виноватым. Во время одного из таких разговоров Ясик Артельман, тогда, кажется, семилетний, ползал по-пластунски под искусственной елкой (а настоящие в Тель-Авиве под Новый год делались так дороги, что Артельманов перекашивало; интересно, как сейчас, – впрочем, кому там сейчас до елок?) и время от времени гнусавил с интонацией, невыносимо напоминающей Михаэлю Артельману интонацию мужа: «Папа, ну для чего ты этого делаешь? Папа, ну не делай этого, ты все нарушаешь!» Что именно тогда хотел «обсудить» или «выработать» Илья, теперь не вспомнишь, но Михаэль Артельман помнил, что большая часть усилий уходила у него на попытки не вдохнуть с наслаждением и не выорать мужу всеми мышцами живота, в каком именно месте сидят у него Илюшины «вырабатывания». Помня кое-какие предыдущие эпизоды, Михаэль Артельман сел тогда себе на руки и сделал так, чтобы уши словно бы заложило, и вместо Илюшиного резонерства слушал, наученный престарелой своей терапевсой, внутренний голос, принявшийся перечислять названия тайных комнат и тихих укрытий в его, Михаэля Артельмана, внутреннем дворце, – это помогало. Поэтому и Ясика он слышал не очень хорошо, но интонация сквозь заложенные уши проникала отлично, мать твою. Он успел добраться до «Синей бархатной ниши» (by Аниш Капур), когда вдруг стало очень больно и очень громко, он вскочил, Ясик Артельман глядел из-под елки – перекошенная мордочка, разинутый рот, – а Юлик Артельман молчал, держась за подбородок, и несколько секунд Михаэль Артельман провел в состоянии черного ужаса, глядя не на старшего сына, а на свои отсиженные руки: как им удалось? И еще: почему на них не осталось ощущения удара, хотя обычно?... Ах, черт, да он не специально и не рукой, а ногой – нет-нет, не подумайте, произошло вот что: оказывается, он дергал коленкой, а от этого дрожал стол, и от этого дрожала глянцевая ветка, и от этого дрожало что-то важное, что Ясик там, под елкой, обхаживал и обустроивал, и пока Ясик заунывно просил папу «не нарушать», Юлик Артельман поступил, как поступает Юлик Артельман: молча обхватил своими длинными железными пальцами папино колено и попытался зафиксировать его намертво. Ну, простите, рефлекторно получил мягкой тапочкой в подбородок; ну, прости, котинька, сыночка, прости, Юличек, я не хотел, извини меня (гладит воздух у сына над головой, Илья Артельман замер, раскручивается в комнате тугая пружина испуганного ожидания, Юлику Артельману двенадцать, и он весь длинный, жилистый, сухой, во время приступа с ним трудно справиться даже двум взрослым мужчинам, Илья Артельман медленно обходит полукруг, чтобы оказаться у сына за спиной, они с Михаэлем Артельманом быстро обмениваются взглядами, система давно отработана: если начнет кидаться вперед – ты, если станет валиться на спину – я, что глаза? – вроде ничего, вполне сфокусированные – Ясю закрой – Яся Артельман сам рванул под елку подальше, там что-то хруп-хруп – ладно, это потом разберемся – готовы? Вроде готовы). Глаза у Юлика Артельмана, кажется, сфокусированные; а вот он набыл голову, это совсем хорошо, а вот поднял – совсем сфокусированные глаза, да неужто обошлось? Кажется, что-то вспоминает, вспоминает, что надо сказать, ну-ка, Юлик, раз-два-три, раз-два-три?..

– Я хочу сказать: я в порядке, спасибо, не нужно волноваться.

Ай да Юлик Артельман, ай да умничка, ай да Илья Артельман (взглядом: «Это твои успехи»), ай да Михаэль Артельман (взглядом: «Да ладно, это и твои успехи, несмотря на...»), так, я собираюсь делать себе чай, Яся, ты с утра не ел, тебе кцицот или курицу? Юлик, сейчас я дам тебе чай в твоей средней чашке, потому что ты выпил сегодня 850 миллилитров, сколько еще нужно? – правильно, и в среднюю тарелку положу тебе одну кцицу слева и одну куриную голень справа, это будет ровно через три минуты, садись, приготовься, Ясик, что? Ясик, почему вой? Ясенька, что случилось? Илюша, ставь Юлику еду, ну время же идет, Юлик, все хорошо, Юлик, Ясик в порядке, не надо Ясика хватать, нет, Юлик, елка!!! Блядь, Илья, осколки, осторожно, Ясенька, что такое, стой, стой, я достану, что у тебя там такое, блядь, Ясик, что это такое?!

Судя по ответу, это ыыыыээээаыыыыаааа!!!

Сколько же им в этот момент лет? Нет, Ясику Артельману не семь, а, что ли, восемь – значит, Юлику Артельману тринадцать, как раз между двенадцатью и тринадцатью он вдруг стал ОГРОМНЫМ и железным – и, честно говоря, довольно страшным, и отцы его ни разу не обмолвились об этом ни словом, но когда Юлик Артельман однажды вдруг долгим сухим взглядом проследовал за мокренькой киской вдоль бортика паркового бассейна, Илья Артельман медленно приподнялся из шезлонга, как охотник приподнимается на стременах; к счастью, из всех живых существ бедный Юлик Артельман по доброй воле общался только с Яськой. Итак: Юлик Артельман в одних носках стоит посреди радужной, нежной, золотой и красной игрушечной скорлупы, Ясик Артельман висит на нем, как обезьянка, и воет-воет, ну, теперь уже ничего не поделаешь, Юлика Артельмана нельзя двигать, Ясика Артельмана нельзя от него отдирать, Илья, оставь, ждем, кот, зайди ко мне с той стороны, только надень тапки; блин, реально? Сейчас мы будем разбираться, почему на мне твои тапки? Я тебя умоляю, надень ЧТО-НИБУДЬ и зайди с той стороны, у меня рука в каком-то говне, что они туда натащили? Клетчатый барский зад Илья Артельмана в домашнем мяконьком халате мяконько колыхнется, когда Илья Артельман лезет под елку, Ясик орет и вырывается, вот же и от Юлика Артельмана в кои-то веки польза, из рук Юлика Артельмана не вырвешься, хехе. Михаэль Артельман нюхает желтую слизь на пальцах: пахнет свежим и, что ли, молодым. Клетчатый мягкий зад обратно вправо-влево, господибожемой, это что? «Новое Простоквашкино: базовые задания для формирования Жизненной Стратегии Творческой Личности у детей в возрасте 0–3 лет».

Сейчас, дети, вы получите доказательство того, что Михаэль Артельман, вопреки всем психотерапевтическим инсайтам своего бывшего мужа, – хороший, хороший человек: Михаэль Артельман не ржет. Илюша, пунцовый отнюдь не только от физических усилий, для него непривычных, книжку отшвыривает в сторону и ползет обратно, ель звенит и мяконько колыхнется, Илья Артельман делает второй заход. Михаэль Артельман – хороший человек: он не кричит вслед мужу: «Там еще второй том должен быть!». О, висящее над домом Артельманов проклятие Альтшуллера: вдоволь побившись над бедным Юликом Артельманом («Ты его еще Визбора играть поучи!»), Илья Артельман после появления на свет Ясеньки Артельмана начал формировать у младшего сына Жизненную Стратегию Творческой Личности с почти уже отчаянным рвением – и крошечный Ясенька Артельман полностью оправдал папины проективные надежды. В три месяца Ясенька угукал быстро, когда у двух предметов обнаруживались подсистемные общие признаки, и медленно – когда надсистемные («Я тоже так могу, Илюшенька, смотри: я простой человек, поэтому моя жопа и Новый год имеют общие подсистемные признаки, а твоя жопа и Новый год – надсистемные!»). В годик с небольшим мог объединить две картинки не по цвету. В два бойко лепетал, что у нас оперативное время («Мусечка, вот мы делаем Юлику ванну, у нас оперативное время какое?» «Сицяс!» «А оперативная зона?» «Ванья!»). В три задавал гостям задачки, живущие у самой дальней околицы чертова Простоквашкина («Я буду в теремке, а Миша будет гитара, а Мира... а Мира будет...» – бездетная Мира Новаков, трепетавшая неразделенной страстью при виде всякого дитяти, готова быть

Ясеньке кем угодно; Мира будет яблочком! Мира Новаков будет папе Мише любовницей, Мира Новаков уже прекрасно это понимает, один папа Миша не понимает, но скоро поймет, буквально через месяцок). И вдруг все, все. Обложка второго тома «Простоквашкина» (и как же Михаэль Артельман ненавидел эту разбитную лишнюю «к», вот все у них так) вдруг оказалась не увитой кисусом¹¹ калиткой в сказочный сад Рациональных Изобретений («Кстати, Илюша, а чего все на русском, вы что, до сих пор весь свой молитвенный корпус на священный язык не перевели?»), а ржавыми воротами в Илюшин персональный ад. Дело застопорилось намертво, бедный Ясенька путал ОЗ с КП, а КП с ИКР, рыдал и маялся, Илья Артельман тоже маялся и только что не рыдал, и однажды Михаэль Артельман застал мужа за позорными попытками измерить Ясенькин IQ презренным тестом Айзенка. Дальше был даже не скандал, а какая-то душераздирающая сцена, Илью Артельмана было прямо жалко, все страхи наши с ним полезли наружу, и я убеждал его, что ничего подобного тому, что случилось с Юликом Артельманом, с Ясенькой Артельманом не происходит, что Яся Артельман прекрасный умный мальчик, что Илья лучший на свете папа, просто прекрасный умный мальчик – это же не обязательно Простоквашкино, да? «Ну да, ну да, извини, чего я реву». «Ну какое извини, ты мой котинька, мне тоже страшно, я тоже еле удерживаюсь от этого Айзенка (Илья сдавленно всхликивает), но ты же понимаешь, да, что никаким образом ничего, похожего на Юлика...» «Я понимаю, мне самому стыдно, я просто, ну, очень страшно». «Ты мой, и я так тебя люблю». (Не в последний ли раз тогда были сказаны эти слова, между прочим? Интересное дело: когда-то же они говорят в последний раз; по крайней мере, Михаэль Артельман – вернемся-ка для соблюдения удобной дистанции к 3-му лицу, ед. ч. – твердо помнит, что в тот момент испытал, говоря мужу это самое слово на букву «л», сильную и горькую неловкость). Тут бы веревочке и перестать виться, Простоквашкину бы вымереть, обезлюдеть, порастить быльем – но экий казус: Яся, ненавидевший том второй, без первого тома жить не мог. Он продолжал таскать закапанную детским питанием «кэвес вэ-крувит»¹² книжечку по квартире, продолжал громогласно сообщать Илье Артельману давно выученные наизусть подсистемные и надсистемные общие признаки ежа и лопаты и не мог, бедняжка, понять, почему вдруг «Ясик, дай тете Мире поесть спокойно, Яся, ты уже знаешь ответ, Ясик, дай Илане поговорить с папой». Дважды Михаэль Артельман запихивал чертово Трашкино-Тараташкино в горние ебеня Илюшиных книжных полок – и дважды Ясик Артельман магическим образом возникал перед отцами с проклятым томом. Однажды Илюша всплакнул, Михаэль Артельман пошутил насчет Фриды и платка, случился срач, Михаэль Артельман пожаловался Мире Новаков, Мира Новаков, как всегда, пожалела не того, кого надо (вот же потрясающий талант у женщины), вышел срач-2. Михаэль Артельман в то время, кажется, только и делал, что срался, срался, срался, и ненавидел себя, и срался со всеми, и только в этой ситуации, возле неживой елки, посреди пола, засыпанного неживой острой скорлупой, они с Илюшей плясали ладно, как шерочка с машерочкой. Пока шерочка тяжело дышит и душно шебуршится, тшась нащупать и вытащить, машерочка мягко мяучит и мысленно мелкому маячит: «Ясенька, ягодка моя, слезай давай со своего брата окаянного, повыл и хватит, потому что у Юлика Артельмана уже начала дергаться коленка, мне ли не видеть, поэтому подбирай сопли и на счет три приземляйся, подбирай сопли и тихо-тихо уводи отсюда Юлика, как только ты умеешь, мой сообразительный мальчик, а то кончится так, как это уже пару раз кончалось, что-то для Юлика Артельмана многовато переживаний на один день, и это он еще не видит часов из-за твоей макушки и не знает, что его обед запаздывает на семнадцать минут». Ясенька Артельман не хочет слезать, Ясенька Артельман хочет и дальше висеть на старшем брате, тихо подвывая, но он, вопреки Илюшиным подозрениям, и правда сверхспособный мальчик, он чувствует, что пальцы Юлика Артельмана у него на спине

¹¹ Плющ (*ивр.*).

¹² Баранина с цветной капустой (*ивр.*).

стали каменными, и Юлик Артельман весь трясется мелкой тряской. Ясик Артельман начинает медленно высвобождаться, высвобождается, слезает, Илья Артельман все еще копошится под елкой, и Яся Артельман вдруг снова давится всхлипом, но берет себя в руки, умничка такой. Илья Артельман под елкой вдруг взвизгивает и с приличной скоростью начинает выбираться из-под елки, но вдруг замирает: «Миша, убери их». Стоп, Юлика Артельмана нельзя убрать, у Юлика Артельмана же в ногах осколки – нет, у Юлика Артельмана в ногах чудом нет осколков, вот счастье, Юлик, стой на месте, Юлик! Но Юлик Артельман осторожно туп-туп, туп-туп, каждый раз поворачиваясь ровно на девяносто градусов и считая для спокойствия «раз-два-три, раз-два-три», как его учили в группе, – и вот он уже в безопасности, Юлик Артельман сегодня прямо бог, а не Юлик Артельман. Яся, хватит, собрались, давай: ты сейчас ответственный за то, чтобы вы с Юликом пообедали, ты справишься? И тапки надеть!!! Ясик Артельман справится, через минуту из кухни уже раздастся звонкое про среднюю тарелку, кцишу слева, голень справа, Юлик Артельман шаркает тапками, нехорошо ходит кругами, но шаги становятся все медленней, Яся Артельман молодец.

– Ну?

У Ильи Артельмана в руках пластилиновый покореженный домик с какими-то комнатками, подстилочками и дверочками. Илья Артельман осторожно ставит его на пол, и в ладонях у Ильи Артельмана остаются две крошечные ящерицы: одна лежит на спине, хрупкая и сухая, как веточка, а вторая на боку, очень тихая, почти прозрачная, маленькое брюшко слабо подрагивает; у обеих поперек тела нитки от Иланиного вязанья, крепкие, голыми пальцами не перервешь, Илье Артельману пришлось отодрать от елки тонкую пластмассовую ветку, к которой они были привязаны. Под мышкой у Ильи Артельмана книжка-говоришка, нажимаешь кнопку, она тебе: «баран!», «свинья!», «пес!», ты показываешь животное на картинке, показал правильно – книжка нежно позвякивает Моцартом, ура-ура. Карман Илюшиного халата топорщится мелкими углами: это пара кубиков, бросаешь одновременно – и: «Ясенька, давай: что общее? Что разное? А если у нас нет первого, как мы будем вместо него обходиться вторым?..»

– Нет, ты подожди, это не все.

Илья Артельман разжимает кулак, там пустая мокрая скорлупа от очень маленького яйца, вся в желтом и слизком. Первое животное было очень перспективное, объяснит потом Яся, но из него появились яйца и оно засохло (Юлик Артельман: «Я хочу сказать...» «Юлик, ради бога, не сейчас!» Юлик Артельман: «Нет, я хочу сказать: я объяснял. Яся маленький, Яся поступает глупо, я объяснял, он меня не слушал»). Это нестрашно, потому что второе животное тоже очень перспективное, даже перспективнее, чем первое, объяснит потом Яся Артельман. (Юлик Артельман: «Яся, ты идиот. Яся, ты идиот. Яся, ты идиот. Яся, ты идиот». «Миша, он начинает раскачиваться! Юлик, не раскачивайся! Юлик, Юлик, смотри на меня, смотри на меня!» «Я хочу сказать: я в порядке, спасибо». «Ну блядь». «Миша!...»). В зоомагазине Илье Артельману отсыплют немножко опилок и дадут какой-то корм, «но вообще в этом состоянии вы бы попробовали пипеткой сладкую воду, может быть...» Глупый Илья Артельман поедет с банкой в ночную ветеринарную клинику, глупый Илья Артельман будет писать в телеграм и рассказывать в полвторого ночи, что доктор сказал то и доктор сказал это (хотя на самом деле все будет сводиться к мягкой тряпочке и сладкой воде из пипетки и к «может быть...»). Глупый Илья Артельман будет читать «Википедию» до полчетвертого утра (Юлик Артельман: «Я уже все прочитал, ты можешь не читать. Существует цикл интеллектуального развития. Вовлекается кора головного мозга. Сейчас я все объясню». «Юлик, бога ради, только не твое „объясню“, дай мне прочитать спокойно, бога ради!»). Глупый Илья Артельман очень тихо поставит банку в заоблачные ебенья, молча поставит, как будто это самое нормальное место для банки с ящерицей, как будто нет никаких причин ставить банку с умирающей зверушкой в заоблачные ебенья, а умный Михаэль Артельман поднимется с постели без четверти четыре утра – и никакой банки не станет, и Михаэль Артельман включит свет, и снимет с елки все

игрушки, и разберет елку на мертвые ветки, и замотает их хорошенько пищевой пленкой, и отнесет на балкон, и вымоет пол, и погасит свет, и вернется в постель к мужу, который будет лежать с закрытыми глазами и бояться пошевелинуться и утром не скажет ничего, раз-два-три, раз-два-три. «Илья, ты хочешь что-то сказать?» «Нет, ничего». «Пожалуйста, не ходи с таким лицом, если ты хочешь что-то сказать – давай, скажи» (не надо трясти коленкой, раз-два-три, раз-два-три, раз-два...) «Хорошо, если ты настаиваешь, я скажу, я хочу сказать: я много думал ночью и сумел сформулировать четыре фактора, четыре, четыре фактора, которые делают, которые делают тебя, при всем твоим фантастическим интеллекте, при всей твоей платиновой, головокружительной рациональности, при всей логичности твоей – неполноценным, непробиваемо, безнадежно неполноценным и недоразвитым, ничего ты не можешь создать, никакая жизнь рядом с тобой не может существовать, ничего ты не можешь породить – хочешь, четыре фактора я тебе назову, ровно четыре фактора, хочешь ты?..»

Это был последний раз, когда Михаэль Артельман ударил мужа (восемь, восемь раз: в живот 2 р., по ногам 5 р., по лицу 1 р.) – и вот мы здесь: я хочу сказать, вы изволите полагать, у асона тридцать три фасона, и за окном Простоквашкино, Москвашкино, все это снежное кино, все это снежное кино, и ушлые собачки бегают по внутреннему дворцу Михаэля Артельмана, просят деткам на игрушки, на развивашки.

5. Ссученный

Беленький котик серенького по морде хряп, хряп, коготь входит в тугую надбровную складку, страшный абордажный крюк. Серенький котик боится дернуться, уши расставлены вертолетом, орет, резко припадает вниз, перекал на спину, руками закрывает лицо, беленького котика ногами, ногами по животу. Беленький котик выгибается, руками серенького за горло, орет, наваливается всем весом, хрипит, хапон лежит, идет дождь. Беленький котик хрипит, горелого цвета котик ждет, ждет, серенький вжимает морду беленького в грязь, сам в слепом оскале, горелый рывком переносится на сорванный гидрант, скользит на животе, когтем левой поддевает изодранный полиэтилен, всем ртом впивается в мясо, мясо жесткое, хапон скользит и подскакивает, разбрасывая черные брызги, хапон тяжелей, чем три кота вместе, беленький котик орет, серенький котик орет, беленький котик на вытянутых ногах делает два огромных шага, падает на горелого котика зубами, едет зубами вдоль порченной побуревшей шкуры, горелый котик орет, серенький котик закусывает веревку, обмотанную вокруг копыта, судорожно головой влево, влево, к темным дебрям горелых досок и битого кирпича, хапон едет скачками, подпрыгивает на обломках витринных пластмассовых декораций. Черненький котик, рваный котик, рыжий, испачканный в желтом котик, пыльный с ошейником тощий котик ждут, орут, черненький котик шипит, решается, уходит в бросок, подъезжает к хапону на липком грязном боку, всеми когтями впивается в темный копченый край, потом одной рукой серенького снизу вверх по лицу, когтем в ноздри, серенький котик орет, глотает кровь, отшатывается назад, хапон подпрыгивает, веревка соскальзывает с зубов, копыто стучит по асфальту, рыжий, испачканный в желтом котик воет, шипит, решается, длинной дугой выплескивается из бетонного развороченного цветка, на руках делает несколько мелких шажков, орет, ногами падает черному котику на лицо, ногами бьет по воздуху, по летающим ошметкам жирного полиэтилена, по глазам горелого котика, пытающегося откусить от мякотки и бежать, правой рукой и ртом ухватывает почти оторвавшийся тонкий, скользкий от грязи шмат, ногами упирается хапону в бок, перекачивается, дергает, дергает, шипит, рваный котик воет, шипит, пыльный с ошейником котик воет, шипит, мотает задом то вправо, то влево быстрее, быстрее, решается, выгибается, встает на обе ноги, и тут серенький котик выворачивается и кричит, подвивая, глядя через плечо на Марику Ройнштейна (который уже полтора часа неподвижно сидит на асфальте перед развороченной, расколотой падением огромной бетонной плиты родительской лавкой, сопли блестят на его верхней губе, а он смотрит на свиную голову из папье-маше с осколком стекла под левым глазом и думает: «Надо встать; надо встать или лечь, встать или лечь, встать или лечь встать или лечь встать или лечь встать или лечь»»). «Бляааадь, да иди же сйууудааа, муаааак, тащи, блйааадь, муаааак, даваааай, тащи, даваааай, дам кусоааак!» – орет Марик Ройнштейну серенький котик. Черненький котик шипит, бьет хвостом по воздуху, прыгает, когтями серенького за уши, ногами в живот, в живот, серенький котик орет, горелый котик секунду мешкает, выпускает хапоний шмат изо рта, зубами серенького за загривок, мелкая взвесь золотистой шерсти взлетает, плывет в холодном зимнем луче, серенький котик орет, воет, беленький котик расставляет уши, зализирует бок, в три прыжка падает на серенького, кусает за ногу, скользит, подъезжает, левой ногою серенького в пах, в пах, серенький котик воет, визжит, рыжий, испачканный в желтом котик пытается прорваться в середину клубка, достать серенького, ловит пальцами воздух, хрипит, орет, серенький котик вдруг визжит свинячим высоким визгом, клубок распадается, серенький котик лежит, бок ходит вверх и вниз, выталкивает темные капли, темный тоненький ручеек. Черненький котик тяжело дышит, грузно садится на задние лапы, молчит; беленький котик мотает головой, выталкивает чужую шерсть изо рта, часто мигает, молчит; рыжий, испачканный в желтом котик боком движется вокруг своей оси, не мигает, вздрагивает всей шкурой, дышит, молчит. Горелый котик, рваный

котик, пыльный с ошейником тощий котик, пыльно-дымчатый котик, пятнистый котик дышат, переглядываются, молчат. Ветер похрустывает мясным полиэтиленом, скребет по асфальту золотой этикеткой. Пятнистый котик решается.

6. Мачеха

Вл. Ермилову

Он опять назвал Дану «Дорой» – и опять подумал, что будь дочери не десять, а двенадцать лет, реакцией на его ошибку было бы едкое подростковое раздражение вместо нынешнего дурашливого смеха. Иногда ему приходилось делать паузу, прежде чем окликнуть дочь – соленую и перемазанную мокрым песком, – когда она и ее обожаемый, вечносопливый вислогубый Марик Ройнштейн подбирались слишком близко к воде или когда нужно было в последнюю секунду сунуть в руки маленькой растеряхе, уже пробивающей себе путь вглубь школьного автобуса, очередную забытую дребедень. Сейчас Марик Ройнштейн бессильно хлюпал носом – стоял сусликом, покачиваясь вправо-влево, слабо отражая тельцем энергичный и яростный рисунок движений Даны Гидеон. После окрика дочь на секунду отвлеклась от своего важного дела и расхохоталась – вот же рассеянный папа! – а Дора осталась стоять, поджав одну ногу и держа в зубах уже основательно обслюнявленный бумажник. «Ты капнул мясом, и она его лизала!» – прокричала дочь. Она всегда кричала, мир словно не умещался в ней целиком и рвался наружу – криком, скачками, хохотом, внезапными рыданиями безо всякого повода, дурацкой идеей схватить со стола кошелек, когда собака его облизывает, чтобы та, конечно, немедленно вцепилась в него зубами. Можно было тихо взять кошелек, вытереть салфеткой и отдать отцу – но нет. Как это часто бывало, его окрик сперва вызвал залиvistый смех из-за перепутанного имени, но потом Дана Гидеон как-то медленно погасла, и на лице ее появилось то же пустое, вислогубое выражение, которое бесило его у Марика Ройнштейна. Он давно перестал давиться, как прежде, внезапным чувством вины перед дочерью – чувством жирным, многослойным, густо присыпанным колючей крошкой маленьких, но особо мерзких родительских промахов; теперь у него во рту просто всегда стоял привычный вкус вины, и он все реже обращал на этот вкус внимание, и за это тоже чувствовал себя виноватым. Он велел Дана Гидеон перестать ковыряться в ухе, а Доре – отпустить бумажник, и бумажник тут же шлепнулся на пол. В нелепо маленькой и катастрофически забитой кухне гостиничного люкса он нашел салфетку, поднял мокрый бумажник и брезгливо понес в ванную – обтирать мыльной тряпкой. Собственно, ничего бумажного в бумажнике, естественно, не было, но идея целиком сунуть его под кран казалась идиотской. Он опаздывал. Дора стояла в дверях и молча смотрела на него, Дана с Мариком тихо ушли в коридор, он услышал, как постепенно голос дочки снова наливается звоном (бедный часовой, миллион вопросов – и на половину из них он не вправе давать ответы), и малодушно подумал, что преувеличивает, что его бесконечное гавканье и рывканье не оставляет в Дана Гидеон никакого долгого следа, ничего страшного, Дана Гидеон умная девочка, Дана Гидеон знает, что папа ее любит. Он прислушался, и ему показалось, что Мариково хлюпанье долетает даже сюда. Что поделаешь, «мы – Израиль, у нас сирот не бывает». Несколько секунд алюф¹³ Цвика Гидеон с Дорой смотрели друг на друга молча, и вдруг приступ панического страха в очередной раз накатил на него, и он понял, что снова пытается вычитать в ее длинных темных глазах ответ на мучающий его вопрос. Дора дышала, влажные волоски у черной кромки пасти ритмично шевелились; на секунду ему показалось, что собака смотрит на него нехорошо, исподлюбя – или нет, или наоборот, как-то косо, и что лучше – косо или исподлюбя? Он почувствовал, что у него немеют щеки и намокает шея, и тоже задышал глубоко, и быстро отвел глаза от Доры. Сердце его колотилось. Панические атаки стали привычными с того самого дня, как Илана Гарман надавила на него, с того дня, когда отступить стало некуда, с прошлого вторника. Боясь посмотреть на Дору, он вдруг ска-

¹³ Генерал (*ивр.*).

зал тоненько, как мальчишка: «Хочешь мяска?» – и от этого заискивающего «мяска» его передернуло, тем более, что Дорин паек кончился, следующая раздача должна быть через четыре часа. «Не», – сказала Дора (слава богу), и он с облегчением сказал (эдак бодренько): «Ну, как хочешь!»

Иногда собаки случайно съедают что-нибудь ядовитое и умирают. Иногда прыгают за птицей, падают с балкона и разбиваются.

Через четыре часа Илана Гарман уже будет здесь, а он еще будет в штабе. От этой мысли у него опять онемели щеки. Он в сотый раз подумал, не взять ли Дору с собой в штаб, не пошутить ли как-нибудь про то, что эта сучка ни на шаг его от себя не отпускает – или, наоборот, что это вроде традиционного «Дня профессий», как когда на работу приводят ребенка. Дебильная идея, он опаздывал, надо идти, а они с Дорой все смотрели друг на друга (почему, почему всем не спалось в пять утра? Иногда он думал, что эти невыносимо ранние поголовные вставания – тоже признак асона, но все было проще: людей поднимала *маета*, вот что). Потом неразговорчивая Дора развернулась совершенно внезапно и потрусила в коридор, где Дана Гидеон скакала по клеткам бесконечной ковровой дорожки, уча Марика Ройнштейна бесконечной игре под бесконечную кричалку. Он опаздывал, но дождался момента, когда кричалка прервалась на последнем задыхающемся «...са-ла-мат!»¹⁴. Топ-топ по мягкой дорожке, прочь, на пляж, на узкий, хорошо охраняемый квадрат песка, где каждый день играли или занимались с хорошо охраняемой учительницей (бывшей медсестрой) одни и те же хорошо охраняемые дети. Несколько дней назад он попытался встроиться в какую-то их пляжную игру – подбежал легкой трусцой, скинул сандалии, бодренько («Хочешь мяска?») закричал: «А вот кто на генерала? А? Кто на генерала?» Дочь, только что скакавшая с мячом вправо-влево и делавшая вид, что ее хлупающий носом суслик способен перехватить атаку, тут же уронила мяч на песок и медленно провела грязной рукой по лицу. Он не мог сдаться сразу, немножко попрыгал по песку туда-сюда, а потом сделал вид, что направлялся не к детям, а к воде, к водичке; снедаемый неловкостью, он обернулся, чтобы помахать детям рукой, ветер подбросил в воздух пригоршню песка, и радужный блеск вдруг создал для алюфа Цвика Гидеона неприятный персональный мираж: ему показалось, что Марик Ройнштейн смотрит на него с нехорошей, взрослой язвительной улыбкой. Он впервые заметил, что у Марика Ройнштейна начал выпирать кадык.

Алюф Цвика Гидеон проверил, в бумажнике ли пропуск для Иланы Гарман, и на выходе отдал этот пропуск часовому, идиотски улыбнувшемуся в ответ, как будто ему доверили любовную тайну. Чтобы дурень не мнил о себе бог весть что, алюф Цвика Гидеон строго и громко сказал ему: «Моя будущая жена с сегодняшнего дня переселяется к нам. Вот ее пропуск на случай, если она придет раньше меня», – и, не глядя на часового, пошел к лестнице, вниз, в подвал, в обшитый кафелем и сталью, обвешанный дуршлагами и половниками чрезвычайный штаб Южного округа. Все дуршлагы были никакими, а один – огромным, тяжелым, мятым, похожим на пьяное лицо с запавшими глазами; вроде этот дуршлаг лично принадлежал какой-то кулинарной знаменитости, вроде в меню гостиничного ресторана были какие-то блинчики по адовой цене, и муку для этих блинчиков просеивали только через этот дуршлаг уже пятьдесят лет. Сколько прелести в таком гастрономическом выпендреже! На первое свидание, всего за несколько недель до асона, он повез Илану Гарман в холодный и темный русский ресторан, вычитанный им в газете для тех, кто считает себя сильно умным (сам он любил читать там про еду и музыку и еще смотрел, нигде ли не упоминают его самого). Официант в мягкой белой рубашке долго рассказывал про каждый пункт в меню, и почти все названия были чьими-то нечитаемыми фамилиями на «-ов» и «-ский», и деликатная Илана Гарман сказала, что зака-

¹⁴ «До свидания!» (араб.)

зывать в русском ресторане черную икру – это пошлость, так что они ели крошечные порции крошечных кисунэй-басар¹⁵. Илана Гарман пыталась объяснить ему, что это никак не кисунэй-басар, а совершенно другое блюдо, которое только выглядит, как кисунэй-басар, но на самом деле его лепят с сырым мясом внутри. Он так и не смог произнести название этого блюда правильно. Вернувшись к себе, он быстро сунул в микроволновку четыре сосиски и съел их стоя. Будь в этом русском месте нормальные порции, он бы не спешил домой, а первое свидание могло бы закончиться постелью – и обернуться простым стуцем¹⁶. Второго свидания у них не было – оно оказалось как бы не нужным, они как бы просто начали жить дальше хорошо устроенной семейной жизнью, словно Илана Гарман уже шесть лет водила Дану Гидеон к врачу, когда та заразилась от Марика Ройнштейна какой-то глазной дрянью (и Марика заодно взяла с собой, добрая женщина). Словно сказать ему, что он должен чаще мыть голову, – совершенно нормально. Словно она вообще не знала, кто он, собственно, такой. Конечно, она знала, кто он, собственно, такой и что с ним произошло, но ни разу ни о чем не спросила. Наверное, она ждала какой-то безмолвной награды за свою тактичность. Он знал, что на самом деле ее снедает вечная бабья жадность (или просто человеческая жадность, уж он-то навидался такой жадности за годы, прошедшие со смерти жены): расспросить, вызнать; но еще сильнее была жадность другого рода: оказаться доверенным лицом. Он не рассказывал ей ничего и получал от этого несколько непристойное удовольствие: обычно ему не нравилась подобная тягмотина, игра в молчанку, тихая и вечная супружеская битва за крошечные заначки личных тайн. Но. Но. Илана Гарман мечтала зарыться с головой в глухую, темную, всей страной обсопанную драму шестилетней давности, окружить его величественным мрачным сочувствием, зализать его раны (он привык, что женщины липли к нему, выдавая информационную жадность за сострадание, как только узнавали в нем Того Самого Алюфа). Илана Гарман хотела страдать вместе с ним и наслаждаться своими самоотверженными муками – а у него в голове постепенно складывалось нечестное, но приятное уравнение: словно бы радость, которую вся эта ддрррррррама приносила Илане Гарман, в какой-то мере искупала ужас, выпавший на долю бедной Шуши в ночь ее черной смерти. Правды о происшедшем Илане Гарман не видеть, как рыбке своей пиписки, но он планировал по капле поить эту женщину тем, что вся страна считала правдой. Да, по капле, по полслова – здесь трагическое умолчание, там кривая усмешка, – чтобы Илане Гарман хватило надолго, чтобы она понимала, как много она для него значит, как сильно он хочет научиться раскрывать перед ней свое измученное сердце. Втайне он еще и лелеял важную догадку: страдания, перенесенные им когда-то, – это индульгенции, которые можно реализовать сейчас. Он не собирался этим пользоваться, мысли такого рода добавляли к постоянному серому вкусу вины во рту еще один оттенок, но вот сейчас, проходя мимо отключенных лифтов с зеркальными дверями, он представил себе, как Илана Гарман стоит за его плечом, а он медленно проводит рукой по хорошо сохранившимся волосам и вдруг говорит: «Шуши не верила, что я поседею». Лицо Иланы Гарман в зеркале изменится, выражение станет одновременно страдальческим, сосредоточенным и значительным, и это сделает их ближе. Вспомним сюжетец: он дал официанту в белом сюртуке с крошечным мясным пятном у кармана свою кредитку, но разрешил Илане Гарман положить в папочку со счетом пятьдесят пять шекелей чаевых. «Я не люблю наличные», – сказал он, ничего особого не имея в виду, и вдруг ее лицо стало серьезным и нежным: о, самоотверженное женское сострадание; о, тихое понимание; о, деликатная поддержка. Ну да, ну да, после истории с выкупом, с провалившимся выкупом, со срезанной татуировкой («Маленькая черепашка, покрытая запекшейся кровью, потрясла следователя, когда он пинцетом извлек содержимое из конверта, подсунутого Гидеону под дверь», – своим бежевым замшевым слогом писала газета для тех, кто считает

¹⁵ Вареники с мясом (*иер.*).

¹⁶ Перепихон, одноразовый секс без обязательств (*иер.*).

себя сильно умным). После такого любой человек имел право невзлюбить наличные, и предположение Иланы Гарман было совершенно резонным. Увидев выражение ее лица, он решил ничего не объяснять, не говорить, что наличные действительно всегда были ему неприятны, что в прилюдном пересчете денег он видел нечто непристойное. Илана Гарман имела право воображать... ну, что? Как он дрожащими руками запикивает триста двадцать тысяч наличными в потертый китбек¹⁷ («оставшийся у него со времен тиронута¹⁸ – алюф Цвика Гидеон говорил потом, что выбрал этот китбек бессознательно, словно собирался на войну», – писала все та же газета)? Как он роняет пачку-другую, как шарит в сейфе – точно триста двадцать? Не ошибся ли он, не дай бог? Все ли выгреб до последней купюры? Илане Гарман явно были дороги эти воображаемые картины. Их первое свидание, кстати, могло оказаться обыкновенным стуцем, хотя это было хорошее свидание. Он остался голодным после кисунэй-басар и крошечного десерта с названием на «-ский», уложенного в огромную тарелку. Но был доволен собой, этой женщиной, этим сюжетом. Она наверняка тоже осталась голодной. Он мог поехать спать к ней, а мог позвать ее спать к себе, но не сделал ни того, ни другого.

После первых шести дней асона он сумел ее разыскать – они оба рыдали, оба не могли поверить, что встретились и остались живы, и Дана Гидеон тоже рыдала, уткнувшись Илане Гарман в мягкий живот и вцепившись пальчиками в порванный карман ее куртки. О да, тогда он точно мог позвать ее спать к себе – и опять не позвал. За последующие месяцы он мог позвать ее спать к себе десятки раз. Он мог позвать ее жить к себе, забрать ее из «каравана»¹⁹, в котором, кроме нее, ютились еще шесть женщин, забрать из барачного спасательного лагеря, где был один душ на восемьдесят человек. Он мог давно забрать ее к себе – но говорил ей, что пропуск нужно делать очень долго, что его уже делают, что его сделают вот-вот. Она явно понимала, что алюф Цвика Гидеон врет, но не сердилась. Наверняка она считала, что сближение с женщиной дается ему тяжело. Что впустить другую женщину в дом после того, что произошло с Шуши, – это огромное, огромное решение. Что Цвика Гидеон дает Дане Гидеон время подготовиться к этому решению (кажется, Илана Гарман ни секунды не сомневалась, что они съедутся рано или поздно). Наверняка она находила некоторое удовольствие в том, что оказалась такой понимающей, тонкой и терпеливой.

На самом деле постоянный пропуск в гостиницу давали за семьдесят два часа, а главе штаба Южного округа пропуск (как выяснилось) готовы были дать через час после того, как он положил на стол Адаас Бар-Лев свою заявку (понимающая, поддерживающая улыбка, вечная игра в «если бы» – если бы не его ужасная трагедия, между ними могло бы и быть кое-что, тем более теперь, когда муж Адаас Бар-Лев сгинул в какой-то больнице, но нет, ах, нет, – кстати, не задела ли Адаас Бар-Лев эта заявка на пропуск для Иланы Гарман?). Когда он спросил Дану Гидеон, как она смотрит на то, чтобы Илануш переехала к ним жить, Дана Гидеон в свойственной ей нехитрой манере вопила и скакала и чуть не повалила торшер (нет, не сегодня! Не завтра! Не скачи! Потому что пропуск! Пропуск очень долго делают, это же война, это же штаб. Успокойся! Бери Марика, и идите поешьте, хватит скакать). Словом, Илана Гарман давно могла жить в гулкой, неестественно пустой роскоши пятизвездочной гостиницы с собственным пляжем, с собственным куском радужного моря, с неработающими кондиционерами, но с работающим по три часа в день электричеством, с настоящими простынями, которые солдаты из службы быта меняли два раза в неделю. Формально говоря, постоянные пропуска должны были выдаваться только в исключительных случаях и только ближайшим членам семьи, но алюф Цвика Гидеон знал, что Зеев Банай поселил у себя престарелую мать одного из своих почерневших подчиненных, что Сури Магриб приводила к себе уже двух женщин, каждый раз

¹⁷ Зд.: солдатский заплечный мешок (*ивр.*).

¹⁸ Курс молодого бойца, первый этап службы в израильской армии.

¹⁹ Зд.: длинное временное передвижное жилое помещение (*ивр.*).

заказывая пропуск на имя своей пропавшей без вести сестры (и о сестре, и о женщинах битахон²⁰ не мог не знать, но, видимо, хлопот и без того хватало) и что в номере у Зеева Тамарчика (похабнейшее гнездышко для новобрачных, с красными покрывалами, зеркальными потолками и прозрачным джакузи; и шутки-то все уже выдохлись) живет его падчерица, дочь бывшей жены, Соня, Сонечка, худышка на пару лет постарше Даны (и весь штаб делал вид, что рыдающая девочка-подросток, которую Тамарчик иногда выносит на пляж на руках и с которой Дана Гидеон и Марик Ройнштейн боятся заговорить, – это призрак, призрак, Плакса Миртл). Илана Гарман давно могла мыться каждый день, мыться теплой водой из проточного нагревателя. Если бы не Дора.

Иногда собаки убегают, и с ними случается что-нибудь плохое. Иногда их крадут сумасшедшие похитители чужих собак. Иногда они подкапываются под дом, застревают между креплениями и погибают.

Алюф Цвика Гидеон совсем не думал о Доре после асона, хотя Тамарчик и пытался пару раз спросить, как там его собака (у глухонемого сына Тамарчика был попугай, который во время асона вроде как улетел, и Тамарчик рассказывал всем, что это в чистом виде милосердие Божье, а то страшно даже подумать, каково бы его сыну было вот это вот все). Дора оказалась немногословной животинкой, так что разница между прежними временами и нынешними была небольшой (Дана Гидеон, кстати, словно бы отказалась признать способность Доры к человеческой речи, и это было довольно странно: большинство детей новая реальность или пугала до шока, или радовала до визга. Сама же Дора почему-то охотнее всего разговаривала с Мариком Ройнштейном – может, потому, что этот недотыкомка всегда, и до асона и нынче, немел при ее приближении, а теперь только покорно кивал в ответ на любое ее редкое слово). Алюфу Цвике Гидеону же, ей-богу, и без Доры было о чем подумать: он отвечал за миюн, за разделение выживших в его округе гражданских лиц (а их тут, кстати, было больше, чем даже в «волшебном кольце») на тех, кого следовало запихнуть в медлагерь, и на тех, кого ждали «временные поселения» – сговняканные на скорую руку барачные города, про которые было ясно, что они тут навеки – если еще существуют «навечно». Два часа инструктажа, проведенного на рассвете падающим от усталости военным психологом, – и его солдаты отправились объяснять людям, что их писающая под себя бабушка поедет в гериатрический медлагерь – и нет, с ней нельзя. И что их ослепший мальчик поедет в педиатрический медлагерь – и нет, с ним нельзя. И что их дрожащая, покрытая радужной коростой, бесконечно повторяющая на одной ноте: «Что? Что? Что? Что? Что? Что?» левретка поедет в ветлагерь – и нет, с ней нельзя. В ответ его солдат называли фашистами. Их называли зверями хуже фашистов. Их называли «доктор Менгеле». Лично его называли «доктор Менгеле» чаще всех, и когда заработало радио, он дважды слышал, как некто хамоватый (и, судя по голосу, жирный) быстро-быстро выплевывал в потрескивающее пространство словесную дрянь, за которую его полагалось бы прижучить как следует, обволакивал ее патокой и делал вид, что занимается разъяснительной работой: «Вы спрашиваете: „Неужели человек, потерявший жену в такой страшной личной трагедии, способен разлучать семьи? Неужели нельзя было построить систему, при которой медлагеря принимают вместе с несчастным пострадавшим его близких? Неужели алюф не помнит, каково это – знать, что любимый человек страдает, самому быть в шоке – и не иметь возможности повидаться?“ Я вам скажу: не дай нам всем бог пережить то, что пережил алюф Цвика Гидеон в те двадцать шесть часов – больше чем двадцать шесть часов! – когда его жена была неизвестно где, а его маленькая девочка не знала, куда делась ее мама; в те двадцать шесть часов, когда алюф Цвика Гидеон ждал, что ему позвонят про выкуп, а дальше произошел весь этот ужас

²⁰ Служба безопасности (ивр.).

с его несчастной Шуши! „Как может этот человек отделять людей, тем более больных людей от семьи, если не то что пострадавшим – нам всем надо сейчас быть вместе, мы сейчас все должны быть как одна большая семья! Как можно в это жуткое время забирать больную маму у ребенка и больного сына у родителей? Неужели нельзя было придумать что-то, хоть что-то вместо этого позора?“ – спрашиваете вы, а некоторые еще и добавляют: „И ладно жена – но ведь Господь благословенный помиловал дочку нашего алюфа в первый день асона – сколько детей выжили в этой школе? Сорок девять человек во всей школе! А если бы (хамса-хамса-хамса!²¹) с девочкой тогда что-нибудь случилось – что, алюф Цвика Гидеон отдал бы раненого ребенка в медлагерь?..“» – трещало радио, и алюф Цвика Гидеон слушал эту трескотню, сидя, как вот сейчас, на стальной разделочной поверхности посреди десертного цеха, ждал, когда подтянутся еще три человека. В подземном десертном цеху гостиницы, все еще наполненном нежными и бесстыжими запахами, в невыносимо ранние часы заседал малый совет Южного штаба. Было пять тридцать утра, и алюфу Цвике Гидеону казалось, что не осталось во вселенной никакого другого времени суток – только изнурительный, безнадежный рассвет.

Сегодня надо было наконец решить, как организовать перевозку выздоровевших из медлагерей в барачные города – по разорванным дорогам, покрытым скользкой радужной пылью. До сих пор получалось, что никак, выздоровевшие слонялись по медлагерям, требовали, чтоб их вернули к семьям, изнывали, устраивали бардак, и медлагеря постепенно превращались в те же самые барачные города, только еще хуже. К счастью, он придумал кое-что сегодня ночью (пока думал про Дору, про Дору): надо договориться с лошадьми и с верблюдами. Собрать лошадей с каких-нибудь ферм, из катательных аттракционов, из кибуцев, откуда можно, и еще договориться с верблюдами (потому что в Негеве до сих пор оставались верблюды, несмотря на «бури» или как там это решено называть). Надо, сказал он, всем им (лошадям, верблюдам, каким-нибудь пони, ослам еще, может быть, если найдутся... кстати, а что бараны? Нет?) предложить паек, предложить законы, чтобы прятаться от «бурь», надо предложить им «хабасы» (или это будут «кабасы»²², раз не костюм, а – покров? чехол? – неважно). Сейчас кто угодно сделает что угодно за паек и полипреновый костюм, сказал он. Ох, ну естественно: вам случалось видеть, как двуслойным наждачным одеялом ползет на вас буша-вэ-хирпа? (Кроме Сури всем случалось: Сури, понятно, не видела ничего, асон застал Сури в этой гостинице, она проводила тут отпуск с сестрой, связи не было, две роты под командованием Баная и Тамар-чика пытались обследовать район, чернея по одному, и так штаб Южного округа постепенно собрался в этом «Рэдиссоне». Сури ни разу не вышла из гостиницы с асона, даже на пляж, и все делали вид, что это нормально.) Так вот, если вы это видели, вы поймете: когда наползает на землю двуслойным наждачным одеялом буша-вэ-хирпа, верблюды гибнут десятками, по большей части затаптывая друг друга в панической драке за укрытие. Давайте договариваться с верблюдами, сказал он, я поеду. (Потом он даже не поинтересовался, как в результате стали называть огромные верблюжьи чехлы из полипрена, сказал, чтобы ему не морочили этим голову. Наверное, все-таки «кабасы».) Он поехал в Рахат и дальше, за Рахат, и договорился. Он показывал верблюдам на пальцах, как чехол будет покрывать их с головы до ног, и топал, изображая копыта, защищенные полипреном, а потом верблюды что-то блеяли между собой и мялись, потому что боялись двигаться с места, боялись перехода через пустыню. Идея про лошадей отпала с третьей попытки: куда бы он ни отправил своих людей, тут же выяснялось, что лошади – истерички, он не хотел иметь дела с истеричками. Верблюды были ок, хотя ему и двум его солдатам пришлось повторять одно и то же по пятьдесят раз, потому что у верблюдов не было никакого нормального центра, никакой самоорганизации. Он приходил с ящиком пайков, собранных его мальчиками из того, что было не жалко, Милена стояла у него за спиной

²¹ Выражение, точнее всего переводимое как «не приведи бог» (*ивр.*).

²² Вымышленное ивритское слово, составленное из слов «халифа» (костюм) и «бадшаб».

с автоматом, он клал перед каждым верблюдом по две пайки и начинал говорить. Верблюды сбивались в группки по трое и четверо, один раз он выступал перед аудиторией из восьми верблюдов сразу. Верблюды смотрели только на ящик с пайком и на рулоны полипрена, а он смотрел на них, с тоской думая, сколько же времени эти дохлые огрызки будут идти от, скажем, «Бриюты» (самого набитого из медлагерей и самого криво расположенного, поставленного в низине, и дела там тоже всегда шли криво) до огромной караванки «Далет», где жило в бараках с наспех забитыми полипреном щелями испуганное и растерянное человеческое стадо поголовьем в несколько тысяч штук. Но в результате прицепы с выздоравливающими каждый день отправлялись из медлагерей в караванки (мальчики Сури спроектировали высоченные оглобли для верблюдов и сами сколотили их из говна и палок). А его все равно называли доктором Менгеле, все равно пеняли ему на то, что он живет в «Рэдиссоне» (как будто остальной штаб жил в говне), припоминали, что его дочка, уж извините, жива-здоровая и находится рядом с ним. «Дай ей бог всего самого лучшего, бедной сиротке, – трещало радио, – но некоторые люди продолжают задавать алюфу Гидеону очень нехорошие вопросы. Они говорят: „Неужели алюф отдал бы свою девочку в медлагерь, если бы, не дай бог, поиски сначала велись в другой части школы, если бы, хамса-хамса-хамса, девочка пострадала и ей надо было лечиться?“» Он никогда не видел ведущего передачи «Рэфуа шлема»²³, но чувствовал, какой этот говнюк жирный, и с наслаждением представлял себе, как мягко вдавливают ботинок в его кадык и как на шее у этого говнюка собираются бордовые складки. Но все равно он слушал радио каждый день, тайком от дочери уносил приемник в ванную, надевал наушники, не признался бы в этом никому, делал вид, что ему плевать на радио (хотя ему и казалось иногда, что возле замочной скважины подозрительно хлюпает кое-чей сопливый любопытный нос). Он даже внеурочного сыру ни разу дочери не принес, все строго по пайку! (И внутренний голос сразу: тварь бездушная, даже сыру внеурочного дочери не принес, все строго по пайку!) Слова толстяка обостряли в нем чувство вины, но не за медлагеря, нет, а за то, что на самом деле он был бы счастлив куда-нибудь деть сейчас Дану Гидеон, а о Марике Ройнштейне и говорить нечего. У него просто не было сейчас сил на Дану Гидеон. И Марик же! Так вот, когда по ночам он сидел в наушниках на унитазе, перелистывая насквозь проштудированный гостиничный журнал (что-то вроде медитативной практики), его иногда внезапно охватывало просветление: господи, да он совершенно напрасно нервничает из-за Доры! Ну что Дора? Что Дора? Шесть лет назад Дора была щенком. Дора была тогда как бы трехлетним ребенком, а сейчас, в пересчете на человеческий возраст, ей шестью четыре? Двадцать четыре года. Что человек двадцати четырех лет может помнить о разговоре, который случайно услышал, когда ему было три? Не о разговоре даже: об одном коротеньком телефонном звонке. Даже не звонке: об одном «нет», повторенном дважды, а потом на той стороне дали отбой, и алюф Цвика Гидеон (тогда еще алюф-мишнэ²⁴) остался стоять с колотящимся от ярости сердцем и липким от пота мобильником в руке. Ах, ну не будем морочить голову читателю: короче, Дора была в комнате, когда они позвонили ему во второй раз. Не на мобильный и не на рабочий мобильный, которые в этот момент прослушивались как минимум десятком битохонщиков, а на третий мобильный, про который Шуши ничего не знала и никто ничего не знал: у него было право на собственную жизнь, в конце концов, – а откуда эти твари узнали про третий мобильный? – тут он чувствовал, что к боли и ненависти примешивается некоторое, чего скрывать, уважение: хитрые же гады, твари, хитрые же твари (неполиткорректные нынче эпитеты, причем оба, объяснила им Сури на недавнем инструктаже, проведенном по распоряжению каких-то идиотов из центра, мы больше не обзываемся словами, которые означают животных). Так вот: да, Дора во время этого избежавшего прослушки разговора была с ним в комнате. Да, только он и Дора, миленький щеночек, Dora the

²³ Дословно «Полное исцеление» (ивр.); это же выражение используется как пожелание скорейшего выздоровления.

²⁴ Полковник (ивр.).

Explorer, которую малютка Дана Гидеон настоятельно требовала назвать Даной Гидеон, – еле договорились, мудрено ли, что он путается? Какая же сложная девочка все-таки, хамса-хамса-хамса. Кажется, Дора тогда спала. В любом случае, лежала, закрыв глаза. Так или иначе, Дора не могла ничего понимать. Они назвали сумму, очень точную, знали, твари, точную сумму в сейфе до бумажечки (откуда?! – так и не выяснилось). Он давился яростью. Они сказали, что сейчас назовут время и место. Он на секунду оглох, или они медлили, воображая, как он мечется в поисках воображаемого карандаша. Они сказали: «Аллё?» – и он вдруг услышал, как его рот совершенно по собственной воле с ненавистью произносит в трубку: «Нет». На том конце провода как-то вроде захлебнулись воздухом; даже сквозь приبلуду, которая превращала их голос в стальную проволоку, изгибающуюся так и сая, чтобы получались стальные слова, было слышно, что они захлебнулись воздухом: ну да, ну да, вот уж слова «нет» они не ждали. «Забыл ли ты, дружок, про конвертик с черепашкой, плохо ли мы тебе объяснили, дружок?» Они этого не сказали – просто задохнулись воздухом, и в этот судорожный вдох он аккуратненько уместил свое повторное «нет», все уже понимая – и понимая, что это ярость говорит его ртом, белая ледяная ярость. Они бросили трубку. Потом он стал ждать. Они сейчас перезвонят. Они сейчас перезвонят. Они сейчас перезвонят. Они сейчас перезвонят. Они сейчас перезвонят. Потом все стало ясно, и он вышел к следователям. Он как будто бы лежал в это время комком на проссанном Дорой диване, маленький бедный птенчик, полковник, будущий глава штаба Южного округа, и грыз губу, стараясь не думать про запекшуюся черепашку, а тот, кто его ртом сказал «нет» (два раза), вышел к следователям с третьим мобильником в руке, растерянный, но собранный (да, так): он виноват, ему стыдно, он должен был сказать им, что существует третий номер, и нет, у него сейчас нет другой женщины, он любит свою жену, он больше жизни любит жену и дочь, просто... На него замахали руками: он не обязан ничего объяснять – да-да, простите, я не об этом, но так или иначе: они позвонили на третий номер, они назвали сумму, он согласился, сказал им «да». Дальше было, что было, а в день похорон («Пожалуйста, не надо меня кормить, не надо за мной заезжать, не надо вокруг меня носиться, бога ради, Лори, я приеду сам») он выходил из пустой квартиры (Дана Гидеон была у друзей сестры, в их семье существовало твердое правило: детям не место на похоронах), то есть должен был выходить, но не мог выйти, тупо ходил из комнаты в комнату, все время забывая, что он ищет свою бутылку с водой, вспоминая, ища ее почему-то в не застеленной постели, или среди дочкиных игрушек, или под подушкой у Шуши, и все это время Дора ходила за ним (тут хочется сказать «молча» – а как же еще? – просто ходила за ним, цок-цок). И вот прошло шесть лет, он сидел на унитазах в холодном люксе гостиницы «Рэдиссон», уставившись на журнальную картинку (мрачные болотистые эльфы насыпают полной красавице полные полные руки полых браслетов), и совершенно внезапно к нему приходило что-то вроде блаженного прозрения: господи, о чем вообще речь? Чего ему бояться? Собака ходила за ним по квартире в день похорон хозяйки. Собака всегда ходила за кем-нибудь по квартире. Что он себе напридумывал, что накрутил? Что Дора могла понять тогда, что может помнить сейчас, но главное – почему, почему она должна сказать что-нибудь Илане Гарман? Откуда эта фантазия? Раньше он ни разу не думал ни о чем подобном, а мало ли людей с начала асона общалось с Дорой? Он в пятитысячный раз представлял себе, как Дора и Илана Гарман оказываются наедине, но сейчас ему рисовалась милая пасторальная сцена: поглаживания и поскуливания, поговаривания и... ну, поборматывания, совершенно бессмысленные поборматывания бессмысленной собаки. Итого: Илана Гарман должна переехать к нему завтра же, Илана Гарман может переехать к нему прямо завтра, и тогда, да простит его Господь, будет кому возиться с Даной Гидеон и ее сопливчиком, хотя дело, конечно, не только в этом. Он энергично вскакивал, он решал, что завтра же пойдет за пропуском, он быстренько составлял в голове небольшой список дел: предупредить часового, провести с утра пораньше дисциплинарную беседу с дочерью («Слушаться Илануш, как меня, ясно, суслик?»),

что-то еще, что-то еще... Но с каждой секундой его кристально ясное просветление мутнело, он еще пытался удержать его (длинное, тянущее усилие где-то в глубине правого виска), но оно расползлось и рвалось, и от страха у него снова немели щеки. Такие моменты напрасного просветления случались почти каждый вечер, он был измучен. И вот мы здесь: настал день, когда Илана Гарман надавила на него – нет, нечестно так говорить, давайте предположим, что в этом не было ничего манипулятивного: просто уставшая от бытовых тягот постапокалиптической жизни немолодая женщина разрыдалась на плече у любимого. Просто невыносимая кликушествовавшая дура в ее бараке опять полночи причитала, что скоро пайки срежут, потом отменят, и все станут есть друг друга, и она может им гарантировать: с нее они не начнут, пусть даже не надеются. Просто им сообщили, что из-за нехватки воды чистые полотенца выдадут только в пятницу. Просто к ней опять приходил вязкий философствующий потнюк из Защитной службы и вел долгие разговоры, и рассказывал, что его бывшая держала кота, так вот этому коту и слова были не нужны, и без слов было ясно, что кот – говнюк; когда он первый раз пришел к этой бывшей потрахаться, он кота уже через пять минут взял за шкурку и швырнул об стенку – и сутки был нормальный котик, мурлыкал, терся об ноги, а через сутки опять говнюк, штаны дерет когтями, он кота за шкурку, а эта бывшая его за дверь, вот же есть женщины, с которыми даже кот может обращаться, как с говном, такая ему не нужна, то ли дело Илана Гарман, в Илане Гарман есть уважение, он видит это уважение, женщину, в которой есть уважение, и мужчина будет всю жизнь уважать – и т. д., и запах этот жуткий от него. Просто... ой, нет, просто она, Илана Гарман, эгоистичная дура, фу, ей стыдно, пожалуйста, пусть он на нее не сердится, на нем такой груз, и она понимает, как ему сложно, и вообще, она так благодарна, что он дает ей шанс, фу, как же ей стыдно за эти рыдания, сейчас она перестанет. Он сказал, что ей не должно быть стыдно, что она не должна переставать, что она всегда может плакать при нем и жаловаться ему на что угодно, что завтра она переезжает к нему и он больше не хочет слышать никаких отговорок. На этом месте Илана Гарман даже подалась назад, приоткрыв рот совсем как Марик Ройнштейн – ааа? каких отговорок? – но в такие моменты кто же станет уточнять? Никто – и она заново разрыдалась и сказала, какой он хороший, какой он удивительный человек. С этого момента он перестал спать. Дора ходила за ним, цокая когтями, и в какой-то момент он схватил собаку и кусачками подстриг ей когти. Дора после этого долго жевала и вылизывала себе пальцы, а потом сказала: «Покажи свои». Он снял носок и показал желтоватые, аккуратно подстриженные ногти. Это, видно, дало собаке ответ на какой-то занимавший ее вопрос, она потеряла к своим ногам всякий интерес, но три дня назад он опять стал слышать это цок-цок, и в своем измученном, издерганном состоянии счел это дурным знаком. Нынче же, стоя у гигантской гостиничной духовки (Зеев Тамарчик попытался усесться на раздельную поверхность рядом с ним, и он, как всегда, постарался оказаться от Зеева Тамарчика как можно дальше: он сам не замечал, как это происходит, и если бы кто-нибудь сказал ему, он бы удивился, он считал, что Зеев Тамарчик хороший и толковый мужик, хоть и неопытный и немножко пошляк), алюф Цвика Гидеон цок-цок, цок-цокал ногтями то одной руки, то другой по своему темному отражению в теплостойком стекле. Всю еду для штаба и штабных приживальцев готовили не тут, а на малой кухне в другом крыле гостиницы, и поверхности, в последний раз надраенные три недели назад, медленно покрывались радужной пылью.

Иногда собаки просто теряются. Уходят и не приходят. Заходят в море и не выходят. Верблюды все время гибнут, когда напалзает буша-вэ-хирпа. Собаки не успевают домой, не успевают добежать до гостиницы по тревоге, двери закрываются, Дана Гидеон плачет и кричит, Марик Ройнштейн молча соплится пище обычного, бедная собака, бедные дети.

Зеев Тамарчик рассказывает анекдот: «Верблюд, собака и корова заходят в бар – и ничего, все нормально». Внезапно алюф Цвика Гидеон соскакивает с плиты (далее очевидная

последовательность: бежит, лифт, не лифт, лестница, коридору положено быть бесконечным, что еще? – ну, понятно, – и вот он вбегает в номер...), и вот он вбегает в номер: все хорошо. Илана Гарман изумлена, Илана Гарман счастлива: он выбежал на минуточку ее обнять, сказать, как он ей рад. Где дети? У моря. Где Дора? С детьми. Где моя бутылка с водой? Вот, ты забыл ее на кресле. Ты самый лучший. Я тебя люблю. Алюф Цвика Гидеон ползет назад в кухню по темным коридорам, как таракан, черный-черный таракан в полипропиленовых дурацких тряпках. Телом, мышцами спины он помнит, как полз вот так шесть лет назад темным переулком после спектакля, разыгранного им (признаемся теперь здесь, в пустом коридоре) совершенно бездарно, но чтобы усомниться в подлинности представления, надо было допустить, что он сказал в трубку «нет», что человек, у которого требуют выкупа за жену, может сказать «нет». За спиной, в переполненном мусорном контейнере, лежал его китбек с тремястами двадцатью тысячами наличных денег (минус две пачки, но он сам не знал, что уронил их). Впереди у него, казалось бы, не было ничего, кроме плохо освещенной ночной улицы, а на самом деле – человек, наверное, тридцать в черной маскировочной одежде, в защитках и жилетах, в касках и очках ночного видения, и все они так жалели, так жалели бедного алюфа-мишнэ Цвику Гидеона, многообещающего Цвику Гидеона, Цвику Гидеона, который когда-нибудь наверняка станет начальником штаба, и они будут рассказывать, как прикрывали его той густой и горькой ночью, когда он нес выкуп по темному переулку, закидывал китбек в переполненный мусорный бак и полз обратно по темному переулку, как черный, раздавленный, почти мертвый таракан. Кто будет рассказывать, как взял на месте явившихся за выкупом злодеев, садистов, негодяев? Никто: они прождали этих негодяев, злодеев, садистов тридцать шесть часов. Никто не пришел. Они прождали еще сутки. Никто не пришел. Они прождали еще два часа, и тут приехал глава полиции: тело Шуши нашли (далее подробности; Гидеон потребовал все, все подробности, он требовал повторять подробности, терзал себя и тех, кто вынужден был сообщать ему подробности, терзал и терзал и терзал). Полиция пыталась вернуть ему деньги из бака. Нет, это улика, нет, пускай они лежат у вас, пускай, вдруг когда-нибудь... Вдруг однажды это позволит... Зачем спорить с измученным горем человеком? Спорить с измученным горем человеком не надо (а надо сказать: он был измучен горем. Он был измучен страшнее и чернее, чем кто-нибудь мог вообразить, он был измучен горем, и виной, и стыдом, и виной, и стыдом, и виной). И вот он ползет назад, в штаб, на заседание кондитерского цеха (хихи). Позади у него номер, в котором очень хорошая женщина раскладывает вещи из жалкой сумки весом менее 8 килограмм (по его же инструкциям в лагерь запрещалось брать больше). Впереди у него светлое и спокойное счастье, позади у него безумие, навязчивая мысль, нелепая и необъяснимая задним числом: откуда? Почему? Какое расскажет? Какая Дора? Дора – это вина, вот и все, алюф Цвика Гидеон даже не понимает, что отлично это понимает, и очень хорошо, что не понимает (покойная Шуши, кстати, умела подносить ему такие психоаналитические откровения с самоуверенным видом, и это бесило его до зуда).

Сладко пахнет несуществующими более пончиками и шоколадом, из которого пайки категории Н2, раздаваемые мирному населению, состоят на 11%. Он отдает две трети мяса и тунца из своего пайка А1 детям, и все равно они едят раз в десять больше шоколада, чем он бы позволил им в мирное время (ладно, нет смысла об этом думать). Что я пропустил? Приходил мальчик. Какой мальчик? Этот твой мальчик. Что, один?! (Алюф Цвика Гидеон не мог представить себе, что хлюпало сделает хоть шаг без Даны.) Да, один. Нет-нет, с Даной Гидеон все хорошо, и с собакой все хорошо. Он сказал – ему надо поговорить. Гребанный мальчик. Черт знает что, а не утро. Я выйду на всякий случай и найду гребаного мальчика? Конечно, мы пока про гигиену в лагерях, это ответственность Тamarчика, никто не слушает Тamarчика.

Он почему-то представлял себе, что Марик Ройнштейн, как всегда, стоит за спиной у Даны, пока та радужными ногами пинает радужную морскую воду или занимается чем-нибудь еще с той же мерой осмысленности, но сопливчик подвернулся ему под ноги прямо за углом, по

пути к центральным лифтам. Алюф Цвика Гидеон выругался и извинился. Сопливчик стоял, качаясь мелким тельцем, как суслик, как будто алюф Цвика Гидеон каждым движением рук дергал за привязанные к его макушке ниточки.

– Что? – спросил алюф Цвика Гидеон нетерпеливо.

– Пропуск, – сказал сопливчик заунывно, как в трубу.

– Куда? – не понял алюф Цвика Гидеон.

Сопливчик помотал головой и снова качнулся.

– Марик, говори, пожалуйста, – алюф Цвика Гидеон очень старался, – чем я могу тебе помочь? Тебе нужен пропуск? Что-то случилось? Тебе надо поехать к врачу?

– К Сури пришла сестра, я видел ее сестру, – сказал сопливчик.

– К нам всем иногда ходят люди, – сказал алюф Цвика Гидеон. (Ничего ж себе! Неужели маленький засранец собрался настучать ему на Сури? Алюф Цвика Гидеон даже заинтересовался.)

– Пропуск, – сказал сопливчик.

– Марик, – сказал алюф Цвика Гидеон, – я там не шерсть на палочке верчу, а пытаюсь вытащить тридцать тысяч человек и хрен знает сколько прочих тварей из жопы. Ты можешь сказать, что тебе надо? Тебе надо для кого-то пропуск? Ты хочешь, чтобы к тебе кто-то пришел? (Кто, кто? Кто остался на белом свете у этого бедного суслика?)

– Один день, – сказал сопливчик и втянул в себя слизь с шумом промышленного гостиничного пылесоса. – Я слышал, вчера она говорит Адам: мне пропуск на сестру. А сегодня пришла сестра. Дать пропуск занимает один день.

Испуганный голос. Слизкий, тягучий голос маленького сопливца. Маленький ты сопливец.

Алюф Цвика Гидеон осторожно потянул воздух носом, сглотнул тугой, колющий ком ярости и спросил освободившимся горлом:

– Что ты хочешь, мальчик?

– Мяса, – сказал Марик Ройнштейн, и кадык у него жадно дернулся. – Два еще мяса каждый... Каждые...

– Раз в неделю. Одно. Есть при мне, – сказал алюф Цвика Гидеон.

7. Тоже

ونحن نستطيع أن نتكلم أيضا

*«Мы тоже умеем говорить» (араб.), граффити, часовая башня, Яффо, дек. 2021.

8. Коронный номер

Пальцы старушки – сухонькие, тоненькие, почти сплошь коричневые от старости – были унижены разномастными кольцами, и он отчетливо видел, что одно из них, свободно болтающееся на безымянном пальце, вот-вот слетит. Только на это он, Рахми Ковальски, и надеялся, только этого и желал: тогда старушка бы наверняка наклонилась за кольцом (вернее, он бы бросился подбирать ее кольцо, не давая ей наклониться) и все бы как-то обошлось. Но кольцо болталось и болталось, вертелось на коричневой узловатой палочке, как на стерженьке детского кольцеброса, старушка продолжала шипеть дрожащим голосом, так что слова ее с трудом можно было разобрать, зато Гарри визгливо выговаривал каждое слово с ледяной отчетливостью. Он хватал Гарри за руки, пытался увести, пытался заставить слезть с ящика, даже попытался зажать ему рот, но Гарри так закричал на него: «Мне? Мне?! Мне ты пытаешься пасть зажать?!» – что он сдался и только стоял, замерев, и ждал, когда все закончится, потому что рано или поздно оно заканчивалось. Старушка трясла перед ним рукой так долго, что он успел даже запомнить первые цифры бледного номера – 52, и успел подумать, что весь номер короткий, а он почему-то всегда считал, что номера эти были длинные, цифр по двенадцать (почему?). «Все это, все вот это – это вы, вы, вы это себе скажите, – повторял Гарри, – вы себе все это скажите, все правда, только это про вы, это про вас», – и старушка тоже пошла на третий круг, про неуважение и неблагодарность, про последнее, что есть, и про то, что вот так делаешь добро, а получаешь только ненависть, – «все правда, а только это не про меня, а про вас, это вы скажите себе!» В голосе Гарри послышалась ему наконец та усталость, после которой подобные сцены обычно заканчивались, Гарри вдруг замирал и оседал, и тогда он, уже предусмотрительно зачехливший и забросивший за спину свой инструмент, немедленно подхватывал ящик, подхватывал самого Гарри и, бормоча извинения, убегал в подворотню на Дубнов, где и вел с Гарри один и тот же неизбежно заканчивающийся слезами разговор, и больше они в тот день не работали. Потом примерно неделю, а иногда и десять дней Гарри терпел и вел себя хорошо, и хлопал кому из подающих тихо, а кому и громко, вытянувшись всем телом и стуча по ящику хвостом, и важно было только не пропустить момент, когда слишком уж энергичными становились аплодисменты, которыми Гарри награждал какого-нибудь торопливого солдата, кинувшего в тарелочку четверть хозяйственной карточки, или упрямого долговязого старика, не давшего лагерным агитаторам из чистого страха перемен и готового отсыпать уличному музыканту горсточку пайкового сублимаса, которое многие теперь повадились жевать с утра до ночи, чтобы во рту не было пусто. Слишком энергичные аплодисменты означали, что пора бы тихо сказать: «Гарри!!» – или: «Гарри!! Ты мне обещал!» – или еще что-нибудь, а лучше просто свернуть манатки и на пару дней притормозить. Эти пару дней Гарри будет в основном лежать и молча чесаться или спать почти беспробудно, жуя во сне кончик своего одеяла; проснется он, как похмельный – разбитый, мрачный, голодный, – но к утру следующего дня придет в себя и можно будет вернуться играть на улицу. Да, делать парутройку дней перерыва в таких случаях было бы умнее всего, вот только очень тяжело давались эти ничем не заполненные дни в темной сырой квартире: когда не играешь, много думаешь. Поэтому почти каждый раз он надеялся, что есть еще немножко времени, что на Гарри накатит только завтра или даже послезавтра – и вот перед тобой стоит шипящая, хрупкая, как ободранное бурею деревцо, старушка, и рука с номерком позвякивает кольцами прямо у тебя перед носом. Ему почудилось, что вскрики Гарри стали слабее и, что ли, формальнее, он знал, что сейчас Гарри перейдет на слабые, вялые фразы, всегда одни и те же: «Человек перед вами играет... Человек не милостыню просит, а играет... А вы думаете – можно милостыню. Можно милостыню, а нельзя. Человек знает где играл? Вас бы не пустили. Я неблагодарный? А это ты... Вы неблагодарный. На себя все это говорите лучше. Нельзя милостыню! Надо послушать.

Он же для вас играет, скрипка, надо встать послушать! Лучше не класть ничего, а послушать, а вы кладете и идете! Нельзя! Нельзя!» Это означало, что пора хватать ящик и бежать, Гарри даст себя унести, а не порвет ему когтями руку, как было в первый раз (еле зажило, и врач, который выписывал ему антибиотики, явно был раздосадован, что приходится тратить антибиотики на такие глупости). Он подхватил Гарри под хвостатый зад, и Гарри уткнулся ему в плечо обессиленно и безразлично, и он уже забормотал свои «проститерадибога» и «онжекакребенок», и тут старушка, сделав три шага вперед, чуть не к самому его носу поднесла палец, а потом этим же пальцем ткнула Гарри в спину раз, и еще раз, и еще раз, и Гарри взвизгнул от неожиданности и боли, и тут она сказала, что это нелюди, прямо и есть нелюди, и только болтают как люди, но это скоты, твари, гады, да, твари, ее не научишь, ей эти новые правила тьфу, она будет правду говорить, твари, твари, никакой души в них нет, и асон был от них, ей все объяснили, люди все знают, и пайки, ничего мы им не должны, и что, что говорят, бесы бы, наверное, тоже говорили, мы бы им дали себя объедать, землю нашу занимать, нашу еду есть, когда люди в нищете? Люди все знают, она старая, ей все равно, она так и скажет: твари, скоты, гады, всех вас надо было перебить и всех вас перебьют, ничего, подождите, люди поймут еще все и перебьют, а вы, интеллигентный человек, еще и кормите, я вот положила мыльную карточку и сейчас назад заберу, дайте сюда, если вы мне скажете, что ему хоть что-нибудь дадите, это моя карточка, мне и решать, что вы смотрите на меня?! Он прижал Гарри к груди, спиной к старушке, и достал из джинсов полиэтиленовый пакетик, куда ссыпал все из тарелочки, чтобы разобрать потом дома. В пакете были, среди прочего, несколько хозяйственных осьмушек и одна четвертькарточки на мыло и прочую гигиену. Ему очень не хотелось отдавать четвертькарточки, вообще все это было немыслимо и как-то до дрожи отвратительно, он понимал, что должен сейчас испытывать справедливую ярость, ненавидеть эту старушку, что-то ужасно резкое ей в ответ сказать, бросить ей эту четвертину, но только бессильно стал рыться в пакете, чтобы уже все закончилось. Гарри висел на нем, вцепившись всеми конечностями в свитер, растянувшийся от этого чуть ли не до колен, и плакал. Наконец он сумел выцепить из пакета чертову картонку и протянул Грете Маймонид вместе с налипшим кусочком гашиша, который кто-то добрый, с кем вообще хорошо бы пообщаться, кинул в мисочку пару часов назад, а кто – он и не заметил, глаза были закрыты. Она взяла картонку, гашиш сунула ему назад, а картонку попыталась разломить трясущимися, слабыми пальцами на две осьмушки. Жидкие кудельки ее, ярко-рыжие по всей длине, но совершенно белые у корней, явно ни разу не крашенные со дня асона, тоже дрожали мелкой дрожью, точь-в-точь такой же, какая была сейчас сползающего все ниже и ниже Гарри. «Дайте», – сказал он и разломил четвертинку сам. Грета Маймонид взяла у него с ладони один маленький кусочек картона и забросила глубоко в кусты.

9. «Лапка-бадшабка»

Материал для детского чтения

Предназначен для самостоятельного детского чтения, чтения с родителями, для методических занятий в школах и педиатрических медлагерях, для использования при оказании психологической помощи.

*Изд-во «Отдел социальных проектов Южного военного округа»
(Маарахот-Даром)*

Серия «Книжка спешит на помощь»

Текст: Сури Магриб

Илл.: Илана Гарман

Возр. катег. 7-10 лет.

Изд. код А-006КСМП-49

Шули собирает чемодан, а папа ее поторапливает: «Давай, малышка, уже ночь, а в семь часов утра нас с тобой подхватят – и вперед!»

Шули помнит, что в чемодан много класть нельзя. Папа взвесил свой чемодан – десять килограмм! И у Шули должно быть не больше. Кажется, много – а вот сколько всего не влезло: и ролики, и лук со стрелами. Даже книжки пришлось взять только самые любимые. Они уезжают не насовсем, скоро все опять будет в порядке, и Шули снова будет кататься на роликах по детской аллее возле дома. Но сейчас ей очень грустно.

Папа взвешивает ее чемодан: почти десять килограмм!

– Решай скорее, Шули! – говорит папа.

Шули колеблется. В руках у нее книжка про Бильби²⁵ – самая лучшая книжка на свете. «Если уж брать с собой всего несколько книжек, – думает Шули, – то такие, которые можно перечитывать хоть по сто раз!» В книжке про Бильби целых пять историй, поэтому книжка тяжелая, если положить ее в чемодан – будет как раз десять килограмм. Шули очень хочется взять с собой «Бильби» в незнакомый лагерь! Но что-то ей мешает.

За спиной у Шули кто-то вздыхает, тихонько-тихонько. Шули делает вид, что ничего не заметила. Она знает, что на комодке стоит большая-пребольшая клетка, а в клетке – красивый пластиковый домик: даже не домик – дворец! В нем три этажа, лесенки, подвесные кольца, горки, комнатки, поилки, кормушки... Раньше у Шули не было большей радости, чем смотреть, как ее ручной хорек Анемон бежит по своему дворцу: как будто золотистый ручеек перетекает!

Но после асона Шули все не привыкнет, что Анемон теперь может разговаривать. Как будто и не любимый Анемон это, а неизвестно кто. Шули даже спать в одной комнате с Анемоном не может: вдруг он ночью с ней заговорит, а она не будет знать, что ответить? Даже слово «бадшаб» кажется Шули страшным, колючим. Анемон это знает и при Шули всегда молчит, но ей все равно страшно. Поэтому клетку с Анемоном папа перенес в гостиную и только сегодня вечером переставил в комнату с чемоданами, чтобы утром быстро-быстро все взять. Шули слышала несколько раз, как папа с Анемоном разговаривают. Папа говорил, что очень скучает по маме Шули, а Анемон его утешал.

Шули тоже ужасно скучает по маме, но с кем об этом поговоришь? Папе и так грустно, пусть он и старается не подавать виду. А всех друзей Шули и их семьи уже развезли по лагерям. Шули не знает, когда с ними встретится. «Может быть, – думает Шули, – в лагере будет

²⁵ Имя Пеппи Длинныйчулок в ивритском переводе.

психолог, которому я расскажу, как скучаю по маме». За спиной у нее тихонько позвякивает подвеска. Шули знает – это Анемон забрался на самый-самый верх своего дворца и смотрит на нее. Но оборачиваться ей не хочется.

Папа заглядывает в комнату и уже совсем-совсем сердится.

– Шули! – говорит он строго. – Ты же не выспишься и мне не дашь! Или выходи из комнаты, или собирай дворец сама!

Шули очень трудно, но она медленно идет к книжной полке и ставит на место любимую «Бильби». Место, которое осталось в ее чемодане, – для пластикового дворца. Сейчас папа разберет его на части, а в лагере снова соберет и поставит в клетку, чтобы Анемону было веселее. Шули выходит из комнаты и притворяется за собой дверь. Ей еще надо почистить зубы и принять порошки от радужной напасти. Она устала и с радостью ляжет спать, только на сердце у нее грустно.

В квартире все разбросано, но Шули знает, что это не страшно: просто папа старался быстро собраться и ничего не забыть. Зубная щетка Шули, паста и порошки аккуратно ждут в ванной: их папа уложит уже завтра утром. Шули чистит зубы, а сама прислушивается: вот папа вошел в комнату, вот легонько звякнул замок клетки, сейчас, наверное, будет шум и стук от деталек, из которых состоит дворец. Но шума все нет и нет. Шули замирает со щеткой во рту: что же происходит?

– Шули! – зовет папа. – А ну-ка загляни сюда.

Шули удивляется. Неужели она забыла упаковать что-то важное? Тогда придется достать еще книжку из чемодана! Шули не входит в комнату сразу, а спрашивает через дверь:

– Клетка закрыта?

– Закрыта, – отвечает папа, и Шули заходит.

Шули старается не смотреть на Анемона, а смотреть только на папу. Папа выглядит очень удивленным, и Шули не знает, что думать.

– Очень тебе хочется взять с собой «Бильби»? – спрашивает папа.

Шули кивает.

Тогда папа берет толстую, тяжелую книжку про Бильби с полки и торжественно кладет в чемодан. Шули ничего не понимает. Тогда папа говорит:

– Анемон сказал, что обойдется без дворца. Он уже не маленький, а в лагере будет много новых впечатлений, и он не соскучится. Анемон сказал: «Пусть Шулик берет книжку, я же вижу, как ей хочется».

Шули смотрит на Анемона, первый раз аж с самого начала асона толком смотрит в глаза своему другу. Глазки Анемона блестят, золотистая шерстка переливается, и Шули видит, как он рад. Шули очень стыдно, она не понимает, как могла бояться Анемона и забросить его на столько недель. Шули не понимает, как могла так поступить со своим другом.

Она подходит к клетке и гладит Анемона пальчиком по голове.

– Лапка-башабка, – говорит Шули. – Ты лапка-башабка.

А Анемон только довольно жмурится и не отвечает ничего.

Как ты думаешь...

- Почему Шули стала бояться Анемона?
- Что случилось с мамой Шули?
- Почему Анемон отказался от своего дворца?
- Что чувствовал папа, когда Анемон отказался от своего дворца?
- Что чувствовала Шули, когда позже, в лагере, читала любимую книжку про Бильби?
- Все ли башабы ведут себя, как Анемон?
- Как еще могут вести себя башабы?

- Какие правила поведения с незнакомыми бадшабами ты знаешь?

Доп. материалы в серии «Книжка спешит на помощь», возр. катег. 4–9 лет:

С. Магриб, «Загадочное происшествие в девятом караване», А-001КСНП-49;

С. Магриб, «Шули прячется от бури», У-002КСНП-412;

Р. Маймонид, «Марик заболел», А-003КСНП-49;

К. Гагнус, «Самый роскошный праздник», Е-004КСНП-49;

Р. Маймонид, «Шули скучает по дому», Е-005КСНП-812;

Р. Маймонид, «Как папа стал спасателем», А-007КСНП-49;

Т. Климански, «С новосельем, Марик! или Второе происшествие в девятом караване», А-008КСНП-810;

С. Климански, «Белый корабль в радужном море», В-009КСНП-49;

Т. и С. Климански, «Рони-Макарони, молчаливый бадшаб», У-010КСНП-412.

Изд-во «Отд. соц. проектов Южн. воен. окр.», фев. 2022.

10. Дизартрия – это...

...когда во рту каша, ты говоришь вроде, но все слова как из говна слеплены, и ничего невозможно разобрать – ну, признаемся себе, ты не говоришь, а воешь, ты пытаешься как бы связно говорить, а вместо этого уяааааааауааааа, ы, ы, ыыыы. Для выявления дизартрии больному предлагают произнести скороговорку: Костя Маев, скажи «Интервьюер интервента интервьюировал, интервьюировал, да не выинтервьюировал». Скажи, Костя Маев, «Баба Клава в балаклаве распугала попугаев». Хорошо, перейдем к шипшипшипшипящим: «Сшита шуба из шиншилл – шиншилл шиншилл шубу сшил». Это сейчас, Костя Маев, никто не может выговорить, хехе, такое время, не надо нам такого выговаривать, да, все животные – братья. Вы, кстати, когда-нибудь держали в руках шиншиллу? Не напрягайтесь, я вам сам расскажу, я держал: ой, ну это вообще. Ну это такое, как будто шелк у тебя по пальцам льется. Не держали, нет? Не напрягайтесь, горлышко расслабили, не надо все слова сразу, по одному говорим и между каждым дышим-дышим-дышим: «Я... Никогда... Не держал... В руках...» Ну дальше сам, давайте-давайте, Константин Маев. Константин Маев дает: «Я... Однавжжж... Однааа... Однажды!» Константин мо-ло-дец! Легким язычком говорим, давайте-давайте, язычок свободно болтается, дышим-дышим – он одна... однажды держал сразу двух, это было ровно пять лет назад, незабвенным и сладостным апрелем шестнадцатого сладостного годдддд гооодддда – язычок! – гооода, просто про него так больно, что сразу – ну вот, апрелем, и он был совсем салага, но уже свой, упоительно свой, Наш. Он обнаружил объявление на «Авито», когда они с Катей пытались купить поддержанную сушилку для одежды, – зашел посмотреть, что еще у этого чувака есть, ему давно хотелось купить для чая какие-нибудь тонкие-тонкие, сине-бело-золотавые чашки, но искать он стыдился, а только делал вид, что просто поглядывает, чем люди приторговывают, интересно же. У чувака, который на фотографиях профайла оказался милой женщиной с ярко-красными волосами, был, как назло, только кофейный сервис «Кораблик», а еще сушилка вот эта самая – и домашняя ферма по разведению шиншилл. Он сразу похерил сушилку и кинул ссылочку Демиургу – первый и единственный раз написал ему в фейсбучном мессенджере напрямую, кстати; сначала что-то пытался приписать, но получалось плохо, сбивчиво («Смотри, чо я...», «Мужик, смотри, ты хотел шиншилл...», «Смотри, мужжжыывввв...»), но понял, что круче вообще без комментариев – а чо, свой своему, наш нашему, по-простому, – и кинул без комментариев. Ответа не было минут десять, очень неприятных, а потом затанцевали три точки, он похолодел – а Дем, оказывается, писал: «Прикольно!» Ах, Костя Маев, Костя Маев, помнишь, как оно в этот момент было – тепло? Через два дня они поехали вчетвером, Костя Маев первым справа – такое ему выпало вознаграждение, – парканулись у железного подъезда в ебнях и вошли всею своей мощью в маленькую, яркую, перегретую квартиру с такими всякими штуками, от которых Костя всегда таял, как последняя баба, – вроде висящего на стенке крошечного, с ладонь, туземного медного чайничка, вроде большой расписной турецкой тарелки, невероятно зеленой, со сваленными в нее ключами, таблетками и монетками, – но в тот момент в квартирке был такой совсем другой Костя, стальной и кожаный, и все смотрели на Дема так, как на Дема всегда все смотрят (а научись, Костя Маев, ставить глаголы в прошедшем времени) – как на Дема всегда все смотрели, и Дем был такой – как всегда, да-да, – немыслимо галантный, хозяйке поцеловал ручку и сказал: «Не посмею отнимать время, готов знакомиться с индивидами», – и они все пошли было в маленькую, остро пахнущую зверятиной комнату, но, конечно, не сумели даже через кухню пройти эдаким скопом и остались стоять в коридоре, но на пороге комнаты Дем на него одного глянул и сказал: «Ну?» – и он пошел, весь теплый.

Давайте, Константин Маев, попробуем иначе: бог с ними, со скороговорками, вот я вам анекдот расскажу: подарили вашему Малютину попугая, большого, красивого, а тот ругается

– ужас. И ты мудака, и жена твоя шлюха, и дети твои бандиты... Ну, Малютин взял и сунул попугая в холодильник. Проходит час, открывает этот человек холодильник, а попугай оттуда: ой, и вы такой прекрасный человек, и жена у вас красавица, и дети отличники! «То-то», – думает Малютин. Достал попугая, посадил на жердочку, а тот: «Вы меня извините, Евгений, а только что вам эта курица сделала?..» Ну чего мы не улыбаемся, ну что мы суровые такие, ну хоть отвлеклись – и то хорошо, а теперь легонько говорим: «От топота копыт пыль по полю летит». Пыль попо... попопо... пыпыль оказалась немыслимо красивой вещью, если лежать в нее лицом, но при этом как бы смотреть вбок, – это он хорошо помнит. Первый его мотоцикл был «ИЖ», ему было пятнадцать, отец уже умер, мама стала ангелом – так он это называл про себя, когда из бойкой профкомовки она после папиных похорон превратилась в отрешенное, почти бессловесное, нежное существо, всегда носившее одну и ту же белую блузочку, которую остервенело стирала по часу каждую ночь, и гладившее Костю по голове истончившейся невесомой рукой. Первый конь и первое реальное махалово – он уже прибил к ребятам, к самым серьезным ребятам в Севастополе, был при них салажонком, и в тот день Демиург, Дем, сказал ему: «Возьмешь трофей – трофей твой». Он махался честно, голыми руками – это была их, «Демиургов», гордость, «Кулак – оружие железного человека», – говорил Дем, и они всегда махались наголо, ничего никогда в руки не брали – он оказался в какой-то момент один против огромного бугая с обрезком трубы, получил трещину в запястье, чуть не задохнулся от страшного тычка в живот, хребтом ударился об асфальт и понял, что это конец, и почувствовал, что сейчас произойдет самое ужасное, что только может произойти с человеком, – он разревется; и тогда он просто взял и вцепился этому бугаю зубами в глотку. Это было очень страшно – как там в глотке вдруг что-то хрустнуло и срезонировало у него в голове, будто глушак рванул в ночной хрустальной тишине. Ему было пятнадцать, и он зубами вырвал у судьбы свой первый «ИЖ», который потом перешел к Яше-мелкому. На этом «ИЖике», который наследник не просто держал в порядке, а разбирал-собирал-пересобирали раз в месяц «для чистоты», по его собственному выражению, Яша-мелкий и поехал в колонне 25 мая текущего года из Севастополя в Керчь. Костя снова ехал вторым справа – и как же это было больно, как же черно было у него на сердце, потому что впереди ехал не Дем, а Свин. Пыль и грязь, и сколько же было этой грязи, и самой что ни на есть грязной грязью был, казалось Косте Маеву, набит его собственный рот с той самой ночи за неделю до поездки, когда разбуженная злая Катка пошла открывать дверь и растерянно впустила Дема с огромной клеткой в руках. Как же Дем тогда старался, господи ты боже мой. У Кости Маева было совершенно безумное чувство, что это совсем не Дем, а кто-то украл тело Дема и посадил тут, у Кости Маева с Катей Маевой на кухне («Я это с кухонного стола заберу», – сказала Катя холодно и унесла клетку, в которой сидели длинношерстный Ангел и лысый Бес, Костя Маев увидел шиншиллу впервые с того сладкого вечера, когда ему доверено было идти вторым в колонне, и ему показалось, что они, как и он, оглушены происходящим). Тело выглядело, как Дем, но словно бы прилагало массу усилий, чтобы двигаться, как Дем, держаться, как Дем, и говорить голосом Дема. От всего, кроме чая, это тело отказалось, да и на чай согласилось только потому, показалось Косте Маеву, что настоящий, еще две недели назад существовавший Дем, наверное, согласился бы на чай. Костя Маев поставил перед телом Дема давно нарезанный лимон с сильным привкусом холодильника, и тело Дема начало этот лимон есть, не прикасаясь к чаю, и говорить. Исчезнуть, чтобы продолжать дело. Есть одни ребята, ни с кем не знакомил вот ровно на такой случай. Дело надо продолжать. Он будет продолжать дело, наше дело. Ребята одни, сильные ребята, не круче наших, конечно, но незасвеченные ребята, подробнее сказать нельзя, он и так одному только Косте Маеву, полагается на Костю Маева, дальше Кости Маева не пойдет, он это знает – а Костя Маев знал, что враньем, как пылью, сейчас забит Демиургов рот. Уйти в подполье, чтобы перегруппироваться. Сгруппироваться и продолжать дело. Малютин – это ненадолго, ребята, между прочим, знающие и говорят, что Малютин – это ненадолго, что там, в Москве,

действуют такие силы – ого, наши силы, на нашей стороне, а подробнее мы ничего не знаем, и знать не наше дело, а наше дело надо продолжать, когда Родина вновь позовет. Для этого сейчас надо уйти под землю, это страшно тяжело, но он, Дем, готов. Готов оставить ребят, хотя у него вот тут (тело постучало по якобы Демиурговой груди якобы Демиурговым кулаком) вот тут черный камень лежит от этого. Сегодня надо уйти, до завтра не ждет. Нельзя попрощаться с ребятами даже, нет, он им доверяет, как себе, но Костя Маев же знает наших ребят – они за Дема встанут все как один, за Дема и за Родину они захотят пойти с ним, все бросить – а с ним нельзя, это слишком опасно, он, Дем, не поведет людей за собой туда, где неясно, выживет ли он сам. Тело Дема было, как всегда, идеально выбрито, но Косте Маеву вдруг показалось, что сквозь запах клепаной кожи и лосьона для бритья пробивается запах мочи – видимо, тело Дема перед выходом меняло опилки в клетке. Костя Маев смотрел, как торопливо движется вниз-вверх чисто выбритое горло, и ему вдруг невыносимо захотелось наклониться, аккуратно прихватить это белое горло зубами и так, замерев, послушать, что это оно говорит, как будто через горло мог передаться какой-то смысл Демовой речи, не доходящий до слов, – вязкий, липкий страх, вот что это было бы, понял Костя Маев. Вот уже мерзкие, бесконечные минуты прощания с целованием Катиных ручек и кривым мужским объятием, и горло было близко-близко, а потом, когда дверь закрылась, Костя Маев пошел к клетке и увидел, что Ангел спит, а Бес смотрит на Костю Маева крошечными черными глазами, и горло его быстро движется вниз-вверх, вниз-вверх. Месяц спустя Костя Маев ехал вторым справа, и клетка с шиншиллами стояла у него за спиной. Было немыслимое, нежное, сладостное, трепещущее зеленое утро, и сам он себе казался прозрачным после вчерашней церемонии, когда они сожгли свои флаги и трижды глухо сказали, что «Крым небесный в наших сердцах», и Свин винтом выпил полбутылки специально запасенного, редкого, крымской выдержки, и передал бутылку по кругу. До Кости Маева дошло, соответственно, чуть ли не последним, и вместе с коньяком он сглотнул карабкавшиеся по горлу вверх слезы. Катя Маева была уже в Израиле, Израиль сейчас всех желающих из Крыма забирал быстро, Катя Маева собралась за три дня, и все три дня они, выоравшиеся наизнанку во время последней Катиной попытки убедить мужа бросить «весь этот маскарад» и валить, друг с другом не разговаривали и как-то вполне искренне не замечали друг друга, словно случайные люди, забредшие переночевать в одну квартиру. Перед тем как автобус Сохнута забрал Катю Маеву в аэропорт, она поменяла шиншиллам опилки и набила кормушку остатками корма. Закрыв за ней дверь, Костя Маев пошел к шиншиллам плакать и увидел наверху кормушки клочок бумаги со словом «Приезжай» – и тут уже выплакался за все, за Крым, за Дема, за все – и в следующий раз заплакал уже только у огромного костра, с почти пустой общей бутылкой в руках, и это было ок, потому что все равно никто не видел ничьих глаз в этот момент. На следующее утро он ехал справа от Свина, прозрачный и пустой, и только пыль беспокоила его – нет, не его самого, а в смысле Ангела и Беса, как они там в такой-то пыли? Костя Маев накрыл клетку старой курткой и хорошо обвязал, но боялся, что шиншиллам и пыльно, и душно. На последнем привале, почти под самой Керчью, он в первую очередь пошел проверять шиншилл – они вроде были ничего; впрочем, как определить, чего они или ничего? Костя Маев не умел – как и они, наверное, не умели определить, в порядке ли Костя Маев, когда меньше чем через полчаса он лежал перед ними в пыли, лицом в пыль, и простреленная рука пылала так, что Костя Маев словно был совсем отдельно от этой боли, а только смотрел на висящую в воздухе пыль, немыслимо красивую пыль, какую-то бархатную в нежном свете солнечного утра, когда их колонну, идущую домой, в Россию, взяли в клещи и расстреляли без предупреждения кем-то явно предупрежденные российские пограничники. Через неделю Костя Маев по кличке Избранник был уже в Израиле, милостиво выуженный из разгромленной керченской больницы все тем же Сохнутом, а что стало с шиншиллами – совершенно непонятно, и сейчас Косте Маеву было почему-то невыносимо смешно думать, что вот вопрос: заговорили шиншиллы или не заговорили? – тонкий вопрос, ответ на который зависит

от того, чей все-таки Крым, – тут Костя Маев вдруг начал смеяться и попытался объяснить врачу, что тут такого смешного, и даже почти справился, почти все слова произнес хорошо и четко, только вместо «пыль» почему-то вырывалось из Кости Маева длинное мучительное «ыыыыыы», и врач сказал, что Костя Маев мо-ло-дец, что это называется «дизартрия» и что ничего неврологического у Кости Маева нет, это стресс, просто стресс, это пройдет.

11. Хипстотааааа

Энди, Андрей Сергеевич Петровски, однажды жестко оскорбился: поел мяска, и еще как поел. Гонконг, общий отпуск с сестрой (Агата Петровски летит из Мск, он из ТА, так это все красиво, «а вообще, Андрюшка, мы хипстотаааа». «Будешь называть меня „Андрюшкой“, будешь „Агатой Сергевной“». «А вообще, Хрюшка, мы хипстотаааа». «Ну тебя, коза»), и вдруг в последние ночи перед отпуском он перестает нормально спать, просыпается с паническими атаками, два раза не приходит волонтерить в «Цаар Баалей Хаим»²⁶, пропускает роды у несчастной бритой корги, которую сам же месяц назад подобрал на улице, – ну почему? Ну потому, что он очень любит Агату Петровски, очень любит старшую сестру, но блин. Во-первых, ее вечные мелкие подколки, мелкие-мелкие, и он вдруг, лежа ночью никакой, подумал, что это же как китайская пытка: каждая подколка – ничто, но к исходу третьего дня с сестрой из него половина крови через дырки вытечет. Во-вторых, разговоры про папу и ее странное чувство юмора. Через три месяца после папиной смерти они напились (они тогда вообще перестали расставаться, он приехал в Мск на похороны, поселился у нее, а уехал через три, собственно, месяца), и она сказала: я думаю, папа в аду. Он помнит, как в этот момент замер от чувства невозможного, божественного откровения и как через несколько секунд обнаружил, что выглядит, наверное, полнейшим идиотом – щеки надуты, верхняя губа оттопырена, – потому что вот буквально только что они с Агатой Петровски изображали хомяков. Папа их, Сергей Александрович Петровски, был совершенно прекрасный, мягкий, обожающий животных человек (да что ж за еб твою мать, из-за асона это первое, что сейчас говорят, и вот у него, Энди, в голове тоже, оказывается, окончательно перещелкнуло), но Энди знал, что она права, и не знал, почему права, и Агата Петровски поспешно сказала, что она не имеет в виду, будто папа плохой, просто она так чувствует; и вообще она думает, что ад – это просто, понимаешь, такая серая долгая маета, ад – это маета, вот что («Агата!!! Блин!! Прекрати!!!»), да нет же, ну ты знаешь папу, ну он там, может, как всегда, что-нибудь коллекционирует совершенно невозможное – ну, например, фольклор! Должен же в аду быть фольклор? («Прекрати, блин!!!») – ну все, ну все, она дура, она не хотела, ну Андрюшка!.. На следующее утро он сказал ей, что пришло письмо от «Цаар Баалей Хаим», что ему наконец поручили всю агитационную работу, что завтра он улетает, потом они сутки почти не виделись, потом он улетел. Не было с тех пор раза, чтобы она не заговорила о папе, и при каждой встрече от этого разговора у него переворачивался желудок – и, конечно, она делала это не нарочно, просто Агата Петровски есть Агата Петровски. А в-третьих (это он вспомнил уже во время войны, когда писал листовку, умолявшую всех и каждого ставить на улице наполненные водой миски для животных, потому что «жар войны опаляет не только нас»), у Агаты Петровски был свой способ осматривать города, доводивший Энди до бешенства: ее интересовали только люди, она могла бесконечно сидеть на одном месте и пялиться на проходящих мимо прохожих, уверенная, будто она что-то «понимает» про этих незнакомых людей. Он называл это «проективным запоем» («Ну пойми, это просто твои проекции, ты ничего не угадываешь, ты делаешь это все просто потому, что нельзя проверить, как оно на самом деле!» «Ну пошли проверим же, ну давай я вот этого лысого клетчатого спрошу, я тебе клянусь, он содержит русскую блондинку, которая ни слова не говорит на его родном французском и еле-еле на английском, и уверен, что она его любит, ну клянусь тебе!» «Агата, не смей!» «Ну это две секунды, мне самой интересно!» «Агата, я уйду!...») Он представил себе тогда, лежа в ночи с ноющим от паники животом, как вместо нормального Гонконга у него будет бесконечная Агатиная проективная трескотня, и разговоры о папе, и вопросы о его, Энди, жизни, и вдруг подумал, каким наслаждением было бы не сесть завтра

²⁶ Израильское общество защиты животных.

в самолет, что-то соврать, остаться в своей норке, лежать себе тихим зайчиком. В пять утра он сел в самолет и через двенадцать часов встретил в гостинице какую-то совершенно поразительную Агату Петровски – тихую, мягкую, прозрачную и, как позже выяснилось, внезапно беременную. Они гуляли и нежничали, и ели немыслимые вещи, и покупали какие-то непонятные глупости в невообразимых лавках, и он показывал ей небоскребы и навесные мосты, и вдруг вечером, в Сохо, куда они, как идиоты, пришли не просто сытыми, а объевшимися, из Агаты Петровски полезла Агата Петровски, и эта Агата Петровски сказала ему, что у нее есть мечта, давным-давно – проходя мимо людей, которые едят суши, невозмутимо взять одну сушину с подставки, съесть и пойти дальше: «Понимаешь, это эксперимент про собственность, это... Ну что они сделают?» «Агата, ты шутишь». «Вот знаешь, если ты называешь меня по имени, это не значит, что ты сердисься, а значит, что ты напуган». «Агата!!!» – и тут она это сделала. Ну, как «сделала» – и тут она взяла сушину со столика, за которым сидела молодая местная пара и круглая суровая старушка, и рванула бегом, волоча Энди за собой, и они пробежали, наверное, два квартала, у него сжимался и болел от ужаса желудок, и все это время дура Агата Петровски держала украденное перед собой, вытянув руку и этой же рукой расталкивая прохожих. Они остановились под какой-то глухой стеной, задыхаясь, и он вдруг понял, что сестра совсем не смеется, а как-то люто напугана, и сказал ей: «Брось», – а она сказала: «Мы должны это съесть», – пересохшим голосом, с которым не спорят, и Энди почему-то первым открыл рот; она сунула туда то смятое и раздавленное, на что он не готов был лишний раз посмотреть, и он зажмурившись куснул, и тут же проглотил, и уже тогда понял, что это было, – мясо, он съел мяса, а она в омерзении выкинула остаток, и разрыдалась, и прижалась к нему, и он обнимал ее, снедаемый тошнотой и бешенством, – и вот сейчас опять лежит в постели ровно с тем чувством, с которым лежал ночью перед вылетом в Гонконг, хотя ему совершенно не светит увидеть Агату Петровски, или даже получить мейл от Агаты Петровски, или даже получить фейсбучный лайк от Агаты Петровски, – потому что чувствует, что настали скоромные дни, плохие, скоромные дни, в которые он еще не раз оскоромится, и не мяском – благо поди сейчас найди мяско, все пайки скорее вегетарианские, чем нет, и вот он уже скоромится, уже испытывает по этому поводу немножко гнусное удовлетворение, – а всем, всем, что лезет из него и не так еще полезет, и он припомнит еще, как лезло черное и безжалостное из Агаты Петровски, и как бесило его, и чувствует почему-то, что полезет и не такое, а что – непонятно, и вспоминает еще, как Агата Петровски сказала, когда либеральная общественность дружно, громко и жестоко презирала в фейсбуке кого-то из своих же, оскоромившегося участием в передаче на Первом канале в путинские времена: «Война портит всех, а тех, кто против войны, – больше всего. Им легко казаться себе хорошими, а это яд». Энди, Андрей Сергеевич Петровски, очень старающийся быть хорошим человеком, лежит и смертельно боится оскоромиться, лежит и понимает, что это гордыня, гордыня.

12. Стена

Три недели войны – что пытались сделать за три недели войны, еще до асона?

Пытались ввести в Израиль международные войска: начинался коклюш в войсках, начинались ветрянка и свинка, корь и скарлатина, детские болезни косили американские, французские, австралийские войска, и не получалось ввести в Израиль войска. Пытались ввезти гумпомощь: портилась гумпомощь, подмокала и загнивала, рассыпалась и ссыхалась гумпомощь, и не получалось ввезти гумпомощь.

Пытались сбрасывать оружие с вертолетов: глохли еще на земле моторы вертолетов, давали трещину лопасти на подлете к воздушной границе, нарушалась балансировка винтовой системы, заедали двери кабин, и не получалось сделать ничего с вертолета.

Все это было смертельно страшно и смертельно красиво.

13. Длинный, короткий

Я слышал тут, как две землеройки говорили друг с другом – для понта переходили пару раз на человеческий, такие подростки, рисовались перед лопающей что-то и безразличной к ним землеройной малышкой, – говорили о каком-то несделанном деле: «Будет еще завтра, еще много раз завтра». Я помню, как однажды спросил Ерему – до войны, до всего, – кажется, это был еще тиронут, я спросил: «Как ты думаешь, а если все-таки ядерная бомба – то все, нам пиздец?» (Это с вами говорит сейчас нарратор «Райка», если что; меня уже нет, а тогда я еще был.) Ерема, который знал все про все назло своему папе, не знавшему ничего ни про что, но телеведущему всем про все, сообщил, что это «немножко философский вопрос», достал из китбека свой затряханный блокнот и начал чертить, как обычно: вот, говорит, ось «время», а вот ось «люди», а вот тебе функция: весь вопрос в том, сколько времени будет длиться пиздец. Я читал, что во время короткого, но очень страшного пиздеца можно спасти больше людей, чем во время длинного, но не очень страшного пиздеца, а ядерная война – это на самом деле длинный пиздец, потому что бабах-то один, а пиздеца-то после него много, так что скорее всего длинный пиздец потом убьет больше людей, чем бабах в начале. За четыре дня до асона я вдруг вспомнил эту историю по дурацкой причине: если я выживу, подумал я, за спиной у меня останется ровно такая траектория, ровно такая длинная пологая кривая, какая была нарисована у Еремы в его затряханном блокноте. Я сказал себе на всякий случай, что не выживу, как обычно говорил себе во всех ситуациях, в которых можно было не выжить (я тогда выжил). Я стоял какой-то подбитой кикиморой – да ни хуя я не стоял, я не то ползал, не то прыгал, спина разламывалась у меня, в грудь упирался сраный автомат, который было непонятно, как взять так, чтобы него не калечиться о приклад, а передо мной были какие-то немыслимые, шелковистые, длинные, тонкие ноги, и слева от меня были какие-то немыслимые, шелковистые, длинные, тонкие ноги, и везде были ноги, и я боялся этих ног не меньше, чем снайпера, потому что понимал, что если через секунду копыто опустится, например, мне на руку, то пизда моей руке, и я молился этом козам (антилопам, антилопам), я внутри себя бесконечно повторял: «Козочки, козочки, ну пожалуйста, козочки, козочки, козочки, помогите мне, козочки, козочки, козочки», – а они волнами бились об стену загона, как будто надеялись ее снести и вырваться, и я ползал среди них, стараясь попасть в эту волну, – одна из них, с пулей в горле, рухнула прямо на меня, и я, кажется, заорал вслух: «Козочки, козочки, ну пожалуйста, козочки, помогите мне!!!» Где-то за спиной у меня лежал Ерема, когда он упал и сразу умер, я немедленно заплакал, я думаю, я не пополз бы прятаться среди этих прекрасных страшных ног, работай у меня хоть четверть мозга, но я заплакал и пополз из-за козьего домика, сквозь который снайпер лупил по нам с моим Еремой, как сквозь картонную коробку, в сторону бьющегося об ограду, задыхающегося от ужаса стада, и впереди у меня была длинная-длинная кривая, сначала резко влево, потом круто вправо, потом прямо всего ничего, там метров двести до каменной коробки – до каменного строения, в котором жил жираф, до пуле-не-про-би-ва-е-мо-го места, я, наверное, не переживу эти двести метров, разве что козочки, козочки; новую очередь выдали нам с козочками, одна упала вперед, подогнув коленки, как игрушечная дурацкая коровка, которой нажали на доньшко подставки, и закричала ровно тем голосом, которым Ада Бар-Лев кричит, когда... а еще одна козочка запрокинула голову и стала так захлебываться собственной кровью, будто пыталась напиться из душа; копытом меня хорошо двинули по хребту, и от этой ослепительной боли я заорал и выстрелил очередью в замок загона. И понеслось. Я помню, что пытался по дурости хвататься то за одну шкуру, то за другой загривок, а потом просто закрыл глаза, орал и бежал, а они орал и падали, мы орал и неслись, и неслись, конечно, не так и не туда, неслись прямо на прорванную, обожженную жирафью ограду, за которой зиял ров, и я вдруг захохотал на бегу, потому что внезапно понял,

насколько смерть от пули легче и лучше смерти от копыт, и я сказал себе, что не выживу, до рва оставался метр, и тут они полетели, мои козочки, а я сжался и покатился, вдавливая в себя ебанный автомат, покатился, с воем долбясь спиной и животом о камни, а потом я лежал и смотрел, как они летят надо мной. Мне показалось, что они летят долго-долго, мои козочки, мои красавицы, повисают надо рвом и летят-летят, и пузики у них такие белые-белые с черною каемочкой, такие идеально приглаженные, и шерстка завернута узором, и у каждой – своим, вот одна на меня упала, а вот другая. Когда через двести двадцать тысяч часов мне станет по-настоящему (по-настоящему) безразлично, выживу я все-таки или нет, и я полезу наверх и огляжусь, я увижу, что вытоптанная нами трава и поломанные кусты, развороченные оградки и покалеченные таблички – это идеальная прямая от мертвого Еремы к живому мне, от большого пиздеца к маленькому пиздецочку, и по этой прямой разложены мои козочки; и я пройду и каждую из них поглажу, а некоторых добыю.

14. Мекадем²⁷

Это израильское лето, тугоплавкий израильский апрель, и они пока не знают, что из-за асона исчезла смена времен года – и не узнают, понятное дело, очень долго, до ноября, да и в ноябре скорее заподозрят, чем поймут толком, – но мы-то знаем, как говорил один печальный книжный персонаж, мы-то знаем.

Плюс тридцать два, вибрирует воздух, «я хочу сказать, что велосипед не едет». «Что значит „не едет“, Юлик?» «Я хочу сказать, что при провороте колес не происходит сцепления шины с поверхностью и конструкция не смещается в пространстве». «Там что, скользко в смысле?! Скажи по-человечески!» (Илья Артельман прекрасный отец, но не каменный же, не железный.) «Я хочу сказать – мне кажется, что между нами не происходит полноценный акт коммуникации с передачей информации». Аыыыыы.

Аутист Юлик Артельман прав – он всегда прав: велосипед не едет и ни у кого не едет, потому что ночью радужная пленка, которой теперь покрыто все на свете, намокла от росы, и это, оказывается, делает ее скользкой; отец Юлика Артельмана, Илья Артельман, идет наружу, ведя велосипед в поводу, – колеса проворачиваются, велосипед скользит, сам Илья Артельман скользит; там, где была русская сырная лавка, а теперь большая поляная дыра, как от вырванного зуба, сидят два кота и смотрят на него тяжелыми маслянистыми глазами. Илья Артельман скользит обратно. Боженька, твоя воля, все страдают от отсутствия связи, а только Илья Артельман сильнее всех страдает от отсутствия связи – во-первых, он нежный, а во-вторых, пока была связь, Юлик Артельман писал письма своему второму папочке в Москву, и это занимало его достаточно, чтобы он почти не добывался до Ильи Артельмана. Илья Артельман, конечно, эти письма читал, истекая сладким мстительным сиропом (диалектическое противоречие: пароль – это то, что нельзя разгадать, и то, что нельзя забыть; короче, beautiful42mind): он представлял себе, как бывшего супруга, Михаэля Артельмана, раскатывало в говно от сыновнего безжалостного и страшного анализа (и справедливииивого!) его сраных либеральных колонок с отважными обличениями сраных либеральных же ценностей

(«Дорогой папа. У меня все хорошо. Я хочу сказать, что к твоей колонке „С комментариями автора: Косточка“ от 07/03/20 у меня есть ряд важных комментариев.

Комментарий 1. Я проанализирую фразу „У Ани с Аленой хватает поводов для того, чтобы официальная регистрация брака оказалась скорее головной болью, чем чистым счастьем, но эти поводы бледнеют перед все тем же доводом ‘Хунта кинула либералам кость’, из-за которого в Четвертом загсе нет никого, кроме турецких граждан с блондинками и неосмотрительно влюбившихся во время московской командировки позднесоветских израильтян“.

Пункт А. Вместо слова „повод“ необходимо использовать слово „причина“, поскольку...»)

– мвахахахаха, Мишенька, это тебе за все твое злобучее доставало в течение двенадцати лет насчет состава каждой половой тряпки и гигроскопических свойств каждой кухонной губки, думает Илья Артельман, и ему кажется, что только из-за злорадства Мишины тексты так намертво въедаются ему в мозг, и никогда не признается себе, что магия-то с годами никуда не делась, что тексты эти – брюзжащие, злобучие, едкие – просто трудно выкинуть из

²⁷ Коэффициент (ивр.).

головы. О, блажен ты, аутист Юлик Артельман, в отличие от своего пухлого чувствительного отца, для тебя что проанализировано, то выкинуто, а что не анализируется, то просто удаляется из видимой картины мира; Илья Артельман хорошо помнит, как однажды приехал забирать Юлика Артельмана с работы, Илья Артельман и сам работал тут когда-то, у него есть пропуск по старой памяти – так вот, он прошел на офисную кухню за чаем и обнаружил там подхихкивающих Юлькиных коллег: есть, оказывается, такое офисное развлечение – спрашивать Юлика Артельмана, для чего нужны его обсчеты. Так Илья Артельман узнал, что Авнер Сургут очищает для Юлика Артельмана каждую рабочую задачу «до косточки», то есть до голой бигдатовской необходимости, ничего человеческого не оставляя, чтобы гениального аутиста Юлика Артельмана не сбивать лишними подробностями. «Юлик, для чего ты рассчитываешь коэффициент оттока?» «Я не понимаю вопрос». «Ну это отток чего откуда?» «Я рассчитываю отток элементов с интегрированным мекадемом „дельта“ ниже 0,18 из общего массива элементов». Юлик Артельман рассчитывает коэффициент смертей среди гражданского населения в случае широкомасштабного природного катаклизма (ах вы козлики малолетние, перед вами человек без допуска чайным пакетиком размахивает, а вы пиздите – и сейчас, припомнив этот сюжет, Илья Артельман злорадно думает: что, плющит вас теперь с вашими мекадемами? Природный катаклизм они рассчитывали, смешные такие; вот и засуньте теперь себе свою дельту в банку с пайковым сублимсом). Юлику Артельману эти подробности не нужны, Авнер Сургут все Юликовы задачи переводит на голый профжаргон и другим тоже запрещает при Юлике Артельмане обсуждать, что у нас тут рассчитывается, Юлика Артельмана это расстроит, Юлика Артельмана это собьет. Юлика Артельмана собьет тот факт, что велосипед не едет, потому что Юлик по субботам с 7:00 до 7:45 утра ездит на велосипеде, Юлик Артельман по субботам с 7:45 до 7:55 моется, Юлик Артельман по субботам с 7:55 и до самого сраного упора ебет, ебет, ебет мозг своему несчастному отцу, потому что Юлику Артельману пиздец, пиздец, пиздец, потому что все не так, все неправильно, все не вовремя, все не на своем месте, и не едет велосипед, не едет велосипед, не едет ебанный велосипед, Илья Артельман проходит с велосипедом вверх до калитки двадцать шагов, велосипед скользит, как по маслу, Илья Артельман проходит с велосипедом вниз до подъезда двадцать шагов и пытается поставить велосипед у стенки, велосипед съезжает вниз и норовит прилечь, Илья Артельман и сам бы прилег, но у Юлика Артельмана не едет ебанный велосипед, Юлик уже дергает коленкой (и стоит, заметим, уперев руки в бока, пока отец бьется с ебанным велосипедом), 7:03.

Илья Артельман (*бодрым голосом*): Ну что, Юлик, у нас тут какое базовое противоречие?

Юлик Артельман дергает коленом – дыг-дыг, дыг-дыг, дыг-дыг, дыг-дыг, – и глаза его потихоньку делаются прозрачными, словно у карпа; бедный Илья Артельман – кажется, сейчас достанется бедному Илье.

Илья Артельман (*очень бодрым голосом*): Базовое противоречие у нас, Юличек, такое: велосипед не едет, но надо ехать на велосипеде.

Дыг-дыг, дыг-дыг, дыг-дыг, Илья Артельман вдруг думает, что стеклянные глаза бывают только у мертвых карпов, а живой карп, может быть, очень осмысленно смотрит, а еще вдруг думает смешное: хорошо, что Юлик Артельман в велосипедном шлеме, вот свезло так свезло.

Илья Артельман (*взвизгивая от бодрости*): Ну, как будем решать: во времени, в структуре или в воздействиях?

Во времени небось хуй решишь (этого Илья Артельман не говорит), потому что ничего мы не знаем теперь о времени, про воздействия помолчим – а значит, в структурах; вот интересно, Юличек, бывают зимние шины для велосипеда – интересно же, да? Папа поищет тебе зимние шины для велосипеда (где, блядь?), возможно, их сцепление... Бум, бум, бум, бум, бум. Прежде чем броситься оттаскивать сына от стенки, Илья Артельман несколько секунд замороженно смотрит, как светло-желтая пыль поднимается вокруг долбящегося в стену черного шлема, переливаясь радужными разводами в душном, липком, неверном новом воздухе. Сейчас Илья Артельман бросится к сыну и сожмет его мертвой хваткой, и начнет оттаскивать, и привычно выбирать удобный угол для падения, и готовиться падать, и досадовать, что только прошли старые синяки, только зажили прежние ссадины, и сверху на них с Юликом упадет нестоячий велосипед, и Юлик Артельман завоет, и они полежат так немножко, и Илья Артельман подумает, что так честно, так намертво прижавшись он за всю свою жизнь лежал только с Мишей и только в ту ночь, когда они вернулись из мисрад а-пним²⁸ со штампами в паспортах, и что в тот момент он, Илья Артельман, думал: «Все это безнадежно, вся эта эфемерная, слепленная из говна и палок (особенно из палок) конструкция семьи совершенно безнадежна, она никуда не поедет», – и сейчас Илья Артельман тоже думает: «Все это безнадежно, все это безнадежно», – и пока они с Юликом Артельманом будут вот так лежать, Юлик Артельман будет биться шлемом о плитки ведущей к подъезду тропы, и над головами у Ильи с Юликом Артельманом будет изумительная радужная красота, и коты, которые, оказывается, все это время шли за Ильей Артельманом, усядутся смотреть на эту красоту.

Во всем происходящем сейчас вообще, заметим, очень много красоты, и нет ли здесь какого базового противоречия?

²⁸ Министерство внутренних дел (*ивр.*).

15. Мимими

Вот, предположим, кому-нибудь приходит в голову повторить эксперимент Тюдора-Джонсона за 1939 год, но, понятным образом, with a twist. Если это сейчас и может произойти, то в Москве (под «сейчас» подразумевается вот это вот все): Израилю только экспериментов и не хватает, а в Москве, можно не сомневаться, кто-то ушлый уже сварганил на базе Сколково-М1 какой-нибудь «Новейший институт исследований речи и коммуникаций», передовой-передовой (и именно в М1, а не в позорном старом Сколково, который теперь помесь «Горбушки» с коворкингом). Дальше делается так: выбираем двенадцать молодых исследователей, про которых нам совершенно точно известно, что эти никакой кровищи и говнищи не боятся, – скажем, мальчик по фамилии Поярник до асона работал в Институте клинической неврологии, проводил исследования по болевому синдрому при нейрохирургических вмешательствах, от него лаборанты уходили на второй день, воя не выдерживали. Ну вот, шесть молодых исследователей у нас будут основная группа, шесть контрольная, гендер тоже ровненько распределяем. Собираем по улицам бадшабов, якобы «участников эксперимента», и сообщаем группе исследователей А, что вот этих бадшабчиков, коряво говорящих, мы за качество речи хвалим, а вот этих, нормально говорящих, мы за качество речи ругаем, – ну и посмотрим, как оно будет; а контрольная группа исследователей, группа Б, у нас и правда занимается с «участниками эксперимента» какой-нибудь логотерапией – это неважно, пусть сами придумают (что-то тут логически не очень, как-то бы лучше сформулировать тут, что делает контрольная группа Б? Но сейчас, откровенно говоря, вообще everything goes, все делается очень приблизительно и торопливо, все эйфорически захлебываются в море новых исследовательских возможностей, тут не до педантизма, всех прет). Официально пишем: *«Исследование ставило целью (так можно писать вообще? ладно, поехали) подтвердить гипотезу о том, что в новых условиях применение классических методов исследования входит в этический конфликт с установками исследователей, прежде осуществлявших (как бы тут сказать? „пиздец жесткие“? „вполне безжалостные“?)... эээ... прежде осуществлявших исследования, требующие жесткого воздействия на испытуемых»* – слушайте, это звучит, как буллит. О, давайте так: *«Исследование позволило выявить трудности в применении классических методов работы для достижения верифицируемых и воспроизводимых экспериментальных результатов»*. Это все равно буллит, но хотя бы с применением русского языка. Дальше все по Тюдору, 1939: наши юные мясники считают, что воспроизводят тот самый «Чудовищный эксперимент», и теперь все заики и тормозы от их похвал заговяют хорошо, а сладкоголосые и велеречивые от их руганий и понуканий нарушатся, испортятся и вообще станут несчастны все по-разному. Юные мясники ликуют и полны орехов: им сказано, что все это очень секретно, все это этически сомнительно, и только в нашем новейшем институте ради будущего науки и т. п. Ну, поехали: ежедневные 20-минутные встречи с «участниками» один на один, заготовленные коммуникационные сценарии: «Вы очень хорошо говорите, вас легко понимать. Вам особенно хорошо даются нёбные гласные (гы-гы). Удивительный прогресс с прошлой недели» («Д-д-д-да!»); а вот и второй состав: «Вас практически невозможно понять. Вы говорите крайне неразборчиво. У вас явно начинается заикание. Чем говорить так, как вы, лучше вообще не говорить», – и так далее, по классике. И вот на третий день мы получаем в группе А две истерики (ну ладно, это преувеличение, один скандал и одну истерику) и три (один попался молчаливый) докладных записки с просьбой освободить подателя сего от взятых на себя обязательств по ведению эксперимента в виду «несовместимости исследования с их личными морально-этическими принципами». Дальше надо прямо цитировать, это своими словами не расскажешь:

1. «Мелисса, пони, ж., 4 года, гр. IV, стала проявлять сильнейшие признаки беспокойства и на шестнадцатой минуте встречи отказалась отвечать на вопросы исследователей. Вместо этого она начала повторять один и тот же вопрос, последовательно обращаясь к обоим исследователям: „Я плохая, да? Я плохая? Что я сделала? Я плохая?“» (Цит. по: Гартемьяненко Н. Ф., докладная записка);

2. «Санни, спаниель, ж., гр. IV после реплики „Если ты будешь заикаться, тебя будут считать глупым и неинтересным“ отказался поворачиваться мордой к исследователям и в ответ на дальнейшие реплики и попытки вернуться к протоколу исследования сидел с закрытыми глазами и прикрывал пасть лапой»; (Цит. по: Кареев М. Р., заявление об увольнении по собственному желанию);

3. «Андроний, лемур, м., гр. IV, в ответ на каждое замечание исследователей, предусмотренное сценарием, начинал прилагать невероятные усилия для исправления своих „ошибок“ и не давал исследователям возможности перейти к следующему пункту сценария, не получив от них похвалу, полностью нарушающую базовые установки эксперимента... При попытке одного из исследователей настаивать на том, что у Андрония „как будто какашки во рту“, участник приблизился к исследователю, взял его за штанину и не отпускал, широко разинув рот и зажмутив глаза. При попытках исследователя настаивать на том, что речь Андрония крайне неразборчива, Андроний расплакался» (Цит. по: Кареев М. Р., заявление об увольнении по собственному желанию).

Тут вообще-то надо сделать ремарку в сторону: хорошо бы нам составить какую-то, что ли, таблицу соответствий, это было бы удобно – есть вообще впечатление, что наши новые, как это принято теперь говорить, «носители речи» ведут себя в ситуации негативной внешней оценки авторитетной фигурой вполне узнаваемым образом, как дети лет двух; ну, или трех-четырех (добавим: «в т. ч. в случаях, когда „испытуемый“ реагировал на оценочное суждение крайне агрессивно», см. докл. записки Симай, Яценко). Но это сейчас неважно, а важно вот что – и тут уж давайте официально, потому что это будет цитироваться-пересказываться, оспариваться-переспариваться, и хорошо бы это было внятно где-то написано – ну, насколько получится: «Можно с уверенностью заключить, что опасения, широко обсуждаемые в научной среде с момента т. н. „асона“ и касающиеся в первую очередь соответствия количественных и качественных характеристик классических методов работы в новой реальности, не принимают в расчет личность самого исследователя и проблематику исследовательского восприятия. Исследователи испытывают сильнейшую когнитивную нагрузку, напрямую связанную с наличием у участника речи». Понимаете, оно разговаривает. Ты его это самое, а оно разговаривает. И это какая-то сразу Тюдор-1939, если оно разговаривает. А оно разговаривает.

Приложение А. *Montreal Cognitive Assessment – Non-Humans (Moca-NH)*, разработан на основе *Montreal Cognitive Assessment* (1996), Поярник и Тамилов (2022).

16. В-в-вентролог

Однажды, года два назад, к Бениэлю Ермиягу впервые пришел человек по имени Чуки Ладино и спросил, можно или нельзя. Бениэль Ермиягу попытался уточнить вопрос – обычно его клиенты тратили чуть ли не час на многословную историю собственной жизни, а потом спрашивали что-нибудь расплывчатое («Что же со мною будет?», «Как же это все устроится?», «Но почему?!»), и ему, Бениэлю Ермиягу, приходилось подталкивать их и подпихивать, переспрашивать и уточнять, потому что эта сучка хорошо отвечала на конкретные вопросы и с большим трудом – на расплывчатые. Ровно поэтому Ермиягу любил тогда свою непредсказуемую телевизионную публику гораздо больше, чем частных клиентов: понимая, что у них всего-то есть минута-две, а не то отберут микрофон, эти люди неделями оттачивали и формулировали вопрос («Поймет ли она, что была неправа?», «Спросите моего сына, простил ли он меня», «Должен ли я все бросить?»); и даже со 160 000 фейсбучных подписчиков ему было приятнее иметь дело, чем с частниками: во-первых, их телеги в личке разгребала Ноа, а во-вторых, телегу можно быстро пробежать глазами и выяснить, что вопрос в конце «не настоящий», как Бениэль Ермиягу называл это про себя, что человек хочет знать, перестанет ли он когда-нибудь мыкать нищету – «гхм, эээ, добьюсь ли... добьюсь ли я успеха?»; хочет знать, любили ли его родители, а спрашивает: «Ради бога, скажите, пожалуйста, стоит ли мне ехать к братку или это еще хуже повлияет на наши отношения?» Обычно уже в середине телеги эта сучка начинала ерничать. Бениэль Ермиягу тогда, конечно, еще не называл ее «эта сучка», а вообще боялся назвать, и в ответ на приставания интервьюеров, желавших непременно выяснить, это «голос» или «голоса», «дух» или «человек», аккуратно пользовался формулировкой «то, что со мной происходит» (то, что со мной происходит, говорит мне, чтобы вы шли нахуй со своими догадочками и подсказочками). Человек еще тискал микрофон липкой рукой или сидел на краешке ар-нувошного дивана, притащенного Бениэлем Ермиягу из Рима во время культурной поездки с двенадцатилетним сыном, а эта сучка уже начинала издевательски сюсюкать, и омерзительно пришепетывать, и говорить: «Ой, Беничка, расскажи мне, чем сердце-то успокоится! Ой, господин Ермиягу, да что ж я за тембель²⁹ такой!» Голос у нее был девичий, нежный, как колокольчик, он рождался где-то в пояснице и как бы тек, тек серебряным ручейком по спине к затылку Бениэля Ермиягу – и дотекал до языка; а язык у нее был грязный, как у Нати (впрочем, тогда Бениэль Ермиягу еще и вообразить не мог ни Нати, ни этот завод с вездесущей горькой белой пылью от рокасета³⁰). Бениэлю Ермиягу надо было терпеть, это и была его работа: он как бы включал сразу два слуха и замыкал друг на друга говорящего человека и эту язвительную сучку, а самому ему в этот момент надо было исчезнуть, уйти в сторону. Тогда сквозь звон в ушах он слышал, как человек, растекаясь в своей бесконечной, запутанной, дикой истории, формулирует ненастоящий вопрос – а откуда-то изнутри у него кричит тот самый, мучительный и единственно заслуживающий ответа настоящий; а злобная маленькая сучка внутри Бениэля Ермиягу пародирует заикания, доебывается до тавтологий и хихикает над чужой мелодрамой, но какими-то обмолвками, оговорками невольно выдает ответ. Когда человек по имени Чуки Ладино увесисто сел на диван и сразу спросил, можно или нельзя, Бениэль Ермиягу не без злорадства почувствовал, что эта сучка несколько растерялась. Впрочем, она быстро взяла себя в руки. Бениэль Ермиягу деликатно уточнил, что именно можно или нельзя (сучка: «Свиней ебать!»). Человек по имени Чуки Ладино сказал, что это неважно, и не мигая уставился на Бениэля Ермиягу (сучка: «Нашелся, блядь, неважный: на погонах

²⁹ Дебил (*ивр.*).

³⁰ Рокасет – израильский кодеиносодержащий обезболивающий препарат; состав: кодеин 10 мг, кофеин 30 мг, парацетамол 500 мг.

по три фалафеля; ты только жене своей неважный!»). Бениэль Ермиягу деликатно спросил, в какой области лежит вопрос: бытовой? человеческой? может быть, религиозной? Человек по имени Чуки Ладино сказал, что это не принципиально, вопрос задан широко (сучка: «Жопа у тебя задана широко, столб деревянный!») У Бениэля Ермиягу зазвенело в ушах, и из потока глупостей, ругательств и подзёбок вдруг начал вырисовываться ответ (а как это происходило – он, Бениэль Ермиягу, никогда не понимал): роман. Человек по имени Чуки Ладино хочет завести роман, но его волнует, аукнется ли это неприятностями и какими. Бениэль Ермиягу попросил у человека по имени Чуки Ладино разрешения взять его руки в свои (сучка: «Ты еще хуй у него пососи!») – угадал, угадал, роман, и ничего окончательного пока не было, но что-то уже было – и постарался кожей услышать страх, вопросы всегда росли из какого-то страха, даже если сам клиент ничего об этом не знал. Прикосновение к рукам человека по имени Чуки Ладино тогда очень впечатлило его – они были гладкие и дубленые, как лежащий на антресолях старый отцовский портфель, и Бениэль Ермиягу внезапно вспомнил это впечатление, когда месяц назад, в самом начале работы на заводе, пальцами вытащил Нати (или Хани?) из какой-то внезапной драчки – и на ощупь ее шкурка оказалась как дорогой кошелек. Пока он держал ладони человека по имени Чуки Ладино в своих, сучка начала поддаваться («Что, фалафель, яйца поджал? Сам не гам и другим не дам?») – ах вот в чем дело, не в жене дело, дело в каком-то другом мужчине, он боится испортить с кем-то отношения и не понимает, что там с этим мужчиной у этой женщины, и хочет подстраховаться (сучка: «Жопу пробкой подстрахуй!» – ах, значит, вот оно что). Бениэль Ермиягу выпустил руки человека по имени Чуки Ладино и произнес то, что казалось ему тогда ответом: «Можно, но обойдется дорого». Человек по имени Чуки Ладино тут же встал, поблагодарил Бениэля Ермиягу, положил на журнальный столик конверт (три тысячи шекелей первый визит, каждый следующий – полторы) и вышел, а Бениэль Ермиягу остался (не впервые, надо сказать) с гнусным чувством, что он одобрил дурное, какое-то дурное дело, и он попытался убедить себя, что это не он, не он, это то, что с ним происходит, то, что выше и больше, чем он сам, то, что не должно, не имеет права различать дурное и хорошее, а только правду и неправду, – господи, какой стыд, думал нынешний Бениэль Ермиягу, лежа с мокрыми от слез висками в полипропиленовом спальнике, ворочаясь в полипропиленовом спальнике на минус третьем ярусе гигантской автостоянки, где он теперь жил. Два раза его находили на этой автостоянке мефаним³¹ – и оба раза узнавали его, человека из телевизора, и говорили, как жалко, что он еще до асона перестал вести свою передачу. Корчась от стыда, Бениэль Ермиягу благодарил их и отказывался перебираться в лагерь – говорил, что узнают и замучают, а правды, конечно, не говорил. Мефаним положено было его уламывать, они уламывали, соблазняли пайком и рокасетом от радужки, но он отвечал, что работает на заводе, что у него там прекрасная компания (вся способная поместиться у него в руках, между прочим, только, кажется, кто попробует взять Хани в руки – пожалеет), что там паек и рокасет, что он фасует этот самый рокасет в пакетики, между прочим, – ну, вернее, надзирает над теми, кто фасует этот самый рокасет в пакетики, – словом, у него все есть, вот выдали полипропиленовый навес, полипропиленовый спальник, да и вообще здесь же минус третий ярус, все хорошо, все безопасно. Мефаним положено было его уламывать, но не настаивать: в лагерях хватало ртов, если кто идиот – это его проблемы. Они уходили, Бениэль Ермиягу ел рокасет, потому что спина болела ужасно, ел сразу четыре порошка, нарочно высыпал себе прямо на язык и удерживал, прежде чем смыть водой, чтобы язык омерзительно онемел и это отвлекло его, Бениэля Ермиягу, от стыда. Забавным образом, Бениэль Ермиягу не видел, как красиво расположился рокасет в его судьбе: а ведь тогда начиналось с рокасета, спина побаливала-побаливала, он пил нурофен, потом два нурофена, потом два нурофена и накуриться слабоватой аптечной травой, потом нурофен с травой и рокасетом, но рокасет отпускали в аптеках одну пачку в

³¹ Зд.: те, кто вывозит людей из разрушенных городов; от ивр. «лефанот» – «опустошать».

месяц с предъявлением паспорта, ну две, если обойти несколько аптек и попытать счастья, пришлось идти к врачу, и вот уже рентген, вот уже МРТ и онкомаркеры, вот уже и покати-лось – и как же вам, адон³² Ермиягу, повезло: это называется «торпидное течение», мееееее-едленное, может, что и много лет уже она существует, ваша раковая опухоль в районе позво-ночника, как же повезло вам, адон Ермиягу. Забавным образом, Бениэль Ермиягу не видит этой связочки с рокасетом, а также смешно, что нынешняя противорадная норма рокасета на взрослого человека – это, в пересчете с порошков на таблеточки, те самые две таблетки утром и две вечером, прописанные ему через два месяца после первой операции, когда стало ясно, что боль не отпускает его, что боль стала хронической («Доктор, мне очень стыдно, но не хватает»). «Ну что же стыдно, почему стыдно, не надо терпеть, давайте добавим трамадол». А, и траву, как же не добавить траву, от стыда трава тоже, кстати, помогает хорошо). Бени-эль Ермиягу держался огромным молодцом, дал пару масштабных интервью («Вы человек, который предсказывает будущее всей стране, – неужели вы не спросили у вашего, ну, внут-реннего голоса, как пройдет операция?» «Деточка, то, что со мной происходит, – это только для других; я бы просто не смог воспользоваться этим для себя, я же, вы знаете, в юности пытался, я не могу отделить свой голос от того, что со мной происходит, да и в целом это неправильно, неправильно», – пафосный идиот, и, господи, как же теперь стыдно). Он лежал тогда в отдельной палате с закрытой дверью, у медсестер был ключ, но все равно не обошлось без поползновений – собственно, одна из медсестер, собственно, «простите ради бога, у меня совсем крошечный, совсем маленький вопрос, но для меня это, понимаете, полностью изме-нить всю жизнь, простите, только если вы в силах, извините...» Бениэль Ермиягу попросил помочь ему сесть – и она начала вываливать на него бесконечную историю, одну из тысячи уже слышанных им банальных историй – он давно убедился, что есть пять-шесть сюжетов; ладно, семь-восемь; ну хорошо, десять-двенадцать; ему иногда виделась эдакая таблица, по горизон-тали – «разрыв», «приобретение», «изменение поведения», что-то еще, по вертикали – «дети», «родители», «партнеры», «работа», то-се; во что ложился сюжет этой медсестрички с грибным запахом изо рта? Приобретение/Дети, пожалуй: родила в семнадцать, закрытое усыновление, искать или не искать, так болит, ей бы только посмотреть, ей бы только убедиться, что они хорошие, ей бы только то и только это – и в горестном токовании своем она не видит, что пациент как-то нехорош, пациент лежит неподвижно, выпучив глаза и открыв рот, и мелко-мелко дышит, потому что внутри у пациента не происходит ни-че-го. Пациент пытается так, знаете, расфокусировать зрение, чтобы немножко зазвенело в ушах: ни-че-го. Пациент пыта-ется даже самую капельку выгнуть прооперированную и гулко ноющую сквозь все обезболи-вающие поясницу: ни-че-го. Пациент пытается так, знаете, напрячь язык, а потом расслабить, чтобы к нему притекли из затылка, может быть, слова: ни-че-го. Пациент не замечает, что мед-сестра уже вся выложились в своем душевном порыве и даже всхлипывать перестала и смотрит на него с благоговением, выглядит-то он, наверно, занятно, медиум в трансе, господи, как же теперь стыдно вспоминать, что он сделал дальше; уж он постарался, уж он сделал так, чтобы все выглядело, как в телевизоре: и глаза позакрывал (это было ему нужно обычно, чтобы сучий голос лучше втекал в маленькую ямку под черепом), и через рот подышал (обычно это было нужно для того, чтобы сучий голос лучше заполнил голову), и языком во рту поболтал (чтобы потекло, потекло – а сейчас он понял, что человек, болтающий во рту языком, выглядит, как пес-дебил, но надо было до конца довести спектакль, и он довел): «Милая, ищите. Ищите, но помните: вы делаете это не для себя, вы делаете это для него. Тогда можно». Она заплакала, кривя лицо, и он напряг живот быстренько, чтобы защититься от того потока язвительного дерьма, который сейчас потечет вдоль позвоночника ему в голову, – и не услышал ни-че-го.

³² Господин (*ивр.*).

Бениэль Ермиягу сказал себе тогда, что все дело в боли. Боль размещалась как бы на пути у «того, что с ним происходило». Боль была совсем страшной по утрам, когда Бениэль Ермиягу часами пытался проснуться, чтобы кое-как вытянуть руку и заглотить первую дневную дозу рокасета, и все эти часы ему снилось, что нет рокасета, снилось, что он не может найти рокасет, снилось, что он ведет передачу и боль глушит его, у него звенит в ушах от боли, и язык немеет от боли, и что по всей площадке ищут для него рокасет, и пора отвечать на какой-то невероятный, не лежащий ни в какую таблицу вопрос, а он из-за боли не слышит эту сучку (о нет, тогда он еще не называл ее «этой сучкой», понятно), и Бениэль Ермиягу наконец заставлял себя проснуться – в раскаленном облаке боли, в холодном поту, с разинутым пересохшим ртом, и мучительно пытался дотянуться до рокасета и воды, не меняя положения, и мучительно вспоминал вопрос, на который ему надо было бессовестно сочинить ответ, и понимал, что это был вопрос про него, Бениэля Ермиягу, – какой-то невероятно стыдный, невероятно жестокий вопрос, а какой – непонятно. Он сдавал онкомаркеры раз в месяц и записывал, как и прежде, четыре передачи раз в месяц; он пучил глаза и шевелил языком, а трамадола перед записью принимал столько, что для звона в ушах и расфокусированности зрения не требовалось уже вообще никаких усилий, и говорил этим людям что-то, и, приходя домой, утыкался в плечо сыну и говорил: «Давай выпьем», – хотя пить ему с таблетками было совсем нельзя. Ерема приходил к отцу чуть ли не каждый день, они курили на крыше, Ерема говорил, что это нормально, он говорил: «Давай рассудим: сколько лет ты слушаешь эти истории? Сколько лет ты даешь людям ответы всем своим существом, всей верой, которая в тебе есть? Значит, сейчас вот так, значит, сейчас это ответы твоего опыта, понимаешь?» «Я так не могу, мотек³³, я не могу так дальше, мне надо отменять передачу». «Подожди, дай этому кцат³⁴ зман³⁵, кцат савланут³⁶, кцат карбамазепин, трамадол, элатролет, подожди, подожди». Бениэль Ермиягу старался не видеть маленькие сухие струпья на умной, лысеющей клочьями голове сына и стыдился, что они вызывают у него брезгливость. Он вообще жил тогда в какой-то вязкой воде из боли и стыда и каждый день говорил себе, что передачу надо отменять (а частников давно перестал пускать к себе, они обрывали телефон и ломились в дверь, но Тали Ермиягу с маленьким Еремой мужественно держали оборону), и каждый день говорил себе, что надо ехать в клинику боли в Эйн-Бокек, хорошее дело – клиника боли в Эйн-Бокек, и вот он взял и приехал, не назначая очереди, и его, конечно, сразу приняли, это было немножко стыдно и очень приятно, и профессор, перед которым он осторожно опустился в кресло, немедленно сообщил, что вообще-то он всю эту эзотерику, конечно, нет, но вот его, Бениэля Ермиягу, передачи очень даже да, особенно, знаете ли, в последнее время, что-то появилось в последнее время такое честное в этих передачах, в его, Бениэля Ермиягу, словах, что профессор впервые начал думать о, извините, вере, у него вся семья религиозная, а его самого медицина как-то, знаете, отвадила, ну и когда видишь столько людей с болью... а тут, знаете, он в Пурим, в простой детский праздник, перечитал «Мегилат Эстер»³⁷, и вдруг вот эта с детства знакомая сказочка его так, знаете... ну, про то, что ты сын своего народа, что это у тебя где-то вот тут, в основании черепа (показывает пальцем), и вот он, профессор, теперь думает... «Ху-ху-хуюмает!» – вдруг сказал низкий, тяжело заикающийся голос где-то в животе у Бениэля Ермиягу, и что-то такое, видимо, сделалось с его лицом, что профессор немедленно попытался вернуться к анамнезу («Х-х-х-хуямнезу!»), но Бениэль Ермиягу уже шел к двери, бежал; выбежал, пробежал через что-то и еще что-то, побежал вверх по какой-то темной лестнице, потом вниз по какой-то очень светлой

³³ Лапочка (ивр.).³⁴ Немножко (ивр.).³⁵ Время (ивр.).³⁶ Терпение (ивр.).³⁷ «Книга Эстер» (ивр.).

лестнице (пожарной, но это понимаем мы, а он не сообразил, ему было не до того), остановился на крошечной и гулкой железной площадке, боль от всей этой беготни была дикая, он сел на корточки и вывернулся влево (так иногда болело меньше), и закрыл глаза, и представил себе, что вот перед ним этот сраный профессор, и вот этот сраный вопрос сраного профессора, и тут же у Бениэля Ермиягу гукнуло в голове тяжелым, давящимся согласным басом, наплывающим из живота – через горло – под язык: «Т-т-т-тоже м-м-м-не М-м-мордехай сраный! П-п-поклонится – не разв-в-валится!» – значит, ответ «да», значит, возвращаться в религию, а дети – это ничего, попинают и простят. Бениэлю Ермиягу пойти бы с этим к профессору, но он не пошел, ему хотелось оставить это знание себе, только себе, и на следующий день он попросил Тали дать ему десять, нет, двенадцать наиболее эдаких писем из лички и на все ответил прямо собственными рученьками («Х-х-хуизменяет! Т-т-ы, дура, д-д-думала, что „открытые от-т-т-т-ношения“ – это теб-б-бе, блядище, м-м-м-можно, а он, з-з-значит, „из-з-зменяет“?...»): «Если вы поймете, что ваши отношения с партнером строятся на взаимном блаблаблаблаблаблабла...» – а еще он в тот день потребовал перенести съемки на сутки вперед, это значило всем выесть мозг и всю студию поставить раком, но ему было наплевать, он пообещал всем премиальные и выдал, и от беготни и нагрузки месячный запас трамадола вышел у него за две недели, но в аптеке ему продали на два месяца вперед, и ему было немножко наплевать, как он это потом разрулит (как-нибудь разрулит), и он пропустил онкомаркеры раз, потом пропустил онкомаркеры два, потом Ерема дал ему пиздюлей, и он пошел и сдал онкомаркеры – и все.

Оперировали быстро, буквально через три дня после МРТ, потом Бениэль Ермиягу лежал в той же частной палате, что и в первый раз, и все уже было ему понятно. Во время первого же обхода он, обезболенный до кристальной нежности и совершенно пустой, с заклеенной в трех местах спиной, спросил врача, куда оно делось – ну, куда их девают после удаления: хранят, выбрасывают? Врач, не впервые, видимо, слышавший этот вопрос, сказал, что на этот раз опухоль была мааааленькая, потому что он, Бениэль Ермиягу, молодец, исправно сдавал онкомаркеры; что есть гистологические стекла, их некоторое время хранят. Бениэль Ермиягу попросил посмотреть. Врач, не понявший вопроса, сказал, что неспециалисту там ничего непонятно, но ради него, Бениэля Ермиягу, он может организовать экскурсию в лабораторию, и там через микроскоп... Бениэль Ермиягу сказал, что ему не нужно через микроскоп, он хочет посмотреть просто так. Врач помялся, но согласился, пациент-то был именитый, и медсестра, которая принесла ему стекла, попыталась сказать что-то – уж такое спасибо, такое спасибо, она взяла и съездила, и мальчик... Бениэль Ермиягу просто взял и заткнул пальцами уши, медсестра стала белого цвета, положила маленький лабораторный пакетик со стеклами на тумбочку и вышла. Он вытащил приплюсненные друг к другу лабораторные стекла с чем-то бурым и желтым и совершенно не понял, зачем попросил их принести. Бениэль Ермиягу сунул стекла обратно в пакет. В коридоре одна медсестра, хныча, спрашивала у другой, что ей теперь делать, рассказать что-то там какому-то «ему» или не рассказать, и Бениэль Ермиягу при всем своем желании не мог помочь ей совершенно, абсолютно ничем.

17. С комментариями автора: «Маленькие»

Михаэль Артельман³⁸
Специально для «Резонера»

...Рассказывают, что в некотором писательском доме собачка еще с асона ходила беременной; ну, понятно, подошел срок, хозяйка лично родовспомогала, пятилетний наследник бегал вокруг и слушал развивающую папину лекцию о размножении и приумножении («...такая диплоидная, то есть содержащая двойной набор хромосом, клетка называется „зигота“³⁹». «Зигота-зигота, перейди на енота!» «Павлик!!!!»). Щеночек родился один, но такой хорошенький – сил нет. Пятилетний наследник душно приступает к родителям с требованием назвать щеночка «Зигот». К счастью, родители же интеллигентные люди, они объясняют Павлику, что это раньше мы щеночка называли, как хотели, а теперь мы можем спросить саму собачку, как ее сыночка зовут (ну наверняка же не «Зигот», с божьей помощью), – вернее, как нам, людям, следует его называть, потому что... ну, дальше понятная и всеми прожеванная тема, не буду пересказывать. Они приходят к собачке, та лежит такая вся кормящая, и говорят: «А подскажите пожалуйста, Маргарита Васильевна... (Шучу, ладно.) А вот скажи нам, дорогая Марго⁴⁰, как нам называть твоего сыночка?» А она такая поднимает томную голову на длинной шее и твердо говорит: «Пааавлик». Жалко интеллигенцию; трудно жить не по лжи-то.

...Рассказывают, что один тут человек по сложному судебному делу ходил к Малютину на поклон. Ну и пришел, по старой привычке, с портфельчиком⁴¹. И вот идет он через «коридор», красивые вежливые люди в белых кителях с разноцветными аксельбантами передают его с рук на руки, и вот уже в самой преддверии царской казармы заветного кабинета доходит дело до портфельчика. «Что у нас в портфельчике?» – ласково спрашивает вежливый молодой человек в белом кителе с зеленым аксельбантом, прекрасный, как бог Марс. Проситель мнется и томится. «Наверное, тезисы?» – доверительно интересуется белый с зеленым Марс. «Да! – просветлев, выдыхает проситель. – Да, да, тезисы!» «Аааа, – говорит Марс и нежно улыбается. – А что ваши тезисы, убедительные?» «Эмнэээээ, – несколько теряется проситель. – Ддда, наверное, убедительные». И тут Марс нежно наклоняется к нему и говорит на ушко: «Ну вы треть-то себе оставьте, не старые времена».

³⁸ Журналист Михаэль Артельман любит шутить, что за последние двенадцать лет три раза менял фамилию: отроду был Артельмáн, в Израиле оказался Артéльман, а теперь переехал в Москву – и вот опять Артельмáн. Больше никакие шутки про свое внезапное возвращение из Израиля в Москву Михаэль Артельман шутить не любит и вообще эту тему как-то не педалирует.

³⁹ «Дорогой папа. У меня все хорошо. Я хочу сказать, что к твоей колонке „С комментариями автора: Маленькие“ от 07/03/20 у меня есть ряд важных комментариев», – господи боже, каким же плохим человеком чувствует себя Михаэль Артельман, когда вспоминает, что с Израилем нет связи и вот это очередное письмо от старшего сыночка не придет. Плохим, плохим человеком, потому что... ну, он, извините, счастлив, ничего не может с собой поделать; невыносимые письма Юлика с этим его безжалостным «анализом», с этим дообыванием до каждой запятой и до каждой метафоры – это, извините, мука, это, извините, причина, по которой он, Михаэль Артельман, с предвкушением и наслаждением писавший свои колоночки за час-полтора легкими веселыми пальцами, стал в последние полгода мучительно выжимать их из себя, с ужасом проверяя каждое слово по Розенталю и «Википедии». Самое грустное в этой истории (мы это понимаем – и Михаэль Артельман тоже, конечно, понимает) – это что Юлик Артельман искренне считает свои письма к отцу большим эмоциональным достижением, он очень старается, он в конце всегда пишет «Любящий тебя сын Юлик», он вообще молодец. Бедный Юлик Артельман, письма к отцу были частью его пятничной рутины, между прочим; можете представить себе, каково ему.

⁴⁰ Комментарий 1: Вот я который день гадаю, почему писатель и его семейство назвали собаченку «Марго», и каждая моя версия развлекает меня больше предыдущей. Поиграй в эту игру и ты, читатель.

⁴¹ Комментарий 2: Вот же великое дело – устоявшиеся образы: ну какой портфельчик, кто когда последний раз видел портфельчик? Что там было, интересно, – рюкзак Piquadro? Чемоданчик Samsonite? Я не про бренды, а про «жопа есть, а слова нету» – если у кого, короче, имеются соображения, в каком виде лично он представлял бы, эээ, тезисы, – поделитесь?

...Рассказывают, что по Москве ходит анекдот: приехал экспат в Москву работать и в первый же день спрашивает у коллег, где покупать продукты. «Вам хорошие, но дешево или плохие, но дорого?» Экспат офигел немножко, но думает – ну, загадочная душа русской экономики, он не обязан ее понимать, он обязан деткам морковочки принести. «Мне, – говорит, – хорошие, но дешево!» «А, – говорят, – это в любом магазине». «Но я же был в магазине, там ничего нет и очереди!» «А вы лицом к прошлому стойте!»

...Рассказывают, что одни ушлые люди открыли очередное «зооагентство» по продаже анчуток⁴² за границу. Денег не очень, о борзых красотках и орловских рысаках речь не идет, специализируются на мелких грызунах: мышки, свинки, хомячки. Ведутся переговоры с клиентом, клиент готов дать, что ли, пятьсот долларов, для агентства это сумма. Они ему и то, и се, и документы на провоз будут, и сопровождающий в шереметьевской ветслужбе будет, а он буквально перебирается мышами: у этой мордочка неумненькая, у той ушки не стоят. «Слушайте, – говорят ему, – ну вам же с ней не детей рожать, а разговаривать». «Да-да, – говорит, – вот я так два раза женился⁴³ – нет, получается нехорошо».

...Рассказывают, что видели мотоциклиста, у которого на коне был наклеен стикер: «Нет, я не знал Хирурга».

⁴² *Комментарий 3:* Автор, между прочим, совершенно не понимает, что у нас с политкорректным названием наших новых собеседников; официальное «носители речи, не являющиеся людьми» стало, великтырусскийязык, «нырнями», и это самое «-няла» само по себе звучит понятно (как «меняла», «говняла», не знаю); порядочные люди пользуются этими самыми «носителями речи», оно неплохо, но все равно неживое. Не понимаю, почему «сняч» (и ласковое «снячик») считается неприличным; но услышанное мною где-то* примерно неделю назад «анчутка» – совершенно гениальное, аж дух захватывает.*Ну, не «где-то», а на очередной встрече той самой группы, которую Михаэль Артельман про себя называет «клуб любителей вь-бать»; вслух это называется «Анонимные гневоголики», а официальное наименование такое неуклюжее, что неважно. Михаэль Артельман честно делает эти самые 12 шагов (правда, дальше второго он уже полгода как не двигается и двигаться, кажется, не собирается), но на самом деле встречи в АГ для него – секретная конфетка, сладкая тайна: на встречах он самый лапочка из всех, такой продвинутый Будда, всех поддерживает, всех утешает, а потом идет в ближайшее заведение и там под маааленький односолодовый виски с невообразимым наслаждением мысленно растирает одноклассников в говно, предаётся сладостной ярости, за каждую тупую фразу в воображении своем валит собеседника на пол, ставит ногу поперек горла и меееедленно... И все это очень хорошо работает, очень эффективно, Михаэль Артельман и правда стал гораздо лучше вести себя с людьми.

⁴³ Тут, положим, шпилечка, потому что этот иностранец – на самом деле муж бывшей любовницы Михаэля Артельмана, медноликой дамы-кинокритика, у которой был с Михаэлем Артельманом роман в самый разгар предсвадебной подготовки; поразительная эта дама предупредила Михаэля Артельмана, что после свадьбы ни-ни, и слово свое сдержала, и Михаэлю Артельману, конечно, было немножко смешно, а все-таки свербело.

18. Хитин, стекло, кремьнь

Звали его Петр, потому что он был кремьнь. И он был ценный, но этого никто не понял: стажер, студент-зоолог, совершенно не знающий колеоптерологии, в день истерической эвакуации зоопарка распахивал по кое-как собранным баночкам и коробочкам тех, кто ему больше приглянулся, и упаковывал двух других самцов: один был редкого, какого-то мясного цвета, второй был огромный, как вентилятор. Он был третий и среди них самый ценный, только дурак студент этого не знал: а он был аксакал, четырехмесячный старик, столько не живут. Злой и блестящий, с железными рогами и холодным от ярости животом, он был бог войны, дважды подсаживали к нему самок и ни одна не ушла живой. С мясноцветным уродом он бился рогами через стекло, громадный черный был тупой и вялой тапкой, на него он через стекло кидался, чтобы напугать, и пугал до остолбенения. В день, когда студент, жалобно всхлипывающий от каждого взрыва, дрожащим пинцетом ловил кого попало и сажал куда попало, он был зол, еще злее обычного, потому что ему мешали играть, он придумал игру: мясноцветному вчера как раз посадили самку, маленькую, почти безрогую чернявую самочку; он же днем раньше нашел такое место, где можно было в щель между стеклянными стенами просунуть кончик рога, совсем немножко, и так больно ткнул чернявую самочку кой-куда, что она от ужаса заби-лась под кривой извив одной из декоративных коряг и не выходила оттуда, как мясноцветный перед ней не вытанцовывал. Петр же сидел у себя тихо-мирно, никуда не спешил, но как только самочка, у которой тоже была губа не дура (что-то в этом мясноцветном проглядывало эдакое, скажем прямо) пыталась рыпнуться из-под коряги, Петр делал рывок в сторону щели и повторял свой фокус, и мясноцветный бросался в ярости на разделяющее их с Петром стекло. Именно это и происходило, когда прибежал студент со своими баночками в дырочку, со своим говносписком, в котором он половины названий не мог разобрать, и начал по этому списку запихивать в баночки того и этого. Дошло дело до мясноцветного, студент прихватил его кривовато за почти алый правый рог, сунул в баночку и начал рыться пинцетом в листьях, шарить под коряжками в поисках самочки. Самочка встала было мелкому зоологу навстречу, выпрямила тонкие дрожащие коленки, но наш Петр – оп-па, а вот те тык! – и она заби-лась в темноту, и студент, у которого в день панической и безалаберной эвакуации зоопарка, ей-богу, хватало дел, сунул в карман пинцет, что-то вымарал из своего списка, прихватил пальцами огромного черного – и убежал. Самочка, кажется, выползла из своего укрытия только на следующий день, невыносимо тихий и этой пустой тишиной бесивший его до зуда в ногах. Звали ее Марыся, почему – непонятно. Сейчас она давно умерла от голода, но, в конце концов, что нам смерть какого-то жука, жучишки.

19. Спасатель

– Воспринимая речь, человек соотносит сказанное с действительностью, со своими знаниями о ней, со своим опытом, – говорит плавный голос аудиокнижника (забыл имя) в голове у Ильи Артельмана, а дальше было про то, что одно и то же слово для двух человек означает совершенно разные вещи и у нас нет никакого способа это обнаружить, потому что мы привыкли друг под друга подстраиваться, приноравливаться. Память у Ильи Артельмана странная, он очень плохо запоминает факты, зато системы, концепции, соотношения – о, это он запоминает очень хорошо, ему кажется, что это называется *глубинное понимание*, он втайне этим гордится, памятью своей дырявой. Правда, иногда в это *глубинное понимание* втемяшиваются какие-нибудь отдельные фразы, который Илья Артельман совершенно не способен понять, – вроде бы простые, а только ходишь вокруг них, как собака вокруг дорожного указателя: вот уже и понюхал, и побрызгал, а явно что-то упускаешь. «Относясь к духовной культуре, язык не может ее не отражать и тем самым не может не влиять на понимание мира носителями языка», – говорит аудиокнижный голос у Ильи в голове – да чего ж он хочет, гад? Вот, скажем, чашечка, мисочка, эдакий сосудик – что имеет в виду Илья Артельман, когда сознание подсказывает ему слова «чашечка, сосудик, мисочка» при виде вот этой мисочки, чашечки, стоящей на асфальте так славненько, аккуратненько? Что-то очень непростое имеет в виду Илья Артельман, и, удивительным образом, это непростое отлично совпадает с каким-нибудь словом, которым называли сосудик, чашечку, мисочку обитатели того, что еще несколько дней назад, до оседания городов, было домиком, зданием, трехэтажкой в холемом, нежном, дорогом пригороде, через который Илья Артельман быстро семенит сейчас с полипроновым плащом в казенном рюкзаке, пытаюсь сократить себе путь до армейского раздаточного пункта. Этот ежедневный путь вызывает у Ильи Артельмана смертную тоску, потому что все нормальные люди упорядоченно переместились в лагеря и теперь упорядоченно там живут, с пайками и рокасетом, с полипроном и роскошью человеческого общения, но Юлика Артельмана невозможно переместить в лагеря, у Ильи Артельмана есть Юлик Артельман, Илья Артельман святой. Святой Илья Артельман быстро топает толстыми ножками по раскаленному Рамат-Гану и изо всех сил старается не смотреть по сторонам, смотреть по сторонам совершенно не рекомендуется в эти дни никому, и вдруг на асфальте стоит этот предмет, который Илья Артельман немедленно соотносит со своими знаниями о действительности, со своим опытом, и называет чашечкой, мисочкой, сосудиком, а как его называли хозяева – это Илья Артельман знать не волен, поскольку не обладает их знаниями о действительности. Чем Илья Артельман обладает – так это интеллигентским чутьем, порожденным набеганностью по музеям, нахватанностью, начитанностью про что попало: это непростая чашечка, и во рту у Ильи почему-то бродит слово «этрасская», и Илья это слово вполне с удовольствием прожевывает. Не поймите неправильно, если бы, например, эта чашечка *лежала* среди руин – скажем, вон там, где какой-то посеревший от осколочной пыли, раздавленный, запрокинувшийся стебель орхидеи в тонком белом горшочке и вокруг него какая-то большая, тоже серая насквозь, страшная, но в прошлом тонкая и синяя тряпка, – Илья Артельман бы ни за что, ему, Илье Артельману, туда страшно даже смотреть; нет, даже еще проще: если бы эта чашечка, сосудик вообще *лежал* – но он аккуратно стоит на асфальте, это совсем-совсем не страшно, это как в музее, прошлого уже нет, а чашечка – вот она, и Илья Артельман, побряхтывая, поднимает ее, и вот он уже идет к запрокинутой орхидее и к бывшей синей тряпке, идет бочком, как вороватый котик, который как бы делает вид, что совсем не намерен подобраться к чужой мисочке, что у него своя мисочка есть, чашечка, сосудик, что он тут вообще мимо пробегает с полипрономкой за спиной, ему надо отоварить талончики, у него и без чужой мисочки дел хватает – без этой вот второй, парной мисочки, которая лежит там, поглубже, там, среди серой пыли и вставших на дыбы

разломанных бетонных плит, там, среди крупных осколков какого-то особого стекла, наверное, очень прочного, но перед лицом асона не выдержавшего, как никто не выдержал перед лицом асона, – Илья Артельман цап вторую, парную, мисочку, все еще глядя совсем в другую сторону, все еще как бы принадлежа своему пути к раздаточному пункту, а что в этот момент у него под пальцами совершенно случайно оказывается где-то за мисочкой – где рука Ильи Артельмана шарит ну совершенно машинально – что-то ритмичное и отчетливое, что-то ограниченное и холодное, что-то тонкое и рифленое, что-то по длине – ну, скажем, как охват запястья, а по пробивающемуся сквозь пыль ледяному блеску... Так вот, оно само оказывается под пальцами у Ильи Артельмана, и Илья Артельман совершенно машинально сует это в задний карман джинсов, а мисочки почему-то засовывает себе под футболку, прижимает к круглому животу – и вдруг ужасно пугается, вдруг прямо бегом-бегом к раздаточному пункту, и уже в очереди, растянутой на два квартала, он, прикрывая мисочки всем телом от посторонних глаз, сует их в рюкзак, глубоко-глубоко под полипрен, и выдыхает, и вдыхает, и вот уже как бы нет никаких мисочек, а есть стоящая перед Ильей Артельманом старуха, держащая в вытянутой руке карточки на себя и двух котов, как работница на плакате – советский паспорт, и Илья Артельман размышляет об этом жесте, о том, что почему-то же в советском языке жестов было очень принято паспорт слегка вот так приподнять и в воздухе им помахать прежде, чем положить, а язык жестов, относясь к духовной культуре, не может ее не отражать и тем самым не может не влиять на понимание мира носителями языка: все, что у тебя есть, предъяви, все, что носишь в карманах, дай общественности как следует рассмотреть, и Илье Артельману, человеку глубоко антисоветскому, серьезно рефлексирующему, это дает повод задуматься о мисочках, он чувствует, что за этим происшествием с мисочками стоит что-то глубокое, что-то очень значимое, что следует осознать и развить, какая-то серьезная внутренняя концепция (как же без концепции); чашечка, мисочка, сосудик лопаются у нежного Ильи Артельмана в носу, течет алая юшка.

20. Маленький рай

Сублимация – это вот что: на сухую сковородку кладем чисто вымытое, порезанное мелко, как для бефстроганова, мясо. Не добавляем ни масло, ни воду, ничего. Начинаем прогревать на очень маленьком огне, постоянно перемешивая. Когда увидим, что мясо высохло и готово начать подгорать (тонкий момент) – снимаем и даем остыть. После этого пропускаем через мясорубку, тщательно отжимаем, удаляя весь оставшийся сок, и снова кладем сушиться на сковородку. В результате получаем что-то вроде гранул, чистую мясную субстанцию. Хранить можно долго-долго, говорят, до трех месяцев. Добавлять в супы, каши, ну или просто жрать горстями, чего Джозеф Колман никогда себе не позволяет: если в пайке оказывается сублимация, он его аккуратно ссыпает в маленькую бутылку из-под спрайта, а если, божьей милостью, настоящее мясо (что за время асона случилось с Джозефом Колманом ровно два раза), он его никогда не ест, а высушивает и тоже ссыпает в маленькую бутылку из-под спрайта. Сейчас в бутылке мяса примерно до середины, где-то 150 грамм, то есть почти полкило настоящего мяса, а кто считает, что это мало, тот, сука, асона не видал. Джозеф Колман исключительно дисциплинированный человек, и в еде, между прочим, тоже, а его огромное, дрожащее, идущее тысячей складок тело – это потому, что у нас не Спарта, «дисциплина» не означает «отказ», дисциплина – это «тщательный осознанный выбор», и Джозеф Колман никогда не ел никакой дряни, мерзостных промышленных чипсов, дешевых готовых тортов с кремом, припахивающим керосином. Джозеф Колман переборчив и привередлив, Джозефу Колману надо знать, что он хозяин своего стола, и бутылка из-под спрайта тому залог, она означает, что в любой момент, стоит только захотеть, Джозеф Колман может сварить себе густейший, благоухающий мясной суп, такой, что в нем будет стоять ложка, и не один раз, а как минимум два. Лежа своим огромным телом на маленькой, коротенькой кровати, Джозеф Колман любит представлять себе, как в среду добавит в бутылку из-под спрайта еще немножко сублимации; и в воскресенье; и опять в среду. В бутылке из-под спрайта раньше были монетки, большей частью по десять и пятьдесят агорот, только изредка шекель поблескивал серебряной рыбкой в тяжелом медном море. Кроме бутылки в тайнике была крошечная куколка, замотанная в парчу и бархат, – какой-то, кажется, японский сувенир, – а еще белая шахматная королева, а еще невероятной красоты синяя стеклянная шишка, производящая своими гранями чудные, мерцающие чудеса, и письмо из школы с просьбой принести в пятницу, 19/09/19, белые футболки для обоих близнецов, и очень взрослый, совершенно пустой черный блокнот, ни разу, кажется, не раскрытый. Тайник, естественно, был под кроватью; о, благодатный асон: впервые за шесть лет работы над передачей Джозеф Колман сумел исполнить свою зудящую, ноющую мечту: дисциплинированно и методично обыскать всю детскую в поисках тайника – и найти тайник, и усесться перед добытыми сокровищами с чашкой довоенного чая, и каждое сокровище ласкать и гладить, придумывая про него то и это, и расплакаться наконец от сентиментальной тоски по некоему немыслимому детству. Джозеф Колман входил в пятьсот двенадцать детских комнат в шестнадцати странах мира; из них в двести восемьдесят одной он провел по целому дню, а то и по два. Какой обидой оборачивались отказы, как уговаривали его, а иногда и оскорбляли те, кому он вежливо и деликатно, в раз и навсегда отшлифованных выражениях объяснял, что созданный ими для своих детишек «маленький рай» не подойдет для его передачи (и как же отвратительны ему были слова «маленький рай», кто бы только знал), – а он мечтал сказать, он даже всерьез фантазировал о том, как говорит: «О, оставьте меня с этой детской наедине на час, на полчаса, на пятнадцать минут, на пять, да, мне хватит пяти, потому что я же чую, где он, тайник, – это настоящее, а не фальшивое сердце детской комнаты; о, я ничего не трону, я только посмотрю, мне хватит; я просто потрогаю, я просто хочу запустить пальцы этой комнате в душу и всласть ее помазать, вот и все». Передача с ее

бешеными рейтингами считалась сентиментальной, и Джозефа Колмана поражало, насколько люди на самом деле совершенно не разбирают человеческую речь, не улавливают в его словах сухой тоски, легкого отвращения: о, как искусствен был каждый такой «маленький рай», то с рюшами, то со зверюшками, то с волшебным замком посередине, а то с фальшивым прудиком в центре ковра; пустовал замок, карпов в подпольном прудике кормил папаша, ребенок жил по углам, зрители нянякали, Джозеф Колман получал до ста писем в день – с дурными фотографиями и самохвальными описаниями, Вики Магриб отбирала десять-двенадцать писем в неделю, они ездили по локациям, выбирали пять штук, выслушивали фальшивые пожелания успеха или откровенные обиженные мерзости в еще пяти-семи местах, и вот в одном из писем появился этот адочек, и Вики, притащив подносик с тщательно сваренным по его строжайшим инструкциям шафранным кофе к нему в кабинет, плюхнулась на диван и сказала: «У меня есть real shit», – и поцеловала воздух, и он понял, что у Вики Магриб есть real shit, и в очередной раз восхитился собственным внутренним устройством, своим охотничьим азартом, не утихшим за шесть лет. Real shit, маленький адочек: Израиль, мелкий город Рамат-Ган, двое близнецов, и каждый, каждый элемент детской вручную вырезан папенькой из дерева. С завитушками. От кроваток до козеток, от напольных шахматок до возвышающих душу слоганов, развешанных по стенам. «И менять ничего нельзя, небось?» «Зачем менять? Это же маленький рай, им же все нравится», – сказала Вики и сделала вот так ручками – умная девочка, все понимала. Они приехали в Израиль, в маленький город Рамат-Ган, и тут Рамат-Ган осел, как осели в Израиле восемь других городов, он никогда не слышал такого грохота и в какую-то секунду был совершенно уверен, что этот грохот останется у него в ушах навеки, и, лежа головой под одной из маленьких кроваток, успел представить себе, как останется жить с этим грохотом в ушах, а в том, что он останется жить, он почему-то не сомневался, – если, конечно, приставленный к его шее страшный шип не проткнет ему вот сейчас яремную вену. Грохот уже давно сменился криками (в соседней комнате погиб второй оператор; у Вики нога зажата в разломанном пополам сиденье дивана), а Джозеф Колман все лежал маленькой головой под маленькой кроваткой, огромным телом наружу, боясь открыть глаза из-за страшного шипа. Когда его потянули за ноги, он заорал, но как-то вдруг сообразил, что шип был просто резной красотишей, шедшей понизу кровати, и открыл глаза, и увидел прижатую к стене в самом дальнем углу узкую коробочку: тайник. Джозеф Колман был совершенно цел; прямо на то место, под которым лежала его голова, высыпались книги с темной, как восемнадцатый век, ажурной книжной полки, поверх горы книг, покачиваясь в космическом равновесии, лежал одинокий зеленый фломастер, а больше с детской не произошло ни-че-го. Весь дом вокруг превратился в куски плит и страшные, торчащие сквозь плиты тут и там пожившие предметы, а детская стояла, как стояла: узкая коробочка, тайник. Он дал вывести себя из дома – и вдруг понял, что сейчас потеряет ее навсегда, и стал рваться внутрь, кто-то сказал: «Элем»⁴⁴, – его удерживали, что-то говорили, но он не был в шоке, наоборот, он был умный, сообразил. Через три дня приехали мефаним, он сказал: нет. Его поуживали, потом дали первый паек (пятьдесят грамм сублимаса, две банки тунца, кускуса растворимого килограмм, консервы овощные чудовищные), потом он вернулся в детскую и упибал себя в одну из двух крошечных кроваток, и уставился сквозь волшебную синюю шишку на уродливую резную люстру, изображающую одновременно солнце и месяц, если внимательно вглядеться в бесконечное деревянное витие. Все становилось таким невыносимо прекрасным сквозь эту шишку, таким мучительно-синим, первые сутки Джозеф Колман вообще ничего не делал, только смотрел сквозь шишку на все вокруг.

⁴⁴ Шок (*ивр.*).

21. Меньшинство

Это был, страшно сказать, 1982 год, и ему все приходилось изобретать самому, и уже потом, когда на всех, как из разбитого аквариума, хлынул поток каких-никаких дурно переведенных профессиональных книжек, он с мрачным удовлетворением отмечал про себя, что все делал правильно, а кое с чем и поспорить был готов, и только очень жгло его злобное сожаление о том, что недюжинные его авторские силы молодых лет ушли на иносказательные выходященные публикации в чахлах и затхлах советских междурналах, этих пахнущих туалетной бумагой могильниках. Он порассказал бы им всем, что такое групповая терапия, когда перед тобой сидят десять выпивших мужиков в наколках и в слезах, и гитара переходит от Ската к Бецкому, и в комнате не продохнуть от сигарет, и на хриплом завывании «Я не могу, я не могу тебя любить» вдруг складывается пополам от рыданий огромный бугай, и пытается спрятать лицо в здоровой ладони, а второй рукой, трехпалой, хватает тебя за запястье и так сжимает, что у тебя хрустят кости, а ты его обнимаешь, как маленького, и качаешь, как маленького, и все они в этот момент для тебя, как маленькие, да ебись вы конем с вашим контрпереносом, дорогие коллеги. Он много рассказывал про эту группу потом, уже после выхода книги, после выхода статей на английском, и на немецком, и на иврите, рассказывал на кафедрах и на конференциях, находил для того, что тогда происходило, холодненькие дозволенные слова, он умел говорить, ему как бы все прощали, потому что это же потрясающе, коллеги, – вот перед нами подлинный новатор и гуманист, человек, который в далеком темном СССР, пусть даже и в прогрессивном Харькове, изобретал из ничего групповую терапию, понимаете; а что он с пациентами пил, и пел, и плакал, и драки разнимал не сразу, а после первых трех-четырех тычков, – так это вы не понимаете просто, если им не дать, потом же будет хуже, они же выйдут, а в следующую среду к тебе живым придет один, если вообще. Он пытался реабилитировать их, никому не нужных, он объяснял им, что они – это одно, а их опыт – совсем другое и что все с ними хорошо, и что они совершенно нормальные, прекрасные даже люди, ничего в них нет такого ужасного, все хорошо, все хорошо, ну-ну, ну-ну, ну поплакал – и хватит, ну все, поплакали – и хорошо, ну все, давайте теперь поговорим. Однажды он стоял с алюфом Гидеоном у загранпоста «Бриюты», из пустыни медленно приближалось страшное слоеное облако, надо было уходить под полипрен, он скомканно закончил байку про то, как один пациент в какой-то раз привел с собой девушку и дал ей в морду, когда она засмеялась посреди одной песни, а алюф Гидеон спросил его, получал ли он сам когда-нибудь от этих своих пациентов в морду, и он честно сказал, что дважды. Гидеон тогда уехал от него злой, сейчас не вспомнить, чего он хотел, но Довгань, согласившись взять на себя, в свои семьдесят восемь, эту чертову «Бриюту», твердо знал, что дружба дружбой, а делать он все будет по-своему, а алюф может хоть изойти злостью, и алюф тоже это знал, конечно. Они курили; надвигалось слоистое, страшное, его затошнило, как тошнило каждый раз при виде буша-вэ-хирпа, – сверху черное, снизу... ну, трудно объяснить; прозрачное, как бы прозрачнее воздуха, – прикрываясь профессиональным интересом, он разными способами расспрашивал людей, что они чувствуют в преддверии бури, – нет, ничего похожего на эту тошноту; кто попадал в бурю – те, понятно, в ужасе, некоторые говорят, что при новой буре ноют подранные прежними бурями места, один сказал красивое: «Как будто просятся обратно»; те, кто не попадал, напуганы, естественно, еще сильнее. У него самого действительно ныла перед БВХ ободранная и уже почти зажившая кисть, но это вполне могла быть психосоматика, это терпимо, а вот мутило сильно, до блевоты. Алюф побежал к машине, а Арик Довгань пошел в ближайший полипреновый шатер, где уже стояли плотно-плотно, как в утреннем метро, те, кто боялся не добежать до своих караванчиков или не доверял их щелястым окнам и плохо прилегающим дверям. Он пробрался поглубже и сделал вид, что читает свой блокнотик, потому что в противном случае к нему немедленно

лезли с вопросами и жалобами, покалываниями и подергиваниями; блокнотик тоже не помогал, конечно, но он давно приучился говорить, что перед бурей ведет наблюдения, ему нельзя мешать, и ему не мешали, а он просто боролся с отвратительной тошнотой и со все той же лезущей в голову картинкой: он лежит, скрючившись, среди вонючих тряпок, от ужаса даже не чувствует, что буша-вэ-хирпа наждачкой ходит по его руке там, где тряпок не хватило, и нестерпимое, вязкое, липкое, раскаленное чувство вины тошнотой поднимается в нем. Это асон, день второй, он идет домой с полученными на халюке⁴⁵ питьевой водой и коробкой растворимого кускуса, и с шестью банками вечного непотопляемого тунца, и тут оно. О, какой поразительной силы внутренний инстинкт с приближением буша-вэ-хирпа подсказывает всем (нет, правда, всем – не было никого, кто бы об этом не говорил) необходимость срочно, немедленно спрятаться, причем сделать это вот сейчас, вот сию секунду, причем спрятаться целиком, обязательно целиком, и люди будут рассказывать, как забирались в выброшенные асоном на улицу шкафы или в собачьи будки, – он, Арик Довгань, будет даже видеть потом в этом инстинкте доказательство тому, что на каком-то этапе эволюции мы уже имели дело со слоистыми бурями, но в тот момент Арику Довганю не до эволюции, он в ужасе озирается, он бросает воду – и делает немыслимое: он, доктор Арик Довгань, забирается в пустую постель омерзительного старого нищего, до асона лежавшего тут с протянутой рукой день и ночь, а потом исчезнувшего неведомо куда. Потом он часто будет дивиться тому, что вообще не помнит ни прикосновения этой постели, ни запаха (ему не приходит в голову, что тошнота может быть памятью об этом запахе), а помнит только вину, вину, вину и стыд, стыд, стыд. Доктор Арик Довгань будет потом утверждать, что слоистые бури вызывают, пользуясь его собственной терминологией, «ложную вину», вину за произвольные памятные эпизоды; эпизод, будет утверждать доктор Арик Довгань, может быть вызван в памяти любым внешним триггером, особенно в такой напряженной и страшной ситуации, как попадание в слоистую бурю, а «ложная вина» заставляет человека внезапно погибать от стыда за этот эпизод – невинный, сам по себе совершенно не противоречащий этическим взглядам и убеждениям пострадавшего. Именно поэтому подавляющее большинство тех, кто входил в соприкосновение со слоистыми бурями, никакой вины за тот же самый эпизод не ощущают, а меньшинство – ну что меньшинство? Мы ведь не проводили никаких адекватных исследований этого самого меньшинства, которое вдруг так ужасно стыдится того, чего до бури совершенно не стыдилось, так ужасно стыдится, что от стыда и вины не очень получается спать, но это же меньшинство, вот Арик Довгань – такое меньшинство, не может же он делать выводы из собственных переживаний? Что такого «виноватого» в следующем несложном эпизоде: была среда, очередная «афганская среда», как выражалась его недовольная жена (ему это выражение нравилось, но он виду не подавал), они сидели у него в кабинете, в тот день – все десятеро, они выпили вместе с ним все по рюмочке, они притащили новую песню, и он прилежно записывал текст в свою коллекцию «афганского» фольклора (Довгань А. Г. *Военный фольклор как элемент нарративной самотерапии*; СПб.: Наука, 2001), хотя иногда у Арика Довганя возникало ощущение, что пару-тройку песен Скат и маленький страшный Карасик придумали сами специально для него (про «Доктор, не трать на меня бинты» он был почти уверен). Скат ревел слова и лупил аккорды, его пора было немножко утихомирить, а Карасик держался обеими руками за табуреточку, как детсадовец, и тихо, бесслезно подвывал, раскачиваясь из стороны в сторону, и вдруг дверь приоткрылась и заглянула Мартышка, просунула в кабинет свою веснушчатую вытянутую мордочку, и он быстро сказал: «Фу, детка, не смотри, не надо на них смотреть». Мартышка исчезла, песня дальше как-то не пошла, как он ни подбадривал Ската и Карасика, да и пора было расходиться; в следующую среду что-то не склеилось ни у кого, потом пару раз приходили два-три человека, потом на рыбалке утонул маленький, злой, неуязвимый и жуткий Карасик, Арик Довгань

⁴⁵ Зд.: раздача (шпр.).

обзвонил всех, но что-то тоже не получилось собраться – и вот он лежит, скорчившись в три погибели, среди мерзотных тряпок, вот он стоит, притворно листая блокнотик, в невыносимо душном полипропиленовом шатре, и опять этот эпизод, и опять у него от чувства вины немеет лицо – да что он такого сделал?

22. Вагончик тронется

Нбози (*сильно хромая, подходит к последнему вагону*). Бесит меня, цто он висит. Все влемя шмотлю – а он висит. Бесит.

Отто. Давай толкнем.

Фельдшер Алик Магав (*слезая с Отто*). Дурак ты. (*Обращаясь к Нбози*): Куда с ногой пасть?

Нбози (*сплевывает жвачку, задумчиво сгибает и разгибает загипсованную до колена ногу*). Бесит меня, цто он висит. (*Медленно просовывает голову в окно висящего на краю воронки последнего вагона детского поезда, высовывает в противоположное окно, смотрит вниз.*) Давай толкнем.

Алик Магав. Два дебила. Стойте тут. Отойти, дурак. (*Забирается в кабину паровоза*).

Нбози вытаскивает голову из вагона; хромая, пятится, задевает Отто задом.

Отто. Аааа!!!

Алик Магав (*подскакивает, ударяется коленом о панель управления*). Ззззззайн! Охуел???

Отто хнычет.

Алик Магав (*вылезая из кабины*). Где? Дай посмотри! (*Осторожно ощупывает повязки, которыми перемотаны огромные бока Отто*): Нормально все, будешь жить.

Отто (*жалобно*). Больно толкнул.

Алик Магав. Вот же малолетние. Тебе тридцать шесть лет, дурак.

Отто. Мне что?

Алик Магав. Тебе ничто. (*Забирается обратно в кабину паровозика, возится с ключом зажигания.*)

Нбози. Открой пасть.

Отто распахивает огромную, похожую на чемодан пасть. Становятся видны гигантские, редкие желто-коричневые зубы. Нбози с интересом обнюхивает пасть Отто.

Нбози. Непонятно.

Алик Магав (*безуспешно пытаясь завести паровозик*). Два литра спирта это называется. Вершина моей медицинской карьеры – вливать спирт в бегемота.

Отто (*довольно*). Сразу кушать захотелось. До этого совсем не хотелось, бок очень болит.

Алик Магав. То-то ты с лица спал.

Отто. Я что?

Алик Магав. Элоим ишмор⁴⁶. Ничего. (*Паровозик внезапно заводится.*) О! Бензина только мало совсем. Господи, зачем я это делаю?

Нбози. Бесит. Шмотлю все влемя – висит. Бесит.

Алик Магав выжимает газ и пытается сдвинуть паровозик, но свисающий последний вагон буксует по стене воронки. Вспугнутый ревом двигателя павлин бросается в кусты. Алик Магав делает еще несколько попыток. Внезапно последний вагон срывается вниз и тянет за

⁴⁶ Упаси боже (*ивр.*).

собой два предыдущих вагона. Хвост поезда с грохотом скользит по краю воронки, кабина, где сидит Алик Магав, кренится и встает на два колеса; еще секунда – и весь поезд рухнет в воронку.

Алик Магав (в панике). Держи! Подопри! Отто, подопри кабину!!!

Отто. Я что?

Алик Магав. Ебанный в рот! Отто, встань на край! Держи кабину!!!

Отто торопливо подставляет порванный снарядом бок под стенку кабины.

Отто. Ааааа! (Отскакивает назад.)

Алик Магав. Ах ты ж ебанный в рот! (Подтягивается и боком вываливается из окна кабины под ноги Нбози. Кабина с грохотом встает на четыре колеса.)

Нбози (отходит в сторону, чтобы лучше видеть висящий хвост поезда). Бесит. Только хузе сделал. Давай толкнем.

Отто обходит кабину с другой стороны и наваливается на нее здоровым боком. Кабина переворачивается, весь поезд со страшным грохотом скользит и рушится вниз, на дно воронки.

23. Я из тех, кого еще называют перемещенными лицами⁴⁷

После революции В. М. Родионов (МВТУ) в лаборатории А. Е. Чичибабина приступил к работам, связанным с производством морфина и получением из него кодеина. Способ оказался особенно ценным при перенесении производства опийных алкалоидов в южные районы, где высокая температура мешала выделению морфия ранее известными путями. А до войны, то есть три месяца назад, были два королевства: одно поближе к Рахату, другое под Димонной, одно площадью побольше, но населением пожиже, другое маленькое, меньше приличной спальни, но плотное, семей пять или шесть, а еще раньше все это было одно огромное царство, но только этого уже никто не помнит. И вот, казалось бы, что им асон? – нырк куда-нибудь и сиди, но только выяснилось, что с «радужкой» у этих маленьких совсем какая-то беда, голова болит так, что они просто не могут ни пить, ни есть, умирают тихонько и все. Но: пришли в первое королевство изучавшие их прежде ребята, до асона занимавшиеся проблемами социального поведения безршевской гребнепалой ящерицы, и подобрали Хани, а во второе королевство (правда, увы, гораздо позже, потому что, мягко говоря, все были заняты немножечко другим в последнее время) пришли ребята, до асона занимавшиеся проблемами сокращения ареала обитания безршевской гребнепалой ящерицы, и вытащили из-под рухнувшего гаража Лили, Нати и Орли, и вот мы здесь, поближе к Рахату, подальше от Димоны, практически под Тель-Шевой, и все вокруг покрыто меленькой белой кодеиновой пылью, и наши девочки, Хани, Лили, Нати и Орли, каждое утро получают из пипеток положенную им дозу рокасета в каплях, а днем по двенадцать часов подряд заклеивают бесконечные порошки с этим самым рокасетом, потому что в полевых условиях производить рокасет в таких количествах, чтобы всем взрослым двадцать миллиграмм утром и двадцать вечером, и всем зверям по весу их (и слава богу еще, что от радужки, кажется, не страдают рыбы, но с рыбами в нынешней ситуации особый коленкор), – это, конечно, никакие не таблетки, а растворы или порошки. Завод – огромная территория с колючей проволокой и полипроленовыми цехами, и полипроленовыми же палатками для двухсот пятидесяти сотрудников, которые считают, что вполне неплохо устроились; охраняется это все, естественно, солдатами, причем не так от людей, как от совсем другого контингента, но об этом не сейчас, и наши девочки Хани, Лили, Нати и Орли тоже живут прямо здесь, благо паек им не нужен, они сами пробавляются всякой мелкой мошкаррой, и вот тут-то и начинается беда, потому что Лили, Нати и Орли не дают Хани нормально есть. Хани, между прочим, очень надо хорошо есть, Хани выздоравливает; они с братцем часто наведывались в такое место, в такой, ну, шатер, там были бедуины, туда люди приезжали на машинах, и бедуины делали им чай, лепешки, делали им большие цветные бутылки с дымом, дым был мерзкий, а вот вокруг лепешек и всего такого водились муравьи, муравьи, жирные-жирные муравьи, про которых в королевстве Хани все знали, но страааашно же, только Хани была отчаянная и ничего не боялась, и братец у нее был отчаянный, и они забирались в бедуинский шатер, Хани подталкивала братца мордой, чтобы не забоялся и не сбежал, и они прямо при бедуинах, занятых своими топочущими гостями, наедались так, что потом некоторое время надо было просто лежать, невозможно было идти никуда, и они лежали с братцем среди грязных складок шатра, счастливые, обалдевшие от пережора, и только к ночи приползали домой. Хани была отчаянная, ей нравилось это все, ей все было интересно, она подбиралась совсем близко к бедуинам, к людям, залезала к ним в сумки, пока обмерший брат следил за ней из угла, раз или два ее

⁴⁷ В названии главы использована цитата из стихотворения Станислава Львовского; в тексте главы используются цитаты с сайта «Справочник химика 21» (<http://chem21.info>).

замечали, с визгом отпрыгивали или с визгом фотографировали, и тут какой-то мудака схватил ее за хвост и поднял в воздух – короче говоря, Хани доигралась и теперь выздоравливает, новый хвост у нее пока маленький, светлый и некрасивый, и она чувствует себя очень слабой, особенно с утра, ей надо нормально есть – но в том-то все и дело. Хуже всех Нати, те две сучки просто прислуживают ей и радуются, Нати огромная, как столовая ложка, Нати развлекается: ходит за Хани по пятам, даже если Хани пытается на минутку улизнуть от заклеивания порошков – тоже бросает порошки и идет за Хани, и стоит Хани найти себе какую-нибудь еду, какую-нибудь мошку, блошку, муравьишку, эта сука садится и смотрит, как Хани ест, и те две сучки уже рядом, сидят все трое кругом и смотрят, как Хани ест, и Хани, конечно, уже не может есть, а Нати иногда еще так лапой раз, раз, и Хани, конечно, тут же вскидывается, тут же встает в стойку, а Нати такая: а? Что? Ой, я же просто так, – а эти две суки стоят, веселятся. Дела Хани совсем нехороши, она слабеет, хвост растет медленно, с утра до ночи Хани думает о еде и о том, что надо бы бежать от этих сучек и от ненавистных шуршащих порошков, но рокасет же – Хани хорошо помнит, как было без рокасета, это все хорошо помнят, нет уж, господи упаси. Хани не высыпается, новый хвост тянет и ноет, а главное – это, наверное, от слабости, но Хани все время ужасно боится, что оторвется и он, и тогда третьего уже не будет; поэтому Хани вдобавок ко всему боится поворачиваться к этим сучкам спиной. Но хуже голода и ужаса Хани сжигает ярость, Хани же отчаянная, Хани все время представляет себе, как сделает вид, что не замечает Нати, что занята едой, и как Нати подходит все ближе, и тут – зубами за глотку ее, за глотку зубами, ссссучка, зззззубами тебя зззза глотку, – и если бы Нати была одна, без этих двух гадин, Хани бы давно бросилась и зззззззззз глотку – плевать, чем кончится, все лучше, чем эта душная ярость, – но две гадины – вот они, а сзади у Хани маленький слабый хвост, и Хани стоит у конвейера, лижет и прижимает бумажки, лижет и прижимает, у нее мутится в голове от слабости и злости и немножко от кодеина, Хани смотрит направо и налево, справа и слева такие же, как она, лижут и прижимают, лижут и прижимают, и получают утром и вечером каплю рокасета в пасть, и никуда не деться. Такая, знаете ли, типичная подростковая история, им же по 10–11 лет в пересчете на наш возраст, но об этом все старательно не думают.

24. И как?

كيفك بدون القياد؟

*«И как оно без поводка?» (араб.), граффити, ветлагерь «Хаверим», фев. 2022.

25. Ну́ма яльди́

(Ну́ма яльди́, ну́ма-шан,
Ну́ма яльди́, ата́ од катáн.
Ну́ма яльди́,
Ну́ма яльди́.)

(Египетская летучая собака рождает, как правило, одного детеныша в год, но иногда случается и двойня.)

(Ках эт хазма́н, ани́ омэ́р,
Аль тимаэ́р леиторэ́р,
Ну́ма яльди́,
Ну́ма яльди́.)

(Читатель, понимающий, о чем в этой как бы колыбельной поется, может представить себе, каково слышать ее непрерывно, по кругу, по кругу, по кругу, по кругу, по кругу. С наступления асона египетские летучие собаки слышат эту колыбельную по кругу, по кругу, по кругу, по кругу, по кругу – а больше никто, естественно (люди так точно). «Над тобой парят орлы, и некуда бежать, / Пустыня солона, и по ней гуляет буря; / Поднимается пустынный ветер и несет с собою пыль, / У тебя закрываются глаза; / Внезапно наступает тьма и ярко вспыхивает свет, / Пока душа держится в теле, ты пытаешься добежать до укрытия / И падаешь».)

(Нэша́рим хаги́м миáль вэ-э́йн лехá моца́,
хамидба́р хазэ́ малю́ах вэ-саяра́ хоца́,
Ру́ах мидбарит ола́
Вэ-һару́ах маала́
Гаргирэ́й ава́к вэ-һаэ́йна́им нисга́рот лехá
Хашэ́ха ле-фэ́та ба, аха́р-ках ор гадо́ль
Коль од рухэ́ха бэ́ха ата́ рац э́ль-һамишо́ль
Вэ-нофе́ль,
Ава́ль ахша́в ата́ кан.)

(Египетские летучие собаки, мягко говоря, не приспособлены жить на земле, но вот они живут на земле, потому что от радужной пленки дерева стали необычайно красивыми – и какими-то отвратительно скользкими.)

(Ну́ма яльди́, аль тифахэ́д
Ата́ кода́ах вэ-гуфха́ роэ́д.
Ну́ма яльди́,
Ну́ма яльди́.)

(А главное – детеныши от этой колыбельной спят, спят, спят и всхлипывают во сне, и их приходится таскать на себе, и надо что-то придумывать, что-то решать. «Спи, мой малыш, / Ничего не бойся, / Тебя лихорадит, твое тельце дрожит, / Спи, мой малыш, / Спи, мой малыш».)

(Ну́ма яльди́, тамши́х лахло́м,

Муль һамэццүт адйф коль халом,
Нума яльди,
Нума яльди.)

(При хасидах и свидетелях Иеговы египетские летучие собаки делают вид, что ничего не слышат и не понимают, потому что другой же диапазон слуха, и свидетели Иеговы с их бесполезными в данном случае кубиками смиряются и отступают довольно быстро, а хасиды терпеливо приносят какую-то еду, в основном пайковые консервированные ананасы, от которых египетских летучих собак немножко мутит; слово «хасиды» здесь неуместно, речь идет об одном-единственном раввине, имя которого автор сейчас не может вспомнить, но еще вспомнит [вспомнил, вписываю: Лиlienблум, рабби Арик Лиlienблум]. Египетские летучие собаки убеждают прибывшего к ним Йонатана Кирша [которого они отбили у котов в страшный для Йонатана Кирша час из, видимо, каких-то символически-родовых, условно-крылатых соображений] поговорить с раввином, спуститься на землю, попросить еды, но Йонатан Кирш стыдится, молчит и судорожно вытягивает шею, прячась в листве, и египетские летучие собаки в сердобольности своей подкармливают его кое-как, а в остальном он пробавляется по мусорникам и отошал до торчащих перьев.)

(Арайот вэ-намэрім хосфим эт шинэйһэм,
Мэльтаот анак лаэм ва-эш ба-эйнэһэм,
Миткарвим ахшав элэйха
Эль битнэхá вэ-эль панэйха,
Атá цоэк – ах лё нишмаат цэакá;
һэм ногасим ба-битнэхá, һадáм шэльхá нигáр,
вэ-һакрáв шэльхá авуд вэ-һахалом нигмáр,
һу од яхазор,
авáль ахшав атá кан.)

(«Львы и тигры скалят зубы, / У них огромные пасти, в глазах пылает пламя, / Ты кричишь – но крик не слышен никому, / Они рвут тебе живот, хлещет кровь, / Твой бой проигран, сон прерывается; / Он еще вернется – но пока что ты тут».)

(Нума яльди, нума бэн,
Ахшав атá кан, ахшав атá яшэн,
Нума яльди,
Нума яльди).

(У упорного рабби Арика Лиlienблума есть теория: он считает, что это не звери говорят на том языке, на котором с ними заговаривает человек, а что вообще установился какой-то единый язык и все говорят на нем. Однажды он приходит с банкой ананасов, ползает на коленях среди египетских летучих собак, раздает кусочки, осторожно будит пальцем спящую мелочь и им тоже дает кусочки, некоторые воротят мордочки, но сейчас ничего не поделаешь, для фиников не сезон, на земле почти нет еды, наверху скользко, и вдруг они начинают этими своими маленькими пальцами брать его за палец, берут его за палец и спрашивают: «Завтра тоже так?» Он, растроганный: «Я постараюсь». «Нет, – говорят, – завтра тоже так?» «Ну, – говорит, – я постараюсь». «Нет, – говорят, – не ты; завтра – тоже так?» И тут он понимает и говорит: «Я не знаю. Это как Господу будет угодно, мы молимся, но может оказаться, что завтра тоже так». И тут одна из них тихонько взывает, потом еще одна, и вот они все тихонько воют.)

(«Спи, мой малыш, спи, мой сынок, / Сейчас ты со мной, сейчас ты спишь, / Спи, мой сынок».)

26. С трубкой в зубах и с портфелем в руке

Некоторые виды животных в беседе с людьми называют других дышащих по дикой системе «третий с утра, пятый с утра» – в том порядке, в котором увидели. Все остальные называются «давно + признак», причем этот «признак» может быть каким-нибудь чудовищно неpolitкорректным, или невыносимо остроумным, или божественно поэтичным, но это бы ладно, а невыносимо то, что признак каждый раз же другой, вот что им в косматую голову пришло – то и хорошо. Когда начнется асон, Ронена Бар-Лева назовут «давно-красный», и «давно-уши», и «давно-дышит», а один енот (будут тут и еноты, погодите) назовет его «давно-грустный», но пока что этот пыхтящий, рыжий, большеухий человек не разговаривает ни с кем и вообще почти не разговаривает – тяжело. У него теперь, считай, одно легкое, он только пошел на поправку, до асона еще две недели, «Сорока» забита такими же, как он, подбитыми и покоцанными солдатами, вертолеты притаскивают новых по несколько раз в день, как картошку на склад, Ронену Бар-Леву повезло: его подбили, притащили и покоцали десять дней назад, когда всех еще успевали кое-как оперировать не спавшие по трое суток врачи. Ронену Бар-Леву сорок три года, он милуимник, он пишет (писал; теперь обо всем надо говорить в прошедшем времени, просто трудно привыкнуть) для «ha-Арец» про то, что раньше называлось «политикой», а теперь кажется мышиною возней; на войне он довольно бесполезный человек, но в этот раз всем не до жиру – этот призыв будут потом называть «цав⁴⁸ асон», хотя до асона еще далеко, и будут шутить: мол, это потому, что в бой шли не солдаты, а асон какой-то. Ронен Бар-Лев в общем-то действительно не солдат: его военная профессия, раз в год подновлявшаяся ненапряжным милуимным существованием, – труповоз, он обучен водить специальную машинку по полю боя и собирать тех, кого фельдшеры поместили черненьким. Ронен Бар-Лев провел за этим занятием ровно три недели, из какого-то бессмысленного упрямства невротически подсчитывая вывезенных, а потом ему в правый бок вошел осколок разьебанного снарядом дерева, но, к счастью, фельдшеры поместили его красненьким, и вот он здесь, тяжело дышит одним легким, пробирается по коридорам сквозь шаткое море каталок и коек, на которых скучают, стонут или спят. Все, что нам услужливо рисует в этой ситуации наша распрекрасная начитанность, можно забыть, все эти «скупые солдатские слезы», «почтальон, что ты мне притащил», «напиши, сестричка, моей маме», потому что все бодры и спокойны, а если кто и стонет – то это просто от боли, и никто пока что не отдает себе отчета в том, что это довольно, извините, поразительно и как-то ненормально; ну то есть нет, отдают себе отчет работающие в больнице психиатры и еще некоторые специалисты узкого профиля, а остальным сейчас незачем отдавать себе в этом отчет, всему свое время, пусть пока это самое – заживают, все такое. Ронен Бар-Лев, кстати, отдает себе отчет, потом он будет среди тех, кто настаивает, что асон начался еще до асона, асон начался во время войны, когда выяснилось, что у всех солдат (а также офицеров – не придирайтесь к словам, сейчас не до этого; ну, словом, у всех непосредственных участников военных действий) обнаруживается абсолютная, фотографическая боевая память (небось, писать отчеты и сводки в такой ситуации – одно удовольствие, да только их под конец никто, конечно, не писал). С одной стороны – фотографическая память, а с другой – удивительная, невероятная какая-то бодрость духа (чего не скажешь, к сожалению, о совершенно измочаленных врачах «Сороки» и других подобных мест), которую, конечно, считают таким богоданным проявлением патриотизма, – и только мрачных мудаков вроде Ронена Бар-Лева это настораживает; да что «настораживает» – пугает до усрачки, причем ладно в других-то, но ведь и сам Ронен Бар-Лев, человек, у которого всю жизнь были глаза на мокром месте, за все это время ни разу не поплакал; вот он пробирается между каталками, давно-дышит, старается

⁴⁸ Приказ явиться в военкомат для прохождения службы (*ивр.*).

идти осторожненько, чтобы не пробудилась колющая боль в боку и ноющая – в груди, а настроение у него – *бодрое*. Есть одно место в подвале, на минус третьем этаже, за двумя железными дверьми, которые больно открывать, – маленькая комнатка, где он договорился встретиться с неврологом по имени Сильвио Белли. Неврологу Сильвио Белли семьдесят восемь лет, он тоже получил цав асон – в смысле такое время, выходи на работу, старый человек, раз ты еще не прекратил вести свою частную практику, – но невролог Сильвио Белли не участвовал, конечно, в военных действиях, ему, можно сказать, не повезло: Чудом о Бодрости Духа его не осияло, состояние у него после этих трех недель аховое, и Ронен Бар-Лев, с которым они первый раз пересеклись в этой маленькой комнатке на минус третьем этаже, проводит с ним много времени, старается поддержать. Невролог Сильвио Белли – специалист по расстройствам речи в основном, а у Ронена Бар-Лева с речью все нормально, если не считать естественной в его состоянии прерывистости фраз, вызванной одышкой, поэтому неврологу Сильвио Белли легко с ним разговаривать, тем более что они вообще не разговаривают. Ронен Бар-Лев как выбрел первый раз из палаты, так побрел-побрел, везде вой и скрежет зубовой, и он решил убраться на подземную стоянку, но повернул куда-то не туда, запутался, устал, решил брести в поисках какого-нибудь лифта, спустился на два пролета, долго шел пустым подземным коридором с пустыми палатами (поразительно: наверху ад, не протолкнуться, а тут целый коридор пустых палат – чума в них, что ли, гуляет), а потом вдруг увидел мираж – и на секунду даже подумал, что провалился в чей-то сладостный, детский предновогодний сон (самому Ронену Бар-Леву никогда ничего особенно не снилось): никакой мебели в очередной палате, кажется, не было, зато вся она была забита, забита, забита, забита игрушками, и лежащими внавал большими цветными книжками, и пластиковыми динозаврами-качалками, и низенькими столиками в форме облачков, и карликовыми яркими стульчиками, и коробками с цветными карандашами, и резиновыми фигурками Барта Симпсона, и всем, всем, всем иллюзорным и неживым, чем набивают в мирное время игровые комнаты детских отделений. Ронен Бар-Лев услышал яростное шарканье и обнаружил у дальней стены комнаты сидящего на стопке цветастых матрасиков старого человека в белом халате, скрючившегося в три погибели и яростно закрашивающего синим восковым мелком белое бумажное небо, елозящее по одному из столиков-недомерков. Ронену Бар-Леву вдруг тоже невыносимо захотелось что-нибудь закрашивать, что-нибудь чиркать и калякать, самозабвенно высунув язык, и он стал копать в огромных пластиковых контейнерах, выудил себе какую-то книжку-раскраску с ошалелыми пони, нашел у нее в конце чистую обложку и начал рисовать на ней мышь в оранжевом свитере, с трубкой в зубах и с портфелем в руке. Из трубки явно должен был подниматься синий дым, а старый человек все чиркал и чиркал, Ронен Бар-Лев немножко подождал, а потом поймал этого человека за руку и осторожно потянул у него из пальцев синий мелок, а невролог Сильвио Белли не отдавал мелок; тогда Ронен Бар-Лев потянул сильнее, но невролог Сильвио Белли упрямылся; тогда Ронен Бар-Лев как следует дернул, а невролог Сильвио Белли как следует толкнул его в грудь, а Ронен Бар-Лев ойкнул от боли и схватился за бок, а невролог Сильвио Белли продолжил закрашивать свое неестественно синее небо, а Ронен Бар-Лев сделал дым, выходящий из мышиной трубки, темно-зеленым, и получилось очень даже ничего.

27. Поговорим еще

I

За ним прислали, оторвали от еды, он нехотя пошел. Было ослепительно жарко, пахло полипропиленом, роженица никак не прореагировала на его приход, ей уже было все равно, и он дал знак крутившемуся рядом Т., чтобы тот попытался ее занять, растормошить. В ответ Т. только отступил еще дальше в угол шатра, всем своим видом дав понять, что он-то тут никто, он только так, крутится рядом, – Т. всегда оказывался там, где набухала драма, и никогда ничего не делал; можно было не сомневаться, что и за помощью послал не он, Т. не любил ответственности. Роженица вдруг крупно задрожала всем телом и завывала; он крадучись приблизился к ней, стараясь не получить дрыгающейся ногой в глаз. Четверо крошечных детенышей, головастых, липковатых и слепых, уже лежали рядом с матерью, тоже тихонько подрыгиваясь; он увидел костлявую спинку пятого и понял, в чем дело; пятый, вдобавок ко всему, был, кажется, совсем большой, когда роженица на секунду натуживалась из последних сил сквозь дрыганье и вой, показывался его затылок и основание головы, крупной, как китайская груша. Т. подошел совсем близко и тоже уставился на бусинчатый хребет, то появлявшийся, то исчезающий из виду; он оскалится, Т. покорно отбежал в сторону. Он понятия не имел, что тут нужно делать, и поэтому сделал первое, что пришло ему в голову: осторожно взялся зубами за тоненькую, облепленную кровью и слизью шкурку пятого и медленно потянул на себя. Роженица зашлась высоким, почти мелодичным визгом, перешедшим в глухой вой; он быстро отпустил шкурку, и хрупкий хребет тут же почти исчез из виду; наружу теперь смотрели только три крошечных позвонка. Он по-настоящему испугался. Внезапно Т., видимо, решивший, что и от него должна быть какая-то польза, забежал с другой стороны и начал лизать роженице свалывшуюся от слез морду; это так удивило ее, что она замолчала; он вдруг подумал, что за все время его дружбы с Т. тот ни разу не взялся за дело, которое могло бы пойти не так, но в любой ситуации отлично находил для себя какое-нибудь беспроектное занятие; Т. все любили; он завидовал Т. и сердился на неразборчивость окружающих, но Т. и с ним вел себя ровно так же, как со всеми: совершал безошибочные, маленькие приятные поступочки, и противостоять этому было невозможно, и сердиться на самого Т. тоже было невозможно. Роженица изумленно замерла и задышала спокойнее; тогда он сделал то, что очень боялся делать: попытался осторожно просунуть лапу пятому под бок. Роженица зашлась визгом; лапа не проходила, он набрал в легкие воздуха и поднажал – и вдруг почувствовал, что все хорошо и дальше тоже будет хорошо, лапа гладко проскочила внутрь, в мокрый и густой живой жар, и точь-в-точь обхватила хрупкий бочок, и он опять вцепился зубами в тоненькую мохнатую кожу и потянул сразу лапой и зубами – и пятый как будто понял, что от него надо, как будто свернулся клубочком – и через секунду дело было сделано. Шестой вышел на свет сам, буквально выкатился кубарем, Т. поднял его огромными желтыми зубами и отнес в сторону, к остальным («А мог бы и сожрать», – вдруг подумал он, да времена переменялись, плюс Т. с его напарницей, говорят, прекрасно кормили – отдельно, чтобы не дразнить других, – и даже у бестактного Т. хватало такта не слишком распространяться об их с Р. пайках, но пахло от него свежим, сырым (ну хорошо, размороженным) и волокнистым, и это вызывало у многих странную реакцию: Т. уважали вот за это, за этот особый паек да за то, что таких, как они с Р., больше не было; кто-то объяснил однажды, что они – вымирающий вид, что таких, как он, на этой земле осталось всего ничего; он тогда подумал, что нынче все – вымирающий вид, но, конечно, промолчал. Измученная роженица лежала с закрытыми глазами, мелко дыша, и ничего не делала. Т. попы-

тался вылизывать котят своим огромным языком, те запищали и закопошились от страха, в ответ на это роженица как-то востепенулась и принялась слабо подгрести новорожденных к себе. Делать ему здесь, собственно, больше было нечего, он потрусил назад к еде, а Т. медленно пошел с ним рядом, давая ему тень своим длинным пятнистым телом. Там, где он оставил свой недоеденный паек, уже, конечно, ничего не было; в песке крутились две белозубки, видимо, подбедая крошки, да тонкий пунктир муравьев дружно делал свое невидимое дело. Внезапно Т. пришел в ярость: кругами бегал вокруг пустой миски, взрыкивал и всячески давал понять, что оскорблен грабежом и обижен за товарища. Он сказал Т. человеческим языком: «Пусть». Т. тут же успокоился и вдруг вскинул торчком уши: где-то начинался скандал, Т. не мог пропустить скандала; Т. всегда мчался на своих огромных лапах в самую гущу с намерением немедленно все разрулить и при этом никогда ни во что не вмешивался. Он тоже прислушался: ему показалось, что он слышит голос недавней роженицы. Т. сорвался с места и был таков; у него самого совершенно не было сил никуда идти, он положил звенящую от жары голову на лапы и немедленно заснул, но вернувшийся Т. почти сразу разбудил его: роженица не подпускала к себе пятого и даже укусила его, а шестой ткнул пятого лапкой в глаз и сказал по-человечески: «Кыш, сука, – а потом добавил: – Поговорим еще».

II

За ним прислали, оторвали от еды, он нехотя пошел. Было ослепительно жарко, пахло полипропиленом, роженица никак не прореагировала на его приход, ей уже было все равно, и он дал знак крутившемуся рядом Т., чтобы тот попытался ее занять, растормошить. В ответ Т. только отступил еще дальше, к кустам, всем своим видом дав понять, что он-то тут никто, он только так, крутится рядом, – Т. всегда оказывался там, где набухала драма, и никогда ничего не делал; можно было не сомневаться, что и за помощью послал не он, Т. не любил ответственности. Роженица вдруг крупно задрожала всем телом и завывала; он крадучись приблизился к ней, стараясь не получить дрыгающейся ногой в глаз. Четверо крошечных детенышей, головастых, липковатых и слепых, уже лежали рядом с матерью, тоже тихонько подпрыгиваясь; он увидел костлявую спинку пятого и понял, в чем дело; пятый, вдобавок ко всему, был, кажется, совсем большой, когда роженица на секунду натуживалась из последних сил сквозь дрыганье и вой, показывался его затылок и основание головы, крупной, как китайское яблоко. Т. подошел совсем близко и тоже уставился на бусинчатый хребет, то появлявшийся, то исчезающий из виду; он раздраженно посмотрел на Т., и тот покорно отбежал в сторону. «Инструменты принеси», – сказал он Т., и тот исчез. Он начал осторожно работать пальцами; роженица зашлась высоким, почти мелодичным визгом, перешедшим в глухой вой; наружу теперь смотрели только три крошечных позвонка. «Ну мамеле⁴⁹, ну потерпи немножко, ты ж уже почти все сделала, почти закончила, – привычно забормотал он. – Уже почти все, немножко еще поработать». Внезапно Т., видимо решивший, что и от него должна быть какая-то польза, забежал с другой стороны и начал гладить роженицу по влажным от пота волосам; это так удивило ее, что она замолчала; он вдруг подумал, что за все время его дружбы с Т. тот ни разу не взялся за дело, которое могло бы пойти не так, но в любой ситуации отлично находил для себя какое-нибудь беспроектное занятие; Т. все любили; он завидовал Т. и сердился на неразборчивость окружающих, но Т. и с ним вел себя ровно так же, как со всеми: совершал безошибочные, маленькие приятные поступочки, и противостоять этому было невозможно, и сердиться на самого Т. тоже было невозможно. Роженица перестала дергаться и задышала спокойнее; тогда он потихоньку-потихоньку подвел пальцы под крошечный мягкий бочок плода. Роженица зашлась визгом; пальцы шли тяжеловато, и он подумал, что вот же девочке не повезло: вообще-то за ред-

⁴⁹ Мамочка (*ивр.*).

кими исключениями этот новый мир, эти новые приплоды казались ему снятием библейского проклятия «рожать в муках», он помнил, как одна роженица, молодая кибуцница с твердым телом профессиональной бегуни, после каждого принятого им ребеночка недоверчиво спрашивала: «Точно живой? Точно?» – потому что никакой боли не чувствовала, а только говорила, что «приятно тянет», и все боялась, что на четверых у нее не хватит молока, но молока сейчас у всех всегда хватало. Он набрал в легкие воздуха и очень осторожно поднажал – и вдруг почувствовал, что все хорошо и дальше тоже будет хорошо, пальцы гладко проскочили внутрь, в мокрый и густой живой жар, он нащупал крошечную, как лапка у котенка, мягкую ножку, поворачивать надо было не задумываясь, доверившись только рукам, он повернул – и пятый как будто понял, что от него требуется, как будто свернулся клубочком – и через секунду дело было сделано. Шестой вышел на свет сам, буквально выкатился кубарем, Т. подхватил его огромной пятерней в латексной перчатке и подложил под бок матери, теперь боявшейся шелохнуться – такие они были крошечные и слепые, эти шестеро. Ему уже доводилось видеть, как матери боялись притронуться к этим новым слепышам, доводилось видеть, как они рыдали в первые дни асона и спрашивали: «Что это? Кто же это?»; один не слишком молодой отец, позабыв о присутствии жены, жался к стене медшатра и спрашивал густым безвоздушным голосом: «Они умрут, да? Они умрут же?» – но они не умирали, на следующий день у них открывались глаза, а через две недели они дорастали до нормального, привычного младенческого веса, все трое, четверо, пятеро, шестеро. Т. кучкой раскладывал крошечных младенцев на тугой груди роженицы («А мог бы и сожрать», – вдруг мелькнула нелепая мысль у него в голове). Измученная роженица лежала с закрытыми глазами, мелко дыша, и ничего не делала. Т. безо всякого стыда попытался развязать тесемки ее рубашки и приложить одного из слепышей к темно-бурому огромному соску, роженица как-то встrepенулась и принялась слабо подгребать мелкопузырьков к себе. Делать ему здесь, собственно, больше было нечего, он скинул перчатки и, не прощаясь, пошел назад в свой караван, к остывшей еде. Т. медленно пошел с ним рядом, тень от его длинного костлявого тела вытянулась на несколько метров вперед и вспугнула двух подъезжающих что-то в пыли землероек. Он наклонился погладить дремлющего у миски кота и не добился никакой взаимности. Консервированный суп подернулся тонкой пленочкой; Т. суетливо предложил сходить разогреть его на общих углях, он лениво сказал Т.: «Нет, пусть». Т. тут же успокоился и вдруг замер, прислушиваясь: где-то начинался скандал, Т. не мог пропустить скандала; Т. всегда мчался в самую гущу с намерением немедленно все разрулить и при этом никогда ни во что не вмешивался. Он тоже прислушался: ему показалось, что он слышит протяжное мяуканье, и громкий писк, и неразборчивые голоса. Т. сорвался с места и был таков; у него самого совершенно не было сил никуда идти, он плюхнулся за стол, положил звенящую от жары голову на руки и подумал, что хорошо бы сейчас просто поспать, и чуть не заснул прямо здесь, за столом, но вернувшийся Т. почти сразу разбудил его: оказывается, только что за углом их каравана разродилась кошка и почему-то не подпускала к себе одного из котят и даже вроде бы покусала его, а другой котенок ткнул брата лапкой в глаз и сказал по-человечески: «Кыш, сука, – а потом добавил: – Поговорим еще».

28. В самых разных областях

Полдневный жар в долине Дагестана. С клинком в грууу... С клинком в груууу... Ди! Лежал недвижим я. Так вот к кому ты от меня ухххх... ухххх... уходишь. Ты похоти... Ты похоти... Ах, сучка, прочно же ты застряла. Дернуть страшно, рукоятка ходит ходуном. Так вот к кому ты от ме! Ня! У! Есть! Рассмотрим-ка поближе: кажется, и правда не ошибся, да-да, этот нож для писем надо было спасти, он не эксперт, конечно, но шатко сидящая на оси резная нефритовая рукоятка невероятной красоты, спиралью на ней идут мааааленькие сценки, мыслимо и немислимо совокупаются невероятно гибкие человечки с тяжелыми веками и тяжелыми браслетами, и сам нож тяжеленький, его точно надо было спасти, а Илья Артельман занимается ровно этим, у него и блокнотик есть, он все записывает: где нашел, когда. Илья Артельман ужасно боится лезть поглубже, он всего боится: и что сдвинутся с места невообразимым дыбом стоящие куски того, что недавно было жильем, и что где-то неловкий шаг – и пухлая нога соскочит с бетонной глыбы и хрусть – пополам, и еще Илья Артельман очень боится, что где-то блеснет, поманит, а там – ну, страшно даже представить себе; ну, короче, например, рука. Илья Артельман утешает себя мыслью, что если бы рука, то ее бы еще тогда, еще в первые дни увидели спасатели, но творилось такое, такое творилось, а спасатели – они тоже, знаете ли, живые люди. Поэтому Илья Артельман не ходит по развалинам, Илья Артельман просто деликатно заходит в хоть как-то сохранившиеся квартиры, очень деликатно заходит – а вдруг, например, у хозяев тоже сыночек вроде Юлика, вдруг, например, они тоже побоялись перемещаться с ним в лагерь и теперь живут без одной стены и канализации – но живут? А тут Илья Артельман попытается спасти, скажем, старый-старый браслет – золотой, низкопробный, очень толстый, но дутый и с наружной стороны весь сплошь покрытый небольшими старинными, плохо отшлифованными гранатами, но зато посредине возвышаются, окружая какой-то странный маленький зеленый камешек, пять прекрасных гранатов-кабошонов, каждый величиной с горошину. Страшно представить себе, что этот прекрасный браслет попадет в руки к мародерам; надо его спасти – а тут хозяйева, и выйдет такое неприятное, стыдное недоразумение, тебя я ненавижу, волчица жадная, и мерзкая притом. Никого нет в этих квартирах, все в уютных дружных лагерях, в лагерях сейчас, небось, ужин, макароны, умные люди кучкуются вместе, есть с кем поговорить, для бедного Ильи Артельмана нашлись бы там внимательные слушатели, ценящие его собеседники, а сколько пользы в этих особых, сложных обстоятельствах мог бы принести его инженерный дар, его ТРИЗовская выучка – передать нельзя. Только Юлик Артельман и так еле держится, Юлик Артельман опять начал расчесывать себе руки до крови, Юлика Артельмана нельзя в лагерь, Илья Артельман хорошо помнит, что с Юликом было при их последнем, тихом-мирном, триста раз проговоренном и подготовленном переезде из Бат-Яма в Рамат-Ган. Трудно бедному Илье Артельману. Трудно жить на свете поросенку Пете. Жесткой хворостинкой управлять... ай! ай! – под ногой Ильи Артельмана вдруг покапталась какая-то труба, из-под нее порскнул паленой расцветки кот. Скотина! Фффух. Илье Артельману надо продышаться, он садится остороженько на спину какой-то плите, предварительно попытавшись стряхнуть с нее пыль и расчихавшись. Илье Артельману чудовищно жарко, он чувствует, как в складочках шеи пот и пыль превращаются в черную зудящую грязь, и запах от Ильи Артельмана идет такой, что перед котом неловко. Ну-с, десять глотков воды, а также пересмотреть блокнотик и содержимое рюкзака. Вот этот самый дутый браслет; кукла с базедовыми глазами и тугими, как пружина, волосами, в пожелтевших кружевах, с пожелтевшим кружевным зонтиком; китайская пиала, вся в мелкой сети бесценных трещин, которые сразу подсказали Илье Артельману: спасать! спасать! Прелестная фантазия про то, как Илья Артельман в присутствии нескольких восхищенных интеллектуалов что-то такое налаживает в лагерном непрестом, но дружном быте, попутно объясняя, что мы называем «иде-

альным конечным результатом», сменяется не менее прелестной: Илья Артельман возвращает спасенные ценности вернувшимся в свои восстановленные дома владельцам. Тут интеллектуальный уровень собеседников несколько размыт, зато эмоциональная отдача впечатляет. Скотская котина сидит на сером от пыли и сквозь нее поблескивающим полиролью уголке стола; смотрит. На тебя гля-дят умными гла-за-ми. А дельфины доооообрые, а дельфины строооойные, вот этот стол бы надо спасать, между прочим. Вот эта кожаная обтяжка столешницы сразу говорит нам, что надо спасать, пока, между прочим, вот такие паленые или вон такие пыльные, как этот, грациозно приближающийся, не зассали и не раскогтили. Но Илье Артельману пока непонятно, как спасать крупные ценности. Идеальное конечное решение кроется, конечно (а также идеально), в том, чтобы никуда их не перемещать, а спасать прямо тут, но это еще надо побрейнстормить, а коты, между прочим, бесят. Илья Артельман зачем-то обнимает рюкзак и говорит идиотским голосом: «Вот, спас». Первый, паленого цвета, кот исчезает, остается второй, пыльного цвета, пыльный. Каким ты был, таким остался, орел степной, казак лихой ой ой ой – плита, на которой сидит Илья Артельман, вдруг не то чтобы ходуном, но что-то такое неуловимо смещается под ней, и Илья Артельман вскакивает, задохнувшись от ужаса. Еще один кот, тоже пыльный, нет, не двоится; Илью Артельмана вдруг все это начинает очень напрягать, чего уставились, спрашивается, человек работает, человек занят важным делом. Смотри, смотри, душа моя открыта. Пыхтя и ойкая, Илья Артельман юзом сползает с обломков на землю спиной вперед. Кот идет за ним. Внезапно под руками у Ильи Артельмана оказывается распавшаяся надвое плита, которую он хорошо помнит: граффити с голой сисястой женщиной, вся она тянется навстречу зрителю, руки за головой, на шее табличка «Vandalize me!», и кто-то покорно пририсовал к ее открытому рту по-заячьи закусенную поперечную морковку. Вот, между прочим, современное искусство, вот это бы спасти, спасти бы, а пыльный кот садится как раз этой женщине на голову, ну что ты будешь делать. Илья Артельман шикает на кота, а потом так машет рукой: кыш! Кыш! Кота сдувает, и по необъяснимой причине за ним стелется волна потрясающего, древесного и кожаного, перечного и сандалового аромата. На секунду у Ильи Артельмана случается небольшой разрыв шаблона, но тут же все встает на свои места: это там, в щели между плит, что-то замечательное замечательно пахнет. Илья Артельман вообще-то боится совать руки в такие расщелины (робкое проникновение; осторожное шевеление пальцами; и вдруг тебя оттуда – хвввать! Ой, этого Илья Артельман не переживает), но тут собирается с силами и тихонечко-тихонечко, глубже и глубже, робкое проникновение, осторожное шевеление пальцами – ах, там бутылочки, и Илья Артельман, который очень ценит такие бутылочки, прямо на ощупь понимает, что эти бутылочки – ого-го. Просвещенный человек отдает себе отчет в том, что к области высокой культуры могут относиться произведения, ставшие результатом приложения человеческого гения в самых разных сферах; не являются исключением и такие области культуры, как мода, гастрономия или, например, парфюмерия, нес па? Парфюмерия-фюмерия решетча-та-я. Илья Артельман уже на ощупь понимает, что это за решетчатый флакончик, стальной и кожаный, пятьсот что-то долларов в дьюти-фри, и пытается потными пальцами, пальцепотными, животными, хва-та-тельными. Уж как мне теперь по сеничкам не ха-жи-ва-ти, мила друженька за ручень-ку не важивати, Илья Артельман чувствует, что если попытается еще чуть-чуть дальше просунуть руку, то с плечом произойдет нехорошее, и тут вдруг прямо перед лицом пыльное – шмыг, и лапу внутрь, и вот так, вот так лапой в сторону Ильи Артельмана, и бутылочки звяк-звяк, и решетчатая наа-аклоняется, наааааклоняется, и оп-пааа! Илья Артельман, задыхаясь, откатывается на спину, запястье немножко поцарапано, но бутылочка-то – вот она, и тут Илья Артельман вспоминает, что на кукле хорошо бы не лежать, и высвобождается из рюкзака, а пыльный пыльный сидит, смотрит, и тут Илья Артельман оказывается в чистом виде умный-умный, а дурак, потому что мучающий его вопрос звучит следующим образом: «Надо ли говорить спасибо в ситуации, когда оказавший тебе помощь представляет собой...» – ну, понятно; а лучше бы Илья Артель-

ман о мотивациях задумался, о мотивациях. Вместо этого Илья Артельман движется дальше, потряхивая тяжелым рюкзаком за округлой мягкой спиной, и даже спасибо не говорит.

29. Намнеман⁵⁰

Дани Тамарчик, сын тат-алюфа⁵¹ Зеева Тамарчика, сломал ногу, когда ему было одиннадцать лет: хотел отфутболить мяч, да как-то неловко крутанулся, плюхнулся – и вот пожалуйста. Зеев Тамарчик хорошо помнит, как бежал через футбольное поле: ему казалось, что он бежит все быстрее, а ревуший Даня оказывается все дальше, вокруг уже копошатся какие-то чужие родители, и вот он наконец подбегает и тоже плюхается со своим «Где болит, мой зайнык? Где болит, мой маленький?» – и вдруг замирает, пораженный тем, что от его маленького сына впервые идет взрослый, совершенно мужской запах свежего пота. Бедный подвывающий Данеле Тамарчик, тогда еще говорящий, схватил его за рукав и называл «папи» прямо при однокашниках, и потом Зеев Тамарчик однажды слышал издевательское «Папи!», брошенное Дане Тамарчику в спину в родительский день. Соня называет Зеева Тамарчика «Динго», потому что он Зеев, а он называет Соню «Нуми», «намнеман», потому что светлой памяти Эви Полацкий сказал ему однажды, что по-русски «Соня» значит «яшнунит», такая маленькая сплюшка. А раньше Соня не звала его никак, он не может припомнить, чтобы она вообще хоть раз обратилась к нему по собственной инициативе. Мать Сони, бывшая жена тат-алюфа Зеева Тамарчика, прижила Соню в шестнадцать юных лет от какого-то случайного развратника, старше ее не то лет на десять, не то на двенадцать, Зеев Тамарчик уже не помнит. Когда эта породистая женщина с тугой смуглой кожей начала благосклонно принимать простоватые ухаживания Зеева Тамарчика, Соне было почти одиннадцать, и она уже успела превратиться в страшное женское существо под названием «королева класса». Зеев Тамарчик хорошо помнит, как ее мать представила его «своей принцессе», предварительно как следует попытав насчет планов на будущее; Зеев Тамарчик ожидал увидеть бойкое десятилетнее существо, вроде того, каким был в этом возрасте его старший сын; это существо, конечно, будет совсем несложно подкупить мелкими похихатываниями да рисунком «слона сзади» (безошибочный ход, спасавший Зеева Тамарчика при любых неожиданных контактах с детьми). Вместо этого в кафе на Флорентине всплыло хрупкое создание с бледными, до поясницы доходящими прямыми волосами и прищуренными, подкрашенными глазами бессердечной ундины; в ответ на бодрое «Ааа, вот наша девочка!», которое должно было навсегда сделать Зеева Тамарчика другом этой малолетки, ундина вперилась в маменькиного ухажера долгим взглядом и с усмешечкой поинтересовалась: «Что, так-таки „наша“?» Сониная мать медленно повела плечами (жест, который с этого самого момента и до несчастной ее смерти будет вызывать у Зеева Тамарчика чувство незаслуженного унижения) и спросила Соню, что та будет есть, подталкивая к ней меню. «После шести? Ничего», – холодно сказала ундина, и мать ее снова повела плечами, и Зеев Тамарчик вдруг с тоской подумал, что разговор про будущее, кажется, зашел дальше, чем ему бы хотелось. Его брак с Сониной матерью продлился несколько месяцев и недоуменно распался за полгода до асона; их чувства друг к другу были так слабы, что после развода каждый из них был благодарен другому за легкость, с которой все обошлось. Примерно раз в месяц они встречались за ужином в недорогой кафешке; иногда это заканчивалось сексом, иногда нет, но в основном их общение сводилось к приятной и необязательной болтовне в WhatsApp. В тот день они договорились не поужинать, а пообедать, и ундина явилась в кафе вместе с матерью: у них совсем мало времени, ундину нужно потом отвезти на пижамную вечеринку к подружке (Зеев Тамарчик немедленно представил себе эту несчастную подружку, вечно дрожащую перед своей королевой, и пожалел ее так, как может пожалеть только взрослый мужчина, хорошо помнящий школьные годы). Ундина растеклась по соседнему стулу, ни разу не удостоив Зеева

⁵⁰ Соня (зоол., ивр.).

⁵¹ Генерал-майор (ивр.).

взглядом, и в легком колебании ее волос он вдруг услышал тот густой жасминовый запах, который когда-то, в самом начале романа, вызывал у него стыдливую нежность к ее матери; внезапно ему стало ужасно интересно, делится ли мать духами с дочерью, или та подворовывает по мере сил. Желая убедиться, что этот жасмин не примерещился ему в перегретом сытном воздухе кафе, он слегка наклонился вправо, словно бы желая получше разглядеть розовые-персиковые кроссовки ундины, и был награжден раздраженным взглядом, и нога в кроссовке немедленно уехала поглубже под стол, но жасмин, нет, не почудился ему, как не почудился и слабый лекарственный запах, идущий от кудрявой юной красавицы за соседним столиком, и вдруг он снова очутился в автобусе, медленно едущем из Рамат-Гана в Петах-Тикву. Ему было девятнадцать или двадцать, и каждые две недели по дороге с базы домой он проезжал полную коробку маленьких девочек – светящийся в темноте спортзал «Маккаби», где в желтом электрическом воздухе мелькали и подпрыгивали крошечные гуттаперчевые существа в леотардах; один раз он видел, как маленькая фигурка, описав плавную дугу над брусьями, ловко переставила лапки, зависнув вниз головой, и плавно поплыла вниз, и вдруг слишком резко исчезла из виду, и страшный толчок автобуса, сбившего в этот момент собаку, отдался в его костях такой же панической болью, какую, наверное, в этот момент испытала она, ударившись костлявой спинкой о жесткие маты. Почему-то его всегда мучил один и тот же вопрос: чем пахнут эти странные маленькие существа с затянутыми на макушке волосами; он был уверен, что совершенно ничем, потому что ни один человеческий запах не подходил к ним, а для нечеловеческих запахов у Зеева Тамарчика была слабовата фантазия. Наконец, в какой-то мартовский день, за два месяца до ухода на кэва⁵², он вылез из автобуса в трехстах метрах от светящейся коробки и пошел внутрь; никто особо не досматривал солдата в форме и не задавал лишних вопросов, он почти дошел до зала – и тут мимо него быстро-быстро, как мышка, промелькнуло одно из этих крошечных существ, оставив за собой запах резины и каучука, и Зеев Тамарчик, подивившись своей несообразительности, пошел назад к автобусной остановке, и какая-то сумасшедшая старушка, словно нарочно поджидавшая его в темноте, сунула ему в руки свою бездонную сумку, пахнущую плохо убранной аптекой, и попросила найти в ней что-то, чего он, конечно, не нашел. Запах жасмина и обидное поведение розовой кроссовки вдруг вызвали у Зеева Тамарчика такую досаду, что он нарочито посмотрел на часы и заявил, что у него у самого времени совсем в обрез, даже и поесть особенно не удастся, и велел пробежавшей мимо официантке принести афух⁵³ в бумажном стаканчике – ему, мол, придется через несколько минут прямо с ним и уйти, – а когда повернулся обратно к столу, его бывшая жена исчезла, и с ней исчезла половина кафе, и кругом стоял грохот и вой, и стул, на котором сидела визжащая от ужаса Соня, медленно раскачивался над котлованом на задних ножках, и Зеев Тамарчик одним движением повалил стул вместе с Соней назад, успев подставить руку под ее светлую маленькую голову, и закрыл ее собой от летящих вниз кофемолок и кофеварок, украшавших кафешные полки, и потащил ее к выходу, нос и рот у него были забиты цементной пылью, Соня кашляла и захлебывалась, дверь кафе почему-то оказалась совсем не там, где должна была оказаться, но он все-таки выволок Соню наружу, в ослепительный солнечный ад, и попытался рвануться назад за Риной, но Соня схватила его за палец, вжалась в него мордочкой, и он понял, что не отпустит ее сейчас и никогда, и вот мы здесь, в штабной гостинице «Рэдиссон», в препрохабнейшем люксе для новобрачных, набитом золотом и плюшем. Четыре часа утра, тат-алюф Зеев Тамарчик спит на своем стеганом диване и сквозь сон слышит, как какая-то маленькая девочка зовет собаку: «Динка! Динка!» – только это не сон, и не собака, и не «Динка!», и Зеев Тамарчик, вскочив со льдом в животе, бредет пошатываясь в спальню, стучается о дверной косяк, садится на кровать к Соне, и Соня безо всякого предупреждения начинает рыдать, обхватив

⁵² Служба в армии по найму (*ивр.*).

⁵³ Буквально «перевернутый кофе», израильский вариант латте (*ивр.*).

его тоненькими лапками, и Зеев Тамарчик гладит ее пальцы, покрытые радужными шелушащимися разводами, и тепло дышит в ее немытые, пахнущие грибами волосы, и рассказывает ей сказку про Нуми, намнемана, который однажды нашел огромный ананас и понес его в гнездо к другим намнеманам, и там стало что-то такое происходить, и вдруг к ним в гости пришла собака динго, которая не ест ананасов, понюхала ананас и сказала: «Хм, пахнет совсем не так, как должна пахнуть еда!» – а намнеманы сказали: «Да ты попробуй хоть кусочек!» – и глупая собака динго попыталась укусить ананас прямо в кожуре и сломала себе зуб, а самый маленький и главный и бесстрашный и красивый и веселый намнеман сказал, что у него есть клей и сейчас он приклеит зуб обратно и вообще все это очень, очень, очень весело.

30. Есть

Яся Артельман спускается с третьего этажа лабораторного здания, неся под мышками Сорок Третьего и Шестую-бет. Идет к ближайшему газону, сажает кроликов в траву.

Яся Артельман. Все, валите.

Сорок Третий и Шестая-бет медленно хлопают глазами, привыкая к свету. Шестая-бет немедленно начинает пастись.

Яся Артельман (обращаясь к Сорок Третьему). А ты чего?

Сорок Третий. А?

Яся Артельман. Ешь давай.

Сорок Третий припрыгивает поближе к Ясе Артельману и замирает у его ноги.

Яся Артельман. Ну что такое? Вон смотри, хавера твоя как хорошо ест травку. Давай, пасись, все, свобода.

Сорок Третий закрывает глаза и сидит неподвижно.

Яся Артельман. Ну ты чего? Прыгай давай. Трава есть, все есть, вон крольчат с телкой твоей заведете.

Шестая-бет постепенно удаляется.

Сорок Третий (внезапно). Есть крольчат.

Яся Артельман. Что?

Сорок Третий. Есть крольчат.

Яся Артельман. А! Не будем мы есть твоих крольчат, обещаю. Факельман нашел морозильник с кормами, с мясом, там на дне еще есть прямо замороженное, килограмм тридцать.

Сорок Третий. Уже есть крольчат.

Яся Артельман (внезапно понимая). Так у вас уже есть крольчата! Где?

Сорок Третий молчит.

Яся Артельман (неловко). Пропали, что ли?

Пауза.

Сорок Третий. Их пальцами забрали. Взяли по одному, вот так – раз, раз, раз – и забрали. Они пиииип! Пиииип! Один кусался. Пальцами по одному раз, раз, раз – и нет.

Яся Артельман. Ах ты ж господи... Давно? А, бессмысленный вопрос, наверное. Где?

Сорок Третий. Там.

Яся Артельман. В лаборатории, что ли? Там вроде больше нет никого. Сиди тут, я пойду поищу. Я их найду, им сейчас деться некуда, я их найду.

Взбегает обратно по лестнице, пропадает из виду. Появляется Шестая-бет, садится рядом с Сорок Третьим, медленно жует. Сорок Третий прихватывает пучок травы, медленно жует. Время идет, ничего не происходит. Появляется Яся Артельман.

Яся Артельман. Не нашел, но я еще буду искать. Может, они разбежались куда, там наверху пара комнат разворочена, двери открыты. Я расставлю корм и вечером там посижу, они могут с перепугу прятаться, я тихо посижу, если они там – они на корм выйдут. Ребятам скажу, вдруг кто увидит тоже. Они какие?

Сорок Третий. Маааааленькие. Один кусается.

Яся Артельман. Ладно, разберемся. (*Увидев Шестую-бет.*) А ты что здесь делаешь?

Шестая-бет. Ем.

Яся Артельман. Так а чего вернулась? Гуляйте, все, никто вас не запирает! Давайте завтра утром сюда приходите, я ночью там наверху посижу, если они прячутся, они на корм выйдут.

Сорок Третий. Кто?

Яся Артельман (*недоуменно*). Крольчата ваши. Я их найду.

Сорок Третий (*равнодушно*). А... Зачем?

Яся Артельман. Что – зачем?

Сорок Третий. Зачем найдешь? Есть?

Яся Артельман. Да почему есть?

Сорок Третий. А зачем?

Шестая-бет. Я пить хочу. Где мне пить?

Сорок Третий. А где тут поилка? Я пить хочу.

Яся Артельман. Господи помилуй.

Шестая-бет прижимается к его ноге, сидит, закрыв глаза, жует. Сорок Третий подбирается поближе, сидит, закрыв глаза, жует.

Надав Нойман. I don't give a shit, I'm ready to stay right here, I don't give a fuck, we can all live right here, if you ask me, there is food, there is sun, I don't give a shit about the rest⁵⁴.

Ури Факельман. У те бя что, в Израиле совсем никого нет?

Надав Нойман. I have some kind of an aunt in Eilat. Is there still Eilat? I don't know, I don't give a fuck⁵⁵.

Ури Факельман. Бен-зона⁵⁶ ты, Нойман, я, блядь, подыхаю тут, у меня мои в Рамат-Гане, я нихуя не знаю, что там мои в Рамат-Гане, я ночью лежу, и меня прямо тошнит, я такое себе представляю... Если, блядь, в пятницу не будет ебанный вертолет, я, блядь, уйду в самоволку, все, блядь, я себе сказал – в пятницу в двенадцать. У меня старший брат там, у меня бабушка там, у меня у брата двое близнецов шестилетних.

Надав Нойман. Ramat-Gan is fucked, man. Haven't you heard anything from them?⁵⁷

Ури Факельман. Да, лядь, откуда б я услышал? Я так думаю, брат мой – железный чувак, я думаю, с ними все хорошо, я скорее про бабушку, брат ее звал-звал с ним жить, мы ее звали-звали с нами жить, но она упрямая очень. Я вообще не знаю, что там как. Я скорее про бабушку чего-то. Я чо-то, знаешь, с этой памятью – я чо-то как мультик все время вижу, как когда мы тут отстреливались сквозь, ну, где птицы, насквозь через клетки, там была такая узкая птица одна, такая красивая – пиздец, она билась-билась, и с нее перья сыпались – прямо розовые и золотые. Я тебе говорю – она пиздец была похожа на бабушку мою. Я чо-то про бабушку в основном.

⁵⁴ Меня вообще не ебет, я готов остаться прямо тут, по мне так тут еда есть, солнце есть, остальное меня не ебет (*англ.*).

⁵⁵ У меня вроде тетка есть в Эйлате. Эйлат-то еще существует? А, не знаю, меня не ебет (*англ.*).

⁵⁶ Сукин сын (*ивр.*).

⁵⁷ Рамат-Гану пизда, чувак. Ты от них слышал что-нибудь? (*англ.*)

Надав Нойман. Feel you, man. I'm just saying, you know, if it was totally up to me I'd fucking stay right here, fuck everything. I'm even ready to fuck Bianka, I am, I'll just use two condoms to avoid any pru-u-rvu, God forbid⁵⁸.

Оба смеются. Видят Ясю Артельмана с кроликами, по жестам Яси Артельмана понимают, что он чем-то возбужден.

Ури Факельман.

Стал возиться с этими двумя дебилами, представляешь? Кормит их, еще что-то. Артельман такой, всех жалеет. Артельман бы Геббельса пожалел.

Надав Нойман. By the way, Goebbels was an interesting man, you know? Really pathetic. He had a diary, you know? I read his diary, they have published his diary and I read his diary, it's really pathetic, he constantly feels like such a shmuck, constantly trying to make himself feel like he is not a loser. Just saying. Also he never left Berlin, you know. Never left, stayed right there till the very end⁵⁹.

Ури Факельман. У меня жила фретка, знаешь? Они такие клевые, умные и чистые, на самом деле, так мой дедушка называл ее «Геббельс» – «как ни ухватишь, всегда извернется», говорил. (*Кричит Ясе Артельману*): Яси! Как кроликов зовут?

Яся Артельман отмахивается.

Надав Нойман. Is it still far away?⁶⁰

Ури Факельман. Да два шага.

Осторожно спускаются с разбитого деревянного настила.

Ури Факельман. Смотри, смотри, вон!

В густой мутной воде лежит, закрыв глаза, темный шершавый крокодил.

Надав Нойман. Huge shit⁶¹.

Ури Факельман вытаскивает из китбека крошечный кусочек полумороженного мяса, насаживает на отломанный от настила острый кусок доски.

Ури Факельман. Иди сюда, иди сюда...

Крокодил приоткрывает глаза.

Ури Факельман. Ха, живой! Живой, смотри! Иди сюда, иди сюда...

⁵⁸ Понимаю, чувак. Я просто что говорю – как по мне, я бы тут прямо и остался, и пошло все на хуй. Я даже Бьянку ебать готов, вот реально, я б только два презерватива натягивал, чтобы никакого, не дай бог, пружу-пру («плодитесь и размножайтесь», ивр.) (англ.).

⁵⁹ Геббельс, кстати, был интересный чувак, ты в курсе? Реально жалкий. Вел дневник, ты в курсе? Я читал, его опубликовали, и я прочитал, дико жалкий, он все время себя чмом чувствовал, все время пытался как-то себя почувствовать не говном, если что. И он до конца из Берлина не сбежал, ты в курсе? До конца не сбежал, остался там до упора (англ.).

⁶⁰ Далеко еще? (англ.)

⁶¹ Во огромный хуй (англ.).

Надав Нойман (*держась подальше*). They can run like shit, you know⁶².

Ури Факельман. Да?

Сбрасывает мясо в воду. Крокодил несколько раз слабо разевает пасть, но мясо не берет. Закрывает глаза.

Ури Факельман. Слабый чо-то совсем. Или раненый, хуй разберешь так.

Подталкивает мясо поближе к крокодилу. Крокодил вяло берет кусок, делает пару движений челюстями.

Ури Факельман. Ха! Ест! Ест! Охуенно! Я кормил крокодила!

Надав Нойман. Cool shit, bro. So, are you gonna feed him all the time now?⁶³

Ури Факельман. Да хуй, ему же, наверное, до хрена надо, пятьдесят кило в день, не знаю. А вдруг нас в пятницу не заберут? Я тебе говорю, если нас в пятницу не заберут, я ухожу на хуй пешком, в двенадцать часов, клянусь.

⁶² Они пиздец как быстро бегают, ты в курсе? (*англ.*)

⁶³ Пиздатое, чувак. Ты его что, теперь всегда кормить будешь? (*англ.*)

31. Язизá⁶⁴

За несколько секунд этого кустоломного треска она успела облиться ледяным потом – замершая, со скрюченными пальцами, с жилистыми ляжками, обметанными пунцовой россыпью вросших волосков. Почему-то представилось ей, что это не какой-нибудь Нойман и не следующий за ним повсюду со скабресной охотцей маленький Даян с кулачищами, свисающими до колен, а Бенджи, и рот ее наполнился вязкой тошнотной слюной. Черный бок повернулся в кустах, обогатившись застрявшим в шерсти скрюченным листочком бешеного огурца, что-то омерзительно алое мелькнуло и удалилось, треск затих, она со стоном выдохнула и, все еще пытаясь сглотнуть стоящее в горле сердце, припала к земле, глянула в прореху меж ветвей. Их было двое, уродливых и нелепых; самец сидел на корточках, подергивая уставленным в небо подбородком, самка, уперевшись в землю скрюченными пальцами и обхватив этого кряжистого мужлана жилистыми ляжками, насаживалась на него со сладострастным подвыванием, и эта невыносимая карикатура внезапно вызвала у нее чувство черного, смертного стыда, и пытаясь влажными, остро пахнущими пальцами натянуть трусы и штаны на ноющие от напряжения бедра, она вдруг задела ноющий клитор, кончила, взвыла обезьяньим высоким воем. Вот мизансцена, достойная провинциального театра, ибо за любовным па-де-де подглядывали и с другой стороны поляны – там, в отличие от правой закулисы, лежали двое, счастливые полуболюбники из Бьянкиного гдуда, полуслепые от любовной самоуверенности и полуглухие от поскрипываний полуживого искусственного водопадника у них за спиной: экие смешные обезьянки, и вовсе ничем не Бьянки. Ах, не видали они Бьянки, пыхтящей и поскрипывающей, когда она, обхватив коленями худосочного и кособокого Бенджи, трясла пустыми грудями, и начинала подвывать, и закусывала выпирающую нижнюю губу, когда Бенджи заводил свое «Тише! Да тише! Да тише!» да щипал ее за ногу, чтобы она все тише да тише, и каждый раз ей казалось, что это какая-то особая мерзкая машинка трется одной деталью о другую у него во рту: шшшшк! шшшшшк! шшшшшшк! Трахались они каждый раз отчаянно и иступленно, разговоры давались им тяжело и велись так, словно оба отрабатывали ритуальную повинность. Бьянка должна была приезжать в строго назначенное время и уходить до того, как вернется домой тугоухий бывший артиллерист, деливший с Бенджи вполне пристойную квартирку на Флорентине. Однажды артиллерист пришел домой не вовремя и столкнулся не с Бьянкой, но со сброшенной шкурой Бьянки, с ее автоматом, дубоном⁶⁵ и большими штанами, лежащими под столом на кухне; тут вышел из ванной Бенджи, после каждого совокупления бегавший подмыться, и цапнул эти бесформенные форменные штаны, и проскочил мимо артиллериста, и в своей уже комнате отчитал Бьянку, лежащую поперек кровати, велел ей быть «поприватнее»; она испытала на секунду сильное желание поинтересоваться, насколько это требование связано с размером ее штанов, но прикусила губу и стала одеваться, дергая пуговицы остро (но иначе, чем сейчас) пахнущими пальцами; если бы, между прочим, спросили Бьянку Шарет, что заставило ее с таким упорством рваться в боевые части, она бы сказала: «Штаны» – и вообще вся бесформенность, отчужденность от тела этих общих одинаковых одежд; но не было человека, который задал бы Бьянке Шарет этот очень личный вопрос. Наступил и день, когда Бенджи не ответил на ее обычное СМС, в котором среди нескольких лишних слов бочком стоял вопрос о времени. Подписав у Адак увольнительную, она поехала, как всегда, к маме с папой; Бенджи не ответил и на следующее утро, и только во вторник, после мисдара⁶⁶, пришел от него мейл, неуклюжий и почему-то весь выровненный по левой стороне, в котором объяснялось, что он

⁶⁴ Точнее всего переводится как fuck buddy – человек, с которым состоят в чисто сексуальных отношениях (*иер.*).

⁶⁵ «Мишка» (*иер.*), разговорное название армейской зимней куртки.

⁶⁶ Построение (*иер.*).

достиг в своей терапии серьезного прорыва, осознав себя асексуалом; навязчивое же, по его определению, сексуальное внимание Бьянки Шарет, первой и единственной женщины в его кривобокой девятнадцатилетней жизни, было с ее стороны «насилием над собой и ним» (очаровательная формулировка, за которую, кажется, можно расцеловать эдакого терапевта). Первой ее реакцией, еще прежде, чем подкатила тошнота, оказалась багровая зависть, вроде той, которую испытываешь при виде грошового соседского лайфхака (кусочек карандаша, резинка для волос и маленькая стальная гайка), после того как потратил пятьсот шекелей на сантехника. Следующие десять минут она провела в пахнущем мочой и лавандой ротном сортире, где, не раздеваясь, а просто сунув руку в штаны, кончила пять или шесть раз, или семь, или восемь, с каждым оргазмом чувствуя, что приближаются тошнота и слезы, и с мукой остановившись прежде, чем выплеснулось наружу и то и то. С этого дня она стала говорить еще меньше и мастурбировать еще чаще, поступаясь ради этого едой, всюду опаздывая, судорожно замирая с открытым ртом, когда кто-нибудь дергал ручку туалетной кабины. Не раз оборачивался ей вслед ротный шофер или товарищ-боевик, сам изумленный внезапной этой оглядкой, не понимая, что могло задержать его взгляд на этой двухметровой женщине, которой мудрый и безжалостный Нойман дал кличку «Бриенна», не понимая и того, что дело было в едва уловимом запахе, о котором сама Бьянка Шарет, конечно, ничего не знала. Запах заинтересовал на минутку-другую и ёбких маленьких бонобо (и Бьянка Шарет, огибающая котлован с красиво запекшимися по краям кусочками блестящего пластика, не могла избавиться от мысли, что вдохновила этих мерзавцев на любовные подвиги, – и по-человечески ошибалась, конечно). Свежее сено на ее лежбище стало за эти три-четыре дня не слишком свежим, она отгребла его в сторону и накидала нового из большой копны, устроенной за кормушками, и свернулась маленьким котиком, мерзким огромным котиком, который во вторую же ночь здешнего постоя ушел от всего глуда подальше, благо Адас не сочла нужным силком удерживать глуд в одной точке (ясно было, что ничего уже не произойдет, что все уже произошло), и только утренний мисдар оставался обязательным. За завтраком Бьянка Шарет набирала себе какой-то еды на день; несколько раз с ней заговаривали, она обходилась пожатиями плеч, кивками, мелкими движениями длинных красивых пальцев; потом шла назад, поплотнее запирала дверь жирафника и лежала тут, дроя, поедая консервы пальцем из банки, засыпая от жары, просыпаясь, чтобы отлить, дроя и снова засыпая с расстегнутыми штанами. Сунулся было сюда однажды и законный хозяин, охромевший и подпаленный, с длиннющим гипсом, напоминающим гигантскую макаронину, на шаткой передней ноге; хватило чувствительного пинка по этой больной ноге, чтобы территория жирафника осталась за Бьянкой Шарет. Сегодняшний мисдар был длинным, длиннее обычного, Адас попыталась изобразить уверенность в том, что вертолет прибудет не позже пятницы, все это было немножко стыдно, Бьянка Шарет стояла, полузакрыв глаза, представляла себе кое-что, и вдруг Нойман шепнул ей в спину: «Взбодрил ее, а? Взбодрил наш Грег ее, а? Взбвзбвзбвззззб... Взбзбзбззз...» Тут Бьянка Шарет обернулась, крепко сдавила ему щеки пальцами левой руки, а правой влезла в его открывшийся, по-рыбьи ошарашенный рот и проверила, нет ли там какой машинки, производящей вот эти вот звуки.

страшными словами и с палкой в руках защищает свою баррикаду: перевернутые мусорники и примотанный к ним проволокой картон в несколько слоев отгораживают примыкающий к его лавке кусок уличной лестницы, зачем ему этот кусок лестницы? – он спит на полу в своей набитой дешевой дрянью лавке, почти не выходит из лавки – но вот же, далось человеку. Дверь баррикады сделана из куска отсыревшей фанеры, хозяин протискивается в эту дверь не без труда, зато у него есть этот кусок лестницы, ведущей в соседний переулок, а там, в переулке, есть кое-что: там кран, из которого капает ржавая вода. Люди ею, конечно, брезгуют, а существа поумнее давно нашли для себя в этом кране большую пользу, только надо, чтобы к крану можно было быстро метнуться с обеих улиц – и с Герцля, и с Автальона, потому что кто держит кран – тот держит район, а горелый с пыльным и еще с одним парнем, беглым сиаменцем, держат кран. И вдруг – чертова картонная баррикада. Пыльный с горелым поспевают как раз к тому моменту, когда хозяин лавки тычет сиаменца шваброй в бок, пыльный вцепляется когтями хозяину лавки в босую ногу, сиамец отлетает подальше, горелый шипит, расставив уши и вздыбив загривок, хозяин лавки хлопает дверью. Сиамец хорошо подрал картон; понятно, что хозяин лавки позже заменит этот лист на другой (а за картоном ему, между прочим, приходится тащиться все дальше), но подрал сиамец хорошо. Они еще некоторое время дерут картон, благо заняться пока нечем, только к полудню, когда станет совсем жарко, надо будет пойти к крану – кого подпустить, а кого и не подпустить. Грета Маймонид лежит на кушетке, окруженная своим развешанным и разбросанным невыносимым, драгоценным гардеробом, и представляет себе, как этот гардероб запихивают в коробки, чтобы отвезти ее в караванку, как ломаются шляпы, как сыреют в коробках три вручную вышитых жилеточки из одной коллекции давно умершего дизайнера, как она лежит на узкой кровати в караване на восемь человек, и то одна, а то и другая соседка помогают одеваться крошечной старушке с крашеными рыжими волосами (все заметнее и заметнее седые грязные корни) и с чернильным номером на руке, ломаются шляпы, отсыревают жилетки – нет, нет, Грета Маймонид лежит на кушетке, покрытой бетонной крошкой, в своей квартире без одной стены и переполняется ненавистью, ненавистью, ненавистью и отвращением к этим тряпкам, шляпкам, жилеткам, к самой себе, пока хозяин обувной лавки добавляет еще одну фотографию к устроенному на перегородженной лестнице огромному, уходящему во тьму алтарю: все свечи, собранные со всех окрестных улиц, горят здесь перед всеми собранными со всех окрестных улиц фотографиями.

33. Пропазогнозия – это...

...вообще не про речь: это когда все лица видишь, как в первый раз, никого не узнаешь; но помогает запоминать признаки, галстуки, бородавки, родинки, волоски. К доктору Сильвио Белли (семьдесят восемь лет, прогрессирующая пропазогнозия на фоне возрастного ухудшения мозгового кровообращения, тонкие светлые редкие волосы, выпяченная низкая губа, глаза влажные, темные, узкие ноздри смотрят наружу, на правой руке рядом с часами плоская родинка, как маленькие вторые часы) кто-то постучал в дверь (доктор Белли живет в Омере, в тихом Омере, где черти водятся, как шутит русский приятель доктора Сильвио Белли доктор Борух Бойсман [смуглая кожа, тонкий нос, скомпенсированный СДВ, седые волосы, очки на шнурке]). Стучали не в правую дверь, за которой крошечный приемный кабинет доктора Сильвио Белли, а в левую дверь, которая ведет в дом, в квартиру. Доктор Сильвио Белли прилип к трещащему и захлебывающемуся радио, поэтому открывать медленно пошел человек, который живет с доктором Сильвио Белли (слово «живет» тут не ради саспенса, а по совершенно оправданной причине; семьдесят четыре года, рамка из белых волос и белой бороды [«Вот сбрею бороду, и ты перестанешь меня узнавать – что с нами будет?» «Я немедленно променяю тебя на другого юного красавца с такой же бородой!»]). На пороге стоял Роми (тридцать четыре года, тонкая верхняя губа, приоткрытый рот, плоская переносица, скрытые внутренние уголки глаз, миоклонические судороги с аурой и галлюцинациями плюс умственная отсталость, спровоцированные обширной гипоплазией сосудов правого полушария), Роми тяжело дышал, как человек, который шел-шел да и переходил на бег, несмотря на вязкую жару этого навсегда запомнившегося всем невыносимого и страшного дня. Роми срочно нужно увидеть доктора Сильвио Белли, очень срочно, Роми очень срочно надо, а вы друг доктора Сильвио? Нет, вы его папа! Нет, вы тоже доктор, да? Человек, живущий с доктором Сильвио Белли, ничего на это не ответил и в целом был крайне раздосадован, но все-таки пошел вглубь дома и спросил доктора, застывшего перед радио, прикрывающего рукой рот, была ли у него назначена встреча с Роми, – встреча не была назначена, но доктор есть доктор, доктор Сильвио Белли вышел в прихожую и впустил Роми в дом; человек, живущий с доктором Сильвио Белли, был очень этим недоволен, он считал, что нельзя терять ни минуты, что надо немедленно принимать какие-то решения – может быть, эвакуироваться, может быть, ехать к его сыну на север («Алик, это же не касамы, ну какой север, что за пакетное мышление!» «Отлично, давай сидеть здесь и ждать, когда крыша рухнет нам на голову!» «На головы, Алик, у нас две головы, почему тебе постоянно надо напоминать, что мы не один человек?» «Сильви! Ну хоть сегодня!..» «Вот именно, отъебись от меня хоть сегодня!» – доктор Сильвио Белли разворачивается и идет к двери, и пускает Роми в дом, и человек, с которым живет доктор Сильвио Белли, испытывает острое желание разрыдаться). Доктор Сильвио Белли был очень ласков с Роми в тот день, Роми было предложено мягкое кресло, Роми были предложены стакан воды и чашечка кофе, Роми не хотел кофе и воды, Роми хотел две таблетки, красную и синюю (клянусь). Однажды доктор уже давал ему такие таблетки, и тогда стало легче, если их принять прямо перед приступом, перед судорогой, то нет плохого запаха в носу и животные не разговаривают (один раз, год назад, судорога была на улице, и два кота говорили ему: «Каааша», «Кааааша», – а другой раз мама и его метопелет⁶⁸ Соня водили его в кружок в океанариум, и там он, выгибаясь дугой на полу, сквозь стекло услышал, как одна маленькая акула сказала другой маленькой акуле: «Шах и мат!»). В тот день у Роми не было судороги, он встал, и мама сделала ему какао и проследила, чтобы он почистил зубы, он пришел на работу в супермаркет, но там что-то творилось, в супермаркете, Роми не зашел внутрь, а сел на скамеечке подумать, и тут голубь, до

⁶⁸ Зд.: уходовая медсестра (ивр.).

сих пор внимательно вглядывавшийся в черное пылевое облако, встающее на горизонте, там, где Беэр-Шева, сказал ему плаксиво: «Что такое? Очень страшно, что такое?» – и тогда Роми побежал прямо к своему доктору сюда, стучал в ту, вторую дверь, там никто не услышал, и он прибежал и стал стучать в эту дверь, а судорог у него не было, и плохих запахов не было, пахнет едой, это, наверное, у доктора есть еда, это не плохой запах, почему же голубь?.. Доктор Сильвио Белли сказал, что Роми молодец, Роми все правильно сделал, доктору нужна минутка, сейчас он вернется; доктор Сильвио Белли вышел в коридор и немножко подышал, а потом крикнул так, чтобы услышали и Роми, и человек, живущий с доктором Сильвио Белли: «Я на секундочку! Я сейчас!» – и поспешно обежал дом, и в плавающей жаре добежал, обливаясь потом, до мусорного коллектора, благо была та самая рань, когда мусоровозы еще не появлялись, а еноты еще не уходили. Действительно, один красавец, жирный и полосатый, сидел между зелеными баками, доедал куриную ногу, давеча не доеденную человеком, который жил с доктором Сильвио Белли, а еще двое странными своими лапоньками перебирали розовый пакетик с подгнившими, но все еще вощенно-прелестными райскими яблочками. Пропазогнозия – это когда все лица видишь, как в первый раз, никого не узнаешь, но это только лица, а с другими-то объектами все нормально – например, с мордами: вот, скажем, этого енота доктор Сильвио Белли уже видел здесь, на помойке, пару дней назад, и енот, заметим, тоже жрал что-то мясное, а вон тот, помельче (сыночка? самочка?) вчера прямо на соседском газоне вылизывал, сладострастно причавкивая, оставленную соседским же младенцем (признаки – ну, младенец; диагноз – нннну, посмотрим) мини-баночку с мини-йогуртом; доктор Сильвио Белли отлично распознает животных, никогда не спутает двух мопсов, даже утренних голубей прекрасно различает и веселит этим человека, который с ним живет (мы чуть не проговорились – но нет, погодим). Хорошо, небось, быть енотом в сытом Омере; вот они смотрят на доктора Сильвио Белли – миленькие, плотненькие, невозмутимые, с растопорщенными белыми усами и липкими маленькими лапками; кто бы в этот момент дал старому доктору Сильвио Белли две таблетки, красную и синюю, потому что вот он стоит среди помоечного запаха и смотрит на двух хорошо знакомых енотов, а еноты оставили свои дела и рассматривают доктора Сильвио Белли, и доктор Сильвио Белли мучительно ищет, что сказать, и все надеется, что они заговорят первыми, и нехорошо звенит у него в голове то ли от жары, то ли от этого всего, и доктор Сильвио Белли внезапно спрашивает: «Что такое? Очень страшно, что такое?..» Самочка отворачивается и лезет внутрь серого пластикового пакета, а крупненький толстенький самец усмехается хищной мордой и показывает доктору Сильвио Белли длинный розовый язык.

34. Schönling⁶⁹

Уважаемые господа! Господа! Я хотел бы... Я... Не так. Сначала я бы сказал: «Здравствуйте». Нет: «Здравствуйте, господа. Здравствуйте, уважаемые господа. Я буду хороший-хороший». Нет, сразу нельзя. Надо: «Здравствуйте, господа. Здравствуйте, хорошие коричневые господа. Я очень рад. Не надо веревку». Нет, нельзя про веревку. Здравствуйте, хорошие господа! Я рад. Я очень рад. Я видел, как вы сжигали мертвых пони, муравьеда, двух шимпанзе, моего кузена, моего третьего брата, летягу, носорога. Веревкой его за лапы и впяттером за веревку, поближе к куче. Позвольте развернуть хвост, я красивый. От имени умных позвольте приветствовать в вашем лице новую власть, ура. Я остался один, вернее, два, но он не в порядке, прячется, очень страшно. Я не прячусь, вы умные, я красивый, позвольте повернуться кругом, еще хохолок, вот и вот не очень крепко держится перо, возьмите, пожалуйста, я знаю, вы их любите. От имени умных хочу сказать, что при вашем мудром правлении наш библейский зоопарк... Нет, не так: от имени умных хочу сказать, моему дедушке тогда было пять, нет, шесть, потом прошло много, потом он говорит мне: «Вот так валлаби скакал», показывает: «Вот так и вот так», головой вправо и влево и вправо и влево и вперед и назад, «а они стреляли с разных сторон, зеленые и коричневые, друг в друга стреляли очень много», еще говорит: «Это называлось Кенигсберг», еще говорит: «Медведица, очень голодная, у нас четыре было медведя, три умерли уже, она их доела и очень голодная, они ей кидали еду, что-то из еды, она выглядит, а они стреляют, она убегает, а они стреляют и попадают в нас, а я красивый, меня не стреляли, и умный, сразу к ним пошел, не убегал, развернул хвост во всю ширину, показал вот так и вот так, и они не стреляли, потом бомба упала, я кричал, они тоже кричали, потом по ним стреляли, я убежал, потом опять было тихо, другие пришли, тех убили, я опять к ним пошел, показал вот так, что я красивый, и меня не стреляли, потому что я умный. Потом меня долго везли, а потом еще раз долго везли, и вот я здесь». И вот я здесь! Это дедушка рассказывал, это было давно, дедушка был белый, белый императорский, называется «альбинос», я нет, я не белый, но я очень тоже красив. Уважаемые господа! Позвольте показать хвост вот так и вот так. Под вашим правлением... Уважаемые хорошие господа! Ура!

⁶⁹ Красавчик (нем.).

35. Или нет

Диссертация его называлась «Категория гражданской свободы на материалах сравнительного анализа неподцензурных иудейских и христианских объединений Москвы и Московской области в 1980–1985 гг.». В Бар-Илане от этих, новоприехавших, тогда многое терпели, да и кафедра была «современного еврейства», а куда уж современнее. Но был там, на защите, один старичок, профессор Герман Каценсон, йеки⁷⁰, вдруг начавший задавать ему вопросы не по сути дела, а такие, словно бы любопытствовал, – про тогдашнюю еврейскую Москву, да как оно все было, да где мацу брали, да кем он любил наряжаться на Пурим. Он почувствовал странный подвох и не понимал, что профессор Герман Каценсон, собственно, хочет от него услышать, но было ему совершенно ясно, что мелкая эта вопросительная дробь – она для отвода глаз и что на уме у профессора Германа Каценсона какая-то жесткая подлянка; но решил быть лапочкой и отвечал с мягким, чуть ностальгическим энтузиазмом – и про то, что дедушка был строгих правил и мацу не покупали, пекли сами, и про то, как отец, чтобы жестче соблюдать кашрут, с тридцати примерно лет назывался вегетарианцем и поэтому интеллигентская среда – та, которую держали не слишком близко к дому, от греха подальше, – уважительно считала его буддистом и шутила шутки: что, мол, и на голове в своей вечной кепочке стоишь? Не сваливается? Профессор Герман Каценсон мягко улыбался, на все кивал, похлопывал ладонью по столу в такт ответам, костюмчик у него был старенький, шляпа мягкая, борода глупая, козликом, и будущий рав Арик Лилиенблюм увлекся и расслабился, и тут профессор Герман Каценсон ласково спросил его: «А увлечение ваше христианством в каком возрасте началось? В детском, наверное?» – и будущий рав Арик Лилиенблюм слегка задохнулся и даже, видимо, переменялся в лице, потому что его научный руководитель, тогда уже полуглухой Ронен Шабунки, светлая ему память, очень громко сказал: «Нам бы, коллеги, потихоньку закругляться, но если у кого-то есть вопросы по содержанию – для них, безусловно, время есть». Тут будущий рав Арик Лилиенблюм с ужасом понял, что они все знают, ясно увидел текст своей диссертации их глазами – и понял, что этот текст, часто казавшийся ему в ходе работы испещренным сносками любовным признанием, содержит не один, а два нарратива о любви – один о любви потерянной, другой о любви неразделенной. Профессор Герман Каценсон замахал тоненькими ручками и всячески изобразил раскаянье в собственном любопытстве, и будущий рав Арик Лилиенблюм уже начал как-то собирать себя в кучку и приводить лицо в порядок, когда профессор Герман Каценсон вдруг приподнял дрожащий пальчик и принялся извиняться за свое старческое любопытство: нет, он не может удержаться, всего один вопросик остался у него не по делу, а дальше он уступит коллегам разбор этой очень, очень интересной диссертации. Будущий рав Арик Лилиенблюм сжал зубы, а профессор Герман Каценсон, едва ли не ложась на стол дряблой щечкой, вежливо поинтересовался:

– В какой колель собираемся поступать?..

Он тогда еще никому не говорил про колель, никому, кроме жены, и на секунду перед его взором предстала гротескная сцена в духе Гойи: престарелый, нагой, дряблый профессор Герман Каценсон плотоядно склоняется над их с Аброй супружеской кроватью, а Абра кокетливо подает ему пухлую руку для поцелуя. Он несколько раз закрыл и открыл глаза и сказал, стараясь растянуть выдох до конца фразы:

– Я еще не думал об этом.

– Ну, дай бог, дай бог, – ласково сказал профессор Герман Каценсон. – Дай бог, оно вам поможет, – и будущий рав Арик Лилиенблюм испытал холодную, как нож, ненависть к этому старику, и продолжает, видимо, ненавидеть его до сих пор, хотя если бы спросили рава Арика

⁷⁰ Жаргонное слово, которым часто называют выходцев из Германии; может использоваться как синоним слова «педант».

Лилиенблюма, помнит ли он всех присутствовавших на защите его диссертации, он сказал бы с чистой совестью, что не очень-то.

36. Мы не к тебе

Нарисована могилка, а из нее выходит такой, довольно милый, немножко волосатый, чем-то неуловимо похожий на Моти. На второй грани кубика нарисован свет нечеловеческий, а рядом такой, довольно милый человек, в короне и с посохом, чем-то неуловимо похожий на Моти. На третьей грани нарисована большая вода, на берегу кто там? – кошечка и собачка, и обязательный лапочка олень, неуловимо похожий на Моти, и птички выются, и мочит лапку еж, и человек с воздетыми руками, и над всеми ними разливается свет вечный. Еще две грани кубика Нурит Бар-Эль что-то навскидку не припомнит, а на шестой темновласая малютка, неуловимо похожая на Моти, сидит верхом на тигре, безнаказанно тянет его за ухо, а с фронтальной стороны до тигра дружески помогает рыжая домашняя кисонька, какая-то вся размазанная – картинки делаются под копирку, потом разрисовываются всем кагалом, потом склеиваются в кубик, и вот Нурит Бар-Эль стоит, держит кубик, а Моти звонит в дверь, они проверяли, там внутри кое-кто есть. Здравствуйтесь, мы пришли поговорить вот про это вот все, про свет вечный и восставание из могил и так далее, нет, мы не к вам, мы к канарейке, кошечке, собачке, фретке, мышке, гнать нас не имеет смысла, понимаете ли, мы придем еще, да и вправе ли вы теперь принимать решения насчет того, с кем беседовать вашей фретке, мышке, собачке, как ей обрета́ть жизнь вечную? Вот кубик с картинками, его удобно катать лапами, рассматривать, вот Нурит Бар-Эль в пыльном костюме садится на пол, подвернув под себя ноги, и Моти становятся видны проплешины в ее тонких зализанных волосах и даже небольшая лысина чуть пониже раздвоенной макушки. Однажды, когда их с Моти только поставили в пару, она вот так села – или наклонилась? – а, вот: встала на колени, собрать кубики после инструктажа, – и он поспешил предупредить ее, что между ними ничего никогда не будет, а она распрямилась, держа аляповатые кубики в охапке, посмотрела на него снизу вверх ледяными прозрачными глазами и сказала ласково: «Красивый ты, Моти; ладный», – и внезапно он впервые за всю свою красивую и ладную жизнь почувствовал себя таким нелепым, мерзким уродом, что накатил приступ тошноты, и вечером он не смог есть со всеми, унес свою порцию каши с тунцом к себе в комнату, но и там не смог есть. Вот в углу огромной и почему-то почти пустой квартиры в стальной блестящей миске стоит каша с тунцом, это явно сверх зоопайка, это явно кое-кого балуют, от себя отрывают. Кое-кто пушист и трусоват, держится от Нурит Бар-Эль на расстоянии пары шагов, в соседней комнате шебуршатся, женский голос, за секунду взвываясь до истерики: «Не лезь к двери, я кому сказала! Отправлю тебя в Газу к арабам, не лезь к двери!!!» – и вдруг у Нурит Бар-Эль случается совершенный флэшбек, как она стоит в аптеке буквально за неделю до асона, буквально в трех кварталах отсюда, и этот голос орет: «Не трогай жвачки! Я кому сказала – не трогай жвачки! Отправлю тебя в Газу к арабам!!!» – и красивый ладный мальчик лет десяти цепенеет, вот и сейчас в соседней комнате ни звука, Нурит Бар-Эль ласково говорит кошке: «Переворачивай, переворачивай, как хочешь переворачивай», – кошка лапой бяк – и выпадает красота, люди и звери сидят кружочком на поляне, и все поют, и сверху облако, а на нем замотанный в белое благородный человек с бородой и распростертыми для объятий руками (что же там на шестой грани-то, а?) – вот он-то и есть знаешь кто? Это самый-самый главный человек на свете, это Бог, его зовут Иегова. Как тебя зовут? А его зовут Иегова. Давай еще раз: как тебя зовут? А его зовут Иегова. Смотри, какой он красивый, ладный, давай еще раз: как тебя зовут? А как его зовут? Нет, надо «в», «в», «Иего-ва». Как его зовут? Очень хорошо, ты молодец, ты умница, иди поглажу тебя. Ты знаешь, что такое Бог? Бог – это тот, кто правит всеми нами, Бог – это тот, кто подарит нам вечную жизнь, если мы будем хорошо себя вести. Ты знаешь, что такое вечная жизнь? Нет? Ты когда-нибудь болела? Да? Вот представь себе, что ты умрешь. Это страшно? (Пятится задом.) А ты не отходи! Не бойся, не бойся, в этом и дело – Бог сделает так, чтобы ты опять жила, понимаешь? Если хорошо себя вести, можно не

бояться (а если плохо себя вести, мы тебя отдадим арабам в Газу). Мы пришли рассказать тебе хорошие новости, понимаешь? Есть Бог, и теперь не надо бояться – правда, хорошие новости? (Разработка говорит: все, дальше не идти, на первых трех встречах разрабатывать только эти две темы: Бог, его имя и концепция жизни вечной, больше в них не влезет – хотя бог весть, что там в них влезет, а что не влезет, может, в них ни слова из тех, что ласково произносит Нурит Бар-Эль, не влезает.) За стенкой совершенная тишина, Моти, которому лишь бы все знать, делает пару шагов к закрытой двери и прислушивается – кажется, там тоже кто-то стоит у закрытой двери и прислушивается, это хорошо, это желательный побочный эффект. Хороший кубик, да? Красивый кубик? Это теперь твой кубик, мы его тебе подарим – правда, хорошо? Давай я тебя поглажу, вот так, вот так, «ещоооо», еще, да? – «ещоооо, ещеоооо» – «Ануотойди-отдвериякомусказалаклянусьзаведутебявгазуиброшууарабов!» – распахивается дверь, кошка с визгом улетает под шкафчик для обуви, а мальчик, похожий на птицу, влетает, напротив, в комнату: «Врешь! Врешь! Ты теперь не можешь меня в Газу! Невозможно перейти в Газу!.. Нельзя попасть в Газу! Все! Все! Поняла?» О, асон, беспощадный и всемогущий, на все-то вопросы ты дал ответы, все-то окончательные границы ты проложил, а кубик мы вам подарим, всего доброго и держитесь.

37. Просто уточнить

هل هناك أسئلة أخرى؟

*«Еще вопросы есть?» (араб.), граффити, стена столовой, караванный лагерь «Далет».

38. Момо

К старости он стал неповоротливым, угрюмым, белым, только макушка по-прежнему серая, как будто посыпанная бетонной пылью, которая покрывала теперь разрушенные города. Труппу, бросившую его и Жерома едва ли не в чистом поле – то есть в пустом городе Рахате, среди гулких витков многоярусной парковки, полной оставленных как попало машин, – он не простил и ни одного из них, виновато и церемонно прощавшихся, не удостоил ни взглядом, ни словом. Эта его жестокая холодность подействовала на труппу тяжело. После несколько дней споров и скандалов, в которых он не участвовал (а Жером, напротив, участвовал со всей слезной яростью существа, понимающего, что дело его проиграно), прощание вышло неожиданно сухим, неловким и официальным. Жером бегал поодаль кругами и петлями – то плакал, выли и выкрикивал проклятия, то приближался и вдруг многословно всех прощал. Сам же он стоял на месте молча и смотрел поверх человеческих голов. Каждый ему поклонился и сказал какие-то слова, которые могли бы оказаться важными и даже бесценными, если бы он позволил себе на эти слова купиться. К рассвету труппа ушла, им надо было идти быстро, буша-вэ-хирпа проехала по Рахату около двух часов ночи, измочаленная кора деревьев вперемешку с пальмовыми ошметками устилала мостовые, он слышал, как выли и плакали где-то рядом не успевший спрятаться верблюд. Труппе предстояло добраться до ближайшего лагеря прежде, чем снова поползет над землей двуслойный ужас. Момо же, как и хромой Жером, ходил медленно, и кроме того, люди могли во время бури завернуться в полипрен, накрыть полипреном (и собою) клетки и кое-как пережить все это, а вот Момо с Жеромом было некуда деть посреди пустыни и нечем накрыть, полипрена бы не хватило. Подразумевалось, что слон и медведь останутся жить в надежных бетонных стенах парковки и будут выбираться за какой-нибудь едой в промежутках между бурями, а за какой – об этом стыдливо умалчивалось, потому что никакой еды вокруг не было, особенно для Момо.

Как только труппа ушла, Жеромка перестал рыдать и прислушался. Плач верблюда превратился в слабые, частые, детские стоны, и Жером, потрухивая короткохвостым задом и волоча заднюю правую лапу, обглоданную черным воздухом во время последней буша-вэ-хирпа, потрусил на звук. Слон же некоторое время стоял неподвижно, давая осесть ледяной ярости, смертной обиде, детскому, страшному чувству одиночества, припомнить равное которому он если и мог, то никоим образом не желал (темный жаркий туннель вагона и очень вкусные сладкие шарики, которые он с наслаждением захватывает маленьким, слабеньким еще хоботом и ест, перебегая от одного к другому, – шарик, поодаль еще шарик, а вот и еще один шарик – и хррряп! – лязг вагонных створок за спиной и... словом, нет, не желал). Когда тяжелый Жеромов топот и клцанье когтей по бетону стихли, слон медленно, виток за витком преодолел четыре этажа подземной парковки и пошел через город, ни на кого из редких встречных не обращая внимания и ни с кем не разговаривая. Прошел площадь, показавшуюся ему недостаточно большой, прошел опустевший рынок, стараясь не поддаваться вкусному запаху овощной гнили, от которого есть захотелось до тошноты, дошел до второй площади – эта показалась ему достаточной, – встал и закрыл глаза.

Расчет его оправдался: через двадцать-тридцать минут из глухого рокота возник вертолет и спросил небесным голосом, что он здесь делает и как здесь оказался. Он сказал, что устал и голоден и просит убежища. Сказал, что не ранен и не болен, а про Жерома не сказал ничего, Жером был живуч, бесчувствен и бессовестен, несмотря на все свои утренние истерические завывания. Через полтора часа вертолет вернулся и взял слона на ремни. От страха и высоты его вырвало, но этого никто не заметил. Из осторожности его спустили на землю сначала в километре от лагеря, с ним вышла говорить высокая худая женщина при двух пистолетах и автомате и две вооруженные девочки в полипрене с ног до головы. Терпеливо и вежливо он

рассказал про гастроли, начавшиеся, увы, ровно в день асона, про русскую труппу, про свое решение искать помощи (а про Жерома не сказал ничего). Женщины смотрели на него без особого восторга, его надо было кормить, он представлял себе, как старшая женщина, вполуха слушая его медленный, густой голос (со свойственными всем бадшабам странно расставленными паузами, когда приходилось сглатывать слюну), прикидывает количество еды и порошков, которыми придется обеспечивать его огромное старческое тело. Он отлично понимал, что выбора у женщин нет, бадшаб есть бадшаб.

Его провели внутрь через забранные колючей проволокой лагерные ворота, пришли еще люди, при нем стеснялись, конечно, говорить о пайках. Как только возникала пауза, он начинал обстоятельно, приниженно благодарить этих людей за свое чудесное спасение, и главный вопрос – что делать с ним во время бурь – был решен: ему выделили место между двумя сваями водонапорной башни, сзади была свежая деревянная стена продовольственного склада, а еще одну сторону и верх закрыли растянутым на железных рельсах полипропиленом, он мог сам заходить внутрь и хоботом ставить стенку на место. Конструкция вышла щелястая, он понимал, что ходить ему каждый раз, как проползет по лагерю буша-вэ-хирпа, пошарпанным, но это можно было пережить. Что трудно было пережить – так это что кругом новые люди и все норовили подойти близко. Он вырос в труппе, люди там, конечно, иногда сменялись, но были рядом изо дня в день, и он кое-как учился терпеть их глупость, навязчивость, запах, а про незнакомых труппа знала, что он этого не любит, и держала всех от него подальше. Здесь же ясно было, что терпеть людей – это молчаливая плата, которой от него ждут. Он терпел; к нему приходили, особенно в первые дни, целые толпы – делать в лагере было нечего: как ни старались этим людям найти занятие и как ни старались они сами себя занять (завели себе и театр, и две газеты, и детям организовали школу), а все равно скука была одним из главных мучений для всех, скука – и еще непонимание, как теперь жить дальше и зачем (были те, кто говорил, что вот он – ад: никакого пламени, а только вечная и неизбывная *маета*, *маянье*, и от этих мыслей еще добавлялось *маеты*, так что в конце концов, может быть, их слова оказывались правдой). Никто не понимал вдобавок, насколько Момо старый; они просто думали, что такое он чудо – очень белый и очень большой слон; ветеринару он сказал, конечно, что ни на что не жалуется, да и много ли знал о слонах задержанный ветеринар, и без того огорошенный необходимостью возиться с ласками и верблюдами, зеброй и лемуром (какие-то хипповатые старички держали у себя нелегально, пока асон не вывел их на чистую воду), попугаями, догами и, наконец, енотами, которые рыли подкопы под ограждения, проникали на территорию лагеря неизвестно откуда и всегда вели себя умильно, лъстиво и чрезвычайно нагло, почти безжалостно: уносили у зазевавшихся кошек и собак пайки, требовали медицинского обслуживания, не соглашались на регистрацию и буквально проваливались сквозь землю, едва лагерное начальство строго заговаривало с ними об учете.

Слону еноты докучали по-своему: подкапывались на территорию его полипропиленового митхама⁷¹ и стояли молча, рассматривая его, вяло перешелкиваясь между собой неприятными голосами, и дважды он больно спотыкался, когда под ним осыпался какой-нибудь из их подземных ходов. Бойкие рукастые девочки из внутренней охраны построили лестницу с площадкой наверху, он терпеливо подходил к этой лестнице и давал очередному ребенку или вполне взрослой дуре забраться, охая от восторга и ужаса, к нему на спину, и стоял, пока она елозила, вцепившись не слишком чистыми пальцами в его редкую шерсть (с гигиеной в лагере было не ахти, и он поражался, что люди так и не додумались чиститься песком). Все быстро выучились, что на тисканье слона у них есть часа два в день, преимущественно с утра (он нарочно делал так, чтобы дети в это время были в школе и докучали ему поменьше), а в остальное время он не считал себя обязанным подставляться под площадку, тем более что причислили его к кате-

⁷¹ Огороженная зона, эд.: загон (*ивр.*).

гории снабжения Е, то есть к «вольнопитающимся»: вместе с вечно ноющими заполошными лошадьми, ебнутым фалабеллой, тихой, спокойной зеброй и быстро увеличивавшимся стадом коз его каждое утро водили в ближайший луг у пардеса⁷² на выпас, а пайком давали только очищенную воду и рокасет в дозе, соответствующей его весу, и каждый раз волонтер из группы снабжения явно страдал, высыпая в яблочное пюре расфасованные по бумажкам порошки, – человеку этого количества хватило бы на месяц с лишним. От рокасета, который всем давали по утрам и вечерам для нейтрализации радужной пыли, а вернее, от кодеина и кофеина, которых в каждом порошке было по десять миллиграмм, его первые дни слегка колотило, он все время мотал ногой, не мог спать и почему-то яростно, жарко думал по ночам про Жерома и не сомневался, что этому бурому хаму никто на загривок не садится, что он дерет себе верблюдов и укрывается от бури в подъездах, а что радужка – так от радужки, говорят, умирают быстро, у этого любителя драмы только и будет время обстоятельно себя пожалеть. Впрочем, он не удивился бы, если бы выяснилось, что Жером и рокасет своими высокопарными стенаниями выпрашивает у каких-нибудь людей, а в рабство не сдается.

Иногда, правда, среди жаркой и душной бессонницы или в процессе невкусного, пыльного вольнопитания мучила его одна и та же ревнивая фантазия: что Жером разыскал и догнал трупку и теперь, может быть, даже выступает с ними где-то по лагерям. Мысль эта, эта *маета*, была совершенно ужасной, прямо разьедала: признаваться себе, что он испытывает к трупке что-нибудь, кроме мстительной ненависти, замешанной на обиде, он не соглашался, чувства эти считал постыдным слонячеством, сердился на себя, яростно выдирает ветви с мясом там, где можно было осторожно надломить и оставить себе свежей еды на завтра, и жил в постоянном презрении к себе, в той самой безысходной *маете* – и никогда бы себе в этом не признался, потому что эсхатологических глупостей не любил. Мертвенные настроения в лагере, по видимости, разделяли почти все – от лошадей, устраивавших какие-то позорные слезливые камлания посреди пардеса, до волонтеров, приходивших в его митхам отдышаться и покурить дикой травы, которой после асона развелось удивительное количество и которую он сам жевал в качестве подножного корма с утра до ночи. Волонтеры каждый раз вежливо просили у него разрешения посидеть в митхаме и передохнуть, и каждый раз он для виду притворялся, что разрешение дает с неохотой, но на самом деле эти визиты были для него бесценными: зная, что он не слишком подвижен и совсем не разговорчив, при нем обсуждали, хоть и слегка понизив голос, такие вещи, которые следовало бы держать в секрете. Люди всегда вели себя в его присутствии именно так, и он до сих пор отлично помнил, как еще в Индии, когда ему было месяцев пять или шесть, на протяжении нескольких недель в его загончике велись по ночам тихие разговоры, которые закончились громкой историей со стрельбой, кровью, двумя казнями «по чести и совести» и одним самоубийством. Сейчас люди, конечно, отдавали себе отчет в том, что он все понимает, но он вел себя так тихо, так отрешенно, что новая реальность словно бы выветривалась из их сознания. Волонтеры же, собственно, именно о новой реальности приходили сюда поговорить – точнее, о людях, из чьих голов эта реальность ни на секунду не выветривалась, а еще точнее – о каком-то человеке из Южного штаба, который давит на всех с разработкой мер безопасности, касающихся бадшабов, и с тем, что надо теперь думать, при ком что говоришь, и непонятно, как быть, например, с пропускными пунктами, потому что кто угодно может быть носителем информации, хоть мышь, хоть таракан. Волонтеры говорили о том, что нет же никакой информации, ну кому и что донесет мышь, какому врагу, где тот враг, но военные же больные на голову, а постовые должны что делать, ловить мышей? Или мы сетку будем теперь такую ставить, чтобы муравей не пролез, – так давайте все просто бетоном обнесем и будем выпускать муравьев по одному. Другие волонтеры говорили, что сейчас плохо отзываться об армии нельзя, грешно это, что на армии сейчас все держится, что армия спасла

⁷² Цитрусовый сад (ивр.).

всех, кто спасся, нехорошо, грешно сейчас сердиться на армию. Первые оправдывались, вторые с высоты своего морального превосходства постепенно их прощали, а он стоял и больше прежнего ненавидел свои размеры и еще свою старость, от которой он прямо посреди важного разговора мог вдруг заснуть и проснуться, когда от волонтеров остался только сухой едкий запах.

Те же самые темы обсуждали при нем вездесущие еноты, чьи пощелкивания он понимал гораздо хуже, чем человеческую речь: приходилось вслушиваться. Почти все они смеялись, что для них сетку придется вкопать на десять енотов в глубину, – почти все, но не все. Слон давно приметил двоих, самца и самку: она – небольшая, жилистая и, кажется, молоденькая, он старый, и если бы годы слоновьи были равны их годам, слон сказал бы, что самец немногим младше его самого. Эти двое были всегда деловиты, сухи, сдержанны и, пока другие ерничали, сосредоточенно работали в паре, таща все по мелочи, и даже из его кала своими ловкими лапками выковыривали что-то полезное, видимо, для себя. Однажды он с интересом смотрел, как они быстро и мерзко выкапывали из очередной кучки какие-то круглые непереваренные зерна, указывая друг другу самые перспективные места, как вдруг еноты исчезли – будто размазались на миг в длинные черно-серые капли – и все, нет их. Он почувствовал у себя за спиной человека, нового, раньше не приходившего, но оборачиваться, конечно, не стал, сделал вид, что роется в сухой подножной листве, и по мере того, как человек обходил его большое белое тело, у слона нарастало чувство приближающейся *маеты*, на этот раз – внешней, самой дурной и нестерпимой. Человека этого звали Андрей Петровский, был он улыбочивым до тошноты, подвижным до гуттаперчевого поскрипывания и, казалось бы, полным благих идей. Однажды Андрей Петровский уже видел Момо (и Момо его тоже, между прочим, видел) – было это всего месяц назад, до асона оставалось несколько дней, Андрей Петровский с друзьяшками стояли в пикете возле студии «Аруц штаим»⁷³, куда Лика с Маратом привели слона напоказ; у Андрея был транспарант «Только твари мучат тварей», и еще они напечатали футболки, тоже на русском, чтобы эти твари поняли: «Любое рабство – рабство». Андрей тогда сам придумал почти все слоганы для пикета (на русском, кроме него, в их агуде⁷⁴ говорила только Михаль Сувлат, но очень так себе, второе поколение, лучше всего ей удавалась фраза: «Хочешь еще курочки?»), только про рабство перевел с иврита. Стояли не зря: к ним вышла пара камер, сделали подсъёмку, и тут как раз мимо них повели слона, и по команде Михаль Сувлат они начали скандировать: «Ха-йот! Ха-йот! Ха-йот!» – и вдруг слон остановился и медленно повернулся к ним всем телом и посмотрел на Андрея Петровского, а Андрей Петровский заглянул в глаз слону – и привиделось ему там такое ледяное, такое бесчувственное любопытство, что Андрей Петровский аж попятился, налетел на кого-то из своих же, камеры засмеялись, Андрея Петровского обдало стыдным жаром и внезапной ненавистью к этой твари, десятисекундный ролик с активистом, шарахающимся от слона, потом посмотрели на ютубе одиннадцать с половиной тысяч человек, и вот Андрей Петровский стоит за спиной у слона Момо, обходит его неторопливым шагом, ах, пельмешечка, ты у меня попляшешь, и только при мысли, что сейчас слон заговорит с ним человеческим языком, Андрей Петровский вдруг испытывает смесь паники и брезгливости, с которыми ему вот уже месяц не удастся совладать, стоит какой-нибудь твари крупнее кошки открыть свой обновленный рот (и не то чтобы кошки давались ему легко); поэтому с животными Андрей Петровский говорит много и быстро, и все время улыбается, и гуттаперчево делает руками во все стороны – вот и сейчас: «...спектакль, в некотором смысле – терапевтический театр, если бы, конечно, было такое понятие, главная целевая аудитория – это, конечно, дети, но уже по тому, с каким интересом взрослые посещают репетиции, с какой готовностью предлагают помощь, легко понять, насколько такое действие сейчас важно всему

⁷³ «Второй канал» (ивр.).

⁷⁴ Объединение, официальная организация (ивр.).

лагерю – ну, не пяти тысячам человек, но значительному, очень значительному числу людей, уже понятно, что спектакль будет идти не один раз»; и дальше – про то, что катарсическое воздействие театра в текущей ситуации оказывается двойным: к немедленному воздействию самого спектакля, о силе которого Андрей Петровский, будучи автором и режиссером, судить не вправе, тут прибавляется катарсическое же воздействие театра *как такового*, зарождения его в лагере как культурной институции, как символа некой объединяющей и возвышающей силы. Ровно поэтому Андрей Петровский видит перед собой задачу вовлечения в спектакль всех, кто может сделать его ярче – и, конечно, профессиональнее; и в этом смысле помощь Момо станет бесценной, катарсическое воздействие его игры может оказаться двойным – и по мере того, как Момо слушал этот трусоватый и наглый треск, напознала на него *маета*, ждали его бесконечные часы томления, вдруг померещилось в углу полипропиленового вольера старое синее эмалированное ведро с надписью красной масляной краской: «СВЕЖЕЕ», и потянуло от Андрея Петровского, ничем особенно не пахнущего, свежим и острым потом вбегающего с арены в слоновник злого красивого акробата Чертольского, который сейчас поведет его делать «корейский номер» (при котором суешь хобот в рот и двигаешь так, чтобы получались как бы слова, как бы «Хэлло» и «Ес, сэр», полный рот слюны, мерзость); в этот момент Момо дал себе клятву, что любой ценой отделается от чертова спектакля, и правда казалось ему тогда, что любой ценой.

Начались невыносимые театральные дни, ничем не похожие на привычную ему слаженную цирковую работу. Приятным отличием была только сухая песчаная жара, от которой он млел и без которой, конечно, не хватило бы у него терпения выдерживать эту каторгу. Монолог его начинался фразой: «Колобок-колобок, извини, но мне необходимо выговориться». В мытарствах новоявленного Колобка шел он по счету третьим: в ответ на его признание из лесу (какого лесу?) выскакивали разбойники (какие разбойники?) и силой уводили его, слона, обратно в цирк (вот дела!), после чего Колобок сколачивал из подручных остолопов небольшую кучку и шел освобождать слона от каторги, чтобы потом с его помощью строить полипропиленовый замок и в нем спасать всех от бури, и вся эта неловкая, стыдная *маета* ежедневно репетировалась не в склад и не в лад, и он должен был стоять и ждать своей ублюдочной фразы, а потом отходить с «разбойниками» на несколько метров в сторону, за ящики с какой-то хозяйственной дребеденью, и снова ждать, и молча ненавидеть всю эту плату за рокасет с полипропиленом, и некуда ему было деться. Вскоре, однако, он научился находить некоторое удовольствие в происходящем, любясь муками режиссера, пытающегося, например, оттащить неумную овчарку Падавана от визжащего пятилетнего Орена Вачовски: выяснилось, что не очень-то легко объяснить собаке Падавану, что слова «Я тебя съем!» – совсем не то же самое, что предупредительное рычание, что не надо после этого есть пятилетнего Орена Вачовски, нет, не так устроен театральный мир (овчарка Падаван судорожно хряп-хряп пастью, зебра Лира, пожилая истеричка, вдруг в ужасе бросается прочь, круша декорации; хорошо тереть спину мелким, протоптанным, горячим и сухим песком, хорошо смотреть, как орет вслед Лире натужные нежности измученный режиссер; а вот и еноты, залипавшие на весь этот балаган и прыснувшие прочь от Лириного взбрыка, возвращаются, подбираются поближе к его ногам, за ногами-то оно безопаснее – ну, пусть). На большинстве репетиций до его фразы дело вообще не доходило – такими темпами шло дело, одним словом. Наступил день, когда было объявлено, что репетиции завтра не будет, и на секунду он понадеялся, что режиссер отчаялся наконец произвести посредством зебры Лире какое бы то ни было катарсическое воздействие, но оказалось – нет, «в лагере будет проводиться важное мероприятие», и всех просят оставаться там, где им предписано пребывать более-менее постоянно. Он поразился собственной реакции на эти слова: неведомо почему ему представилось, что как-то это «мероприятие» должно быть связано с Жеромом – как? Что за чушь? Ему казалось, что ни о Жероме, ни о труппе он давно уже не думает, вычеркнул их из сердца и хвалит себя за это, – и тут раскрылся перед ним абсурд такого

утверждения, и снова обдало его ненавидящим и ненавистным жаром, так, что он несколько раз ударил себя хоботом по щекам – и понял, что жест этот (ладонями), перенял у чертова Андрея Петровского. Выяснилось, что важное завтрашнее мероприятие – это «адбара»⁷⁵, в полипреновой его тюрьме об этом говорили, дыша сладковатым дымом, два молодых свежеспеченных офицера (асон кой в чем пошел на пользу кой-кому); главная цель адбары была – отвадить енотов, потерявших всякий страх, шарившихся по складам и выносивших за чем-то рокасет, но при этом исправно являвшихся в ветпункт с любой занозой в наглой лапе и норотивших пролезть без очереди; да и вообще они, между прочим, переносчики и распространители гельминтоза, вот только гельминтоза нам тут и не хватает. Населению сообщалось, что речь идет о переработке отходов и еще чем-то таком, а то мало ли у кого что было в головах насчет зверюшечек, давно мы не видели зеленых пикетов, как в истории с уменьшением зверопайков. Вечером, когда юркие серые тени пришли рыться под продовольственным складом, он сказал им, что надо несколько дней не приходить, и попытался объяснить про адбару. Они, кажется, поняли, и в следующий раз он увидел их только в ночь со среды на четверг, когда он не спал, дергая ногою от пустой беспредметной тоски. Их было сразу пять или шесть, они тащили кое-что, пахло гадостью и еще как-то непонятно: гниловатые фрукты, из трещины в почерневшей коже текли густые фруктовые внутренности, из целой сетки с размякшими грушами, волочившейся за дружными самцом и самочкой по радужной пыли, тянуло сладко и нехорошо. Они сложили эту дрянь перед слоном и расселись на жопки наглым амфитеатром – мол, давай-давай. Он брезгливо приоткрыл сетку хоботом, поискал грушу поцелее и взял одну – в ней под кожурою, как в кожаном мешке, ходила размякшая плоть. Что-то было в ее запахе такое мерзкое и соблазнительное, что он сунул грушу в рот и раздавил языком о зубную терку. Еноты радостно засуетились, дружные самец с самочкой даже подошли ближе, приподнялись на задних лапках, жадно пытаясь заглянуть ему в рот. Под язык потекло приторное, гнилое и какое-то еще, немножко щиплющее, веселое. Он поворошил груши в сетке и взял еще одну, большую и почти черную, потом принялся за лопнувшую, так же непонятно пахнущую дыню, потом вернулся к грушам, потом закинул в рот уже явно надъеденный кем-то небольшой арбуз. Один енот в восторге захлопал лапами, он посмотрел на него так, что глупое животное нишкнуло, и дальше они сидели тихо, только приподнимаясь и опускаясь, как клоуны Зарецкие в пантомиме про курс рубля. Фруктов было много, запах стал ему нравиться, он ел и ел и вдруг понял, что ему стало все равно, как там Жером, и изумился, что тоска его, оказывается, была не очень-то беспредметной, что все это время он думал о Жероме, что его почему-то жгли мысли о Жероме, как он ни гнал их от себя, как ни притворялся, что нет у него никаких таких мыслей, и что нет, не все равно ему стало (подтащили откуда-то еще сетку, в этой были совсем нехорошие груши, ровно то, что надо), а наоборот – ему совершенно ясно стало, что Жером там, небось, жив и свободен, бодр и вольнопасущ и не думает ни секунды ни о Момо, ни о предателях, и вдруг, давя о передний зуб три, нет, четыре веселых и щипучих груши одновременно, он представил, что Жером маленький-маленький такой, и он его об зуб – ррраз, но не до конца, а чтобы в ужасе вопил, в ужасе вопил. В голове у Момо было жарко и хорошо, а ноги были мягкие и смешные, он радостно замахал хоботом милым енотам, и они не менее радостно заверещали, и он быстро доел подношение, сглатывая комья земли, которыми все эти фрукты были почему-то облеплены, и даже поворошил хоботом в пустой сетке, глядя на енотов, и они отлично поняли этот жест. Еноты не уходили, он понял, что есть у них к нему какое-то свое дело, и не обиделся: он потом успеет подумать про Жерома, с наслаждением попредставлять себе Жерома и труппу, потравить себе душу всласть. Один енот, большой и слегка подранный, подошел ближе, им с Момо пришлось объясниться словами: там, сзади, у Момо за хвостом, был большой склад, плохой склад – все закрыто-закрыто, а надо. Но: вон там высоко – там не

⁷⁵ Дезинсекция, дератизация, любое уничтожение паразитов (*иер.*).

каким-то черным образом все это время труппа блуждала и блуждала по пустыне – и вышла сюда, к чертовой караванке «Гимель» – ободранная бурями, со сбитыми ногами, голодная, полуживая. В его фантазиях их помещали в какое-то отдельное пространство – не то карантин, не то лазарет, – и они там все лежали, постанывая, зализывая и разлизывая глубокие свои раны, и тут был его большой выход: вот он отодвигает полипреновый занавес и... И тут отвлекли его, опять потрогали за ногу маленькими ручками, лапками, он посмотрел вниз – а там еноты, и еноты были нехороши: что-то здорово их подрало, а бури не было сегодня, и у самого главного, большого, так была расцарапана морда, что закрылся один глаз. Но все равно пришли они к Момо не пустые: катили три целых арбуза, тоже все в земле и песке, он попытался вяло отмахаться, но еноты сели, стали умильно на него смотреть, он потрогал арбузы хоботом из вежливости и почуял вчерашний запах, пощипывающий и веселый, и быстро раздавил один арбуз ногой, выел, потом выел еще один, и стало ему не то чтобы легче, а как-то ровнее. Еноты опять хотели в форточку; тут уж он заставил их объяснить, в чем дело, и выяснилось, что по енотье цепочке уходит этот самый рокасет в заброшенный город Рахат, и в остатки города Беэр-Шевы, и еще кое-куда, где есть трусливые или строптивые, одинокие или, наоборот, обремененные какими-то общими соображениями звери и люди; там царствует радужка с ее непрестанной, изматывающей головной болью, и слабостью, и тошнотой, и расфокусировкой зрения, и темной тоской с землистым привкусом, и рокасет там меняется на прекрасные, прекрасные вещи, вроде открытых банок с персиковыми консервами и испеченных на камне плоских лепешек, и сохраненных с мирного времени конфет, и фруктов, собранных в заброшенных пардесах; а есть еще те, кто просто полюбил рокасет, начал принимать многовато рокасета, потом еще больше рокасета, гораздо больше, чем в пайке рокасета, – о, с ними иметь дело лучше всего. Но бывает, конечно, как сегодня: придет один с палкой, а то и не с палкой, а то и не один, заберет рокасет, думает: мало ли енотов, есть еще еноты, у них тоже рокасет, – дурак, все еноты – еноты, мы тебя запомнили, дурак, но только сегодня опять очень надо в форточку, вот же арбузы, в форточку очень надо. Его рассмешили эти маленькие воротилы, он посадил одного, шуплого, в форточку не без удовольствия и занялся арбузами, и как-то мягко отупел от этих арбузов, и енотью деловитую суету наблюдал не без умиления, но где-то рядом, где-то внизу головы, плескалась черная и жадная мысль о Жероме, о том, что этот жалкий ипохондрик теперь, небось, травится чем попало, мается, небось, вечным поносом, придумывает себе смертельные болезни, страдает; и еще почему-то думалось про то, что нога у мерзавца, небось, давно зажила, и представлялось нелепое: как на месте содранной шкуры вырос совсем уж прекрасный клочок шерсти, длинной и блестящей, да, вот там, где вы трогаете, ну перестаньте, щекотно, – он хлопнул хоботом по ноге, кто-то взвизгнул, – ах да, пришло время вынимать из форточки дурадея, да что же это хобот такой тяжелый. Еноты были невелики и суетливы, видно, что не первым был сегодняшний печальный инцидент, и он лениво сказал им: «Верблюд справа. Справа». Они не поняли, заозирались, он плохо ворочающимся языком разъяснил им по-человечески, чтобы не переспрашивали: не надо ходить по домам, это не их дело, кому надо – прибегут сами, надо стоять на месте. А там, на месте, нужен верблюд или даже два, ему рокасет давать просто так, ни за что, а он чтобы копытом бабах, если кто не того, ну и. В каждой точке – один верблюд, это не очень много верблюдов. Еноты возбудились до визга, он топнул на них, они присели, смешные, все разом, он засмеялся и не мог остановиться. Еноты терпеливо ждали; когда он отдышался, один спросил: «А можно корова, не верблюд?» Он щедро разрешил. Тогда они защелкали и запищали между собой и опять спросили: «А можно овца?» «Овца нельзя, – сказал он, припоминая одну репетицию в Барнауле. – Овца дура дурацкая». Они закивали, от этого кивания у него вдруг закружилась голова, он быстро закрыл глаза, послушал енотье шебуршание и шуршание рокасетиков и вдруг сказал, не открывая глаз: «Стоять». Шебуршуршание прекратилось. «Носить свежее, – сказал он. – Это раз. Два: медведь», – и объяснил.

Момо почему-то думал, что еноты придут с ответом завтра же, но они не пришли. Это было невыносимо, он прождал до глубокой ночи, трезвый, собранный и злой, но ни одна серая тень не мелькнула у него под ногами, и даже на чертовой репетиции, которые еноты обожали (сидели рядом поодаль и хлопали когда попало, что у них в головах, господи помилуй), не было ни одного, и вечерние его раскаленные фантазии про труппу включили в себя на этот раз парочку енотов, которых очень удобно брать хоботом за хвост и хорошенько прикладывать, – ладно, оставим фантазии до вечера, до той одинокой и жалкой поры, когда нет у тебя никого и ничего на белом свете, кроме черных твоих мыслей. Репетиция, впрочем, в этот день принесла Момо некоторое удовольствие: он вдруг понял, что если вообразить кое-кого кое-где (роскошный огромный цирк, залитая солнцем арена, как в Буэнос-Айресе было, и полный парад – все вышли, все стоят и кланяются, все красавцы, и как ты заходишь слева и начинаешь их по одному, по одному, но при этом всех по-разному), то топанье ногами и хлопанье ушами получаются такими натуралистичными, что половина труппы обращается в бегство, и режиссеру пришлось воплями и уговорами возвращать актеров на места, и он обменялся с Момо таким взглядом, что обоим стало ясно: это война, и от этой войны сделалось Момо весело и хорошо. Вспомнив это вечером, он по-человечески засмеялся, а потом понюхал землю там, где прикопал утром свою фруктовую пайку: пока что пахло просто землей, и фруктами, и червяками, но даже в этом запахе, еще свежем, он уже уловил (или ему показалось) едва ощутимую нотку того, что нужно, и нотка эта на следующий день усилилась, и он понял, что дело это небыстрое, ждать надо дня три-четыре, зато репетиции становились все веселее, он ронял декорации и обращал разбойников в бегство так успешно, что один отказался участвовать в спектакле вообще, и случайно наступал на реквизит, и вообще хорошо проводил время, и стоял однажды вечером, с удовольствием вспоминая, как Андрей Петровский после особо ловкой его «неловкости», из-за которой спектакль потерял два ливанских кедра и одну березоньку, закрыл руками лицо, как вдруг потрогали его за ногу маленькие ладошки. Они принесли вести, и все оказалось так, как он думал, так, да не так: этот трус, боявшийся слоистых бурь пуще смерти, мечтавший про лагерь, но ссавший переходить пустыню и вечно всем говоривший, что пойдет в лагерь «завтра», все еще жил в Рахате, и жил хорошо, хромал на одну ногу, драл верблюдов, а главное – мучился радужкой, сильно болел, держался за голову, много блевал, а потом один человек, тоже живший там, на стоянке, и иногда говоривший с енотами о странных вещах, рассказал Жерому про рокасет, и с тех пор беда: нападает на енотов, отбирает, одного убил, нехорошо. И все равно радужный, неправильно принимает, надо понемножку, а он наестся и потом смешной, танцует, кланяется, а позже блюет, глаза радужные, нос радужный, но все равно дерет и плохой, плохой медведь, верблюд от всего помогает, а от медведя не помогает, бежит прочь и орет. Момо стоял и молчал, сердце у него колотилось так, что стучало в голове, он быстро разгреб заначку, еще не успевшую толком перебродить, швырнул в рот яблоко, закопал все обратно, снова раскопал, докинул енотье подношение, уже гниловатое (дыни, груша – где берут?), постоял, подергал ногой, понял вдруг, что ему надо это увидеть, и тут же понял, что нет, не так: что ему надо не увидеть, а *видеть*, что пока этот живчик, эта неубиваемая саламандра бежит там, на воле, не будет ему покоя, а будет *маета*, страшная, страшнее, чем буша-вэ-хирпа, и подумал про уход, побег и сразу же думать об этом перестал, это было опасно и невыносимо. Еноты запросились в форточку, он затопал на них, прогнал и только на следующий вечер, когда они робко и подхалимски попросились снова, посадил их. Он уже поел фруктов, и голова у него на этот раз получилась странная: тяжелая, как камень, и ясная, как солнечный день, и был у него план. Он рассказал его енотам словами, медленно, по пунктам, повторил несколько раз, главным было слово «адбара», надо было, чтоб они поняли, при чем тут адбара. Дело шло туго, когда он объяснил про гельминтоз, про червяков в енотей слюне, эти идиоты принялись лизать и рассматривать собственные лапы, пришлось раз-

дать парочку подзатыльников, чтоб они сосредоточились. Наконец они, кажется, все поняли и запомнили – да и что там было запоминать?

Началось ожидание, томительное и пустое, день шел за днем, еноты приходили и говорили: «Скоро», – он топал на них и трубил один раз так, что пришел ветеринар; на четвертый день он заподозрил, что еноты водят его за нос, и отказался подсаживать их к форточке, как они ни ныли и ни умоляли. Скрашивались эти дни только вечерними прикопанными фруктами, от которых поднималась в душе тупая и сладкая тоска (он научился держать две ямы, в одной уже бродило, а во второй готовилось еще свежее, ямы занимали много места, он страшно боялся, что их заметят, но никому не было дело до копающегося в грязи слона, хлопот хватало), да еще война с Андреем Петровским разжигала в нем ежедневный маленький огонек: нравилось ему, что ни с кем он не обменялся ни одним человеческим словом, но и без того труппа явно разделилась пополам: одни были за Андрея, а другие за него, Момо; малолетний Орен Вачовски слона боялся как огня, лип к Андрею и на свою сцену со слоном еле выходил (хотя Момо специально вел себя в этой сцене сладко-сладко, не придерешься); зато полоумный фалабелла Артур с нарушениями памяти восторженно поклонялся слону, научился у людей аплодисментам и бил копытами в землю после каждого слоновьего слова, не давал играть, дуралей. Остальная труппа тоже раскололась, и Артур успел рассказать слону, что Дед, Бабка и Синдерелла уговаривали Андрея Петровского от участия Момо в спектакле вообще отказаться; на это Момо только покачал головой: дураки; горел в Андрее Петровском злой огонек, такой же, как в нашем слоне; ах, дураки. Потом наступила бессонница, *маета, маета*, он бегал ночами по своей полипропиленовой тюрьме, тяжело дрожала земля, и в этой огненной *маете* он нашел себе новую пьяную страсть: он, знавший все тайны труппы – той, кровной своей русской труппы, – слышавший все тайные, стыдные разговоры, теперь давил их человеческими словами, давил и давил, говорил: «Должен шестьдесят», говорил: «Ребеночек-то был, а?», говорил: «Стропа отошла, а?» – и они белели и замирали, и стояли с такими лицами, какое было у Жерома, когда сказали им с Момо, что бросают их тут, в Рахате. Говорил: «Хорошенькая была», говорил: «Третьего туза снял», – и чуть не взвизгнул, когда маленькая серая тень перед ним вдруг распалась на несколько маленьких серых теней: пришли. Все получилось: нашли; нашли Жерома, поднесли рокасет, сказали – мир, сказали – будем приносить, каждый день, только не дери, не надо драть, хорошо? – сказали: адбара, в слюнях червяки, проникают в мозг, адбара, в лагерь нельзя теперь, будут тут жить, рокасет есть, будут приносить каждый день, не дери – а потом вот этот, большой, подошел с рокасетами близко-близко-близко-близко-близко и плюнул Жерому в глаз. Тут они залились повизгиванием, приседали и хлопали, он испытал к ним некоторую пьяную нежность и даже предложил им немножко поесть из ямы (только эти хитрецы никогда к забродившему не прикасались, он давно заметил), но едва еноты убралась, его вдруг охватил ужас, он уже был совершенно уверен, что план его провалился, что из двух страхов в душе этого лентяя и истерика победит тот, который помножен на лень, и ни в какой лагерь Жером не пойдет, и хочется надеяться только, что действительно помрет он от гельминтоза, – ну, хотя бы так, – и он маялся, маялся, стонал, выел всю яму, заснул и проснулся вдруг в совершенной панике, был уже день, его тащили на репетицию, он не пошел, голова раскалывалась, и тут под сладкий запах травы пришли в его позорное стойбище трое и рассказали, что митнадвим⁷⁶, развозившие пайки, сегодня перепугались до усрачки: в Рахате выбежал на них медведь, кричал, что у него червяки в голове, потому что ему енот плюнул в глаз; метался, его привезли, укололи чем-то, он сидит в карантине, митнадвим до сих пор в себя не пришли, Мири Казовски говорит, думала – галлюцинация, ну, у Мири Казовски все галлюцинация, и смех, и еще что-то, чего Момо уже не слышал: он сдвинулся и пошел. Он не заметил, как оборвал полипропиленовую завесу своего загона, он шел и шел, переступил через

⁷⁶ Волонтеры (ивр.).

каких-то повизгивающих детей, сидевших кружочком, чуть не снес ехавший к продзоне верблюжий тарантас, он шел и шел и вышел на тот задворок, где настороженно встретили его самого два, что ли, месяца назад, и сразу увидел среди белых халатов и зеленых рубашек тяжело вздымавшийся, клочковатый и пыльный бурый бок, и остановился. Белые халаты и зеленые рубашки были так озабочены новой прожорливой напастью, что даже шаги Момо не отвлекли их от тихого тревожного разговора, тем более что напасть вела себя поразительным образом, ныла, и завывала, и говорила, что в носу у нее червяки, лезут в голову, вставала на задние лапы и передние прижимала к груди, говорила: «Спасите, спасииииите!» – и тут же просила есть, и еще через секунду ложилась на живот, задрав жопу, изображала свинскую покорность, клала лапы на круглую башку: «Головонька болиит», – и нытью этому не было конца, и вдруг напасть замолчала и медленно, медленно села на жопу, и вдруг так взвыла, что белые с зелеными отскочили на три метра, а напасть медленно пошла, пошла вперед, а они все пятились и пятились, и расходились в стороны, а напасть встала на задние лапы и попыталась обнять Момо за ногу, он сказал словами: «Ну-ну, полно», – но Жером уже был в новой роли, он уже нарезал круги вокруг Момо, и лапами прихлопывал, и подвывал счастливо, и смотреть на это было стыдно, и Момо прикрыл глаза, не смотрел.

Собственно, это было все, и когда наступил вечер, он впервые за много дней не стал рыться в своей яме, заснул мертвым сном, и никакие мысли его не мучили, голова была пустой и чистой, а вот то маленькое облачко за правым ухом, почти у затылка – это маленькое черное облачко он удерживал как бы далеко-далеко, клялся себе, что никакого облачка там и нет, пока оно не разбудило его рывком, как будит болезнь или голод, – и было уже поздно, облачко превратилось в огромную черную тучу: господи боже, что же я наделал; он понял, что теперь страшный враг его (а он впервые вдруг увидел, кто ему Жером, – да, да, враг, кем же еще считать того, кто мучает тебя невыносимо?) будет каждую секунду перед глазами, всеми, как всегда, обожаемый, оплакиваемый, небось, трупной, всему радующийся и во все лезущий, боже ты мой, что я наделал. Тут же он поклялся себе, что будет держаться от медведя как можно дальше, и тут же пришел к нему Андрей Петровский, вышел из-за полипропиленовой отремонтированной кулисы, и за ним шел понятно кто, тут же бросившийся к Момо с радостным подвыванием, – решено было отметить встречу друзей праздником, маленькой совместной репризой, да же? Явно же да. Жером, как выяснилось, на человеческой речи омерзительно сюсюкал, Момо был уверен, что намеренно: «Отметим!!! Ах, отметим! Номер про парад, парад самое красивое, парад!!! Парадичек!» Ах ты пустоголовый мешок с радужными белками юрких глазок, номер про парад Момо ненавидел еще при мирной жизни, номер был бессмысленный и беспощадный, делали его вчетвером: Жером, Момо, один из тигров и старая зебра Султанны, и весь-то номер был – ходить по кругу, останавливаясь каждые тридцать секунд и показывая мелкие трюки, скучные, детские, ниже художественного достоинства взрослого артиста. «Отметим! Отметим!» – и некуда было деться, что же я наделал, господи ты боже мой. Он холодно отказался репетировать, сказав, что готовиться тут не к чему, он выйдет и сделает, и Андрею Петровскому пришлось это проглотить. День Дружбы назначили на пятницу, отметили ради этого даже репетиции чертова спектакля, хотя до премьеры оставалось всего ничего, что-то еще затевалось по этому поводу в лагере, всюду протянули цветные блестящие флажки, которые буша-вз-хирпа через несколько часов превратила в бахрому. Два дня он не подпускал к себе енотов – вернее, не реагировал на их присутствие, стоял, закрыв глаза, как они ни верещали, а тех, кто пытался трогать его за ноги, откидывал так, что они шмякались серыми каплями оземь и больше не фамильярничали. Умные маленькие твари, однако, исправно таскали ему подношения, и сам он научился ту часть фруктового пайка, которая выдавалась дополнительно к вольнопитанию, запихивать за щеки, а потом вываливать в свою утешительную яму, и трезвым уже почти не бывал за эти дни, и мысли его были густыми, яростными и тягучими, в них теперь много было Андрея Петровского, и много с Андреем Петровским приключалось

бед, и он радовался этому внутреннему огню – ему казалось, что этот огонь и есть теперь в нем жизнь. Добровольцы вдруг стали его жалеть и немножко накуривать – ему оказалось нужно удивительно мало, при его-то габаритах, он подходил к ним поближе и требовательно открывал рот, они несколько раз делали ему «паровоз», и он стоял потом, ослабший и поглупевший, и это были лучшие часы дня. Праздника ждали все, даже еноты вдруг заговорили с ним про праздник и рассказали, что готовится фейерверк; маленькие менялы все знали – они крали в лагере то и это, шмыгая тут и там, и все это выносили наружу, и когда он спросил их, на что они все это меняют и зачем им столько добра, они немедленно исчезли, и больше он к ним не приставал. Накануне праздника еноты были взбудоражены неимоверно, явно к чему-то готовились, прятали что-то за копной жухлого сена в углу его загона – он даже решил было, что они участвуют в позорном «параде» (уже известно было, что участвует полоумный фалабелла Артур и сервильная собака Падаван, и он с презрением думал об этом жалком сборище), но нет, тут было что-то другое. Обещали фейерверк; после Лас-Вегаса фейерверками его было не удивить, но, к стыду своему, он вдруг заразился этим общим ожиданием, этой возможностью под сколь угодно идиотским предлогом вдруг выбраться из повседневной рутины, и в день праздника был бодр и жаден, хоть и не без отвращения к себе, и даже на Жерома смотрел благосклонно, хотя тот ходил за Андреем Петровским, как блядская собачка, и на каждую фразу режиссера говорил: «О да! О да!» – и видно было, как приятно это «О да!» размещается у него во рту. Момо показали его место в «параде» – он первым выходил на разукрашенный измочаленными флажками и цветущими ветками сигалона⁷⁷ утоптаный круг. Утруждать себя особо он не намеревался – достаточно и того, что на него попялятся всласть; он планировал покрутить палку, пару раз встать на задние ноги, сделать «мягкий вольт» и «твердый вольт» – да так и повторять этот набор до конца парада, хватит с них. Парад начался. Он прошел первый круг, не глядя на публику, под цирковую музыку, которую наяривал схлопотанный усилиями того же Андрея Петровского лагерный оркестр, и вдруг, к совершенному своему изумлению, почувствовал, что в нем поднимается молодой, давно забытый азарт. Он подъял половину ямы перед выходом на круг, голова у него гудела, но была ясной, и вдруг он почувствовал, как сердце пошло быстрее, и неожиданно для себя щедро показал «двойной вольт с ручками», и бешеные аплодисменты возбудили и порадовали его. Теперь ему уже хотелось другого – затмить их всех, затмить Жерома, показать, кто тут артист, а кто кривляка, и он сделал по очереди левый и правый арабеск на задних ногах, и ему было весело и хорошо. Он легко пошел, пытаясь прикинуть, не рискованно ли на этом покрытии сделать «Плисецкую», старый детский номер, выученный им еще до Питера, но очень эффектный, музыка пошла престижно, вокруг топали и хлопали, еноты взбудораженно визжали совсем близко, он решился и начал правильно выносить ногу полукругом – и тут вдруг взорвался воздух над ним и вокруг него, и пошел снег, и он почувствовал, как сердце колотящимся страшным шаром вдруг начинает подниматься в горло. Снег был горький и пах знакомо, и, задыхаясь от боли в груди и в дрожащей, подгибающейся левой передней ноге, медленно опускаясь на колени, он понял, что воздух наполнен рокасетом, нежным рокасетовым порошком из почерневшей огромной хлопущки, вот она, хлопущка, лежит на земле, нарядная и пустая, совсем рядом с его лицом, и в пасти одного из енотов еще висит конец бечевки, как мертвый хвост, а потом мир заваливается вбок и остается только страшная боль в груди.

Ветеринарная команда, с ее хлопающими на ветру легонькими носилками и крошечным дефибриллятором, чувствовала себя глупо, да и сам ветеринар, как ни ползал по пациенту, отлично понимал, что делать тут особенно нечего. Чувствительная публика шепталась и ахала, плакала подручная ветеринарная девочка, заплакали и в толпе, и ветеринар, пытаясь добраться своим большим шприцем до слоновьего большого сердца, отлично понимал, что работает сей-

⁷⁷ Жакаранда (*ивр.*).

час скорее на толпу, чем на Момо, и толпа тоже отлично это понимала. Красивее всех выступал Жером: метался, и выл, и заламывал лапы, его держали, сцена была впечатляющая. Даже сквозь боль и ужас Момо ее оценил, трудно было не оценить, и вдруг почувствовал слабую злость – слабую, мерцающую и неверную, как пламя свечи на ветру, актерскую злость на инженерюшку, пытающуюся переиграть хорошего старого артиста, – и открыл рот, и заставил себя дышать медленно и размеренно, и заставил темноту в глазах держаться от себя подальше, буквально удерживал ее перед собой, как полипропиленовую шаткую завесу, не давал ей упасть – и выжил. Маленькая злость, которой хватило всего на несколько секунд, истощилась и исчезла, а вместо нее пришло огромное, теплое ничто. Много дней Момо лежал, потом встал, поддерживаемый добровольцами за обвислые бока, и стоял в своем полипропиленовом загоне, переведенный с вольнопитания на мерные корма, почти к этим мерным кормам не прикасаясь, хотя старались порадовать его, кто чем мог, давали и консервированные персики, и скомканную в шарики сладкую кашу, но ел он плохо, ему было неинтересно. Еноты постоянно крутились где-то рядом, но ни у одного не хватало наглости к нему приблизиться; обходя Момо широким полукружием, они сваливали свои подношения в яму и сами прикапывали, засыпали листьями, чтобы не заметил это все человеческий глаз, – но и яма долгое время совершенно не интересовала Момо. Один раз енотам, видно, совсем уж нестерпимо понадобилось залезть на склад, и они рискнули – трогали его лапками, заискивающе глядели в глаза, словами просили подсадить; он не сразу понял, а когда понял – посадил крупного, как всегда делал раньше, но через полминуты совершенно о нем забыл и отошел в сторону: что-то отвлекло его внимание, что-то неожиданно живое и приятное, а что – было непонятно, сквозь теплое ничто вообще трудно было думать, да он и не хотел думать. Забытый енот верещал в форточке, его братаны далеко не сразу смогли вернуть себе внимание Момо, он отпихивал их легонько ногой, тихонько стоял, закрыв глаза, хотел вспомнить: что же это было только что такое приятное? Наконец еноты так надоели ему, что он спохватился, подставил к форточке хобот и вдруг понял, что вкусно и сильно пахло из его секретной ямы, и, спустив енота, пошел туда, и поел немножко, и теплое ничто через несколько минут вдруг стало таким хорошим, таким нежным, что от любви к себе и миру он чуть не заплакал. Еноты, кажется, обрадовались, и хотя они больше не просили его, рассеянного и ненадежного, помогать им в делах (найдя себе, видимо, другие ходы или подкупив более стабильного партнера), раз в несколько дней его яма, куда он сбрасывал сейчас почти половину своего пайка, исправно пополнялась их милостью. К нему вообще много кто ходил с подарками, ничего не желая взамен: давно отваженные дети, сентиментальные добровольцы, немолодые люди, которым было необходимо выговориться в стороне от прочих, в скученной жизни лагеря, где почти невозможно было остаться одному; Момо все понимал, на все кивал равнодушно и все немедленно забывал навсегда. Раз в несколько дней являлся Жером в сопровождении театральной труппы, верхом на нем ехал малолетний Орен Вачовски, Жером обязательно подносил старому товарищу нечто роскошное – один раз даже клубнику, очень грязную и невообразимо вкусную, мяса Жером больше не ел и всегда старался напомнить присутствующим, что эту клубнику или эту мороженую хурму он «от себя отдает», – и после бурных проявлений заботы принимался разглагольствовать со слезою нежности в голосе о России, о сладостной ее клубнике и роскошной ее публике с большим сердцем, и о прекрасных ее снегах, и еще черт-те о чем, и трудно было узнать в этих монологах прежнего вечно ноющего Жерома, ненавидевшего похолодания и обожавшего итальянскую, английскую и немецкую публику, у которой, по выражению его старого дрессировщика, были «и сердце, и деньги». Момо быстро съедал принесенное, постепенно он вообще стал от скуки есть очень много, и на все кивал, и все забывал почти сразу. Андрей Петровский во время этих медвежьих излияний стоял в стороне, разглядывая полипропен; один раз он пришел к Момо в сумерках сам, без никого, обошел слона несколько раз, это было ужас невовремя, Момо как раз собирался хорошенько поесть из ямы, но Андрей Петровский все не уходил, а потом как будто что-то проверил – несколько раз

потыкал в Момо палочкой, сказал: «Ну, ты». Момо было все равно, пусть бы Андрей Петровский делал, что хотел, лишь бы поскорее ушел – и Момо посмотрел на него из своего ничего, совершенно не понимая, кто этот человек и зачем он тут, и на всякий случай даже покивал и помахал хвостом, лишь бы от него отстали поскорее, и от него отстали. Андрей Петровский, правда, захотел вернуть слона в спектакль, взяв тем самым последний реванш, но Момо забывал слова, и пользы от него не было никакой; роль его отдали Жерому, и юный Колобок – Орен Вачовски – с удовольствием выслушивал медведя, которому необходимо было выговориться, и спектакль как-то сразу заладился. Когда же дело доходило до встречи Колобка со слоном, слон стоял смирно и выдавал свою единственную реплику, смешную: «Слиха, ани оле хадаш вэ ле медабер иврит»⁷⁸, – и Колобок катился себе дальше.

⁷⁸ «Простите, я новый репатриант и не говорю на иврите» (*ивр.*).

39. Но он свободный, но он богатый

Нет у цыгаааа-на... Земли и хааа-ты... Но он свобоооо-дный... Но он богаааа-тый... Над ним не свииии-щет... А вот еще потянемся немножко, надо бы просто лечь на камень, тогда рука глубже пойдет, но очень не хочется... Нагайка паааа-на... Куда ни гляаяя-нешь... Раздается мерзкий хруст, и крышка от шкатулки вместе с крепежом остается у Ильи Артельмана в руке, а сама шкатулка, судя по скрежету, проваливается вниз, в тартарары из каменных осколков. И руку поцарапал, как же обидно; Илья Артельман в большой досаде рассматривает крышку: сама такого невероятно благородного цвета, видно, красное дерево, лет сто пятьдесят так точно, а поверху идут тоненькие-тоненькие узоры, выпиленные явно из слоновой кости и закрепленные манюсенькими серебряными гвоздиками. Не спас, не спас, и раздосадованный Илья Артельман говорит себе, что вот к каким результатам ведет лень: и шкатулку не спас, и про содержимое ее аж думать больно. Но крышечку все равно запишем в блокнот, вот наступит день – а Илья Артельман придет к хозяевам, вот ваша крышечка, а не спас я вашу шкатулочку, уж простите вы меня – дальше слезы и объятия, ну-ну, полно, ну-ну. Илья Артельман все сидит и сидит, все гладит и гладит крышечку, ах, какая крышечка, крышечка-красавица, деткам очень нравится... Нехорошо, Илья Артельман, нехорошие это мысли, строже надо с собою, строже-строже, за дочерью глядите вслэд, держите прямо свой лорнэт, мы все, все спасенное отдадим, ничего себе не оставим, а привычку по вечерам все это рассматривать и поглаживать, фонариком ласкать и обнюхивать ты, Илья Артельман, брось, нехорошая это привычка, да, не затем мы вот сейчас основательно поношенной кроссовкой пытаемся упереться в то, что однажды было подоконником, чтобы дотянуться до кусков того, что однажды было книжным столом, потому что между двумя кусками доски, кажется, виднеется... Ах ты ж мать твою, аааа, ааааааа! Илья Артельман чуть не валится вниз, в голове стучит кровь, от страха у Ильи Артельмана дрожат колени: сукин кот! Укусил! В тревоге Илья Артельман рассматривает собственную руку: вот след от зубов, но не насквозь, но больно, а главное, подлая тварь, как напугал! Кота уже не видно, а уголок рамки по-прежнему вот. Наш уголок я убрала цвета-а-ми, к вам одному неслись... Неслись... Да там стекло, потянешь – треснет, мало ты сегодня наломал? Поближе надо встать, вот так держись... К вам одному неслись мечты мои... Рамка небольшая, черная, широкая, тяжеленькая, в эдакую рамку что попало не возьмут, у Ильи Артельмана уже чуйка развилась ого-го, немножко видно: там какая-то махонькая гравюра – гравюра, гравюра, гравюра без турнюра... Надо ногу вот так боком поставить, чтобы прямо за стекло и... ах, блядь, сука!!! Кот! Зубами! И как же больно! Да что ж тебе надо, поганая тварь?! Да их там два, и что они делают? Что им там, еда? (От этой мысли Илье Артельману немножко плохеет, но нет, он уже умный, он один раз сходу почуял такой, знаете, запах... Нет, нет, ничего подобного тут нет.) Один кот, рыжий и сухой, как осенний сук, смотрит на Илью Артельмана из расселины, оскалив зубы, а второй, с ободраным бурею боком, кажется, пытается... Да не может быть – пытается, кажется, вот эту гравюрку вот в этой рамке зубами вот так за уголок, чтобы не треснуло стекло, и вот так лапой... Да ведь тяжелая! – ах, нет, он что-то там, за картинкой... Ободранный поднимает глаза на Илью Артельмана, во рту у него крепко закусенные золотые часы, и тут у Ильи Артельмана голова идет кругом. Коты шмыг, Илья Артельман, хватаясь укушенной рукой за что попало, кое-как за ними, и так они пробираются к дальней стороне бывшего дома, к той, которая выходит на Шатиль, и Илья Артельман видит, как коты трусцой подбегают к двум мужикам, попадались они Илье пару раз на районе в ходе его важных спасательных операций, неприятные и много курят, на паек столько не покуришь, а они курят и курят, откуда это они такие курят? Ободранный кладет в руку одному из мужиков часы, начинается рассматривание и обследование, коты сидят, ждут. Тогда мужик помельче достает из рюкзака, совсем такого же, как у Ильи Артельмана, большую банку

с тушенкой, вскрывает, вываливает прямо на землю, коты бросаются вперед и вдруг тошнотворно напоминают Илье Артельману сросшихся головами младенчиков из рижского музея медицины. Ничего себе – котов тушенкой кормить, ну ни хуя себе! Илье Артельману убраться бы подобра-поздорову, но он стоит на чем-то очень хрустком, а ему совсем не хочется привлекать к себе внимание этих людей, он все стоит и стоит, смотрит и смотрит, мужик помельче подбрасывает часы на ладони, заводит механизм и прячет в карман, мужик покрупнее что-то говорит и тут же получает слегка по уху, и обиженно отходит в сторону, и тут внезапно по уху получает Илья Артельман, да с такой силой, что на несколько секунд в глазах его меркнет свет, а когда он снова может смотреть слипающимися от боли глазами, обнаруживает перед собой третьего мужика, совсем мелкого (экая матрешка). Мужик ласково снимает с Ильи Артельмана рюкзак, вешает себе на плечо и для полной гармонии и симметрии наподдает Илье ногой под зад так, что боль отзывается в ушах.

40. Синдром Туретта – это...⁷⁹

...когда говорят, говорят, не могут не говорить. Но начнем с другого. Способ выделения кодеина из опия с предварительной обработкой последнего по способу, описанному в патенте № 127, для выделения морфина, отличающийся тем, что полученный от выделения морфина раствор, по удалении спирта отгонкой, разбавляют аммиаком для удаления смолистых веществ, после чего обрабатывают известью для удаления меконовой кислоты, полученный раствор упаривают до небольшого объема, разбавляют после подкисления крепким спиртом для удаления остатка смолистых веществ и, наконец, после удаления спирта из раствора выделяют соль кодеина путем кристаллизации. А вообще это такая, знаете ли, типичная подростковая история, им же по 10–11 лет в пересчете на наш возраст, но об этом все старательно не думают, пока один из ребят, занимающихся вопросами чего-то там, связанного с безрешетскими гребнепальными ящерицами, не возвращается из медлагеря на завод. Его хорошо ушибло подломанной оливой, этого парня, еще когда они ходили с контейнерами по бедуинским стоянкам и подбирали в контейнеры выживших, и подобрали Лили, Нати и Орли, и тут он полез забрать еще одну девочку, орущую и воющую глубоко-глубоко, под пыльной машиной, и уже вылезал обратно, когда олива, в которую эта машина была впаяна всмятку, окончательно рухнула – и прямо ему на хребет. Он легко отделался, если не считать потока шуток про оливковую ветвь и пр., и вот он возвращается на завод и видит, что там как, и начинает биться в истерику, и натурально является на внутреннюю проходную, держа над головой плакатик, на котором написано про детский труд и прочий позор. К нему выходят говорить и ласково говорят в том смысле, что ты, чувак, очнись, время-то какое, а он: «Да им же по 10–11 лет в пересчете на наш возраст, а они работают по двенадцать часов!» – ну что тебе сказать, хочешь стоять и стой, только пока ты тут стоишь, твой напарник должен делать двойную норму, это нормально, да? Это совсем не нормально, но таких вот как этот не проймешь, им на людей насрать, им ящерицы дороже, и он так и стоит четвертый час, никто не обращает на него внимания – вернее, на него очень даже обращают внимание, он очень интересует собак, которые в тележках отвозят готовые порошки на погрузку, одна собака даже выпуталась из упряжи и пришла его нюхать – словом, от человека реальный вред, вот же, сука, ебанутый. Нати, которая все про все знает, узнает все и в этот раз – ей рассказывают собаки, хотя от собак она всегда старается держаться подальше: у нее какая-то дурацкая фигня происходит с того самого момента, как ее вытащили из-под обломков бедуинского гаража, там еще были собаки, собаки-то ее и нашли, и вот теперь Нати, как услышит лай собак, тоже начинает лаять, лает и лает, не может остановиться, да так, что даже людям слышно, а что она лает – неизвестно, свои девочки по-собачьему не понимают, а собаки на Нати только смотрят косо и все. Один раз две собаки подрались и случайно сцепились тележками, не могли расцепиться, поднялся лай, Нати залаяла, а Лили засмеялась, а Нати так впилась ей зубами в палец, что Лили не могла работать, приходил человек, примотал Лили палец к другим пальцам, ночью она плакала, очень болело, даже и с рокасетом. Нати старается держаться от собак подальше, поэтому к собакам на самом деле ходит Орли, все узнает и потом рассказывает Нати, и вот весь конвейер уже знает про ебанутого чувака с плакатиком, даже Хани знает, хотя с ней никто не разговаривает. Хани в последние дни чувствует себя лучше, у нее уже почти нормальный хвост, только бледный, а главное, этим дурам она, кажется, надоела, они ее больше не трогают, слава богу. Один раз Хани спросила большого старого лабрадора, которого как раз перезапрягали из тележки в тележку возле конвейера, что Нати сейчас лаяла, и он сказал: «Света нет! Света нет! Света нет! Света нет! Света нет!» Другой раз такса, долго не понимавшая вопрос, сказала, что Нати спрашивала: «Подавился, да? Подавился, да?» – а

⁷⁹ В главе используются цитаты с сайта «Справочник химика 21» (<http://chem21.info>).

кого спрашивала – непонятно. После обеда идиота с плакатом загоняют все-таки в цех на рабочее место, его работа – что-то нажимать возле большого котла, от девочек это далеко, но во время большого перерыва он приходит и зовет их собраться, и кое-кто действительно собирается, и Хани тоже подходит, постепенно собирается много кого. У Хани за спиной толпятся и толкаются, прямо за ней стоит Нати; Лили и Орли отгоняют от Нати всяких других, чтоб не напирала, а этот чувак говорит, что они не должны работать по двенадцать часов, что они еще маленькие, им надо расти, что рокасет – это очень-очень важно, но пусть завод поставит работать кого-то другого, пусть завод что-то придумает. Совершенно непонятно, как завод может что-то придумать, у него же головы нет, всем скучно-скучно, Хани хочет уйти, ей не нравится, что с конвейера сыплется порошок, за это бывает плохое – кричат, топают, потом очень болит голова, Хани хочет уйти, но назад не пробраться уже – и тут Хани чувствует, как ее покусывают за хвост. Вспомнили про нее, нашли себе лекарство от скуки, господи боже мой, бедная Хани, и сзади уже трогают и дергают, и легонечко так кусают с разных сторон, все три кусают, и вот уже не легонечко, а больно кусают, господи ты боже мой, да за что же это, и тут Хани – прежняя, отчаянная, дерзкая Хани, у которой был брат, и подружки, и жирные муравьи, Хани, которая не боялась даже громадных бедуинских ботинок, тихо говорит: «Гав!» «Гав-гав-гав, гав-гав-гав, гав-гав-гав!» – тут же заливаются Нати, и в следующую секунду все собаки в цеху заливаются: «Гав-гав-гав! Гав-гав-гав! Гав-гав-гав!» – и Хани в этот момент совершенно наплевать, во что ей все это обойдется, гав-гав-гав, гав-гав-гав, гав-гав-гав.

Ночью она лежит на своем месте под конвейером и ждет их, и они приходят. Она дерется до конца, дерется зубами и лапами, попадает пальцем ноги Орли в глаз, но уже поздно, Нати и Лили наваливаются на нее, от боли она почему-то кричит человеческим языком, Лили ее держит, навалившись брюхом на голову, а Нати кусает и дергает, кусает и дергает, пока бледный слабый хвост не остается лежать на полу, и Нати медленно, долго его ест, и даже Орли достается кусочек. Такая, знаете ли, типичная подростковая история, им же по 10–11 лет в пересчете на наш возраст.

41. И злой путь, и коварные уста

Цит. по «Пыльная дорога: непрозвучавшие беседы», фонд «Духовное наследие митрополита Иерусалимского и Ашкелонского Сергия (Омри) Коэна», 2028, Новый Ашкелон.

«...я шел по коридору, держась за болящий бок; боль изнуряла меня, но больше всего я, только несколько лет назад обретший веру и все время опасавшийся за ее крепость, страдал не от боли, а от того, что делали со мной и боль, и вечно освещенные невыносимым белым светом подземные палаты „Сороки“. В моем послеоперационном зале, рассчитанном на двести человек, стояли триста пятьдесят коек, на которых плакали, стонали, молчали или молились; между нами метались не спавшие по трое суток медбратья и пожилые врачи – многие были уже давно на пенсии, и только страшные события тех дней вернули этих мужественных людей в строй. Я понимал, что все ресурсы подлежат жесточайшей экономии, и сказал себе, что не буду просить об обезболивании до тех пор, пока не почувствую, что боль в ране неправомерно нарушает ход моей мысли и что внутренних моих сил не хватает на поддержание ума в порядке. Быстро выяснилось, что постоянная боль является для меня испытанием не физического, но духовного свойства: мои ресурсы, ресурсы моей души, тоже стремительно истончались, поднималось со дна дурное, в том числе чувства и мысли, которые я давно считал преодоленными, побежденными в себе. Я сказал себе, что это посланный мне урок усмирения гордыни: вот, значит, сколько во мне дурного, а сам я был самонадеян и наивен и втайне кичился тем, как много зла сумел преодолеть в своей душе. Я завидовал медперсоналу, которого не мучила постоянная жгучая боль в левом подреберье; завидовал страдающим рядом людям, чьи мучения казались мне легче моих; я не находил в себе сил взять на себя хоть какую-нибудь заботу о ближнем, предложить хоть малую помощь тем, кому было еще хуже, чем мне; даже творимые мной молитвы стали делом механическим и пустым, и мне стоило невероятного душевного усилия наполнять обращенные к Господу слова верой. Как за соломинку, я хватался за двадцать второй псалом и повторял его про себя, наверное, по двадцать раз в день, заставляя душу наполнять каждую строчку видением моей реальной ситуации. „Я ни в чем не буду нуждаться“ – вот, Господь позаботился и о спасении моей жизни, и о том, чтобы сейчас, в эти страшные дни, когда люди пропадают и погибают, теряют семьи и силы, вокруг меня были забота и путь к физическому спасению. „Водит меня к водам тихим“ – вот, мне послано достаточно сил и разума, чтобы даже сквозь телесное испытание понимать, что есть свет небесный, и ощущать его вечное и присное сияние во мне. „Не убоюсь зла, ибо ты со мной“, – тут мне было тяжелее всего, с того самого момента, когда я услышал, как осколок снаряда с хрустом входит в мое тело, меня мучил недостойный страх смерти, но эту строчку я повторял с особым усердием, стараясь услышать ее всею своею душой и найти в ней опору. „Чаша моя преисполнена“, – повторял я, и больше всего на свете мне хотелось вернуть себе в моей, как мне казалось, обездоленности это благостное и глубокое чувство, и я молился о ниспослании мне его. Однажды за этой наивной и отчаянной молитвой меня застал человек, которого я видел раньше всего пару раз: после операции он лежал на соседней койке, тесно притертой к моей, но позже его отыскала жена, офицер по имени Адам, женщина сильная и настойчивая, она объяснила всем, кому могла, что ее муж – знаменитый журналист и писатель, и ее стараниями соседа моего переместили в привилегированную палату, где людей было поменьше. Он перенес операцию на позвоночнике, я знал, что его возможность ходить под вопросом, и быстро почувствовал, что его душа погружается от боли и страха в ту же горькую тьму, что и моя. Тогда я не знал, кто он, но был рад, неделю спустя увидев его на „прогулке“: нас настойчиво отправляли на ежедневный мотион, для которого был отведен специальный служебный

коридор, и по этому коридору с утра до вечера медленно брели выздоравливающие, поддерживаемые друг другом; кто-то остроумный назвал этот коридор „сдерот⁸⁰ Ротшильд“, и название прижилось. Он шел медленно, с огромным трудом переставляя ноги, держась за ходунки. Мы пересеклись взглядами, и вдруг он остановился и спросил: вы религиозный? Я понял, что он видел меня за молитвой, и еще понял, что его любопытство вызвано отсутствием кипы у меня на голове; я объяснил, что я христианин, ноцри. Он изменил направление „прогулки“, представился и побрел рядом со мной. Его звали Ронен Бар-Лев, это имя сразу показалось мне знакомым, через несколько минут я вспомнил: он действительно был известный журналист, я с интересом читал его статьи и колонки в „ha-Aрец“, всегда, как мне представлялось, наполненные живым и сильным состраданием к людям и желанием понять самые разные точки зрения; я ценил эти тексты и следил в твиттере за его постами, иногда куда менее взвешенными, но все равно яркими и неравнодушными. Я чувствовал, что чем-то сильно заинтересовал Бар-Лева, и еще – что его мучает какой-то вопрос и он готовится его задать, но вместо вопроса он вдруг сделал нечто совершенно необъяснимое: снял с моей капельницы резервуар с раствором и протянул мне, сказав: „Подержите“. Растерянный, я принял у него резервуар – и в следующую секунду Бар-Лев с грохотом повалил на пол капельницу, за которую я держался, чтобы не упасть, отошел на несколько шагов и стал смотреть на меня. Изумленный и растерянный, я попытался схватить рукой воздух и пошатнулся; страх падения заставил меня вскрикнуть; к счастью, сквозь поток гуляющих по „Ротшильду“ в это время пробирался медбрат, подхвативший меня как раз под раненый бок. Я взвыл от боли, но удержался на ногах. „Что здесь случилось?“ – спросил медбрат нетерпеливо. Я посмотрел на Бар-Лева и увидел, что лицо его застыло от стыда. „Простите, – сказал я медбрату. – Я зацепился капельницей за его ходунки. Все в порядке“. Капельница и резервуар встали на свои места, мне велели быть осторожнее. Медбрат убежал, а я подошел к Бар-Леву. „Простите меня, – сказал он, отводя глаза, – мне было очень надо. Мне очень стыдно“. „Объясните“, – попросил я. „Нет, не могу“, – сказал Бар-Лев и пошел от меня прочь. Сердце все еще колотилось у меня в груди, но я к тому времени уже знал, что с солдатами, которые участвовали в той короткой и ужасной войне, с которой начался асон – или бывшей первым ее признаком, по мнению многих, – происходили странные и страшные вещи; я, как мог, подавил в себе раздражение и, стараясь заглушить боль, вернулся к двадцать второму псалму. Ронена Бар-Лева я в тот день больше не видел, но назавтра в столовой мне предстала еще более странная сцена. За одним из длинных столов, на самом краю (кормили нас в три смены, и я велел себе приходиться с последними) сидел Ронен Бар-Лев и беседовал с немолодой женщиной по имени Яна, ослепшим военным механиком: я знал ее по нашему небольшому молитвенному кругу, она была из католической польской семьи и смогла пронести сквозь жизнь наивную детскую веру, которой одарила ее бабушка (мы были большие екуменисты, ужас нового мира объединил нас всех, и в наш маленький больничный кружок ходили даже люди, весьма далекие от христианства, – например, совсем молодой грек, считавший себя язычником, но на самом деле просто тянувшийся к небесному свету в опустившейся на нас черной тьме). Ронен Бар-Лев выглядел участливым собеседником, когда я проходил мимо них, он помогал Яне мазать хлеб творогом, но что-то привлекло мое внимание, я замедлился – и с неприязнью увидел, что Бар-Лев медленно-медленно отодвигает ее тарелку все дальше и дальше от нее. Руки Яны изумленно шарили по столу, она притягивала тарелку к себе, явно стыдясь спросить, что происходит, – и вновь тарелка беззвучно от нее уползала. Я был потрясен: что-то подсказывало мне, что Бар-Лев делает это не ради злой шутки и не из наслаждения чужим страданием, им двигало нечто крайне важное, какая-то неотложная надобность, но я не мог представить себе, какая именно. Мы встретились глазами, Бар-Лев вспыхнул и быстро встал, однако мне показалось, что он очень чем-то доволен. Я поковылял

⁸⁰ Бульвар (*ивр.*); Бульвар Ротшильд – одна из центральных прогулочных улиц Тель-Авива.

прочь как только мог споро; увиденное мучило меня, но мне совершенно не хотелось говорить об этом с Бар-Левом, я боялся, что он придет ко мне объясниться, а мои душевные силы и так были на пределе. Тогда я еще не знал, что беседа со страдающим, помощь страдающему способна дать тебе больше сил, чем любой замкнутый на себя праздный отдых; я чувствовал, что едва справляюсь с собственными демонами и у меня нет ни капли сил на чужих. Каждая прогулка в столовую была для меня большим физическим испытанием, больше всего на свете я хотел лечь и замереть, чтобы хоть немного утихло разыгравшееся пламя в ненавистном мне боку, но на моей койке, как в дурном кино, сидел Ронен Бар-Лев и ждал меня. „Дайте мне лечь, – сказал я, – если, конечно, вы не собираетесь отодвигать от меня кровать“. Смуглый и светлоглазый, он стал какого-то кирпичного цвета, и я сразу устыдился своего раздражения, но мне по-прежнему не хотелось говорить с ним. Я лег, а он остался стоять, неловко замерев у моей койки, и сказал, что ему надо со мной объясниться. „Вы ничего не должны говорить мне, – сказал я, – я не ваш исповедник“. Сейчас я понимаю всю жестокость этих слов и до сих пор стыжусь их: я понимал, что передо мной человек страдающий, человек, которому нужно говорить, и все-таки сделал все возможное, чтобы отпугнуть его. „Я коротко, – сказал Бар-Лев жалобно, как ребенок. – Я больше не буду“. „Вы не должны извиняться передо мной, – сказал я. – Я вижу, что вы зачем-то совершаете дурные поступки, заранее зная, что они дурны, а затем раскаиваетесь в них; видимо, вам так надо, и вы совсем не обязаны ничего мне объяснять“. „Я был под Ашкелоном“, – вдруг сказал он. Я содрогнулся и посмотрел на этого человека совсем другими глазами: все знали про Ашкелон и про страшные события „Ашкелонского котла“; я впервые говорил с человеком, который там был, и на секунду мне привиделось, что передо мной спасшийся из ада; теперь мне было только жаль его, и на лице моем, видимо, это отразилось. „Да нет же! – вдруг сказал Бар-Лев сердито. – Вот вы уже готовы что угодно мне простить!“ „Я просто сочувствую вам“, – сказал я, но он, конечно, был прав. „Вы прощаете меня и не знаете ничего, – сказал он. – Вы не знаете, что я делал и что я чувствую. Ну так я скажу вам. Их было, наверное, сорок человек, там, в подвале, в убежище, сорок человек, если не больше, но нам нужно было использовать этот подвал, и чтобы была тишина, и мы сделали так, чтобы была тишина, понимаете?“ Я понял, что у меня немеет лицо от ужаса, но молча слушал его. „Я не чувствую ничего, – сказал он. – Вы что, не в курсе? У нас нет ПТСР, у тех, кто был на этой войне. Про все свои поступки от начала войны и до самого асона мы не чувствуем ничего. Я хочу знать, понимаете? Я хочу знать, вернулась ли ко мне совесть“. Я молчал. „Эх вы, верующий человек“, – сказал он и медленно пошел прочь, наваливаясь на ходунки. Я лежал, и между мной и ним была словно натянута липкая черная нить, дрожащая и провисающая, но не рвущаяся. Все следующие дни эта нить не исчезала: мне казалось, что я всегда знаю, где он находится, даже если не видел его по многу часов, и казалось еще, что он так же чувствует меня. Я поймал себя на том, что теперь отвожу глаза от любого, кто мог быть солдатом: как будто я попал в заколдованный мир, где за каждым лицом могло скрываться чудовище. Один из врачей, пожилой психиатр по имени Арик Довгань, стал проводить сеансы групповой терапии с солдатами в не до конца забитой мебелью подсобке прямо за стеной моей палаты; я слышал их голоса, когда они собирались, и мне мерещилось, что это злые души переговариваются в преисподней, но чаще всего оттуда слышался смех и иногда аплодисменты, и от этого мне было жутче всего. Я не понимал, что ужасное, подлинно ужасное происходит не с ними, а со мной, что я переполнен превосходством перед ними, что я сужу их с равнодушием и жестокостью ребенка, убеждаю себя, будто испытываю к ним сострадание, но не испытываю ничего, кроме гордыни. Мне казалось, моя вера подвергается жестокому испытанию из-за постоянной боли, тесноты, тоски по нашему разрушенному миру и по близким, о которых я тогда ничего не знал, из-за страха перед будущим; я считал, что вижу собственную душу насквозь, – и не видел главного и подлинного испытания, испытания гордыней, которое едва не стоило мне и моей веры, и моей души».

42. Умерла овечка, оторвался хвостик

Протекала речка,
через речку мостик,
на мосту ове-е-ечка,
у овечки хвостик —

а ну-ка раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, сейчас мы будем защищать этот мост силами одного не полностью уцелевшего гдуда (это история в прошедшем времени, как нетрудно догадаться, – история, происшедшая до того, как в гдуде осталось что-то вроде одиннадцати человек). Обстоятельства таковы: вот зоопарк, вот мост длиной примерно одиннадцать метров (жизнь бессовестнее литературы), никакой овечки на нем, конечно, нет, но на одном берегу действительно расположен контактный загончик с бьяшами и няшами, некормленными и ошалевшими, а на другом – они, их больше, чем нас со всеми бьяшами и няшами вместе взятыми, но мы отважны и бесстрашны, и сейчас мы этот мостик будем защищать, чтобы не дать тем, другим, пройти через контактный загончик и занять стратегический холм с обезьянником. На мосту сеген Узиэль Ермиягу (сейчас он погибнет, и Адас Бар-Лев останется за главную, но подождите, он до этого успеет сделать одну удивительную штуку), и он делает удивительную штуку: он разбивает остатки своего гдуда (включая раненых, но способных держать оружие) по парам и говорит им: «Защищайте не мост, а друг друга». Артельман, где твой брат Факельман? – а ну-ка раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один!

Вот просохла речка,
обвалился мостик,
умерла овечка,

оторвался хвостик, сильно пахнет жареной бараниной, Яся Артельман защищает Ури Факельмана, и тут вскрывается, собственно, подлянка: это, значит, подразумевается, что мост защищается как-то сам собой, что никто не побежит с воем в сторону обезьянника, бросив автомат и для легкости скидывая на ходу амуницию: нет, имеется в виду, что мы защищаем в первую очередь друг друга в этих конкретных обстоятельствах. О, сколько интересного может произойти на всего одиннадцати метрах деревянного шаткого мостика: вот, например, быстро выясняется, что мертвые тела его стабилизируют и укрепляют, – мы, таким образом, заинтересованы с тактической точки зрения в увеличении количества мертвых тел; мостик становится все горбатее, Яся Артельман орет на своего Ури Факельмана, а Ури Факельман-то одурел и во весь рост хуячит по ним др-др-др-др-др, др-др-др-др-др, тогда Яся Артельман его просто пиздых прикладом под коленки, Ури Факельман хлоп мордой в чью-то мертвую попу, а граната ровнехонько у него над головой: пиуууу! Теперь давайте рассмотрим с учебной точки зрения этот интересный командирский прием: если бы Яся Артельман не защищал своего Ури Факельмана, мы бы лишились сейчас Ури Факельмана. Но: скольких бы в эти шесть-семь секунд уложил Ури Факельман? А с другой стороны – вот наш Факельман уже на ногах, орет: «Кибенимааааа!» – и др-др-др-др-др-др-др-др-др-др. Тут своего рода fuzzy logic, математика сослагательных наклонений; хотя смотрите, как интересно получается: вокруг Яси Артельмана и Ури Факельмана внезапно растет капуста! Объединенная до корня капуста, но важно не это, важен неминуемый вывод: Яся Артельман и Ури Факельман ушли, стало быть, с моста, они уже лежат не на мосту, а в самой серединочке контактного зоопарка, у Яси Артельмана здорово

подвернута нога, он орет, орет горящая бляшка, теперь Факельман выполняет приказ: защищает своего Артельмана, то есть хватает его поперек талии и тащит к цветному домику для козочек, там бьются в истерике козочки, но Ури Факельман кое-как упикивает поверх козочек своего неходячего Ясю Артельмана; тут нам, конечно, чистая выгода: от Яси Артельмана уже нет никакой боевой пользы, он как-то сдулся от боли и визжит. «Не ори! Найдут! – орет Факельман. – Не ори! Найдут!» Оба молодцы; Яся Артельман орет не переставая, Ури Факельман лупит визжащих козочек прикладами по головам, хватая одну помельче и сует ее загривок в пасть Ясе Артельману, как мягкий духлявый кляп. Обожаем: прекратился визг, и пулеметчик, видимо, сделал соответствующие выводы, и теперь их, Яси Артельмана с его Ури Факельманом, совсем не видно за завесой того ада, который творится возле мостика (вон там торчит нога – это Ерема, Узиэль Ермиягу, но Адам Бар-Лев еще не знает, что приняла командование на себя; впрочем, в данный момент это тактически неважно). Оглядим же пространство боя и спросим себя: удался ли тактический, психологический, мета-гуманистический прием Узиэля Ермиягу? Хвостик оторвался, мостик сдан; зато у нас есть живой Яся Артельман и друг его Ури Факельман, поглядите на них: Ури Факельман выбил окошко в задней стене козьего домика, вылез сам и вытащил своего Ясю Артельмана. Пулемет переменял направление, и Ури Факельман, головой пихая под жопу Ясю Артельмана с мертвой козой во рту, ползет, ползет в сторону Ноева Ковчега – большого толстопузого строения с лекториями и диафильмами, с выставкой детских рисунков «Мой лучший друг – животное». А ну-ка раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, одиннадцать.

43. С комментариями автора: «Овцеебы»

*Михаэль Артельман
Специально для «Резонера»*

...Рассказывают, что по ТЦ «Мегаполис» несколько дней назад гулял человек с гусем под мышкой. А сейчас же все любопытные, всем надо поговорить с твоим гусем. И вот молодая мать со своим небольшим исчадием бросается гусеносцу наперерез: «Ой, Сереженька, смотри, какая уточка! Скажи уточке: „Здрасьте!“ Скажи уточке, как нас зовут! Скажи: „Я – Сережа, а моя мама...“» Гусь, басом: «...Ебанутая».

...Рассказывают, что мэрия втихую начала борьбу с собачьим попрошайничеством – расселяет собачьи сквоты в переходах, выискивает спрятанные деньги и угрожает отнимать щенков у тех, кто с ними попрошайничает в метро⁸¹. А делается это все, понятно, при помощи милицейских поисковых собак. И вот наряд недалеко от «Войковской» находит большую нычку – кто говорит, на двести тысяч рублей, кто называет миллион, неважно. Менты, свистки, законоборческие таксы на поводке заливаются лаем. А нычку охраняют два бобика, каждый размером со шкаф. Лай, визг, принудительный намордник – и все это время бобики поливают такс матом и называют «легавыми». «Легавыми», натурально.

...Рассказывают, что пытались воспроизвести на животных эксперимент Милграма. По ту сторону стекла – какие-то средние хищники, по эту – ослик, суслик, паукан и прочая мокренькая кисонька. Разряд тока, средний хищник орет и воет, ослик-суслик-паукан: «Не надо так! Ему больно!..» Леволиберальные исследователи: «Мимимимимииииии!» Ослик-суслик-паукан: «Не надо так! Потом найдет меня! Надо сразу убивать!..»

...Рассказывают, что одна небольшая галерея быстро сообразила, что к чему, и перепрофилировалась на репрезентацию зверушек. И вот хозяева длинношерстных поллоков и вислоухих кандинских собрались на первый вернисаж. Отличная тема, приехали камеры, крутятся репортеры из вполне себе вменяемых (казалось бы) арт-изданий (не буду показывать пальцем, я добрый, а гугл злой). А у одного чувака фретка, он ее макает в пищевые красители, и она ползает по черной бумаге, получается – ну, то, что получается. И вот к ней подваливает чувак с микрофоном и просит комментарий. Хозяин: «Миррочка у нас умница, Миррочка даст комментарий». Микрофон: «Скажите, пожалуйста, а вот как вы задумываете ваши произведения?» Хозяин: «Когда я вижу, что Миррочка в творческом настроении, я расставляю перед ней блюдечки с красками и она начинает принюхиваться, входить, так сказать, во вкус, в особое состояние...» Микрофон: «А можно Миррочка сама ответит?» Хозяин: «Ой, да, простите, ради бога». Микрофон, Миррочке: «А вы часто испытываете вдохновение?» Хозяин: «Вот если Миррочка вдруг спит ночью, то почти наверняка утром она будет в таком, знаете, особом состоянии...» Микрофон: «А можно Миррочка ответит сама?» Хозяин: «Ой, да, ради бога, простите!» Микрофон: «А что бы вы хотели сказать зрителям, пришедшим сегодня на эту выставку?» Миррочка, фальцетом: «Заберите меня!!!..»⁸²

⁸¹ Комментарий 1: Народ, между тем полагает, что собаки-попрошайки давно снюхались с ментами и все это теперь одна шарага – вот эти, которые просят «на корм сыночкам», отдают деньги своей крыше, а крыша кормит их и селит в квартирах (почему-то считается, что не где-нибудь, а в поселке художников на Соколе), и что есть уже целые собачьи кварталы, и что семьи в одной стае дерутся за право спать ближе к батарее, а стаи из соседних квартир враждуют между собой, – и помилуй тебя Господи Всевышний, бедная ты история государства российского: опять коммуналки, опять «ваш ублюдок всю ночь выл, приличным людям перед работой спать не давал», опять небось примусы пронумерованные.

⁸² Комментарий 2: Тяжела ты, доля журналиста. Очень хочется соврать, написать в последней реплике: «Мне хотелось бы дать зрителю понять, что само дискурсивное пространство „творчества“ тысячелетиями подразумевало строго определенную видовую принадлежность создателя, относя всех, кто пытался мыслить другими категориями, к разряду прекраснотупых фантазеров; однако сегодняшнее мероприятие показывает, что трансгуманистический подход к искусству оказывается, судя по

...Рассказывают, что редакторы «Пиздецвикии»⁸³ называют сторонников теории сознательности⁸⁴ «овцеебами».

всему, единственной подлинно инклюзивной системой, позволяющей зрителю выйти за пределы собственного ограниченного эмпирического опыта, – что, в конечном итоге, и является основной задачей искусства». Но я честный человек; а ты, читатель, небось съел бы и пораздовался.

⁸³ «Пиздецвикая» – это Asonwikia, понятно, какая штука. Автор этого текста (не Михаэль Артельман, нет, а автор всего вот этого текста) мается уже который месяц: с одной стороны, так приятно было бы включить в роман немножко статей из вымышленной «Википедии», а с другой стороны – сам прием простоват, нет? Ну, поглядим.

⁸⁴ В чем нам здесь не признается Михаэль Артельман – это в том, что самому ему теория сознательности близка; не признается потому, что как-то это мало похоже на него, сноба и социопата.

44. Раз и два – вдооох, три и четыре – выыыдох

А чо сразу еноты говно? Есть и хорошие еноты, просто их никто никогда не видел – но Мири Казовски, светлый человек, верит в существование хороших енотов, у Мири Казовски вообще все хорошие, оммм, оммм, омммм, омммм шанти шанти шанти омммм. Мири Казовски ходит медитировать в эвкалиптовую рощу и там мешает вольнопитавшимся. Мири Казовски вообще имеет удивительное свойство всем мешать, хотя ее единственная цель в жизни – помогать, помогать всему живому. Мири норовит дать кому-нибудь лишнего пайка, когда волонтерит на раздаче в месте, когда-то бывшем Рамат-Ганом; в результате кому-то из отказников не хватает сгущенки, тушенки, корма для канарейки, и все ругают Мири, а Мири кладет измученным солдатам службы распределения руки на плечи, и заглядывает в глаза, и говорит: «Давайте дышать. Раз и два – вдооох, три и четыре – выыыдох». Очень хочется убить Мири Казовски, светлого человечка, в такие моменты. Мири приходит в загон к слону Момо, когда там курят траву и выпускают пар уставшие девочки с автоматами: говняются на начальство, говняются на плохой секс, говорят гадости про сумасшедшего Артура – словом, расслабляются; Мири Казовски просит сделать пару затяжек, называет начальство «мотеками», а сумасшедшего Артура «мискенчиком»⁸⁵, и вся так, знаете, светится, и тянет дым, как пылесос, в два вдоха убирает, зараза, полкосяка, и очень хочется в такие моменты убить светлого человечка Мири Казовски. Ну подождите, она хочет, как лучше, и вообще на таких, как Мири Казовски, земля держится: все это на самом деле понимают, все очень ее ценят, вот и золотые звездочки тому безусловное подтверждение. Заметим: рокаста у них не хватает, консервированного тунца у них не хватает, корм для рыбок они по спискам выдают, а золотые звездочки у них есть; как это получилось? – тут автору невыносимо хочется вписать бессовестный кусок из прошлой, до-асоновой жизни, кусок про то, как, готовясь, скажем, к ядерной зиме израильские специалисты по выживанию мирного населения в катастрофах говорят друг другу: «Ах да, и золотые звездочки, запасемся же мы примерно миллионом золотых наклейечек, чтобы раздавать их добровольцам за похвальное усердие и хорошее поведение, пусть клеят поверх своих комбинезонов, или струпьев, или что там нам бог пошлет»; обязательно в этой сцене должен быть низкорослый циник с плохими зубами и черствым сердцем, который укажет остальным специалистам, что глупостями они занимаются, какие звездочки? – и ответит ему статный красавец с благородной сединой, бывавший и в сирийском плену, и в египетском дыму, и в страшном сне, какой-нибудь золотой фразой (ее надо вынести на рекламный постер) про сердца людей и золотую звездочку, которая даже кошке приятна. О кошках и золотых звездочках в следующем абзаце, а сейчас о седом красавце: это папа Мири Казовски, который со своей дебелой, босоногой, прекраснотушной дочкой не общался шесть лет, потому что своей безработностью и прочей бесприютностью она его *выбешивала*, – а где он сейчас, бог весть: располагался их отдел по подготовке к мору и голоду в Ашкелоне, на улице Бет-Эль, делайте выводы. Мири ничего не знает про папу и замечательно с этим справляется: она об этом не думает. Каждому человеку дан от бога великий талант, и талант Мири – не думать, о чем не надо: раньше она не думала о том, откуда берутся деньги на жизнь (от Ясиного папы Ильи Артельмана, программиста на военных заказах – и про это пацифистка Мири Казовски, участница многих антивоенных акций, голых и одетых, тоже замечательно умела не думать); не думала о том, почему ее Яселе так странно реагирует, когда она вдруг бросается на него со своими мычащими поцелуями и потноватыми объятиями; не думала о том, почему друг Яселе Факельман называет ее «Чуча-Муча»; и вот Мири Казовски не думает сейчас о целой куче вещей – например, о той подъёбочке в голосе, с которой другие добровольцы постоянно расспрашивают ее о Яселе, – она

⁸⁵ Бедняжечка (*ивр.*).

просто заливается в ответ сладостным треском и трещит, трещит о своем Яселе, ей только дай; не думает она и о слишком громких аплодисментах, которыми сопровождается в конце каждого дня, когда раздали все звездочки всем отличившимся, неизбежный выкрик старшего по квуце⁸⁶: «...Иииии... Конечно... Несомненно... Мири Казовски!!!» Сияя и краснея, выходит Мири Казовски перед всей своей квуцой, и берет золотую звездочку, и приклеивает на обложку своего замусоленного блокнотика (там скоро места не останется, Мири, ты куда будешь клеить, на лоб себе? Смех и грех, старший делает шутнику большие глаза, Мири Казовски начинает подробно объяснять, что она внутри дневничка отведет специальную страничку... Все, все, Мири, молодец, мы поняли, дайте Мири за объяснение золотую звездочку. Опять смех, совети у них нет). Однако заметим: вовсе нельзя сказать, будто Мири Казовски получает золотые звездочки ни за что; у Мири Казовски что ни день, то маленький подвиг: вчера сумела улестить и заговорить во время раздачи пайков одышливого старого мопса – и вот мопс и его тихая, как тень, хозяйка перебираются из развалин Рахата в караванку «Гимель»; днем раньше разняла драку сумасшедшего Артура с сумасшедшей женщиной Анной – прямо бросилась перед Артуром на землю, пока все остальные боялись шаг вперед сделать. Главное, конечно, не это, не этими важными поступками войдет Мири Казовски в историю караванного лагеря «Гимель», лучшего караванного лагеря во всей побитой асоном стране. Главное – это ее безумная (казалось бы) идея давать золотые звездочки вот этим, мохнатым и хвостатым, усатым и полосатым. Предложила она это на заседании лагерной ваады⁸⁷, едва дотерпев до пятницы (ваада собиралась по пятницам специально для аудиенций, и чего только тут не выслушивали, господи помилуй), предложила в своей обычной невыносимой манере – повизгивающей и попрыгивающей, восторженной и захлебывающейся, и серьезные люди, члены ваады, сперва прыснули: милочка, да куда они их клеить будут? На хвост себе? («Под хвост», – весело пошутил кто-то в первом ряду.) Ах, да ведь Мири Казовски все предусмотрела: заведем специальную доску почета и будем клеить туда, это же так духоподъемно и может сподвигнуть других на замечательные достижения, на общественно-полезные труды: играть в спектакле, отказываться от излишков пайка в пользу заболевших, ходить с занозами к старшему ветеринару, а не пытаться их выкусить до полного сепсиса. Доска почета, значит; с фотографиями, мы надеемся? (Смех в шатре заседаний.) А главное, что они будут с этими звездочками делать? Нет, понятно, что у звездочек огромная психологическая ценность, не будем лишний раз повторять очевидное; но есть, так сказать, и прагматика, есть, если угодно, своего рода экономика золотых звездочек, очень интересный феномен, складывающийся у нас на глазах. За три звездочки можно взять в лагерной библиотеке больше одной книги в одни руки; за пять – в течение недели проходить в столовый шатер без очереди; за двадцать – ну, еще не придумали, что, но вот за тридцать можно, например, допускать человека в качестве младшего наблюдателя в нашу вааду, в общественный то есть совет; а за сто прямо-таки принимать в совет без голосования, почему нет? А теперь представьте: енот, и у него тридцать три золотые звездочки; нет, это какая-то бессмыслица. Но Мири Казовски пришла в следующую пятницу, и еще в одну, и еще, и кто-то сказал: «Господи ты боже, ну давайте попробуем, давайте месяц давать им эти чертовы звездочки, посмотрим, к чему это приведет». А теперь представьте: енот, и у него тридцать три золотые звездочки, и бог весть, где он их взял. Немедленно выясняется, что Мири Казовски на правах Общественного Наблюдателя давала всем по звездочке за мытье рук перед едой, а также раздавала звездочки собранным по всему Негеву драным шакалам за вой на луну, засчитывая это как участие в хоровом пении (тут автор несколько ерничает и привирает, но картина более или менее ясна). Но тридцать три! Понятно, что этот енот их не заработал, не заслужил; тут какая-то махинация. Идемте к доске и все проверим: так, на доске записаны восемь енотов, у одного

⁸⁶ Группа (*ивр.*).

⁸⁷ Совет, комиссия (*ивр.*).

две звездочки, у остальных по одной, у этого, натурально, тридцать три. Подождите, давайте не будем спешить: да хоть сто тридцать три, какое нам дело? Он же не пытается вынести половину библиотеки (общий смех). Не тут-то было: нам есть дело, и еще какое: утро вторника, начинается заседание ваады, только что прошла буша-вэ-хирпа, все в песке, по всему лагерю стоит вой ошалевших верблюдов, двух членов ваады немножко ободрало, пока они добирались до укрытия, настроение соответствующее. На повестке дня исключительно неприятные вопросы: очереди в душ выросли до четырех часов, последние моются едва текущей струйкой холодной воды, должны ли мы давать кому-то приоритет или продолжаем ротацию? Ситуация с одеждой тоже требует какого-то довольно глобального решения: некоторые попали в лагерь практически без ничего, другие износились до нехорошего состояния; слава богу еще, что с детской одеждой граждане как-то самоорганизовались, устроили какой-то обмен, пошив, перешив, но в остальном все нехорошо, потому что у нас на глазах все активнее развивается черный рынок с жуткими ценами, с обменом вещей на продукты (и речь идет не только об одежде, конечно, – вон у члена ваады Маймони, отвечающего за распределение детского питания, на пальце совершенно новенький перстень, – да вы охуели! Нет, это вы охуели! Да прекратите вы срач, у нас глобальные проблемы, что-то надо делать – что? Словом, охуенное утро вторника, и никто не замечает енота, который уже несколько минут сидит столбиком в углу шатра, и только когда дело доходит до голосования за то, чтобы Маймони получил в помощь Рокаха-младшего («Да вы охуели!» «Эйяль, Эйяль, давай по-хорошему, тебе же легче будет»), енот поднимает лапу. Тут член ваады Саша Вайман замечает, что енот поднимает лапу не то в третий, не то в четвертый раз (Саша Вайман готов отвлекаться на любую хуйню, вообще непонятно, что он делает в вааде, только саркастически хмыкает и пожимает на все плечами, самовлюбленный психопат). Кто-нибудь умный на месте Саши Ваймана обратил бы все в шутку, но Саша Вайман в восторге, Саша Вайман требует остановить голосование и разобраться в ситуации, и тут выясняется вот это вот все – тридцать три звездочки, и этот енот (ему бы уже имя, да? Пусть он будет Лунго, тем более что мы пока не разобрались, мальчик он или девочка) пришел на заседание ваады, он хочет быть младшим наблюдателем, у него есть право голоса, он считает, что Эйялю Маймони нельзя доверять, вы только подумайте. Тут все забывают про повестку дня, и начинается разбирательство про тридцать три звездочки – допрос енота («Я был хороший. Хорошо себя вел. Хочу на стул. Можно мне на стул?»), вызов Мири Казовски (благо эта дура тут недалеко, занята полезным делом: вычесывает вшей у детей, к ней стоит очередь из трех маленьких оборванцев) и выяснение, как, собственно, мы оказались в этой немыслимой ситуации и что нам с этой ситуацией делать, если институт демократических ценностей свят даже в такое тяжелое для страны время (Саша Вайман презрительно хмыкает, в глаз бы ему дать). И выясняется, что Мири Казовски на протяжении месяца (ну, или немножко больше) каждый вечер выдавала этому любителю сидеть на стуле золотую звездочку. За что? За практику речи. Еще раз, за что? За практику речи. Этот любитель сидеть на стуле каждый день приходил к Мири Казовски на задворки ее каравана и там, по словам Мири, упорно практиковался в речи и добился, по словам Мири, большого прогресса. Понимаете, Мири Казовски совершенно не с кем поговорить.

45. Я тебе не брат

Яся Артельман открывает ногой дверь комнаты с кроликами; по сравнению с нашим последним визитом комната преобразилась: пол подметен, в одном углу свежее сено, в другом миска с водой. Не считая россыпи свежих кроличьих шариков, в запаснике почти чисто.

Яся Артельман. Бокер тов, бокер ор⁸⁸. (Вынимает из ушей артиллерийские затычки с черными петельками.) Срали? Пили? Сейчас жрать вас понесу на лужайку. Где баба твоя?

Сорок Третий (не поднимаясь с подстилки). Нету.

Яся Артельман. Прячется? Поссорились вы? Пульт от телевизора не поделили? Семейный бюджет не сошелся?

Сорок Третий (с закрытыми глазами). Нету. Эта самая приходила, хвать ее – и нету. Потом меня, придет и хвать меня. Хвать и палкой. Палкой по голове и все.

Яся Артельман. Кто, блядь, нахуй приходила? Да можешь ты по-человечески сказать?

Сорок Третий. Я по-человечески говорю. Или нет?

Яся Артельман. Аррргхххх. Так. Эта твоя приходила – она какая?

Сорок Третий. Большая. Как человек.

Яся Артельман. Да уж небось не крокодил на третий-то этаж приперся. Такие черные волосы длинные? Вот это волосы (показывает на себе) – черные? Командирша такая, всем командует?

Сорок Третий. Вот это волосы. Нет, у нее белые, красивые, как я.

Яся Артельман. Ах ты ж ебанный ты в рот, вот сучка. Сиди тут, я дверь закрою снаружи, если придут – ори, ты орать умеешь?

Сорок Третий внезапно заходится бешеным верещанием.

Яся Артельман. Пиздос. Ладно, ори, как умеешь, и в руки не давайся.

Выбегает, грохочет вниз по лестнице.

Сорок Третий (закрывая глаза). В руки не давайся. В руки не давайся. Как не давайся?

Яся Артельман бежит, перескакивает ограждение контактного зоопарка, морщится от запаха тухлого мяса, который держится тут до сих пор, несмотря на проведенные Адас Бар-Лев работы по контейнированию ситуации.

Внезапный блеющий голос из-под развалин цветного домика. Брат! Брат! Водички! Воды!..

Яся Артельман (на ходу вставляя затычки в уши). На хуй, твари, я не резиновый.

Добегают до жирафника, замедляет шаг, вынимает затычки и очень тихо, на цыпочках, придерживая автомат, крадется к двери. Осторожно дергает: дверь заперта изнутри. Яся Артельман медленно обходит жирафник и находит наблюдательное оконце.

Яся Артельман (с силой ударяя в оконце двумя кулаками). Бу!

⁸⁸ «Доброе утро, светлое утро» (ивр.).

Бьянка Шарет в ужасе вскакивает на ноги, руки у нее дрожат, она быстро прикрывает растянутую ширинку подолом рубахи.

Яся Артельман. Отдай крольчиху, чучело-дрочучело.

Бьянка Шарет. Что?..

Яся Артельман. Крольчиху мою отдай.

Бьянка Шарет (*медленно оправляя рубашку, насупившись*). Не дам. Моя. Я взяла, принесла, моя.

Яся Артельман (*обежав жирафник, пролезает через грузовой отсек*). Короче, где крольчиха?

Бьянка Шарет (*пяясь*). Ты чего? Я пришла, взяла, ты чего хочешь? Ты иди к ним, бери паек, ты мой паек бери. Я не хочу паек, мне не надо, я сама тут. Скажи – можно взять мой паек. Иди, уходи.

Яся Артельман. Шестая!.. Шестая, дура мохнатая, ты где?

Шестая-бет (*откуда-то сверху*). Не надо палкой! Нельзя! Нельзя палкой! (*Заходится верещанием.*)

Яся Артельман видит мешок из-под песка, подвешенный к высокой жирафьей кормушке. В мешке что-то дергается и копошится.

Бьянка Шарет (*внезапно севшим, гортанным голосом*). Не дам. Все по-честному. Моя добыча.

Яся Артельман. Охуела вообще? Какая добыча?

Бьянка Шарет. Моя.

Яся Артельман отталкивает Бьянку Шарет и хватается за тянущуюся к мешку веревку с привязанным к ней камнем; дергает несколько раз, начинает отвязывать камень. Внезапно Бьянка Шарет двумя кулаками бьет Ясю Артельмана по спине, и тот едва не падает.

Яся Артельман (*потрясенно*). Охуела, что ли?

Бьянка Шарет. Так нечестно. Моя добыча.

Яся Артельман. Мать, какая добыча? Ты чего? Успокойся, собирай давай манатки, пошли в лагерь. Одичала тут совсем. Пошли, Адас еще вчера говнилась, что тебя нет. Давай, отнесем кролика и в лагерь пойдем, поешь, поспишь, а завтра нас заберут. Ну, или в пятницу нас заберут. Совсем одичала, девушка.

Бьянка Шарет. Я не полечу.

Яся Артельман. Что значит – не полечу? Пешком в Тель-Авив пойдешь? Это ты зря, тут пол-зоопарка разбежалось, ты в курсе? По Эмек-Рефаим, говорят, два льва ходят. Они тебе покажут «моя добыча». Пошли, мать, собирай манатки.

Яся Артельман снова пытается отвязать камень от веревки, Бьянка Шарет с силой толкает его в спину так, что он падает и едва не влетает головой в стенку.

Яся Артельман. Охуела?!

С силой толкает Бьянку Шарет в грудь, она едва удерживается на ногах – и между ними завязывается драка, причем Яся Артельман пытается повалить Бьянку Шарет и сесть на нее верхом, а Бьянка Шарет пытается вытолкать Ясю Артельмана из жирафника. Бьянка

*Шарет крупнее и сильнее Яси Артельмана, он отодвигается все дальше и дальше от кор-
мушки, Шестая-бет в ужасе верещит под потолком. От очередного толчка Яся Артельман
падает на грязный пол полусгоревшего жирафника, под руку ему попадает длинный обломок
рухнувшей балки. Яся Артельман бьет стоящую перед ним на четвереньках Бьянку Шарет
обломком по голове. Бьянка Шарет хватается за голову и с воем садится на пол. Яся Артель-
ман растирает ушибленную руку, с трудом встает.*

Яся Артельман. Покажи голову, дура. Дай посмотрю.

Бьянка Шарет отталкивает Ясю Артельмана ногой.

Яся Артельман. Дура психическая. Да ну тебя на хуй, сиди тут одна, хоть подохни.

*Отвязывает камень, спускает мешок с замолчавшей Шестой-бет. Та сидит в мешке,
съежившись и закрыв глаза.*

Яся Артельман (*заглядывая в мешок*). Насрала. Живая, значит. Пошли отсюда. Мужик
твой там ждет тебя, небось. Если у вас вообще какие-то чувства есть. (*Вешает мешок себе на
плечо.*)

Шестая-бет (*из мешка*). Кушать хочу.

Яся Артельман. Спросила бы, как у меня дела. У меня, может, в руке трещина. Улечу
я завтра от вас в голубом вертолете, сами разбирайтесь, чья вы добыча.

Шестая-бет. Как улечу?

Яся Артельман. Как люди летают. Знаешь, как люди летают?

Шестая-бет. Пить тоже хочу.

Яся Артельман. Чем, блядь, я занимаюсь вообще, что вы мне сдались? Щас выпущу
тебя, пусть эта дура тебя сожрет.

Шестая-бет. Пить хочу сильно.

Яся Артельман. До дома потерпишь. (*Блеющим голосом, передразнивая*): «Водички,
брат! Водички!» Я тебе не брат, а сеген, между прочим. (*Встряхивает булькающую фляжку,
медленно бредет в сторону контактного зоопарка.*)

46. Так вот оно что

Вино лилось рекой. Он дергался, уклоняясь от едко пахнувших струй, темно-красная жидкость заливала ему глаза, он захлебывался. Где-то внизу, под громоздящимися друг на друга осколками фундамента, были мать и сестры, и от всех, кроме самой младшей, исходило то молчание, та совершенная тишина, которую ни с чем нельзя спутать. Младшую он слышал дольше всех, и теперь каждый раз, когда запах вина ударял ему в ноздри, он на секунду чувствовал себя так, словно земля расходится под ним, и каменные глыбы со смертельным грохотом наползают друг на друга, и где-то там, внизу, пытаясь вырваться на поверхность, слабо и ритмично дергается маленькое тело. Он сам вырвался так: закручивал свое тело вбок, закручивал, пока не начинало казаться, что сейчас захрустят и сломаются кости, – и становился чуть-чуть, на самую капельку меньше в диаметре, уже, и продвигался вперед, хватая ртом воздух среди сыплющейся стеклянной крошки и хлещущих винных струй, и снова скручивался, и снова продвигался, обдирая кожу, разинув крошечный рот с детскими иголочками зубов. Когда он добрался до поверхности земли, вырвался, отполз, выкашлялся, наблевал, оглянулся, здание ресторана было похоже на приоткрытую книгу корешком вниз. Он не смог доползти до кустов и лег умирать, но не умер, а оказался тут, и весь был обмазан и обклеен чем-то, и приходили люди, снимали эти наклейки, протирали его какой-то жидкостью, пахнувшей, как вино, его мучило, раны жглись, было больно. Во всем собрании он был единственной змеей – кроме него, был еще старый пугливый уж, но уж не змея, так что он был единственной змеей. Его перевели из маленького лазарета, полного клеток, коробок, воя и сбивчивых слов, в большую светлую комнату в совершенно целом доме: собрание заняло этот дом, кажется, безо всякого разрешения, раньше здесь был муниципальный клуб пенсионеров, по вечерам танцевавших в холле дряблое танго, а днем занимавшихся в верхних комнатах нетвердой резьбой по дереву. Прибывшиеся сюда подранки, двуногие и прочие, ели, спали аккуратными рядами в полипропиленовых мягких мешках, слушали неназойливые беседы о хороших новостях, господнем порядке, о ста сорока четырех тысячах и еще ста сорока четырех тысячах, снова ели, спали, по вечерам клеили мягкие кубики с картинками. Он тоже ел, спал, слушал – кубики ему нравились, один раз он даже задал какой-то вопрос. Несколько раз к нему приходила женщина с зализанными волосами, брала его в руки так, словно и он был простым ужом, он разрешал ей: руки у нее были теплые, сухие, кожа на них слегка шелушилась, в этом было что-то родное. Всем им дали имена, он теперь был Шуфи – тоже сухое имя, песочное. Он болел, у него крошились и выпадали зубы, она заглядывала ему в рот и пальцем осторожно чесала бледненькие кровящие десны, не боясь ядовитых зубов, – новая жизнь новой жизнью, а все-таки многие не могли себя пересилить и отпрыгивали от него или, наоборот, цепенели под его взглядом. Он сплевывал стустки крови, по ночам его знобило, ветеринар несколько раз осматривал его, предварительно надев на три пальца разномастные наперстки и виновато поводя ими в воздухе – мол, не могу себя пересилить, слаб человек; он говорил, глядя Шуфи в пасть: «Ну, кому сейчас легко», – и пытался мазать его отвратительной вязкой дрянью. Шуфи не давался, страшно шипел, раздувая клобук, доктор в ужасе ронял его на пол, он прятался и выходил, только когда опять начинались кубики. Ему снились сжимающиеся камни, которые в последний момент начинали крошиться, набивая ему осколками рот. Днем все пошли слушать беседу, он не пошел, лежал, закрыв глаза, ему казалось, что он начинает издавать молчание, тишину. Пришла зализанная женщина и принесла с собой темную бутылку, из бутылки потянуло винным запахом, и он в одну секунду исчез, она звала его по имени, говорила: «Маленький, маленький», – даже принесла его любимый кубик, где сидели среди красивых деревьев кролик, лев и собака, положила посреди звериной комнаты. Он нашелся в том углу, где были шатким штабелем составлены разномастные переноски для животных. Она набрала в рот немножко вина, раздула щеки, стала перекачивать

вино туда-сюда, прополоскала рот как следует, проглотила. Он понял, но все равно сопротивлялся, не хотел приближаться к блюдцу, вырывался; тогда она снова наполнила рот вином и осторожно, по чуть-чуть, перелила губами ему в рот. Десны сразу начало жечь, но он понял, подержал вино во рту, она сказала: «Плюй», – но он проглотил. Зализанная женщина посмотрела на него внимательно, а затем улыбнулась и снова набрала вина в рот, и они все повторили еще раз и еще раз, он глотал и глотал, а потом стал кричать. Все уже вернулись, но заходить никто не хотел, стояли звери около двери, он кричал, а зализанная женщина вдруг отпустила его и сухо сказала: «Ну все, накричался», – и он понял, что и вправду накричался. Потом было утро, раннее утро четырнадцатого числа весеннего месяца ниссана, все стояли в большом зале, и мимо него пронесли чашу, пахнущую вином; важные люди пили из нее, а им объяснили, что вино – это не просто вино, а Божья кровь, кровь Христова, и он потрясенно подумал: «Так вот оно что».

47. «Галей Цаха-а-ал» – коль а-зман!⁸⁹

РАСШИФРОВКА АУДИОЗАПИСИ РАДИОЭФИРА ПЕРЕДАЧИ «РЭФУА ШЛЕМА: МИЛА ЯФА ЛЕ-РИПУЙ РЭГШИ ВЭ-ФИЗИ»⁹⁰ ОТ 15 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА; ИЗ ДОКУМЕНТОВ К ДЕЛУ № 07/90315736/30 «ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ ПРОТИВ МИКО ДРОРА (ТЕУДАТ БАДШАБ 303811145)»; ФРАГМЕНТ 04

Заставка – женский голос, с придыханием, под музыку: «„Так победим“ с Е-е-е-е-еффраимом Каповски!»

Еффраим Каповски. Доброго и легкого дня всем, кто нас слышит, с вами «Галей Цахал» – одна из двух радиостанций, ведущих вещание в нашей стране в эти непростые дни. Спасибо Каринэ Агаян, только что бывшей у нас в студии со сводкой новостей, и сил нам всем. Попробуем отдохнуть в прямом эфире – с нами в нашей полевой студии собравшиеся поддержать нас жители Тель-Авива, спасибо им всем за проделанный нелегкий путь!

АПЛОДИСМЕНТЫ

Еффраим Каповски. Кроме того, сегодня в студии один из наших – и, надеюсь, ваших самых любимых гостей. Он умный, он веселый, и он все знает лучше всех – Мико-о-о-о Дрор!
Мико Дрор. Сабаба⁹¹.

АПЛОДИСМЕНТЫ

Заставка – женский голос, с придыханием, под музыку: «„Так победим“ с Е-е-е-е-еффраимом Каповски!»

Еффраим Каповски. Мико, ма нишма⁹²?
Мико Дрор. Сабаба.

СМЕХ В СТУДИИ

Еффраим Каповски. Вот есть среди нас тот, у кого всегда ответ «сабаба», это так приятно слышать. Мико, мы в прямом эфире, и скоро наши слушатели в студии смогут задать свои вопросы, но первый вопрос задам я: теперь, когда ты знаменитость, многие приходят на зады нашей радиостудии, чтобы с тобой поговорить.

Мико Дрор. Правда.

Еффраим Каповски. Что тебя спрашивают чаще всего?

Мико Дрор. Просто смотрят.

Еффраим Каповски. Просто смотрят, ничего не говорят?

Мико Дрор. Ругаются.

⁸⁹ Позывные радио «Галей Цахал» («Армейское радио», одна из главных радиостанций Израиля); дословно «„Галей Цахал“ – все время!» (ивр.).

⁹⁰ «Скорейшего выздоровления: красивый разговор про физическое и эмоциональное исцеление» (ивр.).

⁹¹ Отлично (араб.); прижилось и распространено в иврите.

⁹² Как дела? (ивр.)

СМЕХ В СТУДИИ

Ефраим Каповски. Мы напомним нашим слушателям: Мико Дрор долгое время жил позади нашей студии, около... как бы это сформулировать?..

Мико Дрор. Мусорников.

СМЕХ В СТУДИИ

Ефраим Каповски. Мико, ты помнишь, как мы с тобой познакомились? Познакомились, разговорились?

Мико Дрор. Я ел.

Ефраим Каповски. Мико ел, что-то там оставалось на обертках, мы с друзьями угостили Мико печеньем, и тут выяснилось, что Мико – наш постоянный слушатель, Мико слушает нас через окно, там на заднем дворе через окно все слышно, и наш Мико сразу начал комментировать наши передачи, да, Мико? Очень нас впечатлил Мико, ты помнишь, Мико, про что ты нам тогда в первый раз рассказывал? А ну напомним-ка нашим слушателям.

Мико Дрор. Я говорил, Ефраим, что в такое сложное время, как это, мы должны быть одной семьей, что в такой час испытаний, какой нам выпал, нет ничего важнее семьи, ничего важнее твоих самых близких и родных, и я говорю: тот, кто встает между членами семьи, просто не имеет права, просто не понимает, что сегодня происходит в сердцах людей. Тем более – если человек сам перенес семейную трагедию, как он говорит. Я говорю: так. Не. Должно. Быть. Этот человек занимается исцелением, занимается медлагерями – я говорю: не может быть никакого исцеления, если оторвать человека от семьи, не может быть в обычное время и уж тем более не может быть в такое время, как сейчас.

ШКВАЛ АПЛОДИСМЕНТОВ В СТУДИИ

Ефраим Каповски. Йу-хуу! Вот такой у нас Мико Дрор. Я напомним всем, кто слышит нашего Мико впервые, что наш Мико ктоооо?

Нестройные голоса в студии. Енот!

АПЛОДИСМЕНТЫ

Ефраим Каповски. Мы продолжим разговор с Мико через несколько минут, после сводки сообщений Службы спасения. Слушайте внимательно, не забывайте много-много пить и проверяйте полипропиленовые прокладки на окнах.

Заставка – женский голос, с придыханием, под музыку: «„Так победим“ с Е-е-е-е-ефраимом Каповски!»

ОПУЩЕНО: СВОДКА СООБЩЕНИЙ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ, 04:16 МИНУТ.

Заставка – женский голос, с придыханием, под музыку: «„Так победим“ с Е-е-е-е-ефраимом Каповски!»

Ефраим Каповски. И снова здравствуйте, дорогие друзья, спасибо нашей Каринэ Агаян за сводку сообщений Службы спасения, скоро наша Каринэ вернется в эфир с новостями, буквально три минуточки у нас осталось, а я напомним, что у нас в студии наш любимый бадшаб, наш прекрасный, мохнатый, умный и наблюдательный енот Мико Дрор. Мико,

ты говорил про семью, про то, как важно сейчас быть на связи со своей семьей. У тебя есть семья, с ней, барух а-шем⁹³, все хорошо?

Мико Дрор. Неважно.

Ефраим Каповски (*после заминки*). Хорошо, не буду тебя спрашивать, дай бог, чтобы все, у кого есть семья, и все, у кого нет семьи, были живы и здоровы, а я спрошу тебя, Мико: как ты думаешь, что мы в нашей новой большой семье, еще непривычной для многих из нас семье, можем сделать, чтобы мы и вы, люди и бадшабы, лучше понимали друг друга?

Мико Дрор. Потерпеть.

Ефраим Каповски. Мудрый Мико! То есть ты думаешь, что если просто дать времени делать свое дело, мы притремся, принимаемся и начнем лучше друг друга понимать?

Мико Дрор. Нет. Я думаю, Ефраим, что нам всегда придется друг друга терпеть; я не хочу звучать неприятно ни для кого, вот говорят, у меня и так голос неприятный, ну так извините, но я сейчас про другую неприятность: мне кажется, Ефраим, что мы не должны ждать, когда научимся понимать друг друга. Мы должны сказать себе, что мы очень разные, мы такие разные, что, может быть, мы никогда...

Ефраим Каповски (*перебивает*). Мико, Мико, Мико... (*Смеется; смехи в студии.*) Очень серьезный парень наш Мико Дрор, спасибо ему большое, нам всегда очень приятно и интересно с ним поговорить, мы вообще думаем, может быть, еще приглашать бадшабов в наши передачи, мы теперь будем справляться с нашими тяготами заодно, и нам важны все голоса, правда?

Нестройные голоса в студии. Да! Правда!

Ефраим Каповски. Но время, время, время – время у нас подходит к концу. Поаплодируем Мико Дрору.

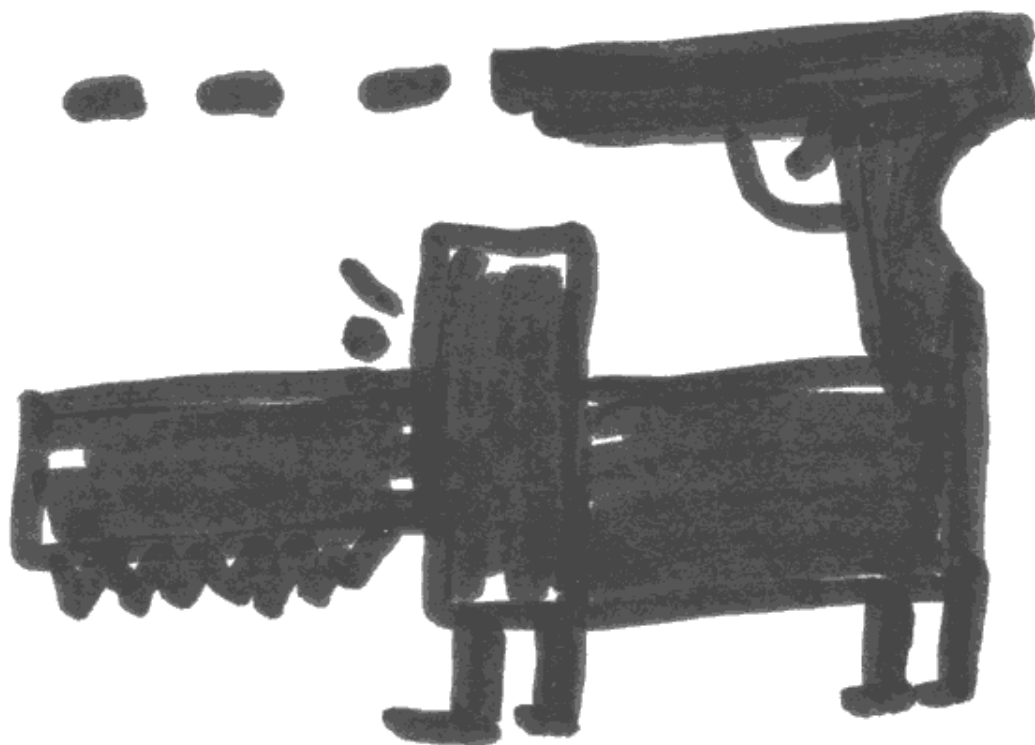
АПЛОДИСМЕНТЫ

Заставка – женский голос, с придыханием, под музыку: «„Так победим“ с Е-е-е-е-ефраимом Каповски!»

МИКО ДРОР ПОКИДАЕТ СТУДИЮ

⁹³ Слава богу (*ивр.*).

48. Клац-клац



*«Мимими!» (араб.), граффити, Рамат-Ган, янв. 2022.

49. Гарантирую – вы меня запомните

У пожилой козы по имени Куки речь замедленная, прерывистая: первые буквы слов как будто даются ей с трудом, как будто застывают во рту, не хотят выходить наружу. Коза стоит бочком и смотрит на доктора Сильвио Белли выпученным бессмысленным глазом. У пожилого доктора по имени Сильвио Белли речь замедленная, прерывистая: первые буквы слов как будто даются ему с трудом, как будто застывают во рту, не хотят выходить наружу. Это неправда, доктор Сильвио Белли в прекрасном состоянии для своих семидесяти восьми лет, у него нет никаких признаков старческого расстройства речи, иначе он не явился бы добровольцем на регистрационный пункт в Беэр-Шеве, еле добравшись туда по удивительно гладкому шоссе с ободранными бурей брошенными автомобилями, не подписал документы и не ездил раз в неделю консультировать пациентов здесь, в караванке «Гимель». Но скоро, скоро у доктора Сильвио Белли начнут, наверное, застревать во рту первые буквы знакомых слов, скоро, скоро слова, лучшие друзья Сильвио Белли, начнут предавать его; при этой мысли доктору Сильвио Белли хочется сжаться в комок, возиться с запинаящейся козой ему совершенно невыносимо, как невыносимо возиться с голубем, почему-то не идущим в своем развитии дальше междометий, или с собакой Лайкой, у которой налицо все признаки старческой афазии; никогда, никогда он не брался вести пациентов старше пятидесяти лет и никогда, никогда никому в своем малодушном отвращении не признавался. А животные, животные, почти все как одно с этой обедненной речью, с повторениями и заиканиями, обрывочными фразами и медленным подбором правильных слов? Нет, нет, ни за что. Но Мири Казовски, эта тошнотворная хлопотунья, ныла и ныла при каждом его приезде, поджидала его еженедельно у медицинского шатра, приставала и настаивала, убеждала и льстила, и он наконец согласился принимать не только людей, но и животных – не больше трех и только если останется время! Времени до отъезда из лагеря оставалось одиннадцать минут, как ни затягивал доктор Сильвио Белли последний прием, и вот пожилая коза по имени Куки стоит, смотрит. Доктор Сильвио Белли светит ей в один глаз и в другой, Мири Казовски стоит рядом, руки взволнованно сложив на груди, переминается. В свете фонарика зрачки Куки исправно сужаются и расширяются. Куда бить козу молоточком, доктору Сильвио Белли не очень понятно, но он честно бьет ее по одной передней ноге и по другой, и коза, несколько оторопев, отскакивает вбок. Доктор Сильвио Белли разворачивается к Мири Казовски и спрашивает, с трудом сдерживая раздражение, зачем, зачем, он просто хочет понять – зачем здесь эта коза, а? Мири Казовски испуганно хлопчет руками и очень похоже показывает, как коза вздергивает голову в начале каждого слова. «Брысь отсюда», – говорит доктор Сильвио Белли пожилой козе и, странным образом, внезапно испытывает дикое чувство, что нехорошо так разговаривать со старой женщиной. Шесть минут остается до отправления, Мири Казовски, надутая и обиженная, вводит в шатер молодого фалабеллу Артура с подсохшей и подзажившей рваниной вместо правого уха. Прямо за этим ухом у фалабеллы Артура располагается неслабых размеров подсохшая и подзажившая вмятина, доктор Сильвио Белли хорошо помнит фалабеллу Артура, а фалабелла Артур совсем не помнит доктора Сильвио Белли, фалабелла Артур никогда ничего не помнит, кроме событий последней пары дней. Человек, который живет с доктором Сильвио Белли, ничего не помнит, кроме того, что произошло с ним в последние семьдесят лет, – помнит все после Треблинки, а до Треблинки и в Треблинке ничего не помнит, кроме одной фразы. Фалабелла Артур каждый раз выходит от доктора Сильвио Белли очень удивленным, потому что доктор Сильвио Белли, посветив ему в глаза и раздраженно сообщив Мири Казовски, что «состояние стабильное», говорит: «Ich garantiere, Sie werden sich an mich erinnern». Фалабелла Артур понимает все слова в этой фразе, но совершенно не понимает, что она значит.

50. Солнце встает

Встает солнце. На лугу роса. Легкий ветер гуляет по лугу. Рассвет красив. Небо светлеет. Марина Слуцки идет по лугу. Марина Слуцки ходит босиком. Роса холодная. Марина Слуцки не боится холода. У Марины Слуцки коса до пояса. Марина Слуцки – пастушка. Стадо идет за Мариной. Это вольнопитающиеся. Слабый, пошатывающийся слон Момо идет впереди Марины Слуцки. Слон Момо не любит стадо. Зебра Лира любит стадо. Зебре Лире нравится вольнопитаться. Трава радужно блестит. Трава красивая. Есть траву вкусно. Козы мешают зебре Лире есть. Марина Слуцки подходит к зебре Лире. Марина Слуцки отводит коз в сторону. Марина Слуцки умеет готовить коз. Марина Слуцки повар. Марина Слуцки называет зебру Лиру «хозяйка», а слона Момо – «хозяин». Марина Слуцки разговаривает с козами. Зебра Лира плохо понимает Марину Слуцки. Марина Слуцки разговаривает длинными, неуловимо вывернутыми фразами, начинающимися далеко за пределами понимания зебры Лиры и заканчивающимися там, где начались: в этом Марине Слуцки не откажешь, цельность картины мира у нее в голове потрясающая – нормальный бы позавидовал, хотя фразы у Марины Слуцки длинные, густые. Марина Слуцки разговаривала всегда с ножами и сливочным маслом, билетами в кино и пододеяльниками. Слова у Марины Слуцки сюсюкающие, голосок тоненький – как будто маленькая девочка заискивает перед мамой. Раньше, до асона, Марина Слуцки разражалась во сне целыми монологами, полными ужаса перед каким-то катастрофическим будущим, судя по выкрикам «Вот скоро! Вот скоро!...»; монологами этими Марина Слуцки доводила до бешенства свою соседку по кибуцной светелке; голос у этих монологов был взрослый, нормальный, страшный. Теперь Марина Слуцки живет в караване с семьей другими женщинами, и днем они сходят с ума от ее непрекращающихся бесед с пайками и занавесками, зато ночью в караване стоит несвежая влажная тишина, потому что Марина Слуцки спит молчаливым беспробудным сном, еле-еле дежурные поднимают ее на рассвете, когда начинают плакать и вскрикивать сквозь сон семь других женщин, живущих с ней в караване. Марине Слуцки пора пасти стадо. Теперь Марина Слуцки не повар. Марине Слуцки не доверяют готовить. Марина Слуцки отдала пайки бадшабам. Бадшабы переели, было плохо. Зебра Лира ела траву. Пришла Марина Слуцки с двумя ведрами. В одном ведре сладкая каша с молоком и тунцом. Во втором ведре сладкая каша с молоком и тунцом. Зебра Лира ела кашу. Слон Момо ел кашу из ведра, мало, сказал «фу». Фалабелла Артур тоже хотел кашу. Марина Слуцки вылила кашу из ведра на землю. Теперь все ели кашу. Марина Слуцки говорила «ла-бриют⁹⁴, хозяин, ла-бриют, хозяйка». Марина Слуцки стояла на коленях и кланялась. Зебра Лира ела очень много, ей стало плохо. Зебру Лиру вырвало. Зебру Лиру еще раз вырвало. Марина Слуцки сняла одежду, вытирала зебру Лиру, вытирала коз. Слон Момо развернулся и пошел в лагерь. Пришли люди и увели Марину Слуцки. В душной чистоте медкаравана на нее надели голожопую одноразовую рубашу и уложили на узкую койку возле бака с бумажным мусором, и она немедленно обратила к этому баку бесконечный монолог о хозяевах и хозяйках, из которого врач не понял почти ничего, но понял, что монолог этот неуместен и ненормален, а также действует совершенно усыпляюще в этой едва выносимой стерильной духоте. Марина Слуцки и впрямь заснула, врач вписал в ее карточку вполне ожидаемый диагноз и прислушался: за дверью каравана стояла очередь страждущих, бубнили голоса, он мельком увидел в окне Рафи Газита с болонкой на руках – Рафи Газит приходил под вымышленным человеческим предлогом, чтобы заставить врача посмотреть его сраную болонку: Рафи Газит не доверял ветеринарам. Врач, молодой человек в инвалидном кресле, смотрит на Марину Слуцки. Пока Марина Слуцки спит, можно считать, что он ведет наблюдение, и под этим предлогом просто сидеть, тупо, не шевелясь,

⁹⁴ На здоровье (*ивр.*).

сидеть, смотреть в стену. Он обещает себе, что посидит так минут пять, не больше, – убедится, что пациентка действительно вышла из состояния аффекта, надо же убедиться, что пациентка действительно вышла из состояния аффекта. Ночами он лежит в караване, где вместе с ним живут еще трое врачей, но ничего не получается, сколько ни лежи с закрытыми глазами, и когда на рассвете под окнами каравана слышен глухой дробный топот, врач подтягивает свое тело руками повыше, садится, смотрит в законопаченное полипропиленовое хлипкое окно. Встает солнце. На лугу роса. Легкий ветер гуляет по лугу. Рассвет красив. Небо светлеет. Вольнопитавшиеся идут на луг. Зебра Лира смотрит на врача сквозь окно хозяйским спокойным взглядом. Слон Момо проходит огромной тяжелой тенью, смотрит на врача сквозь окно хозяйским спокойным взглядом. Козы идут, смотрят на врача сквозь окно хозяйским спокойным взглядом.

51. Тут буквально пара пролетов

Диван был хороший, вроде икеевского – в смысле простой формы, но покачественнее: ткань хорошая, дерево тоже хорошее. Он стоял ровно-ровно поверх хаотического нагромождения обломков и покачивался вправо-влево, только когда дул ветер. Хамдам Даури легко стащил диван с обломочной горы вниз, поцарапав дно, но это было неважно. Хамдам Даури мог попросить первого же прохожего о помощи, но прохожие сейчас случались нечасто, а если бы кто и появился – черт знает, как бы себя повел; почти все люди теперь делились на две категории: те, кто сразу впрягался в чужую проблему, и те, кто молча и быстро шел прочь. Хамдам Даури очень боялся напороться на вторую категорию, он вообще боялся людей, он бы долго, долго приходил в себя после такого отказа. Диван, видно, и правда был хороший: тяжелый; пока Хамдам Даури дотащил его до подъезда, у него сильно заболела спина там, слева внизу, где иногда вступало так, что он не мог дышать месяц или даже полтора; один раз во время такого приступа он поддался нытью своей тогдашней женщины Веред Сарман и пошел к китайскому шарлатану, который лечил ее от каких-то несуществующих болезней. Шарлатан тыкал в Хамдама Даури пальцем, а потом повернул ему ногу так, что от боли, усилившейся в сто раз, Хамдама Даури взвыл. Тогда китайский шарлатан принес откуда-то грабли размером с суповой половник и стал царапать ими спину Хамдама Даури, объясняя, что в спине у Хамдама Даури застряла энергия чи. Вежливый Хамдам Даури вытерпел этот абсурд до конца, в душе обзывая себя тряпкой и ненавидя Веред Сарман. Ночью ему пришлось ехать в приемный покой, так болела спина, и он назло не взял Веред Сарман с собой, хотя она уже начала надевать джинсы прямо поверх пижамных штанов. Когда врач увидел его расцарапанную спину, Хамдаму Даури пришлось честно сказать про Веред Сарман и про китайца, и он отчетливо услышал, как медсестра подавила смехок. Он сказал, что ему легче было согласиться, чем объясняться; как ни странно, врач его вроде бы понял. Тогда ему прописали стероиды, он принимал их неделю, спина прошла, но он прибавил четыре килограмма, и лицо стало отекившим, как у хомяка: на пятое утро он даже понял, что держит рот приоткрытым – так сильно отекли щеки. Веред сказала тогда, что китаец не помог ему только из-за его, Хамдама Даури, внутреннего сопротивления. Хамдам Даури прожил с ней еще четыре месяца: никаких претензий к Веред Сарман у него не было, просто она была дурочкой, а уйти от женщины в такой ситуации очень нелегко. У них была полутораспальная кровать, спать с Веред Сарман в одной небольшой кровати было прекрасно: Веред Сарман была теплой и пахла хорошо, какой-то искусственной клубникой, детским запахом дешевой жвачки. Через четыре месяца она ушла от него сама, сказала, что ей трудно жить с человеком, который ничего не хочет, – а он и правда ничего не хотел, хотел только, чтобы каждый новый день был таким же пустым, и мягким, и нестрашным, как предыдущий день, чтобы не разболелась опять спина, чтобы не нагрязнул отец со своей любовницей (старше отца на двенадцать лет). Он ужасно удивился, когда захотел диван, хотя в квартире, которую он занял, одна комната очень хорошо сохранилась, и там была подростковая кровать, и даже чистое белье нашлось в ящике. Он дотащил диван до дома, он давно прочистил довольно широкую тропу между осколками плит и завалами каких-то штук, на которые старался не смотреть. Какая-то женщина с пустыми руками подошла и смотрела, как он тащит диван, смотрела некоторое время, ничего не говоря. Она была худющая и жилистая, со впалыми глазами, нижняя часть лица не видна – обмотана бинтами и, кажется, зафиксирована гипсом, как при переломе челюсти, наверное, она и разговаривать-то не могла. Хамдам Даури сразу узнал ее и даже подумал бросить диван, но знакомое презрение к себе – никогда не доводящему ничего до конца, всегда сдающемуся, всегда слабому – поднялось от живота к горлу, и он решил, что не будет обращать на женщину внимание, диван хороший, целый, и, в конце концов, Хамдам Даури не так уж часто чего-нибудь хотел – так вот: честно говоря, теперь он

уже не хотел ничего, не хотел диван, хотел только вернуться в свою целую комнату, лечь на кровать, ничего не было сейчас прекраснее этой кровати. Из всех сил вцепившись в боковину дивана Хамдам Даури, пятась задом, поднялся на первую ступеньку и дернул диван на себя. Ножки дивана приподнялись и почти встали на первую ступеньку, не хватило пары миллиметров; Хамдам Даури дернул еще раз, и все получилось. Женщина посмотрела на Хамдама Даури с жалостью, подошла и дернула диван в другую сторону. Диван с грохотом соскочил со ступеньки. Глубоко вдохнув и стараясь мысленно заговорить боль в спине, Хамдам Даури опять дернул диван на себя. Ножки дивана встали на первую ступеньку. Хамдам Даури сделал еще шаг назад и вверх, и снова рванул на себя диван, и поднял еще на ступеньку. Женщина, вцепившись в боковину костлявыми мускулистыми руками, снова резко потянула диван на себя, но на этот раз Хамдам Даури был готов и, застонав от боли в спине, удержал диван на второй ступеньке. Тогда женщина, пожав плечами, присела, подцепила диван снизу и кивнула Хамдаму Даури. Хамдам Даури тоже присел, ухватился за какую-то деревяшку под сиденьем и потянул диван наверх, шаг за шагом. В спине вдруг как будто лопнул раскаленный шарик, мягкая боль раскатилась вдоль бока, и Хамдам Даури с упоением понял, что обошлось: что-то там, раскаленное и болевшее, чудом встало на место. Нести было буквально пару пролетов; Хамдам Даури задыхался и был мокрым, и даже футболка, которую он привез из последнего милуима, промокла насквозь; женщина тоже дышала тяжело, но она была внизу, ей было легче. В дверной проем диван вошел точь-в-точь, и Хамдам Даури отпустил наконец сиденье, и диван с грохотом встал на мраморный пол, а Хамдам Даури со стоном наслаждения разжал и сжал онемевшие пальцы. «Не ложись еще», – с трудом выговорила Смерть сквозь повязку, но Хамдам Даури лег на диван, и это было так прекрасно, что он ни на секунду ни о чем не пожалел.

52. Вопросы тут задаю я

Когда генерал-фельдмаршал главнокомандующий войсками Марик Ройнштейн не ходил, как болван, за Даной, за Даной, которая вечно была словно озарена бледным ореолом радужного сияния, перед которым бессильны все порошки мира, и не изображал паиньку, подавая нитки Илане Гарман-Гидеон, глядя на изнанку ее пялец да на ее толстые колени, он разглядывал Соню: в дверную щель непристойного номера, где она спала на круглой кровати, всегда с краю и всегда клубком, как мерзнувшая дворняга, и волосы ее едва не задевали детский ночной горшок, который на ночь ставил перед кроватью Зеев Тамарчик – Соня теперь писалась во сне; в зазор между створками ведущей на пляж витражной двери; в вентиляционное окно ванной комнаты, когда Зеев Тамарчик мыл Соню в розовой сердцеобразной ванне. Для этого генерал-фельдмаршал разработал целую стратегию: он прокрадывался в незапертый Тамарчиков номер, бесшумно пересекал вязкий роскошный ковер, прячась за шумом воды, и потом на корточках сидел за розовым несусветным пуфом, ожидая удобного момента; момент наступал, генерал-фельдмаршал главнокомандующий войсками Марик Ройнштейн залезал на пуф, с пуфа на стол, со стола на этажерку с почерневшими цветами, с этажерки на шкаф; со шкафа все было видно, Зеев Тамарчик жалостливо бормотал над неподвижной падчерицей, целомудренно глядя в потолок, попадая мочалкой то по носу своей несчастной девочки, то по розовой стене; генерал-фельдмаршал главнокомандующий войсками Марик Ройнштейн видел половину спины, несколько позвонков, ломкую голень, удерживался от яростного желания шумно втянуть вечные свои сопли. Иногда Соня вдруг выскакивала из ванны и бросалась на стены, уворачиваясь от Тамарчика, крича на одной ноте; мыльная, выскальзывала у приемного отца из рук, и тот едва успевал спасти ее от зеркала, еще зеркала, стеклянных полок с фестончатыми краями, завернувшегося угла половичка. Прозрачная, как призрак, вечно плачущая и вечно бессловесная ундина вызывала у генерал-фельдмаршала главнокомандующего войсками Марика Ройнштейна восхитительное чувство: смесь сладостной брезгливости и сладостного превосходства, радость изгиба перед лицом того, кто дошел до полного и окончательного отщепенства. Однажды он попробовал во время своих наблюдений тереться животом о крышку шкафа (как терся по ночам о матрас, вызывая перед глазами ослепительный локоть Даны Гидеон, ее пляжное бедро и расцарапанное колено) – и не почувствовал ничего.

Сейчас он повернулся на каблуках, шелкнул ими, как учился шелкать чуть ли не по часу в день (Илана Гарман-Гидеон была в восторге от того, что ее сопливый и такой стеснительный подопечный запирается в номере, чтобы «заниматься физкультурой»).

– Расхлябались! – рявкнул он. – Подтянуться! Отдать честь!

Мелкая и жилистая коричневатая крыса, которую он третьего дня произвел в звание младшего лейтенанта вместе с четырьмя другими более или менее многообещающими товарищами, вытянувшись столбиком, неловко ударила себя двумя кулаками в грудь, а потом выбросила их перед собой, но, не удержавшись, упала на все четыре лапы. Двенадцать других крыс художнически держали шеренгу.

– Вольно, – сказал он холодно. – Полторы минуты. Позорный результат.

Крысы смотрели в пол.

– Я ждал от вас лучшего, младший лейтенант, – холодно сказал он. – Идите и тренируйте своих солдат. Я имел на вас виды, я видел в вас будущего капитана.

– А потом? – вдруг спросила крыса.

Вместо того чтобы пресечь разговоры в строю, он растерялся.

– А потом майор, – сказал он.

– А потом? – спросила крыса, помигивая и подрагивая носом, но он уже взял себя в руки.

– А потом, младший лейтенант, будет то, что я сочту нужным, – сказал генерал-фельдмаршал главнокомандующий войсками Марик Ройнштейн, громко втягивая соплю и чувствуя, как гнев заполняет ему горло. – Если вы не желаете быть разжалованным немедленно, вы никогда больше не дерзнете задавать мне вопросы. Все, что вам будет нужно знать, я буду сообщать, когда сочту нужным.

В замке номера скрежетал ключ. Крысы исчезли, а генерал-фельдмаршал главнокомандующий войсками Марик Ройнштейн юркнул за розовый пуф.

53. Продолжим

Она сидит, он лежит, не видит ее; первое время эта ее манера садиться там, за изголовьем, раздражает его, но она не разрешает оборачиваться, не разрешает на себя смотреть. Дело происходит за слоновником, там, где полипрен и кусты образуют тихий закуток; если начинается буря, можно быстро забежать в слоновник, раздвинув повешенные внахлест огромные куски полипрена. Она надеялась, что этот закуток относительно защищен не только от бесконечного лагерного гула с элементами детской истерики, но и от лишних глаз, – но нет, они приходили и смотрели, и первое время она гоняла их строгими окриками или, напротив, подолгу, подробно и терпеливо, как детям, объясняла им, что нельзя вот так стоять и смотреть, и слушать тоже нельзя, это неправильно, некрасиво, это мешает, так не надо. Они кивали и оставались; в конце концов она решила, что это даже хорошо, что это в некотором смысле форма просвещения – и, закончив с одним, ласково спрашивала: «Ну, кто еще хочет?» Того, кто вызывался, она терпеливо укладывала на полипреновом коврик для йоги (которые вообще-то не разрешалось уносить с занятий) – к себе головой, а сама садилась так, чтобы смотреть пациенту в макушку, как это делал много лет назад пухловатый человек с бородой и сигарой, говоривший женским голосом и трижды в неделю по часу выслушивавший ее сбивчивые грустные откровения, пока она не начала приносить к его двери маленькие букеты «со смыслом» и он не запретил ей приходить. Среди ее тогдашних фантазий, наивных и изощренно-добродетельных, была и такая, в которой она сама – иная, совершенно себе не знакомая, в каком-то глухом и очень умном сером платье, непременно в узких очках – сидит у него за спиной с блокнотом, молча делает пометки и только пододвигает к нему ногой стоящую на краю стола коробку с салфетками, когда в потоке обращенных к ней любовных признаний слышатся слезы. Впрочем, дело было не в признаниях; она видела себя, бывало, и героическим до мученичества пожарником, и астрологом, предсказывавшим какому-то расплывчатому страдалцу долгую счастливую жизнь, и дулой⁹⁵, и все это ждало ее в прекрасном «когда-нибудь» – и вот наконец что-то из этого случилось, началось. Ей приходилось, вопреки правилам, задавать пациенту вопросы, потому что пациенты иногда бывали пугливы и неразговорчивы; приходилось напоминать, чем закончилась предыдущая встреча и даже о чем говорили; да и сессия редко длилась больше четверти часа – пациент мог встать и ускакать в кусты, ни словом не поблагодарив ее, и она кричала ему в спину: «Завтра после завтрака ты третий по счету!» Во время сессии же пациент постоянно порывался перевернуться и посмотреть на нее, она вставала и снова укладывала пациента как надо. Остальные стояли, смотрели: небольшое семейство сусликов, или шакал, которых в «Гимеле» становилось все больше и которые насмерть срались с шалелящими от их присутствия лагерными собаками, или ее же пациенты (другие еноты, старая овчарка, бесхозный кролик, которого кто-то привез с собой во время эвакуации, а теперь не признавался), или доктор Сильвио Белли, явившийся однажды в среду, к большому ее восторгу, и простоявший минут десять около полосы, которую она, Мири Казовски, чертила в песке и запрещала зрителям переступать, а потом спросивший, перебив ее пациента на середине фразы:

– Ты знаешь, что такое «алахсон»⁹⁶?

Анализируемый поднял голову и уставился на доктора Сильвио Белли круглыми черными глазами; отлежанная шерсть на щеке топорщилась кустиком.

– «Алахсон», – повторил доктор Сильвио Белли, не двигаясь с места. – Знаешь, что это такое?

– Знаю, – немедленно сказал енот.

⁹⁵ Специалистка по родовспоможению (*ивр.*).

⁹⁶ Диагональ (*ивр.*).

- Что? – спросил доктор Сильвио Белли.
- Не знаю, – немедленно сказал енот.
- А что такое «криптография», знаешь? – спросил тогда доктор Сильвио Белли с интересом.
- Знаю, – немедленно сказал енот.
- Что? – спросил доктор Сильвио Белли.
- Не знаю, – сказал енот и потер лапой взъерошенную морду.
- Тогда доктор Сильвио Белли вынул из кармана трубку и спросил:
- Это как называется?
- Трубка, – сказал енот, помедлив пару секунд.
- Ты раньше такое видел? – спросил доктор Сильвио Белли.
- Нет, – сказал енот.
- Так. А откуда знаешь, как называется? – спросил доктор Сильвио Белли.
- Енот показал пальцем на Сильвио Белли.
- От меня? – спросил доктор Сильвио Белли с восхищением.
- Енот помигал.
- А как? – спросил доктор Сильвио Белли, подавшись вперед и смяв проложенную Мири Казовски запретную черту.
- Вот, – сказал енот и снова показал пальцем вперед.
- Доктор Сильвио Белли посмотрел на трубку так, будто и ее, и собственную руку видел впервые. Потом вдруг сказал:
- Это называется «локомотив», верно?
- Нет, – сказал енот, – это трубка. Я смотрю на нее, смотрю на тебя – ты говоришь: «Трубка».
- Я не говорил, – сказал доктор Сильвио Белли.
- Говорил, – сказал енот.
- Ясно, – сказал доктор Сильвио Белли, – отлично. А что это делает, ты знаешь?
- Нет, – сказал енот. – Дай звездочку.
- Доктор Сильвио Белли посмотрел на бедную Мири Казовски, восхищенную самим фактом его присутствия, и спросил ее:
- Ты, девочка, им сколько за это звездочек даешь?
- Одну за сеанс, – сказала Мири Казовски поспешно. – Я их не балую.
- А ты попробуй вообще не давать, – сказал доктор Сильвио Белли. – Ты их не различаешь, а они тобой крутят как хотят: называются чужими именами, подменяют друг друга, а на звездочки потом вскладчину шоколад жрут.

54. Трется⁹⁷

В продолжение процесса при производстве кодеина для выделения основных смол маточный раствор, освобожденный от спирта, разбавляется водой, причем с выпавших смол он сливается декантацией, а алкалоиды выделяются из него прибавлением аммиака до ясно ощутимого запаха. Вместе с алкалоидами от аммиака выпадают также и смолы, не выпавшие от первоначального разбавления водой. После отделения алкалоидов раствор нагревается некоторое время с известью для выделения меконовой кислоты, в виде меконата кальция, и после отфильтровывания меконата упаривается. Упаренный раствор подкисляется соляной кислотой и разбавляется спиртом. Жара, пыль, пот, все это воняет хлоркой и чем-то химически приторным, детали конвейера забиваются песком, и все останавливается по нескольку раз в день, минут на десять-пятнадцать. Можно отойти – русские и некоторые собаки ходят курить, старый йеменец Шараби, который фасует в контейнеры бумажные пакетики с рокасетом, завернутые девочками и заклеенные дураком Жильбером (тем самым, с плакатом – он выпросил себе разрешение хотя бы работать поближе к своим обожаемым ящерицам), с одержимой страстью бежит мыть руки – он уверен, что рокасет въедается ему под ногти, что у него овердоз и от этого овердоза ему снятся по ночам удивительно связанные и безупречно запоминающиеся сны, содержание которых он тщательно скрывает. А что Хани? А Хани вот что: как только у нее есть несколько минут, она медленно-медленно, спиной вперед, отступает от конвейера; Нати, и Орли, и Лили не замечают ее, у них свои ритуалы – Нати говнится на всех и все, Орли зубами выщипывает у нее из спины отмирающие чешуйки, Лили засыпает, где стояла, бессмысленная дура. У Хани есть место, такое маленькое местечко в той зоне, где с конвейера с грохотом съезжают опечатанные контейнеры и стоят стеной, ждут транспортировки на склад; туда никогда никто не приходит, а Хани приходит. Сначала она писает и иногда какает, а иногда нет – жалко терять время; дело в том, что у Хани есть место, маленькое такое местечко там, где раньше рос ее несчастный, ее слабый и бледный, ее последний хвост – там, где была ранка, а теперь натянулась очень нежная, постоянно зудящая кожица. Вот что делает Хани: медленно, медленно, *медленно* трется этим местом, этим розоватым местечком о пошарпанный, в мелких катышках полипропилен, которым перекрыты стыки всех заводских стен. Нет, это невозможно описать; свербящая, вязкая сладость идет по спине Хани, вдоль хребта, вдоль короткой шеи, и вот уже заполняет ей уши, уши закладывает у Хани, глаза у Хани закрыты, о господи, о господи, о господи, и еще что вот-вот произойдет, вот-вот произойдет, вот-вот... Раздается вой гудка, завод наполняется вибрирующим гулом, у Хани дрожат ноги, Хани возвращается к конвейеру. Можно было бы тереться прямо тут, прямо пока работаешь, но Нати, и Орли, и Лили – они на нее смотрят, а Орли иногда, проходя мимо, хвостом лупит ее по этому самому месту, и не то ужасно, что больно, а то ужасно, что не только больно, и Хани все время стоит у конвейера боком, чтобы эти суки не видели, не трогали, и у нее болит спина и шея, а когда она *трется* – тянет и ноет, и она прогибается, прогибается спину, и хочет, чтобы болело еще сильнее. Хани трется все время, когда ее не видят, трется ночью, иногда она просыпается от того, что начала тереться и не может остановиться. Наконец это самое место у Хани начинает кровоточить, болит очень сильно, дергает, как будто ее кусают все время, и все трое сразу, ей страшно жарко, она несколько раз случайно прорывает пакетики и обсыпается рокасетом, подолгу стоять на задних лапах, даже с подпоркой, которые им всем установили вдоль конвейера, становится невозможно. Вечером среды, ближе к концу смены, ее рвет и она заваливается набок. Когда выходивший ее ветеринар спрашивает, что случилось, и она показывает, как терлась этим самым местом, он спрашивает, был ли у нее уже мальчик, секс, копуляция, и она удив-

⁹⁷ В главе используются цитаты с сайта «Справочник химика 21» (<http://chem21.info>).

ляется, что это не пришло ей в голову раньше. Но вообще все это, если угодно, типичная подростковая история, им же по 10–11 лет в пересчете на наш возраст.

55. Оооооооо

Все хорошие воскреснут и будут вместе, а все плохие – нет. Это главное, что понимает София Маргарита Лаиса Стар Гэллакси Челеста. Остальные, может быть, понимают и того меньше, но аккуратно постриженный под машинку (вот же на что люди тратят драгоценное электричество) человек в черном костюме и посеребрившей белой рубашке не требует от них многого. Одно занятие – одна мысль. Занятия длинные, все сидят кружком, потом еда. Вечером еще занятие, потом еда.

Что слышит София Маргарита Лаиса Стар Гэллакси Челеста:

– ...с имен. Все помнят свои имена? Давайте проверим... Иаков... Эсав... Давид... Урия... Не помнишь? Развернись, развернись, не надо клубком, разве я сворачиваюсь клубком? Это неуважение к товарищам по церкви, сядь хорошо, ровно. Ну, давай, как тебя зовут? «А...» «Ааа...»

Что думает София Маргарита Лаиса Стар Гэллакси Челеста:

– Эмилия. Эмилия. Эмилия.

Человек в серой белой рубашке напомнил всем, как их зовут. Они уже почти все помнят, почти все отвечают с первого раза. Много занятий они учили такое: «Бог есть». София Маргарита Лаиса Стар Гэллакси Челеста это знает, она на все кивала, их научили кивать и мотать головами, чтобы они не выкрикивали и не шумели. Бог есть, София Маргарита Лаиса Стар Гэллакси Челеста знает это лучше всех: Бог старый, с белой бородой, добрый, но строгий, на одной ноге у него ботинок с очень толстой подошвой, а на другой – с тонкой. Потом были занятия такие: «Есть хорошее, а есть плохое». Это правда: Бог часто ругает Эмилию Анну Лаису Стар Гэллакси Челесту плохой девочкой, потому что та тянет и дергает поводок, однажды разбила стакан, наполовину съела дохлую крысу и не хотела выпускать из зубов; а вот София Маргарита Лаиса Стар Гэллакси Челеста – хорошая девочка, ей Бог говорит: «Хорошая девочка». Когда их спрашивали имена, у некоторых уже были имена, все на нее смотрели, как на выставке, поэтому она сказала: «София Маргарита Лаиса Стар Гэллакси Челеста», – некоторые смеялись, тогда ее спросили, как ее звал хозяин, она сказала: «Софи и Милли». Он не понял, человек в серой белой рубашке, и сказал: «Теперь ты просто Софи, без Милли». От этой фразы что-то случилось с ней, она вдруг завывала, выла страшно, убежал и спрятался новоиспеченный Авшалом, кошки шипели из-под стоек с кубиками и картинками, фретка Бат-Шева забралась по шторе под потолок и раскачивалась, явно наслаждаясь всем происходящим; только мелкий змееныш, получивший почему-то несерьезное имя Шуфи, остался сидеть, где сидел, и смотрел на Софи, открывая и закрывая рот вместе с ней. Потом приходил кто-то, ткнул в нее иголкой, она долго спала, теперь она больше не воет даже по ночам, когда Эмилия почти рядом, но все-таки ее нет. Теперь новое занятие, она слушает и кивает. Софи теперь хорошая девочка.

Что слышит София Маргарита Лаиса Стар Гэллакси Челеста:

– ...вот я, например, живой. А кто еще живой? Ты живой? Живой. А ты? Живой. А ты? Живоооой. А кто еще живой? (Чей-то блеющий голосок: «Бог?...» Человек в серой белой рубашке: «Молодец! Мо-ло-дец! Бог живой, но про это мы потом поговорим. Кто еще живой? Учимся топтать, кто хочет сказать; не так, не со всей силы, одной лапой, топ-топ-топ – и прекратили. Оооочень хорошо, ах вы умницы, вы молодцы. Правильно, мы все – живые».)

Что думает София Маргарита Лаиса Стар Гэллакси Челеста:

– Эмилия, Эмилия, Эмилия. Эмилия живая. Где Эмилия? Это непонятно. Эмилия была всегда. Они бежали и кричали, даже хозяин кричал, даже Эмилия рвалась с поводка, воздух был черный, Софи казалось, что ее бока, ее узкие, ребристые, шелковые, кофейные бока, ее длинные ноги с окаемкой струящейся шерсти какое-то чудовище царапает огромными ост-

рыми когтями. Эмилия темнее Софи, Эмилия – как тень Софи, но вот Софи пытается перепрыгнуть вонючий мутный поток, хлещущий из торчащей дыбом сквозь асфальт разверстой трубы, рвется и тянет хозяина, хозяин медлит, не прыгает, асфальт вдруг разевает рот, хватается за хозяина, Софи задыхается, намертво притянута к земле, хрипит, Эмилия бьется, пытается вытащить узкую голову из ошейника, освобождается, тень Софи отделяется от Софи, Софи кричит, Эмилия бежит и кричит, Эмилия исчезает.

Что слышит София Маргарита Лаиса Стар Гэллакси Челеста:

– ...мертвых? Не выкрикиваем, топаем ногами, топаем, топаем, чтобы я хорошо видел. Кто не видел мертвых, кто не топает? Авива, ты никогда не видела мертвых? Но ты знаешь, что такое мертвый? Чем мертвый отличается от живого? (Кто-то, мечтательно: «Раньше уже можно было есть». Кто-то другой: «Дебил, его нельзя есть!» Рычание, визг, предупредительный стук учительской палки в пол.)

Что думает София Маргарита Лаиса Стар Гэллакси Челеста:

– Эмилия, Эмилия, Эмилия. Эмилия где-то есть. Она знает, как вернуться, это понятно. Я здесь, никуда не пошла, не дала себя забрать далеко, рычала, показывала зубы, только с этими согласилась жить, они хорошие, еда, занятия тоже хорошие. Хозяин не здесь, об этом нельзя думать, иначе опять вой, иголка, спать. Эмилия тоже не здесь. Но Эмилия живая. Значит, ее не пускают. Значит, украли.

Это всегда было: украдут, украдут, украдут. Софи хорошо помнит: вот они с Эмилией еще крошечные, вот такусенькие, размером с левреток, почти розовые, почти прозрачные в своей аристократической худобе; хозяин еще не водит их на поводке, а носит гулять на руках, показывает: вот куст. Вот куст. Вот куст. Вот забор. Вот бак. Вот куст. Вот так можно вернуться домой. Понимаешь? Все смотрят на них, все верещат: «Хамудим⁹⁸! Хамудим!» – все тянутся почесать, кто-то хочет взять на руки, подсовывает Софи пальцы под бок, хозяин дергается, говорит с человеком нехорошим голосом, каким может сказать: «Плохая девочка!» – если порвать носок, съесть тапку. Быстро идет домой, Софи лежит, прижавшись к нему ухом, слушает «бум», «бум», это счастье. Украдут, украдут; потом они взрослые, хозяин возле супермаркета проверяет армированные поводки, проверяет замочки на ошейниках: украдут, украдут. Смотрите: направо, потом налево, потом еще налево – вот этим путем можно вернуться домой. Понятно? Хорошая девочка. И ты хорошая девочка. Ни от кого ничего нельзя брать. Ни за кем нельзя идти. Украдут. Вот так можно вернуться домой. Запоминайте все пути, чтобы вернуться домой. Они запоминали. Вернуться к хозяину. Хозяина теперь нет. Об этом нельзя думать. Им говорят: «Надо всегда думать: „Господи, Господи, Господи!..“» Софи это все равно. Софи думает: «Эмилия, Эмилия, Эмилия. Эмилия есть. Эмилия не здесь. Значит, Эмилию украли. Значит, ее надо найти».

Что слышит София Маргарита Лаиса Стар Гэллакси Челеста:

– ...самое важное. Все слушают? Авиноам, ты слушаешь? Все хорошие будут опять живые. А плохие останутся мертвые. Вот картинка, вот две кошки, обе мертвые, вот белая – она хорошая. Вот черная – она плохая. Теперь – оп-па, белая живая, черная мертвая. Понимаете? Это понятно? Кто был хороший и кого больше нет – опять будет живой, с нами, все мы будем вместе, все хорошие. Хороший оживет и вернется к нам. Сейчас мы будем это запоминать.

Что думает София Маргарита Лаиса Стар Гэллакси Челеста:

– Господи, Господи, Господи!..

⁹⁸ Милые (иер.).

56. Фиксационная амнезия – это...

...неспособность подолгу удерживать в памяти совсем недавние события – утекают и все. День, максимум два – и Артур забывает все, что с ним было. И очень жаль, потому что Артур герой, Артуру есть, чем гордиться. Например, позавчера повар на кухне нес огромную, огромную кастрюлю супа, из которой собирался накормить весь лагерь, всю нашу огромную караванку «Гимель», а кошка бросилась ему под ноги, и повар как начал падать! Кастрюля взлетела в воздух, и весь лагерь остался бы без обеда, но мимо окна кухни как раз шли Артур и Роми Зотто! Артур увидел кастрюлю, впрыгнул в окно и успел встать прямехонько под кастрюлей, и она приземлилась ему на спину, а Роми Зотто впрыгнул в окно следом за Артуром и помог ему эту кастрюлю удержать. Так Роми Зотто и Артур спасли весь лагерь, Роми Зотто рассказал это Артуру сегодня утром, перед тем как идти к доктору Сильвио Белли (семьдесят восемь лет, прогрессирующая пропазогнозия на фоне возрастного ухудшения мозгового кровообращения, тонкие светлые редкие волосы, выпяченная низкая губа, глаза влажные, темные, узкие ноздри смотрят наружу, на правой руке рядом с часами плоская родинка, как маленькие вторые часы), доктор Сильвио Белли приезжает по средам, сегодня среда, позавчера был понедельник, в понедельник на обед суп с настоящим мясом, Артур этого не помнит, ему и неважно – он вольнопитавшийся, а Роми Зотто важно, он еще долго будет рассказывать Артуру, какой вкусный был суп с мясом, до следующего понедельника. Когда доктор Сильвио Белли впервые приехал на прием в «Гимель», весь еще встрепанный некрасивым, визгливым напутствием человека, который с ним живет (ей-богу, я не издеваюсь, упорно называя его именно так, это важно), Роми Зотто (тридцать четыре года, тонкая верхняя губа, приоткрытый рот, плоская переносица, скрытые внутренние уголки глаз, миоклонические судороги с аурой и галлюцинациями плюс умственная отсталость, спровоцированные обширной гипоплазией сосудов правого полушария) не был записан к нему на прием, потому что Роми Зотто, как известно, никогда ни на что не жалуется, у Роми Зотто же всегда *все хорошо*; нет, Роми Зотто просто шел мимо окна (жизнь бессовестнее литературы). Роми Зотто увидел своего любимого доктора, у которого колотилось от жары, и утреннего визга, и долгой ходьбы пешком семидесятивосьмилетнее сердце («Ты делаешь это, чтобы показать, насколько ты от меня независим!» «Я делаю это, чтобы хоть полдня побыть одному!»). Роми Зотто завопил, Роми Зотто попытался вломиться в окно смотрового каравана, Роми Зотто ободрал руку о задвижку, Роми Зотто ждет каждой среды, как Второго пришествия, доктор Сильвио Белли ждет каждой среды с ужасом и тоской, вспоминая грязь, и головную боль, и вереницу лиц, сливающихся в одно, но делать нечего, сейчас есть добровольцы и постарше, и побольнее его – урологу, который еженедельно трясется рядом с ним в запряженной двумя верблюдами повозке, почти столько же, сколько человеку, живущему с доктором Сильвио Белли в маленькой и старенькой квартире на углу Алленби и Кармеля («Почему ты не можешь произнести это слово? Почему ты не можешь называть меня этим словом?!» «Почему тебе это так важно? Почему тебе это так важно?!» – однажды этот визгливый, стыдный старческий диалог застал Роми Зотто, вечно улыбающийся Роми Зотто: «Это твой мууж? Ты девочка, да? Мне нравятся девочки!...»). Каждую среду Роми Зотто стоит у ворот лагеря и ждет своего друга – доктора, а его лучший друг, крупный фалабелла по имени Артур, ждет, когда Роми Зотто придет назад в свой караван и расскажет ему, как они с доктором лечили больных; в джазовом кафе, погребенном под осколками дома с белыми колоннами, – в кафе, которое отчасти принадлежало человеку, живущему с доктором Сильвио Белли, а отчасти друзьям этого человека, таким же престарелым психиатрам, – был официант с такой же плоской переносицей, с такими же широко расставленными глазами, с такой же отвисшей губой; он ронял тарелки, задевал горящие свечи, громко хлопал посреди композиций, и доктор Сильвио Белли ненавидел его, ненавидел все, что в этом бедолаге вопло-

щалось, а именно – потребность человека, живущего с доктором Сильвио Белли, вечно быть святее святого, всех прощать, всем сочувствовать, криворуких мудаков не увольнять, потому что у них мамы болеют или там что; всегда чувствуешь себя говном рядом с таким человеком, никогда не знаешь, как от него уйти. Завидев издали Роми Зотто у полипропиленовых ворот, забранных в три ряда колючей проволоки, доктор Сильвио Белли закрывает глаза и говорит себе, что это закончится; просто надо перебраться на ту сторону, на другой конец этого дня; хочешь не хочешь, а ты там окажешься; семь, может быть, восемь часов – и верблужья мас-лека⁹⁹ потащит вас с урологом и двумя ортопедами обратно по бесконечному пустому Аялону, а там, в городе, военный мотоцикл с коляской, лавируя между тем, что прежде было домами, доведет тебя с раскалывающейся головой и растрясенным желудком до самого дома, до самого вечернего скандала («Но ведь это я, я должен сходить с ума от страха, что с тобой что-нибудь случится!» «Если ты не заткнешься, со мной что-нибудь случится прямо сейчас!...»). С девяноста процентами пациентов, которые приходят к доктору Сильвио Белли в лагере, он ничего не может сделать: травматик, травматик, травматик, истерик, невротик, травматик. Всем добрый доктор Сильвио Белли выписывает по четверти таблетки «зипрексы» в день; хороший доктор, экономный. Сам он ест по восемь таблеток «зипрексы» в день, их выписывает ему человек, с которым он живет; выписывает ежемесячно со скандалами, мольбами, клятвами сократить дозу со следующего месяца, тем более что в пункте выдачи медикаментов на этот рецепт каждый раз нехорошо косятся и намекают, что хорошо бы при такой дозировке поставить на рецепт утверждение старшего окружного врача. С тугим комом в животе идет доктор Сильвио Белли каждый месяц в пункт выдачи лекарств, с испариной на лбу высидит несколько часов душной очереди под младенческий ор и старческий хрип, под ссоры из-за потерявшихся номерков, под вой сирены, после которой очередь сбивается в испуганное блеющее стадо, а сотрудники, забыв ключи в кассовых аппаратах, бросаются задраивать окна полипропиленом («Мы не эвакуировались из-за тебя! Из-за твоей наркомании и из-за тебя!» «Ты можешь эвакуироваться к чертовой матери в любую секунду, вон дверь!» «Это не дверь! Это сраная полипропиленовая занавеска! Я убьюсь на этой развороченной лестнице!...»); внизу, под этой развороченной лестницей, слушают семейный скандал тощие собаки, торгующие помадой, гашишем, грязными леденцами, предлагающие погадать по руке, выпрашивающие пол-карточки на корм для щеночков). Ни разу в такие моменты доктор Сильвио Белли не протиснулся бочком за прилавок, ни разу не протянул руку к шестой полке третьего шкафа справа; у него есть рецепт, у него есть рецепт, в конце концов, вот уже взяли его рецепт, вот уже сверили имя в подписи, вот уже открыли какой-то электронной прибудой бронированный ящик, вот уже несут коробочку, вот уже доктор Сильвио Белли кладет под язык две приторных, отдающих мелом желтых блямбочки; ему надо. Вот уже доктор Сильвио Белли кладет под язык две приторных, отдающих мелом желтых блямбочки; ему надо, потому что Роми Зотто записан к нему на прием первым, – острые вперед, наблюдающие за ними, потом все кому не лень, но доктор Сильвио Белли живенько приучил лагерных фельдшеров прямиком отправлять острых в медлагерь, так что первым идет Роми Зотто, Роми Зотто, у которого Все Хорошо. Роми Зотто, Роми Зотто, искушение мое: пациент с симптоматикой, которой хватило бы на пятерых, бросается обнимать тебя поперек пуза и говорит, что у него Все Хорошо; трудно не пошутить, что это последствие асона, а еще труднее не поддаться бешеному соблазну меееееедленно снимать Роми Зотто с одной таблечки за другой и смотреть, когда это желтозубое «хорошо» закончится. Все десять минут, отведенные регламентом, Роми Зотто заверяет доктора Сильвио Белли, что тот по-прежнему его Самый-Самый Лучший Друг, а Артур – просто друг; а то ж, не дай бог, доктор Сильвио Белли взревнует. Все десять минут, отведенные регламентом на Роми Зотто, доктор Сильвио Белли спит – то есть сидит с открытыми глазами и произносит что-то медицинское, но

⁹⁹ Телега, санки, воз (*ивр.*).

на самом деле спит, ему надо беречь силы, у него впереди травматик, травматик, травматик, истерик, невротик, травматик. Но крадучись, сквозь сон проникает в сознание доктора Белли этот самый Артур. Нет, нет, не надо Артура, не надо этого – тонкие светлые редкие волосы дыбом торчащей челки, выпяченная нижняя губа, глаза влажные, темные, узкие ноздри смотрят наружу, фиксационная амнезия, рассеянный взгляд, легонько трясущаяся голова, нет, нет, не хочу на это смотреть, нет, я еще не такой, я врач, я езжу в лагеря лечить людей, я еще сильный, у меня еще крепкие руки, я кручу в ничуть не дрожащих пальцах с бурными пятнами стило от тяжеленного военного планшета, я не хочу записывать на прием Артура – но сквозь эту мерзость, сквозь это отвращение к карикатурному сходству, которое невозможно от себя скрыть, просачивается в сознание доктора Сильвио Белли брезгливое любопытство, настоящее врачебное любопытство; запишем и это в признаки нестигаемости, душевной молодости, докторской остроты ума: а приведи-ка ты ко мне, Роми Зотто, мой мальчик, своего друга Артура, а посмотрим-ка на него. Роми Зотто убегает, потряхивая пухлым женским задом, начинается прием; стоящий у входа в палатку, где располагается мирпаа¹⁰⁰, амбал с автоматом (плоская переносица, жесткий волос, растущий из родинки на лбу, ассирийские глаза – впрочем, есть ли смысл его запоминать?) отгоняет всех, кто без направления («Поймите, я сам бывший медбрат! При чем тут направление, у меня тремор прямо здесь и сейчас!» «У всех тремор, пустите, я по номеру!» «Вы фашисты!» – вот же поразительно, три минуты конфликта – и кто-нибудь немедленно фашист, вот она, транспокленческая травма). Доктор Сильвио Белли стучит по коленке бывшего медбрата (ну а что, у человека реально тремор прямо здесь и сейчас, это поинтереснее, чем застарелые нистагмы и бесконечная, муторная, не снимающаяся даже регулярным рокасетом головная боль как результат острой депрессии, которая тут у каждого второго); за окном раздается сначала утробный ор, потом кошачий визг, потом вопли Роми Зотто с его слюнявым пришепетыванием. Что это было? Роми Зотто привел Артура, они стояли в очереди, как хорошие зайчики, ждали, когда их пустят к доктору, а тут коты. Коты обожают Артура, коты, твари такие, ебут Артура мозг, Артур и до асона умом не блистал, не для этого селекционеры растили свой цветочек, а уж когда выставочный подиум под ним превратился в щепки, а кусок потолочной балки пришелся Артуру прямо в затылок, Артур и вовсе стал небольшого интеллекта – и слава богу, потому что иначе как бы он верил всей приторной бурде, которую добрый фантазер Роми Зотто день за днем льет ему в уши? Но вот коты – это проблема; Артур, всю жизнь гарцевавший по ярко освещенным площадкам с расчесанным хвостиком и гривой в стразиках, Артур, которому за каждую высокую оценку огромный, как Халк, хозяин давал специальную лошадиную бонбоньерочку, гордо пересказывает выдумки Роми Зотто всем и каждому, а коты – суки, коты специально приходят к Артуру, улучают момент, когда Роми Зотто нет рядом, – и начинаается. «О великий Артур, герой и спаситель, мы пришли слушать про твои подвиги, почти нас своим высочайшим вниманием!» Поразительно, да – откуда у них этот язык? Почему, скажем, хорошо знакомые нам кролики Яси Артельмана разговаривают, как слабоумные кролики, а эти чешут таким вот образом? Мы вернемся к этому вопросу, когда речь снова пойдет об Арике Довгане (заранее скажу: нет у автора никакого ответа, просто, как писала Татьяна Толстая, «такое им вышло последствие», но Арик Довгань по просьбе своего дружочка Чуки Ладино, главы тель-авивского генштаба [ну, какой сейчас генштаб? Главы тель-авивского чего-то] пытается что-то такое изучать, а кроме того, все животные ото дня ко дню говорят все лучше и лучше, но чтобы вот так чесать – это только коты и еноты); а пока поглядите, как бедный дурачок Артур, сам ненамного больше крупного кота, заводилы, гордо вскидывает благородную головушку и рассказывает, что буквально позавчера они с Роми Зотто гуляли по лужку для вольного выпаса (фиг туда пускают кого гулять, дебил), а там собирала цветы Мири Казовски (ах, Роми Зотто, Роми Зотто, вот ты и выдал себя), а из-под куста на нее

¹⁰⁰ Клиника, медпункт (ивр.).

выпрыгнула огромная змея и оплела ей шею и стала Мири душить, но тут Роми Зотто подско-чил и схватил змею за хвост и сорвал у Мири с шеи, а Артур затоптал змею насмерть, а Роми Зотто отнес напуганную Мири на руках в лагерь, а Мири поцеловала его в щеку, только тсссс, об этом никому нельзя рассказывать. Коты в восторге, коты хотят подробностей. Большой ли букет успела собрать Мири? Какого цвета была змея? А главное – как же это она не оплела тоненькие ножки Артура, не повалила его на землю и не задушила? Нет, Артур, конечно, очень сильный, но что-то тут не сходится, нет-нет, они ни на секунду не думают, что Артур врет, они просто хотят представить себе эту героическую сцену во всей красе – так какого, значит, цвета была змея?.. Тут происходит то, что с бедным Артуром происходит каждый раз, когда он пытается думать о позавчерашнем, или позапозавчерашнем, или позапозапозавчерашнем дне – а иногда и просто о вчерашнем: выясняется, что в голове у него темно и как-то нехорошо, густо и вязко, и главное – сейчас-сейчас, сейчас он напряжется, немножко напряжется и все вспомнит, вот сейчас он немножко напряжется, вот сейчас... И начинается то, ради чего коты доебываются до бедного крошки Артура: он принимается переступать ножками на месте, и мотать головой, и пыхтеть, как еж, и ржать тоненьким голосочком, и все это так похоже на настоящую лошадь и так утомительно, что коты приходят в полный восторг: «Давай, Артур, ты сейчас вспомнишь, Артур, давай, давай!» Где же в этот момент Роми Зотто? Отлучился, Роми Зотто каждые пять минут бежит сказать своему другу доктору, что они с Артуром тут, стоят в очереди в мирпаа, пусть доктор не волнуется, они не уйдут! Тем временем у Артура в голове, в темной вязкой мути, как будто начинают проскакивать маленькие такие искры, ну сейчас же он вспомнит, ну вот сейчас – на губах у Артура показывается пена, очередь, успевшая обласкать крошечную лошадоньку и забыть о ней, наконец замечает неладное, а тут еще и коты как заладят: «Ой, Артур, что с тобой? Артур, тебе плохо, да? Тебе плохо? Хеврей¹⁰¹, Артуру плохо!..» Прибегает Роми Зотто, бросается трясти Артура и топать на котов ногами, коты заходятся кряхтением: кхе-кхе-кхе с открытой пастью, кхе-кхе-кхе – смех, коты теперь умеют смеяться, коты и еноты. Роми Зотто коты не боятся, но тут от очереди отделяется очень черный, очень худой человек, держащий за руку маленькую девочку. Коты явно знают этого человека, коты давай вылизываться, смотреть по сторонам, кто-то просто убегает. «Мас-пик»¹⁰², – говорит черный человек. Один из котов, правда, взгляда от этого человека не отводит, вылизывает себе лапу и смотрит в упор, говорит: «Какая хорошенькая девочка», – а на лапе все когти выпущены и так поигрывают слегка. Черный человек смотрит на кота, а кот на черного человека; остальные коты как-то вдруг тоже подтягиваются, а к черному человеку из очереди присоединяется еще один черный человек, стоявший у выхода из мирпаа, поджидавший кого-то. Роми Зотто подхватывает Артура под живот и, кряхтя, тащит вперед – очередь вроде продвинулась, у Артура перестала идти пена изо рта, Артура немножко знобит, Роми Зотто гладит его шелковую спинку, ну все, ну все. Роми Зотто клянется, что никогда больше не подпустит к Артуру котов, а если коты придут, когда Роми Зотто нет рядом, Артур должен на них копытами вот так, вот так (топает); Артур тоже топает, Роми Зотто тоже топает, Артур тоже топает, Роми Зотто начинает хохотать, Артур начинает ржать, очередь начинает шипеть и огрызаться, выходит доктор Сильвио Белли, велит Роми Зотто успокоиться и оставаться снаружи, забирает Артура в мирпаа.

Итак, осмотр. Сделать, понятно, ничего нельзя; во вмятину, оставленную балкой за ухом у этой пародии на лошадь, поместится хороший апельсин; самое интересное – что он вообще разговаривает, вот в чем дело: от зоны Брока явно ничего не осталось, ах, тут бы МРТ, но для МРТ надо отправлять Артура в ветлагерь, а доктору Сильвио Белли совершенно не хочется отправлять Артура в ветлагерь, Артура там захапают, а доктор Сильвио Белли хочет его себе

¹⁰¹ Ребята (*ивр.*).

¹⁰² «Хватит» (*ивр.*).

– зачем? Ну, есть причина, о которой даже проницательный доктор Сильвио Белли никогда не догадается: маленькому мальчику Сильвио Белли нравится маленькая лошадка; но существует причина поважнее, и взрослый, рефлексирующий Сильвио Белли хоть и без удовольствия, но отдает себе в ней отчет: это сцена, достойная «Капричос», – старый обрюзгший эскулап видит себя в слабоумном молодом жеребчике, который, как в хорошем фрейдистском сне, мелковат. «Нет нужды предупреждать публику, не вовсе невежественную в искусстве, что ни в одной из композиций этой серии художник не имел в виду высмеять недостатки какого-либо отдельного лица». Какой могла бы быть подпись? «Даже так он не разглядит себя: Пусть он светит в эти глаза сколько угодно; все, что он видит, – это собственные страхи». Это все глупости, глупости, ничего похожего, он, доктор Сильвио Белли, в полном порядке, нет у него этих лицевых тиков, нет нарушений памяти, нет подворачивающегося от тремора заднего левого копыта, не смотри сюда, зачем ты себя мучаешь? «Будем наблюдать», – говорит он Роми Зотто и с тех пор каждую неделю наблюдает, светит и постукивает, и водит палочкой мимо носа; теперь ему есть о чем бедовать с Роми Зотто: не заговаривается ли пациент? Легко ли усваивает те истории, которые Роми Зотто для него придумывает? Умеет ли описывать детали? Не бывает ли такого, что недоконь пришепetyвает, прилепetyвает, заикается (нет, нет, не бывает, правда же, не бывает?). Ползут по радужной пыли военные дрожки, мелькает загнивающий струп у верблюда на бедре (само заживет), доктор Сильвио Белли вспоминает, как холодно Роми Зотто теперь встречает Артура, выходящего из мирпаа, как поджимает губы; доктор Сильвио Белли, укачанный до тошноты, представляет себе, как в полуразрушенной квартире Роми Зотто варит Артуру суп из тунца и консервированной свеклы и спрашивает, делая вид, что ему совершенно безразлично: «На следующей неделе ты снова туда же? Это не упрек, я просто интересуюсь». Доктора Сильвио Белли ждет суп из тунца со свеклой, поджатые губы, напускное безразличие, душно разгорающийся еженедельный скандал. Первый и единственный партнер доктора Сильвио Белли, вышедшего из шкафа в шестьдесят восемь лет, профессор Тель-Авивского университета в старческих трусах и с окладистой бородой, хочет от своего маленького, от своего ушастого мужа (мужа! мужа!) – чего? Обид и мучений, надо полагать. Вот эта оставленная на кухонном столе грязная ложка в кругленькой кофейной лужице, это влажное банное полотенце на кровати, эти маникюрные ножницы, переложенные с одного края тумбочки на другой, и кривой полумесяц грязного ногтя под ними – все это совершенно необходимые человеку, который живет с доктором Сильвио Белли, маленькие обиды и мучения, которые он терпит ради любви; сейчас доктор Сильвио Белли явно приедет позже договоренного времени, Господи, помилуй и помоги, много ли лет мне осталось? – и неужели все они будут вот с этой мукой, с этим комом темной вины, злости и стыда в животе? Доктор Сильвио Белли закрывает глаза, от жестокой дорожной тряски дергаются у него в голове картинки: темная кухня, дергающийся свечной огонек, человек, который живет с доктором Сильвио Белли, начинает с вопросов и претензий, голос его дрожит, доктор Сильвио Белли стоит и ждет; человек, который живет с доктором Сильвио Белли, переходит на обычный свой крик с подвываниями, со слезной нотой, никогда, однако, не превращающейся в слезы; доктор Сильвио Белли стоит и ждет; человек, который живет с доктором Сильвио Белли, хватает доктора Сильвио Белли за плечи и требует ответов – каких ответов? – неважно, тех самых ответов, которые раз и навсегда, отныне и навеки убедят его наконец в любви доктора Сильвио Белли, в такой любви, чтобы сдвинутые с места маникюрные ножницы ничего не значили, чтобы перестало быть все время так страшно, так ненадежно; доктор Сильвио Белли стоит и ждет; человек, который живет с доктором Сильвио Белли, трясет его за плечи или делает еще что-то *предварительное*, что в таких случаях делают; доктор Сильвио Белли стоит и ждет – и тогда человек, живущий с доктором Сильвио Белли, наконец, наконец, наконец бьет доктора Сильвио Белли по лицу – и доктор Сильвио Белли разворачивается и выходит из дома, и он свободен, свободен, свободен, безо всяких вопросов, безо всякой необходимости объясняться, просто свободен. Тряска

усиливается, верблюд Мамик, тянувший повозку, и его напарник, заводят дурными голосами: «Имаот шарот¹⁰³, имаот шарот...» – въехали в Тель-Авив, через сорок минут доктор Сильвио Белли будет дома, через сорок минут его встретят с поджатыми губами, спросят, обязан ли он был оставаться в лагере до поздней ночи, чтобы его муж (муж! муж!) от тревоги сходил с ума.

Вот и Роми Зотто все чаще встречается своего друга Артура с поджатыми губами – неправда, конечно, у Роми другая мимическая картина: с насупленными бровями и выпяченной, как у ребенка перед ревом, нижней губой встречает Роми Зотто своего Артура после отъезда доктора; полчаса провел Артур у доктора – у Роми Зотто есть часы, электронные, – а самого Роми Зотто доктор только похлопал по плечу и сказал: «Ну-ну». Несколько дней Роми Зотто дуется, Артур подлизывается. Интересно, помнит ли Артур, что он натворил позавчера? Да-да, позавчера тоже приезжал доктор, приезжал, потому что соскучился по своему другу Роми Зотто, приезжал тайком, никто, кроме Роми Зотто, его не видел. И доктор все ему, Роми Зотто, рассказал, потому что лучшие друзья все друг другу рассказывают; да-да, доктор рассказал ему, как ужасно вел себя Артур, он разбил доктору фонарик, и плевался, и укусил его за ногу. Теперь доктор очень сердится на Артура и говорит: «Вот бы все были такие, как мой друг Роми Зотто!» Артур потрясен, Артур мотает шелковой гривонькой и перебирает тонкими ножками: это как же? Это почему? Мне было больно? Он сделал мне больно? Почему я так?.. Тут Роми Зотто несколько теряется – и правда, почему? – к этому вопросу он не готов, поэтому Роми Зотто просто поворачивается к Артуру спиной и идет обедать в хадар-охэль¹⁰⁴, дети и больные и такие, как Роми Зотто, едят в первую очередь. Артур тихонько трусит следом, дети набегают и начинают тискать Артура, от этого Роми Зотто становится только хуже. Бесконечная предобеденная очередь, мелкие едкие срачи, вас здесь не стояло, ма зэ¹⁰⁵, ма питом¹⁰⁶, пропустите с температурой, с температурой есть мирпаа, не надо тут никого заражать; в мирпаа никто не хочет, оттуда могут отправить в медлагерь, про медлагерь рассказывают ужасы, срач набирает обороты. Артур боится толпы, он отбегает и ждет Роми Зотто под полипропиленовой стенкой огромного обеденного шатра, вольнопытается от тоски нехорошей, сильно утоптанной желтой травой. Роми Зотто тем временем нейдет в горло кусок порошкового омлета, Роми Зотто вдруг ужасно пугается, что Артур его разлюбит и все, Роми Зотто стыдно и страшно. Роми Зотто выскакивает из хадар-охэль, орет, зовет Артура, а Артур – вот он, тут, его обступили коты, слушают его с преувеличенным вниманием, один – черный, узкий, жилистый – стоит за углом на стреме, ему явно неинтересны эти глупости, но пусть ребята развлекутся. Артур, Артур, мы совсем забыли, что с нами было вчера, расскажи нам, Артур! Бедный дурашка Артур. «Так я же не знаю... Я ж вас не видел... Сейчас придет мой друг Роми Зотто, он все знает, он вам расскажет!» Роми Зотто топает и машет кулаками, и пинает толстыми ногами воздух: «Вот я вам! Вот я вам!..» Роми Зотто обнимает Артура, стоит на коленях среди пожелтевшего иссопа и кошачьих какашек, Артур внезапно спрашивает: «А кто тебе рассказывает, что с тобой было?» «Давай дадим клятву, как самые что ни на есть самые друзья! – говорит Роми Зотто. – Не пойдем завтра к доктору! Доктор не хочет тебя видеть, а я возьму и тоже не пойду, потому что я твой друг, я твой самый что ни на есть лучший друг!» Артур канючит, что хочет к доктору, ну почему доктор не хочет его видеть, он будет хорошо себя вести и так далее, но Роми Зотто гнет свое, и вот уже они торжественно клянутся, два дурачка; Роми Зотто пожимает Артуру липковатое копыто, коты с безопасного расстояния: «Кхе-кхе-кхе, кхе-кхе-кхе», вот суки. Вместо доктора они завтра пойдут к Мири, Мири будет делать йогу, а Роми Зотто с Артуром будут смотреть, а потом Роми Зотто отбежит на мину-

¹⁰³ «Матери поют» (ивр.) – первые слова песни «Третья мать», посвященной войне.

¹⁰⁴ Столовая (ивр.).

¹⁰⁵ Зд.: «это еще что» (ивр.).

¹⁰⁶ Зд.: «с чего это вы» (ивр.).

точку в туалет. Уже поздно, Роми Зотто надо идти в караван, а Артура уже ищет его ахраи¹⁰⁷, ему пора в загон на ночевку, а то эти вольнопитавшиеся засыпают, где стоят, а к утру буря оставляет от них такое, что с теми, кто их находит, истерика случается.

Утро; луг для вольнопитания, основательно подъеденный вольнопитающимися; Мири Казовски в позе собаки мордой вниз, вокруг ее «группа» – енот, две собаки, что-то мелкое в траве, невидное Роми Зотто с Артуром из-за кустов. «Пошли ближе! Пошли ближе! Я тоже хочу!» «Я не хочу ближе! Стой тихо, ты мне мешаешь!» Артур не слушается и бежит туда, к грубо нарезанным полипропиленовым коврикам, к золотым звездочкам, которые ему до сих пор давали только за то, что он позволял детям себя гладить и, в отличие от кое-каких других товарищей, не слишком при этом возбуждался («Ой, мама, что это у собачки?» «Это такая болезнь, не трогай ее больше, отойди, пошли отсюда!»). Роми Зотто остается в кустах; еще немножко – и он побежит в туалет, черт его знает, может, без Артура ему сейчас и сподручнее. Артур пытается поднять повыше заднюю правую ногу и держать ее прямой, одновременно максимально вытянув шею и оскалив от усердия громадные зубы: Мири Казовски сама разрабатывает асаны для этих, четвероногих, и все зарисовывает в блокнотик уродливыми кривулинами, достойными второклассницы. Коты лежат на солнце, их разморило, они с утра провернули кое-какое дельце в восточной зоне лагеря и теперь ждут сигнала от старшего, когда перекидывать товар. Собак особо не позадираешь, поэтому коты развлекаются нехитрым образом – тянут когти в сторону тех самых мелких в траве – и убирают, тянут – и убирают; рушатся асаны, мелкие в испуге ищут глазами Мири Казовски, коты облизывают лапы, как ни в чем не бывало; прекрасное летнее утро, и никто еще не понял, что зима никогда не настанет, у асона тридцать три фасона. Появление Артура приводит котов в тихий экстаз, они подбадривают Артура изо всех сил: «Давай, Артур, ты можешь! Давай, Артур, давай, выше ногу, еще выше, и язык надо высунуть обязательно, тяни язык, Артур! Позавчера ты сгубился кольцом и касался ушами задних копыт, ты что, не помнишь? Спорим, ты и сегодня можешь, Артур?..» Результат выглядит так невыносимо идиотски, что коты кхекают и захлебываются, Мири Казовски бежит топтать на них, но они клянутся, что больше не будут, что только хотели помочь, и Мири Казовски, хоть и не верит этим заразам, все же не гонит их: у Мири Казовски миссия, Мири Казовски не сомневается, что постепенно коты втянутся, станут участвовать – а там и природная гибкость, и явное влияние в среде бадшабов; Мири Казовски уже видятся занятия на сто разновидовых душ, как в том ашраме, где Яселе спал, пока она перекачивала прану из чакры в чакру или что там еще делают. Некоторое время коты и правда помалкивают да потягиваются, но как только Мири отходит учить полевок позе льва, они опять: «Ай-яй-яй, Артур, что-то у тебя сегодня совсем ничего не получается. Тебе надо бежать к доктору, Артур, скажи ему, что ты сегодня ушами до копыт не достаешь!» Тут Артур им, естественно, сообщает, что они с Роми Зотто больше не пойдут к доктору, они поклялись. Приходится рассказать, как Артур ужасно себя вел, и как доктор его теперь ненавидит, и как Роми Зотто тоже больше не пойдет к доктору, потому что Роми Зотто настоящий друг. Коты переглядываются. О праздник, о дар судьбы. Артур, Роми Зотто тебя обманул. Какой же он друг, если он так тебе врет! Неужели ты не помнишь, Артур? Весь лагерь про это знает! Доктор приехал и сразу позвал тебя к себе, и сказал: «Вот Артур, мой самый лучший друг», – а Роми Зотто стал топтать, и кричать, и бить доктора, и говорить: «Нет, это я ваш лучший друг!» – а доктор сказал: «Уберите от меня этого психа, я больше никогда не хочу его видеть!» – а Роми Зотто упал, и изо рта у него пошла пена, неужели Артур не помнит? Артур стоит с видом растерянного дурачка и смотрит в сторону кустов, кусты подрагивают, кажется, Роми Зотто решил, что и без похода в туалет можно справиться. Плевать на Роми Зотто; «Я хочу к доктору! – кричит Артур. – Где доктор?» Доктор

¹⁰⁷ Ответственный (ивр.).

уже приехал, Артур, – не ест, не пьет, больных не лечит, только спрашивает: «Где Артур? Где мой лучший друг?..»

Ей-богу, фалабелла, несущийся со всех ног, – это невыносимо комично; комичнее только поноватый и глуповатый человек, который, размахивая руками, несется из кустов фалабелле наперехват. Вы будете смеяться, но взбешенный фалабелла – это вполне себе взбешенный конь, и Роми Зотто получает такой удар головой в живот, какой ему долго не забудется. Роми Зотто хватается Артура за шею и пытается повалить: «Не ходи к доктору! Ты поклялся! Не ходи к доктору!» «Ты мне все наврал! Ты сам плохой! Это тебя доктор ненавидит!..» Роми Зотто обливается слезами, но силушки ему не занимать, он гнет и гнет Артура к земле, Артур упирается копытами, комями дыбится земля с ошметками травы, Артур пытается вырваться и снова бодает со всей дури Роми Зотто в живот – и тут Роми Зотто вдруг видит всю радужную пыль, покрывающую мир, всю сразу, и это так невозможно прекрасно, что Роми Зотто замирает с лошадиной головой под мышкой. У Роми Зотто немножко звенит в ушах, но звон этот хороший, разборчивый, как будто с неба кто-то спускается по большой лестнице и от него тепло-тепло; Артур вроде как вырастает раза в два, но это уже не Артур, а другое животное, радужное-радужное, и голос у него зычный, и только зубы, как у Артура; Роми Зотто еще держит его за гриву, а животное даже не пытается высвободиться, а только говорит: «Роми Зотто, Роми Зотто, что я сделал тебе? Почему безжалостно бьешь ты меня?» Роми Зотто от изумления падает на колени – а перед ним уже вроде как стоит доктор Сильвио Белли с огненным мечом и говорит: «Почто ты бьешь этого сраного фалабеллу, спасшего тебе жизнь? Ведь если бы не он, я за твое вранье убил бы тебя». Роми Зотто выпускает Артура, падает на землю, изо рта у него идет пена, это большой судорожный припадок. Артуру плевать, Артур несется к мирпаа.

Человек, живущий с доктором Сильвио Белли, стоит перед доктором Сильвио Белли, держась за сердце. У доктора Сильвио Белли глаза застланы яростью, будь у него сейчас огненный меч – он разрубил бы, разрубил бы этот ужас, вяжущий его по рукам и ногам. Кресло, прерывистое, ухающее дыхание, нитроглицерин из аптечного шкафа, «Зачем ты это сделал? Ну зачем? У тебя был инфаркт, у тебя во время асона был инфаркт!» Трясущаяся старческая рука лезет в карман, достает пачку с плоскими желтыми блямбочками: «Ты... (судорожный вдох) Забыл... (судорожный вдох)», – и страдальческий взгляд, полный одновременно упрека и самоотверженности, и доктор Сильвио Белли быстро отворачивается, чтобы ненависть не заговорила устами его, и тут в мирпаа вваливается Артур. Вопли из очереди; кто-то вваливается за Артуром следом, пытается не пустить, доктор Сильвио Белли пятится к креслу, потому что Артур зубаст и страшен; человек, живущий с доктором Сильвио Белли, вцепляется в его руку. Артур внезапно останавливается и смотрит на них, подходит ближе, всматривается так и сяк в человека, живущего с доктором Сильвио Белли, в этого замершего от страха старого человека, в его покрытую коричневыми пятнами руку, сжимающую руку доктора Сильвио Белли. «Ты кто?» – спрашивает Артур низким, огромным голосом. «Я?.. Я друг», – отвечает неизвестно почему человек, живущий с доктором Сильвио Белли, и в следующую секунду копыта Артура буквально на пару миллиметров не достают до его лица. Рыча, доктор Сильвио Белли хватается Артура поперек живота и пытается повалить на пол; рыча, Артур выворачивается и пытается заехать доктору Сильвио Белли копытом в глаз, потом головой в живот, а потом страшно, со всей дури кусает доктора Сильвио Белли за плечо, а доктор Сильвио Белли страшно, со всей дури кусает Артура за переднюю ногу, и лупит, лупит его кулаками, а человек, живущий с доктором Сильвио Белли, вскакивает с кресла и пытается оттащить Артура, и ему это даже удается, и тут доктор Сильвио Белли с размаху, сладостно и быстро, наконец, наконец бьет этого человека по лицу, и еще раз, и еще раз, и ногой в живот, и еще раз по лицу.

Через месяц Роми Зотто рассказывает Артуру, что два дня назад в лагере было огромное-огромное наводнение, люди стали захлебываться и почти тонуть, а Роми Зотто с Артуром быстро побежали к мирпаа и спасли нового доктора, доктора Гиви Мизрахи – Роми Зотто его

поднял, а Артур посадил к окну, и так они выбрались из затопленной мирпаа, и доктор Гиви Мизрахи сказал, что Роми Зотто и Артур его самые лучшие друзья на свете, таких прекрасных друзей у него никогда не было и не будет.

57. Малыя бесы

— Малыя бесы
Надо мной лета-али,
Все мечтали полюбить,
А кого — не зна-али... —

затянул хриплый голос внизу, во дворе. Песню подхватили другие собаки, и Арик Поярник проснулся окончательно.

58. Йоав Харам + Чуки Ладино

Йоав Харам, директор караванки «Далет», хочет, чтобы животные перестали с ним разговаривать. Они стремные, ему от них делается нехорошо. Как вообще получилось, что он стал главой караванки «Далет» – огромной, на одиннадцать тысяч человек, второй по размерам после «Гимеля», – он, который и людей-то боялся и не любил (они стремные, ему от них нехорошо)? Ну, а как сейчас все: он в Минсельхозе был средненький начальник над средненькими проектировщиками, и когда все горело и всех трясло, когда он, клацая зубами, потому что впервые увидел буша-вэ-хирпа и только-только отходил от нее, вместе с тремя-четырьмя своими сотрудниками пытался дозвониться хоть кому-то по умершим уже телефонам, ему сказали: «Давай, Йоав Харам, решай: где будет эвакуационный лагерь?» – и он ткнул пальцем в парк Яркон. Знал бы он, к чему это приведет, – ни за что не ткнул бы, но асон есть асон: давай, директор Йоав Харам, спланируй нам жилые зоны; давай, директор Йоав Харам, рассчитай нам инфраструктуру; давай, директор Йоав Харам, теперь ты будешь директор. У него в глазах потемнело, он и увещевал, и отбивался, и переходил на визг, но асон есть асон, и вот мы здесь – и выясняется, что одиннадцать тысяч человек и четыре тысячи, извините, бадшабов теперь будут сидеть у директора Йоава Харам на голове – стремных.

Тат-алюф Чуки Ладино, глава генштаба Центрального округа (ну, как алюф Гидеон – глава Южного), хочет, чтобы с ним перестали разговаривать вообще все, и в первую очередь – директор Йоав Харам. Последний раз Чуки Ладино разложил таро вчера, и снова вышло то же самое, то, про что и думать невозможно, потому что голова становится огромной и звенит: долго объяснять, но главное – отмена нынешнего, поворот обратно. Все, что видит в эти дни тат-алюф Чуки Ладино, – а он много чего видит, хотя старается не выходить за пределы Сароны, каким-то образом устоявшей в целости и сохранности и приютившей генштаб с семьями и приживальцами, – все указывает тат-алюфу Чуки Ладино на это: отмена, поворот обратно; вчера два черных кота шли навстречу тат-алюфу Чуки Ладино – именно навстречу, не поперек, и один, увидев его, развернулся через левое плечо, а другой – через правое, и пошли обратно; что же еще тут думать? Тат-алюф Чуки Ладино искал Бениэля Ермиягу, ему бы два слова сказать с Бениэлем Ермиягу, но в «Алефе», «Далете» и «Гимеле» его нет, а от несчастного лагеря «Бет» ничего, считай, не осталось; может быть, Бениэль Ермиягу был там, может, отдыхал до этого, например, в Эйлате и попал в «Бет» – и все, нет его больше? Бениэль Ермиягу точно бы сказал тат-алюфу Чуки Ладино то же самое: отмена, поворот обратно. Тат-алюф Чуки Ладино выходит туда, где была улица Элиэзер Каплан, и смотрит на то, что было бизнес-центром «Азриэли», тремя сверкающими небоскребами: с камнями все понятно, они как бы взберутся один на другой, это будет вроде мультика, ну или вроде замедленной съемки разрушения, пущенной от конца к началу; а вот стекло – что будет со стеклом? Тат-алюфа Чуки Ладино очень интересует, соберутся ли стекла из осколков; соберутся наверняка – но, скорее всего, швы между осколками останутся, и это будет страшно и очень красиво. Вопрос «когда» не очень занимает тат-алюфа Чуки Ладино, как ни странно: во благовремение и в одночасье. В одночасье забудем и мы этот ад и мерзость, эту воду по карточкам и ободранные бурей гноящиеся спины, этот список мертвых и пропавших, про который Чуки Ладино никогда не думает, чтобы не разорвалось сердце: зачем? Во благовремение и в одночасье, и только спрашивать будем друг друга: «Что же произошло с нашими окнами, зеркалами и стаканами?» – и ученые будут это обсуждать и что-нибудь да придумают, а он, тат-алюф Чуки Ладино, к которому, наверное, вернется звание сган-алюфа¹⁰⁸ (и пускай), ничем не сможет им помочь, потому что и сам ничего не будет помнить; был у сган-алюфа до асона котик, спокойный, молчаливый; вот и

¹⁰⁸ Подполковник (*иер.*).

котик окажется тут как тут, и снова заживем. Выпадает перевернутая смерть, колесо фортуны, время, перевернутая императрица, паж кубков – котик. А про императрицу не будем загадывать; во благовремении.

Один из мелких нахалей¹⁰⁹, текущих сквозь несчастную караванку «Далет», превратился в базиликовый напиток; приторный, но пить можно; у асона тридцать три фасона. Всем ужасно нравится, кроме «отказников», – в «Далете» их становится все больше, а кроме «Далета» их вроде как нигде и нет – впрочем, директор Йоав Харам старательно ничего не знает про другие лагеря, узнавать тошно: там все якобы прекрасно, там сила и воля, порядок и покой, там небось и коты не смеют заступить дорогу директору лагеря и тягучими своими голосами, страшно открывая розовые рты, заводят опять шарманку про общий корм и золотые звездочки и про то, что они умные, – несусветную и почему-то страшную шарманку, в которую директор Йоав Харам боялся вникнуть. Неба рифленные, как своды католического собора, куда его прабабушка водила; от вида этих котов директору Йоаву Хараму сразу становится нехорошо. Когда-то была такая новость: в Швеции бешеный лось целый час гонял шведа по супермаркету, вот и картинки с камеры слежения. Мефакэах¹¹⁰ Йоав Харам смотрел картинки в интернете, все приписывали к ним глупости, и лось там тоже что-то говорил: «Мужик, где прокладки?» – нет слов, остроумие одно; мэфакэах Йоав Харам представлял себе, как открывается эта огромная вислогубая пасть, дышит в лицо, и вдруг чувствовал, что сейчас упадет в обморок; было это еще при живой жене – знала бы она, голубка, что с ним сейчас, пожалела бы своего бедного Йою. Директор Йоав Харам что-то мычит в ответ котам, фальшиво смотрит на часы, убегает и запирается в своем караванчике; под окном, на маленькой плюшечке чудом не съеденной травы, камлают «отказники», директор Йоав Харам лежит на полу и слушает вполуха: газоз¹¹¹ из нахаля не пить, с животными не говорить, детей учить самостоятельно, жить так, будто не случилось ничего; проблема в тонкостях: но рокасет-то, рокасет жрать? Полипрен-то, полипрен использовать? Трудно им. Директор Йоав Харам лежит на полу, мечтает о таком: отказники решают полипреном пренебречь – принципы, принципы важнее, так сохраним свой образ жизни и культуру, и деточкам передадим. Их становится все больше, а бури-то никто не отменял; и вот они... ну, скажем, принципиально в один прекрасный день берутся за руки и идут буре навстречу по главной улице караванки. С детьми? Детей директору Йоаву Хараму жалко, но фантазии не прикажешь: с детьми. Ад, сотня раненых, немедленные инфекции на поврежденных участках кожи, лагерь бушует и требует признать отказников невменяемыми, а также лишит родительских прав: «У нас сирот не бывает», всех детей забирает кто-то под свою опеку (и с этим, если честно, в «Далете» страшный бардак, мы на этот бардак еще наткнемся). Но пока что – пусть будут раны, инфекции, психотические срывы от психологических последствий БВХ; директор Йоав Харам не отходит от больных, закатав рукава, меняет повязки или что там еще. Вот можно, пожалуйста, так? Еще хорошо бы: у асона тридцать три фасона – может, землетрясение какое-нибудь? Директор Йоав Харам лежит, сам весь покоцанный, на обломках чего-нибудь, держит маленькую ручку, изо всех сил тянущуюся к нему из-под земли, шепчет утешительное, обнадеживающее, все хорошо, все хорошо. Пусть, пожалуйста, все будет плохо и надо будет спасать; тогда что ни делай – ты молодец. В караванке «Далет» все плохо, все очень плохо, директор Йоав Харам спасает и спасает, тут закрывает дыру, там бросается на мину, герой, герой и умница; бедная караванка «Далет».

Тат-алюф Чуки Ладино не хочет ехать в караванку «Далет», он очень не хочет ехать никуда, но в «Далет» особенно: «Далет» – это какой-то вечный пиздец, бардак и жалобы, и директор Йоав Харам. Тат-алюф Чуки Ладино очень хочет, чтобы директор Йоав Харам

¹⁰⁹ Ручьи (ивр.).

¹¹⁰ Инспектор (ивр.).

¹¹¹ Газировка (ивр.).

перестал с ним разговаривать. Он стремный, тат-алюфу от него делается нехорошо. Но он едет в «Далет», конечно. В «Далете» грязно, в «Далете» перебои с водой, посреди главной улицы лежат верблюды и смотрят нагло, пропускают нехотя, жуют бумажки. В школе срываются уроки, потому что учителям бы самим к кому-нибудь на ручки, плюс никто не может материалы минимальные им подготовить, чтобы дети не ударились в слезы от слов «Нили принесла домой из садика четыре воздушных шарика»; психологическая служба работает так, что лучше бы она не работала, и везде, во всем какая-то мелкая дрянь, и этот сухой стручок, директор Йоав Харам, ноет кошачьим голосом про трудности, трудности, трудности, а глаза у него быстрые, въедливые, он отлично видит, как тат-алюф Чуки Ладино по дуге, по дуге идет мимо черного кота. В офисном караванчике, тоже захламленном, с грязными одноразовыми тарелками и нетронутыми срочными бумажками, директор Йоав Харам начинает свою жалобную повесть, и в повести этой есть что-то неимоверно странное, тат-алюф Чуки Ладино все не может это странное уловить – и вдруг понимает: директор Йоав Харам ничего для своей караванки не просит. Бедный Зайде Цурман, директор «Бета», все просил и просил; физически загонял Чуки Ладино в угол своего полипропенового загончика, где и работал, и ел, и ночевал, и просил, просил, просил: лекарства, детскую обувь, посуду, бульонные кубики, фиксаторы для шей, лопаты, решения насчет кладбища – просил, просил, просил. И все, все, кто встречал тат-алюфа Чуки Ладино с тех пор, как он стал тат-алюфом, просили, просили, просили – и только директор Йоав Харам, одним своим видом и сладковатым запахом вызывающий у тат-алюфа Чуки Ладино тоскливое отвращение, не просил ничего: он только жаловался, жаловался, жаловался, и все его жалобы были одинаковые, круглые: как все ужасно началось, а потом с его помощью не то чтобы хорошо кончилось – но более или менее обошлось; а глаза у него быстрые, въедливые, и он видит, как тат-алюф Чуки Ладино время от времени тихонечко стучит три раза по крышке захламленного стола и тоже начинает стучать, сучара, и всматривается в тат-алюфа Чуки Ладино, заглядывает в глаза и дышит на него невыносимо едкой пайковой жвачкой – и вдруг спрашивает шепотком: «Ма ие?»¹¹² Нет, все друг друга спрашивают, ма ие, это понятно, что еще спрашивать-то в такие времена; но глаза у директора Йоава Харамы быстрые, въедливые, и тат-алюфу Чуки Ладино вдруг становится страшно, глаза эти что-то высматривают, и хозяин их что-то угадывает, вот-вот угадает, и вдруг тат-алюф Чуки Ладино делает ужасное: изо всех сил зажмуривается и ладошками закрывает глаза, как маленький. Полсекунды буквально; но эти полсекунды... Пизда тебе, Йоав Харам, тебе пизда; заплатишься ты за эти полсекунды – все будет у твоего лагеря, все, врачи и лекарства, учебники и воздушные шарики, если они еще существуют в природе, точилки для моркови и одноразовые бокалы, детская обувь на все размеры, внеочередные работы по ремонту канализации и ветеринарные шприцы для инсулина; все будет у караванки «Далет», все, все, все. Пизда тебе, директор Йоав Харам.

¹¹² Что будет? (ивр.)

59. Хуже

Яся Артельман (осторожно заглядывает в двери крытой части жирафника, гремит жестяной миской, на дне которой болтаются две таблетки). Чучело-дрочучело! Выходи, бат-зона¹¹³, я тебе принес чего!

Жиравник молчит. В воздухе стоит густой животный запах.

Яся Артельман (вынимает затычки из ушей, гремит миской). Ты ходячая вообще? Хуево тебе?

Жиравник молчит, внутри раздается легкий хруст соломы, и все снова замирает.

Яся Артельман (делая шаг-другой внутрь жирафника). Иди сюда, сучка радужная. Только не кидайся в меня ничем! Заебала каждый раз кидаться. Я тебе таблетки принес, чучело-дрочучело.

Внезапно что-то задевает волосы Яси Артельмана, и он с визгом отскакивает в сторону. На сплетенном из соломы тонком инурке висит скелетик кого-то небольшого, длинно-мордого; хрупкие косточки, ловко связанные друг с другом бежевыми нитками, гремят, когда Яся задевает скелетик; вместо глаз в узкий череп с несколькими мелкими зубами вставлены кусочки цветной наклейки с пайковой банки из-под тунца. Таких скелетиков разного размера над дверью темного жирафника висит не меньше десятка.

Яся Артельман (с омерзением трясет волосами). Ебанулась совсем. (Кричит в темноту.) Ебанулась совсем! Как ты вообще... Они ж небось «не надо, не надо!» Факельман тоже, между прочим, жрет, он метод придумал: сначала рот им зажимает, а потом шею – хрусть. Мудак психический – и то скелеты не вешает. (Гремит миской.) Выходи, коза с ушами, я тебя не съем!

Внезапно из-за спины у Яси Артельмана высовывается мясистая крупная рука с изумительной красоты радужными пятнами, обметанными по краям крупными красными точками. Рука пытается схватить таблетки, Яся Артельман отскакивает и поднимает миску над головой.

Яся Артельман. А-тя-тя-тя-тя! Я тття знаю. Открывай рот, я тебе в рот положу.

Бьянка Шарет молчит и тяжело дышит. Ее воспаленные глаза с радужными пятнами вокруг зрачка помаргивают, рубашка застегнута наперекос. Яся Артельман некоторое время вглядывается в ее глаза, замороженный этими инопланетными кругами. Воспользовавшись моментом, Бьянка Шарет делает вид, что снова собирается цапнуть таблетки из миски, но вместо этого резко бьет по миске снизу коленом, падает на четвереньки и хватается таблетки, просыпавшиеся на пол. Резкая головная боль мешает ей встать, и она замирает на четвереньках, свесив голову и закрыв глаза.

Яся Артельман. Дура какая, господи. Прими таблетки, я тебе щас воды своей дам.

¹¹³ Сучка (иер.).

Бьянка Шарет. Нет.

Яся Артельман. Психическая баба. Ну зачем ты их откладываешь? Вот перестану приносить вообще, сама ходи за своим пайком, я не нанялся вас тут всех кормить-поить. Ну что ты откладываешь их? Ширяешься ты ими, что ли? А? Говорят, если восемь сразу съесть, прет очень, только сердце колотится. А? Нажрешься и дрочишь, небось?

Голос Нбози из-за окна жирафника. Н-н-на п-п-п-потом!

Яся Артельман. А ты молчи, я не с тобой разговариваю. На какое потом? Нет никакого потом, нас в пятницу заберут, вот клянусь тебе. Адак реально с пикудом¹¹⁴ говорила, Факельман сам слышал, своими ушами; в пятницу заберут нас, максимум – в субботу или в понедельник.

Бьянка Шарет широко раскрывает рот. Из рта у нее пахнет мясом. Яся Артельман осторожно, чтобы не укусила, кладет таблетки на белесый Бьянкин язык, подносит фляжку с водой. Бьянка пьет, не вставая с колен. За стеной жирафника вдруг происходит какой-то треск и грохот, кто-то визжит и верещит, потом все затихает. Слышно, как Нбози с отвращением отплевывается.

Яся Артельман. Что это было?

Нбози. Полевка. Ззырная.

Яся Артельман. Да вы тут двинулись на хуй. Ну ладно сучка эта ебнутая, но ты-то с какого хуя полевок жрать пытаешься?

Нбози. Я, моззет быть, новый целовек теперь.

Яся Артельман. Ты чтооооо?

Нбози. Капшто. Страшно, сука?

Яся Артельман. Пиздец какой-то. (*Обращаясь к Бьянке Шарет.*) А ты, чучело-дрочучело, я тебя сразу предупреждаю: тронешь кроликов моих – я тебе руки твои дрочучие поотрубую, ты поняла? Я тебя сразу почуюл, как с утра к ним пришел, я пришел, а там тобой пахнет. Ты даже рядом не ходи, поняла? Отстрелю лапы дрочучие тебе и рокасет приносить не буду.

Неожиданно Бьянка Шарет кусает Ясю Артельмана за ногу.

¹¹⁴ Ставка, командный пункт (*ивр.*).

60. Шнэй колот

Рав Арик Лилиенблюм смотрит в недовольные черные глаза Шуфи, а Шуфи смотрит мимо рава на радужную поверхность воды, где плавают три утки и глупый мопс Крис, которого уже два раза вытаскивали на берег и объясняли ему, что не надо плавать, надо сидеть слушать, но каждый раз глупый мопс Крис с визгом плюхался обратно, и женщина с мужчиной сдались – как с самого начала сдались насчет уток, Господь с ними, пусть делают, что хотят. Рав Арик Лилиенблюм, много работавший с подростками (как вам, например, проект «Шнэй колот»¹¹⁵: дискуссионные группы еврейской и христианской молодежи?), имеет некоторое мнение насчет того, как можно попробовать договориться с мопсом Крисом, да и вообще насчет того, как это все организовано, – но он, конечно, сидит молча: ему сделали одолжение эта женщина с прилизанными волосами и этот мужчина с прилизанным лицом – разрешили понаблюдать занятия. Наверняка это доставило им некоторое изощренное удовольствие: смиренный раввин просит позволения понаблюдать с целью перенимания опыта – он восхищен и так далее. Что ж, пожалуйста: сегодня третье занятие в бассейне – вернее, у бассейна, – третье, мать вашу, и явно понадобится четвертое, а может, и пятое, и шестое: прилизанная женщина даже пару раз кидает взгляд на рава Арика Лилиенблюма: мол, видите, с чем нам приходится иметь дело? – а ничего, справляемся. Одно занятие – одна мысль: это как будто бы не бассейн, а речка Иордан, понимаете? Вас окунут – и вы как будто вышли из Иордана прямо к Господу Богу. Проверочные вопросы: это не Бассейн, а чтооооо? С вами сделают чтооооо? И вы выйдете откуууууда? И прямо к комуууууу? Собака София Маргарита Лаиса Стар Гэллакси Челеста смотрит на воду невидящим взглядом, она всегда думает о чем-то так напряженно, что иногда раву Арику Лилиенблюму кажется, будто она давно и тихо сошла с ума. Собака Зузи, умная шавочка с седой мордой, отвечает на все вопросы тоненьким голоском отличницы. Иаков, Авшалом, Лула, Давид, Урия, Мурмур стараются кто как может, и это, конечно, производит впечатление. На птиц никто особого внимания не обращает (интересно, их тоже будут окунать?), но неизвестно как оказавшаяся здесь чайка, имени которой рав Арик Лилиенблюм не знает, спокойно дает с разломанного лежака, боком завалившегося на мраморный пол, подробные развернутые ответы: прибавляет, например, кое-что про чудо, и зализанная женщина дарит ее холодной улыбкой. И вот эта улыбка, сделанная одними губами, непонятно как и непонятно почему напоминает раву Арику Лилиенблюму о потреханном костюмчике и поникшей шляпе, и о безжалостном, как ножичек у горла: «Дай бог, оно вам поможет». Его словно окунают в ледяную воду – зажав нос, опрокидывают на спину, – и вдруг он понимает, что именно так, видимо, ощущается момент встречи с истиной, ужасающе большой и ужасающе несоразмерной тебе самому. Рав Арик Лилиенблюм наклоняется к Шуфи, который все это время молчит и только поводит страшным хвостом из стороны в сторону с завораживающим изяществом, и шепотом предлагает: «Пошли поговорим». «Знаю я ваши разговоры», – холодно отвечает Шуфи, прекрасный и далекий, и рав Арик Лилиенблюм молчит, и сердцу его больно, словно женщина отвергла его или отец сказал ему: «Что ты опять суешь сюда свой нос?» – и пришлось идти назад, в комнату с пятью детскими матрасами на полу, и ждать, когда старшие закончат читать с отцом секретные книги и снова превратятся в людей.

¹¹⁵ «Два голоса» (ивр.).

61. Под нашими спортивными знаменами

Между прочим, все это пишет автор с дисплазией сосудов правого полушария, память у него рваная, как флаг над караванчиком, где размещается ветеринарка в лагере «Гимель»; говорили ли мы уже, например, о флагах? Вот этот конкретный флаг пожрали ламы, отогнать их было совершенно невозможно, дежурный ветеринар Султан Мансур им: «Вон пошли!» – а ламы: «Который час? Который час?» – их всех научили спрашивать «Который час?», чтобы они не пропускали вольнопитание, а ламы совсем дуры, только это их и волнует, и ветеринары им всегда говорят: «Шесть!» – чтобы они побежали искать свою ебанутую Марину, Марину Слуцки, которой теперь выдают арипипразол+карбамазепин, она все равно называет животных «хозяин» и «хозяйка», но ведет себя тихо, а флаги ее очень интересуют, Марина Слуцки штопает флаги по всему лагерю, стирает их и подрезает, подгибает, подшивает обтрепанные края, разговаривает с ними почтительно, как со старшими, а уж флагов в караванке «Гимель» хватает: вот же никогда не знаешь, чего у страны неисчерпаемые запасы на случай катастрофы; так вот, знай, читатель: арипипразола и государственных флагов, потому что дух, дух превыше всего; в одной ветеринарке в углу лежит бумажных флажков штук триста, раздавать в утешение детишкам, которые приносят котиков, и песиков, и ящериц, и крыс, и полевок, и прочую адовую хрень, которой несть конца, несть конца, и вся она плачет, и вся она говорит дежурному ветеринару Султану Мансуру, когда он осматривает и пальпирует, приподнимает и поворачивает: «Не надо! Больно! Пожалуйста! Не надо! Больно!..» Марина всегда очень хорошо шила, такая золотая женщина, представляете: и шила, и готовила, и с мужем они были золотая пара, он – небольшой толстенький пожарный инспектор, государственный человек, Марина Слуцки безо всякого арипипразола молодец, если не считать всего того, что она рисовала (и продолжает рисовать тут, в лагере, – запас цветных карандашей! О, знали бы вы, какой у страны обнаружился запас цветных карандашей, и бумаги для оригами, и канцелярского клея с голубыми блестками: дух, дух превыше всего, творчество помогает поддерживать этот самый дух в выносимом состоянии, а то не напасешься на вас карбамазепина с арипипразолом). Рисует Марина Слуцки половые органы в коронах – они склоняются перед гигантскими птицами и крошечными слонами на ста паучьих ногах, но теперь все это происходит почти молча: очень спать хочется, а раньше эти половые органы, кровоточащие и изумительно реалистичные, склонялись перед какими-то невыразительными пришельцами, что ли, перед какими-то бледными, что ли, духами; словом, творчество Марины Слуцки много выиграло от вот этого вот всего, и если вы из тех людей, кому дороги такие повороты событий, вам самое время порадоваться за Марину Слуцки. Муж Марины Слуцки, ласковый и тихий человек, запутавшийся во взятках и до смерти уставший от необходимости постоянно делать очень честное лицо, в один прекрасный день съел всю домашнюю аптечку, включая оставшееся от бедной мамы страшное количество «Актика» и «Метадона»; все получилось, а сестра мужа забрала Марину Слуцки в кибуц. Почему Марину не показали психиатру еще тогда? Ну, как сказать. Кибуц, святая вера в живительную силу коллектива; как-то оно в общем-то и обходилось; правда, Марина каждый день ходила равняться на флаг, делать какие-то гигантские шаги у флагштока по какой-то непостижимой уму схеме и зарывать там же «секретики» с обрывками своих рисунков, но повар она была настоящий, кибуцная кухня от ее присутствия похорошела и расцвела, а кто не с придурью? Это кибуц, между прочим, и хорошо, что кибуц, потому что во время асона там и рушиться было примерно нечему, все одно- и двухэтажное, эвакуировались они, считай, своими ногами, кого не съела по дороге буша-вэ-хирпа – те дошли до караванки «Гимель», а Марина Слуцки шла, завернувшись во флаг, и кланялась каждой крысе, встреченной на пути, и дошла целее всех. Теперь, когда транспорта нет, Израиль – большая-большая страна, и каждый день на выпасе Марина Слуцки рассказывает вольнопитающимся, какая Израиль боль-

шая-большая страна, гордая и могучая, от моря и до моря, и вы, вольнопитающиеся слушатели, теперь ее хозяева; тут Марина кланяется, лифчик у нее перекручен, и одна из коз с интересом слизывает пот с коричневой Марининой спины. Вольнопитающиеся верят, слушают, раскрыв рты и роняя слюни (особенно ламы), и один только слон Момо с презрением отходит на слабых ногах в сторону от всей этой пустопорожней болтовни, слон Момо грезит близким вечером, у него на вечер кое-что прикопано. У многих вольнопитающихся на вечер тоже есть планы (нет у них никаких планов, у них память, как у канарейки; это автор так, для красного словца; на самом деле это у Мири Казовски есть на них планы, групповая медитация ждет их всех – ну, или то, что Мири Казовски считает групповой медитацией). Под большим, тщательно обшитым тонкой кружевной полосочкой израильским флагом Марина ведет вольнопитающихся домой через нежное поле, основательно поеденное и засранное, а там уже и Мири Казовски бежит им навстречу с распахнутыми глазами и распростертыми объятиями. Бросается обнимать козу Чучу, потом ламу Адину, потом и к слону Момо пытается припасть, но тот брезгливо пятится. Мири Казовски готова поговорить сегодня со всеми, вот буквально с каждым, она не ляжет спать, пока со всеми не поговорит, и пусть, пожалуйста, Марина Слуцки ничего им не рассказывает, она сама им сообщит, у нее опыт, а это такая травма. «Ну что ты блеешь, как коза? Меее! Меее!» – говорит Марина Слуцки, она уже знает, что перед возвращением в лагерь надо надевать штаны и футболку, так что выглядит сейчас вполне человечески, и слова ее звучат свысока, слова разумного человека, обращенные к ебанашечке Мири Казовски. Коза Чуча и коза Шула вдруг очень возбуждаются от этого звука, Марина Слуцки хохочет, приговаривая: «Коза ты, Мири! Коза ты, Мири!..» Мири Казовски пунцовеет, и совсем даже сейчас не время хохотать; схватив Марину Слуцки за локоть, Мири Казовски оттаскивает ее в сторону: совсем сейчас не время хохотать, два часа назад дежурный ветеринар Султан Мансур принял весь арипипразол, и весь карбамазепин, и весь амитриптилин, и вабен, и занакс, и зипрексу, и рот себе набил бумажными флажками и сверху скотчем обмотал, чтобы, значит, обратно не того. Это надо сказать им очень деликатно – козам и ламам, и ненормальному Артуру, и даже слону Момо – да, даже слону Момо, который притворяется таким толстокожим. И представьте себе, впервые, наверное, за все это время Марина Слуцки соглашается с Мири Казовски: надо очень деликатно им это рассказать – козам, и зебре, и даже слону Момо.

62. Ты клюм! Клюм!

Спит лиса и спит коза. Спит олень и спит тюлень. Спит маленькая, похожая на семейного врача своей любезной серьезностью мартышка. Тигр спит, облезлый и нехорошо пахнущий, хрипя во сне; до асона остается год и четыре месяца, очень близко бухают выстрелы. Ронен Бар-Лев стоит рядом с ветеринаром, ему разрешили смотреть, как будут усыплять большую, с крышку от полевого котла, черепаху, с перепугу глубоко ушедшую в себя: ветеринар уже подбирался к ней сзади со шприцем вполне человеческих размеров и нечеловечески длинной иглой. «Да что мучиться, давайте я пульну», – сказал Моше Цадик, но ветеринар только запыхтел еще громче и для точности прицела встал на колени. Если бы не Моше Цадик, Ронен Бар-Лев бы здесь не оказался – Моше Цадик скинул ему мейл про этот зоопарк в Газе, каким-то образом вспомнил про Ронена Бар-Лева и про то, что Ронен Бар-Лев теперь журналист; а вот Ронен Бар-Лев не сразу вспомнил, что Моше Цадик теперь снайпер, а вспомнил только (очень быстро) душный каменный двор душной старшей школы, и как Моше Цадик бежит за какой-то девочкой, полпиты в одной руке, коробочка с соком в другой, и кричит неожиданно высоким голосом: «Ты клюм¹¹⁶! Клюм! Поняла меня? Ты клюм!..» – а девочка – худая, с остриженными под мальчика волосами, – поспешно спускается с пригорка к автобусной остановке, и из-за висящего в воздухе желтого песка совершенно буквальным образом растворяется, превращается в ничто. Всю дорогу до этого несчастного зоопарка Моше Цадик говорил о той девочке, ее звали Кира, Кира Зайде, все у них с Моше Цадиком тогда непросто было; Ронен Бар-Лев совсем эту девочку не помнил – и вдруг вспомнил, глядя, как Моше Цадик целится из непривычно легкого, дурацкого вида ружья в лежащего пластом, полумертвого от голода тигра: девочка эта, Кира Зайде, была дочкой какого-то богатого человека, застройщика, и однажды пришла в школу с обезьянкой на плече, и тот факт, что у невидимой, некрасивой и не нужной никому Киры есть ручная обезьянка, поразил их всех больше, чем сама обезьянка. Ветеринар встал с колен и сказал, что надо подождать, он про каждое животное говорил: «Надо подождать», – хотя Ронену Бар-Леву казалось, что транквилизатор действует мгновенно: лев в соседнем отсеке пошатался несколько секунд после выстрела Моше Цадика и рухнул, подняв вокруг себя желтое песочное облако, львята, большой и маленький, попадали рядом с ним, а угрюмый маленький медведь перед падением опустил локти и стал похож на очень уродливого жирного пони. Рядом с ним лежал мертвый медвежонок; он умер вчера ночью, с этого все и началось. «Это ж надо, какие суки», – опять сказал Моше Цадик, он повторял эту фразу каждые пять минут, и Ронена Бар-Лева уже тошнило от этой фразы сильнее, чем от вони тухлого мяса, которой был окутан весь зоопарк – крошечный, втиснутый между четырьмя каменными стенами с поблекшей грубой мозаикой, кое-как изображающей лианы. Моше Цадик почавкал чупа-чупсом и снова сказал, что он бы владельца этого зоопарка тоже присадил хорошенько транквилизатором и вывез вместе со зверями на территорию Израиля, чтобы им там занялись наши добрые ветеринары. «Понимаешь, да? – сказал он и ткнул в Ронена Бар-Лева пальцем. – Наши добрые ветеринары!» «Да тут, блядь, уже поработали наши добрые ветеринары», – сказал Ронен Бар-Лев, но Моше Цадик явно не понял, что Ронен Бар-Лев имел в виду. До владельца зоопарка Ронен Бар-Лев не дозвонился, секретарь сказал, что владелец очень сожалеет, но его финансовое положение больше не позволяет ему содержать зоопарк, а никаких комментариев не дает и не даст. «Хорошо ли раскупались билеты? – спросил Ронен Бар-Лев. На том конце провода помолчали. – Извините», – сказал Ронен Бар-Лев и повесил трубку. Ветеринар сказал, что в принципе можно вызывать вертолет, еще пять-шесть

¹¹⁶ Ничто (*ивр.*).

минут – и будет как раз. «Какие суки, а», – снова сказал Моше Цадик. Тогда Ронен Бар-Лев вынул изо рта у Моше Цадика чупа-чупс и вставил его Моше Цадику в ухо.

63. Теплые норы и мягкие кровати

Он прошел мимо того, что и строем-то назвать язык бы не повернулся. Кто-то суетливо облизывался, во втором ряду чесались, дальше, в глубине фаланги, стоял непрекращающийся писк. Четверо тиронов¹¹⁷, от нервозности постукивавших хвостом о пол, стояли маленькой шеренгой справа от этого позорного сборища и смотрели на него, боясь моргнуть.

– Это сброд, – сказал он сухо. – Сброд, сброд. Не знаю, можно ли сделать из них хоть что-нибудь приличное, и тем более не уверен, что с этим справитесь вы.

Тирон номер один, серый с коричневыми подпалинами за ушами, вдруг взвизгнул, повернувшись к строю:

– Молчаааать!

Визг прекратился. Генерал-фельдмаршал главнокомандующий войсками Марик Ройнштейн вполне оценил происшедшее, но сохранил на лице гримасу разочарования, смешанного с брезгливостью.

– Команды подавать голос я не припомню, – сказал он.

Тирон номер один потупился и от нервозности едва слышно застучал хвостом по мраморному полу того, что раньше было залом торжеств гостиницы «Рэдиссон – Юг». Он завербовал больше положенных пяти новичков, намного больше, аж двенадцать. Он очень надеялся, что это ему зачтется. Главный его соперник, рыжий, плешистый и поджарый номер два, преданный армии до истерического экстаза, сумел привести всего десятерых, но эти десять вели себя образцово: он заранее муштровал их строевой подготовкой, хитрая скотина. С тиронами три и четыре можно было не считаться: они привели по пять каждый, и половина среди этой жалкой десятки вертела головами, явно не уверенная, что они тут по делу. «Вот бы кто-нибудь из них сейчас убежал», – подумал тирон номер один. Это бы ничего не изменило, но пусть главнокомандующий лишней раз почувствует разницу. У него тоже был заготовлен кой-какой сюрприз, тирон номер один был не дурак. Они выполнили условие, привели пять новых каждый, больше пяти; но кто-то в благодарность за это станет просто маком¹¹⁸, а кто-то – старшим маком. Тирон номер один представил себе, что старшим маком назначают тирона номер два, и от зависти и гнева почувствовал во рту вкус рыжей шерсти и теплой крови.

Генерал-фельдмаршал главнокомандующий войсками Марик Ройнштейн остановился и всмотрелся в новичков.

– Кто тут сирота – встать на задние лапы, – приказал он.

Встала вся шеренга.

– Хорошо, – удовлетворенно сказал генерал-фельдмаршал главнокомандующий войсками Марик Ройнштейн. – Теперь вы не одни, запомните это. Я – ваш отец и мать. Это Израиль, у нас сирот не бывает. Получите ли вы от меня еду?

Тирон номер один напрягся и глянул на своих. На левом фланге кто-то тихо сказал:

– Нет.

«Молодец, – подумал тирон номер один. – Давай».

– Громче! – приказал генерал-фельдмаршал главнокомандующий войсками Марик Ройнштейн.

– Нет! – довольно громко сказал подопечный тирона номер один с левого фланга.

– Правильно, – сказал генерал-фельдмаршал главнокомандующий войсками Марик Ройнштейн. – Получите ли вы от меня теплые норы и мягкие кровати?

Это было непонятно, и шеренга молчала.

¹¹⁷ Солдат, проходящих курс молодого бойца (*ивр.*).

¹¹⁸ Военный инструктор, командир на курсах молодого бойца (*ивр.*).

– Нет, – поспешно сказал тирон номер один. Сердце у него колотилось.

Генерал-фельдмаршал главнокомандующий войсками Марик Ройнштейн повернулся к нему на каблуках и смерил его тяжелым взглядом. Сердце тирона номер один упало. Оставалась одна надежда – на подготовленный сюрприз.

– Что вы получите от меня? – спросил генерал-фельдмаршал главнокомандующий войсками Марик Ройнштейн.

И тогда тирон номер один взвизгнул: «Сейчас!» – и двенадцать кандидатов, приведенных им в строй, прокричали так стройно, как умели:

– Честь, порядок, слава!

Генерал-фельдмаршал главнокомандующий войсками Марик Ройнштейн помолчал.

– Честь, порядок, слава. – сказал он. – Вам повезло, молодые люди. Я прожил тринадцать лет, и никто никогда не предложил мне это: честь, порядок, слава.

64. Ничего не бойся¹¹⁹

После отделения алкалоидов (тебаина, нарцеина, папаверина и пр.) маточный раствор в течение часа обрабатывают известью в объеме 5:1 при хорошем перемешивании. Выпавший меконат кальция отфильтровывается, и раствор упаривается до 1/8 объема, затем в упаренный раствор прибавляется 10% соляной кислоты и спирт. С выпавших и осевших смол спиртовой раствор сливается декантацией, и спирт по возможности полно отгоняется. Остаток для отделения хлоргидрата кодеина оставляется для выкристаллизации, которая протекает в течение 4 дней. Выпавший хлоргидрат слегка промывается разбавленным спиртом. Выход кодеина равен 0,8% от веса экстракта; при стоянии маточников в течение 3–5 дней можно выделить еще 0,2% кодеина, но на это, понятное дело, ни у кого нет времени, конвейер-конвейер-конвейер-конвейер, работа идет в четыре смены, стране нужен твой кодеин, товарищ, а про долговременные последствия радужной болезни уже ходят легенды, и как врачи ни объясняют, что никто и ничего не может знать про долговременные последствия радужной болезни, потому что ни у кого покамест не было долговременной радужной болезни, говорится страшное: конечно, в первую очередь – про рак, причем непременно мозга (даром, что ли, голова болит), и еще, как водится, про бесплодие, и говорят, что рокасет не помогает на самом деле, с рокасетом, конечно, голова не болит и разводов на коже нет, и глаза тоже обычные, а внутри все равно она – радужная болезнь. На заводе хорошие врачи, есть хороший ветеринар Давид Хамдам, злой, кричит и командует, хороший, быстро лечит, никому не говорит: «Само заживет», – а плохой ласковый и говорит: «Само заживет», – а страшно же: вдруг не заживет? У Дуди все время красное было и болело там, где лапа самая толстая, потому что этим местом все время бумажку с порошком: вшшш! вшшш! («...ииниии загладили, ииниии загладили! Так понятно? Всем понятно? Теперь вместе пробуем: ииниии загладили, ииниии загладили!...»). Плохой доктор дал муху из банки, пальцем по голове поводил, сказал: «Потерпеть надо, будет мозоль, твердое такое, само заживет», – к хорошему доктору Давиду Хамдаму Дуди не хотел идти, тот кричит очень сильно, Дуди не боится никого, еще бы, он почти самый большой, больше Нати даже, сильный, зубы большие, но к хорошему доктору не хотел идти; Нати сказала: «Собаки вот придут на кровь! Вдруг они на кровь, как раньше? А? Вдруг от крови они как раньше?» – тогда Дуди пошел, хороший доктор Давид Хамдам как раз стоял у громадного чана, куда сыпался порошок такой толстой полосой, чан трясется немножко, а внизу высыпается порошок уже иначе, нежно-нежно, красиво, а хороший доктор Давид Хамдам стоит, смотрит, как оно красиво. Хороший доктор Давид Хамдам сразу стал кричать непонятно на кого, как будто на Дуди, но не на Дуди, сказал: «Подонки, выродки; ну, ничего, Господь все видит», Дуди испугался, побежал к краю стола, доктор поймал, намазал так, что стало очень больно, завязал, потом шипел рацией и опять на кого-то кричал, но потише, и оказалось, что Дуди не надо работать целых три дня. Дуди спал, спал, а еще иногда приходил к конвейеру, подойдет к Нати и вдруг начинает вот так делать: голову поднимает и лапы тоже поднимает и как бы привстает на хвост, сразу делается еще больше и очень красивый. Потом ходит вокруг Нати и опять так делает. Дура Лили говорит Дуди: «Ты это чего? Ты чего?» – а он и не знает, походит-походит и опять привстает. Нати мешает, она два раза кусала его, а Хани смотрит, и каждый раз, когда Дуди так делает, что-то происходит в ней – как будет она снова трется о стенку тем местом, где рос ее бедный, бедный хвост, и это так сладко, что Хани отбегает в сторону и дышит: если они заметят, ей конец, они только забыли про нее, нет, нет. Хани теперь не спит под конвейером там, где они все, эти три суки не дают ей лечь, только она ляжет – они приходят и смотрят на нее, она перебежит – они опять приходят и смотрят, им весело, поэтому Хани спит теперь

¹¹⁹ В главе используются цитаты с сайта «Справочник химика 21» (<http://chem21.info>).

там, где отдыхают собаки, большой загон, внутри мягкое постелено, неудобно, а под стенкой хорошо. Собакам все равно, Хани слушает, что собаки говорят, а собаки говорят, что от радужной болезни у кобелей яйца отсохнут. Хани закрывает глаза, ноет то место, где был ее бедный хвост, как будто и хвост, которого нет, ноет, а как будто и что-то другое. Хани идет туда, где спят они все, Дуди тоже спит. Хани очень тихо идет, трогает Дуди, он спит совсем крепко, Хани уходит. Зачем она Дуди? Хвоста нет. Кто-то идет за Хани, в ужасе она взлетает на стенку – но нет, там внизу не Нати, не Орли и не Лили, там Рони, привстает на задние лапы и падает, привстает и падает, смотрит на нее. Хани идет вниз, они с Рони быстро совокупляются, Хани очень хорошо, очень приятно, теперь она хочет спать. Вдруг Рони спрашивает ее: «Что такое яйца?» «Это только у кобелей, – говорит Хани. – Ничего не бойся».

Все это, как вы, конечно, понимаете, нормальная подростковая история и т. д.

65. По команде «сидеть»

نرقد إذا أمرنا بالجلوس

*«Мы лежим по команде „сидеть“» (араб.), граффити, Колонна веры (карантинная зона старого Яффо), ноябрь 2022.

66. С комментариями автора: «Ур-ур-ур»

Михаэль Артельман
Специально для «Резонера»

...Рассказывают, что один математик в юности, пришедшейся на восьмидесятые годы, по распределению что-то такое отрабатывал на промысловом флоте и даже пару раз ходил в море, как большой, – добывать налима. Вот всю жизнь математик рассказывает тем, кто готов его слушать, что рыбы не молчат, а налим так вообще урчит и хрюкает, и что был у них на флоте боцман, который это урчание и хрюканье умел вербально трактовать. Скажем, налим ур-ур-ур – а боцман говорит: «Это он мамку поминает». Или там, скажем, налим хрю-хрю, а боцман: «Говорит: на убой везете, а жрать не даете». И вот теперь математика начинает мучить вопрос, как там налим – молчок, как и все остальные рыбы, или перевел свое ур-ур-ур и хрю-хрю в человеческую речь. Математик находит в фейсбуке боцмана, радостно узнает, что боцман все еще не вышел на пенсию, и после положенных цветистых приветствий спрашивает про налима. «Урчит и хрюкает!» – радостно сообщает боцман. «А что? Что?» – жадно интересуется математик. А боцман ему: «Да хуй вас, образованных, разберешь».

...Рассказывают, что на волне джессигейта¹²⁰ молодой сотрудник одного консервативного издательства, прежде гордо топивший в соцсетях за «отказников», проникся чувствами и согласился посидеть с игуаной своих «озверевших»¹²¹ родичей, которые с начала асона перестали оставлять бедную девочку одну больше, чем на два часа, – ей же одиноко, тоскливо, ну как же так. И вот он приходит, там, ну, интеллигентный дом, клетка с игуаной стоит на Виноградове, между Бартом и Грюнберг-Цветиновичем, в клетке палочки, фруктики, одеялко, еще какие-то прелести – словом, любовь, забота и толстый слой чувства вины, какое теперь полагается иметь порядочным людям. А молодой человек с детства не слишком-то любит животных, он уже жалеет, что согласился, и от неловкости начинает нести ахинею и излагать игуане свои отказнические взгляды. «Я бы, – говорит, – если бы ты мне надоела, усыпил бы тебя, не задумываясь». Игуана молчит. «И вообще я готов съесть кого угодно, кто ниже меня в пищевой цепочке!» Игуана молчит. «И если бы ты меня укусила, я б тебя, может быть, кааааак жажнул об стену!» Игуана молчит. «Что, – спрашивает молодой человек с удовлетворением, – страшно тебе, коряге?» «Страшно, – говорит игуана. – Очень страшно. Скоро придут, в одеяло заворачивать будут, ананас в рот совать будут. Очень страшно».

¹²⁰ Джессигейт – это огромная история: ювелир Паренок, семидесятидевятилетний старик, нищий и одинокий, усыпил в ветеринарной клинике свою здоровую молодую кошку Джесси, потому что больше не мог менять ей песок и кормить тоже не мог. Джесси догадалась, что происходит, плакала, вырывалась, говорила. Ветеринар не выдержала и на следующий день пошла к знакомому журналисту, никаких имен не называла, просто согласилась рассказать несколько историй про усыпление – мол, пусть общественность потребует у Думы принятия закона или что, и можем ли мы теперь, и нельзя же так. Журналист же, понятно, имена немедленно раскопал, «озверевшие» скандировали у бедного старика под окнами, Паренок покончил с собой, принял все, что в доме было. А что Дума? Дума задыхается, подо все это надо подводить законодательную базу, с одним оскорблением чести и достоинства уже совершенно непонятно, что делать, а волки в городе Тайга есть-то теперь никого не едят, но отжимают телефоны, сумки с вещами и потом по каким-то своим каналам куда-то толкают, а в Краснодаре два лабрадора выбросили вора из окна. А гневливый Михаэль Артельман читает-читает про это и все больше изумляется – не всему вот этому (помилуй, Господи, матушку нашу Россию), а себе, себе: ни малейшей гневливости не вызывают у него ни волчары с телефонами, ни превысившие то и это лабрадоры, только посмеивается Михаэль Артельман, причем даже когда речь идет о кобелях (а про сучек речь особая, в жизни Михаэль Артельман на женщину руку не поднял, ни на сучку, ни на несучку). Нет, даже кобели почему-то не бесят Михаэля Артемьяна.

¹²¹ Комментарий 1: Вот и определился язык, великий и могучий, с общепринятой терминологией. Автор тут видел прекрасный мем: отказник с открытым ртом и перекошенным лицом (а также, естественно, с жидкой бородашкой и в клетчатой рубашке), на голове у него сидят два кота сразу; один: «Вася, ты меня любишь?», второй: «Пошла на хуй, блядища, – Васенька мой!», внизу на черном – надпись: «Главное – считать, что асон ничего не изменил».

...Рассказывают что к директору понтового спа для животных на Фрунзенской (с услугами вроде «SPA-Комплекс „Черная страсть“ с натуральным маслом арганы»), куда чуть ли не собачек Вексельберга носят делать маникюр, приходили безликие люди в костюмах и намекали, что хорошо бы поставить там и сям прослушивающие устройства: «Вот ваши девушки же наверняка со зверюшками беседуют? Беседуют...» Нашли слабое место, значит.

...Рассказывают, что инженер Т. вернулся с «митинга ЧОПов»¹²² очень возбужденным и всем пересказывал одну и ту же ходившую в толпе историю: кто-то перед Новым годом взял на работу в «Перекресток» кошку, сделал фотосъемку, устроил рг-акцию – ты кладешь сто рублей одной бумажкой, кошка в ответ выдвигает на прилавок коробочку с елочным шариком, все. Очередь выстроилась огромная, деньги потекли. Через три дня кошка начала говорить: «Женщина, не напирайте» и «Вас много, я одна».

...Рассказывают, что в одном уездном зоопарке у слона был крайне дурной характер – в частности, слон этот кидался собственным дерьмом в посетителей, а когда за ним стали оперативно убирать, слониха начала подсовывать ему свои какашки – мол, ни в чем себе не отказывай, дорогой. И жалобы были, и скандалы были – хоть закрывай от публики слоновник, но публика же хочет слона! Она только дерьма на голову не хочет, а слона хочет. И так пытались со слонами работать, и так – ни хрена, кидается. А тут такая возможность – попробовать со слонем человеческим языком поговорить. И вот директор зоопарка, чуть не плача, спрашивает слона: «Ну зачем? Зачем вы это делаете?» А слон ему: «На волю! На волю отпускаю!..»¹²³

¹²² *Комментарий 2:* В последнее время только легенд о том, что азиатские барханные коты насилюют русских женщин, и не хватает. Точно ли не насилюют? Мы проверяли? Впрочем, о котах разговоров меньше – а больше о собаках; собаки, например, отжимают места у ЧОПовцев – вернее, ЧОПы все чаще берут собак на место этих вялых мужчин неопределенного возраста, торчащих у каждой незапертой двери. Собаки и смотрят хорошо, и нюхают хорошо, и укусить – не укусит, а завалит какой-нибудь дог тебя так, как радикулитный ЧОПовец и извернуться не может; по деньгам выходит так на так, хотя у тех, кто раньше работал на границе или в армии, крыша жесткая, договориться бывает трудно.

¹²³ *Комментарий 3:* Врут, наверное? Не может же быть так удивительна и прекрасна жизнь?

67. Теперь, когда они все

Алюф Цвика Гидеон сам подивился тому, что прежде, чем заговорить, не только подергал дверь в кухонный блок – тяжелую, запертую дверь, охраняемую снаружи двумя свежеспеченными самаями¹²⁴, – но и, сам себя стыдясь, быстро осмотрел пол: нет ли кого мелкого. Это была не просто официальная секретность, но тревожная секретность людей, собравшихся делать дурное дело, – хотя он, алюф Цвика Гидеон, совсем так не думал, но вот же – из-за мрачной мины Зеева Тamarчика, окончательно размякшего в силу своей семейной ситуации, и он почувствовал себя гондоном и чуть ли не военным преступником. Он разозлился и быстро заговорил: мол, в конце концов, речь не идет даже о грызунах, но надо срочно что-то делать, нельзя больше так сидеть; он сказал и про повалынные аллергические реакции на тигрового комара, с волдырями в половину детской щеки, и про эпидемию отравлений, которые – ему точно сказали – напрямую связаны с мухами, и, наконец, про слепней и оводов – он специально упомянул слепней и оводов, чтобы подчеркнуть, что, в конце концов, не только о людях он печется, правда же? Он еще говорил, а ему уже стало понятно, что Зеев Тamarчик в этом деле почти бесполезен, что половина его, алюфа Гидеона, усилий уйдет на преодоление страхов и сомнений Зеева Тamarчика, но и отдать задачу кому-нибудь другому нельзя: в последнее время он и так слишком явно был раздражен тем, что происходило с Зеевом Тamarчиком, им только раскола сейчас не хватало. Приходилось идти напролом.

– Зеев, – сказал алюф Цвика Гидеон, – я могу на тебя рассчитывать?

Зеев Тamarчик молчал – бесяще, слабовольно молчал, – а потом сказал:

– Просто теперь, когда они все живые...

Первый смешок донесся из угла, где сидела Сури Магриб, кусая свои до крови обкусанные ногти; затем хмыкнул эфиопский – или суданский? – мальчик из охраны, и алюф Цвика Гидеон впервые подумал, что не такой уж этот мальчик простак, каким казался. Потом засмеялись все, и Зееву Тamarчику тоже пришлось засмеяться, похлопать себя руками по коленям, сказать: «Ну бээмэт¹²⁵, вы же меня поняли» (о да, они его поняли), и начать заново – и снова у него получилось:

– Просто теперь, когда они все живые...

¹²⁴ Сержанты (ивр.).

¹²⁵ Зд.: «реально» (ивр.)

68. Что за взвод

Приведенные ниже тексты взяты из коллекции военного фольклора времен асона, собранной доктором А. Г. Довганем («Роль фольклора в преодолении тревоги, депрессивных состояний и нарушений идентичности, вызванных отсутствием посттравматического синдрома у бойцов ЦАХАЛа»¹²⁶, Tel Aviv University Press, 2028, ISBN 9783161484100). На протяжении 2022–2026 гг. доктор Довгань вел в госпиталях, клиниках для прошедших декомиссию и на военных базах общего доступа сеансы групповой терапии для солдат, чье психологическое состояние было отягощено тревогой, вызванной отсутствием посттравматического синдрома и чувства вины за собственные действия и действия армии в последний период асона. Каждый приведенный ниже отрывок является переделкой существовавшей до Войны и асона фольклорной армейской песни.

1

Что это за взвод, ах, что это за взвод,
тут каждый еле держится на ногах,
любой енот может откусить ему нос,
что это за взвод, ах, что это за взвод.

Что это за взвод, ах, что это за взвод,
собаки смотрят на нас с презрением
и говорят друг другу: «Цыплята-то дохлые!»
Что это за взвод, ах, что это за взвод!

Что это за взвод, ах, что это за взвод,
наш командир с трудом бредет вперед;
у него радужный нос, радужные уши и радужный член,
Что это за взвод, ах, что это за взвод!

Что это за взвод, ах, что это за взвод!
Скоро мы начнем ползать на четыре;
может, тогда наконец кто-нибудь позаботится и о нас.
Что это за взвод, ах, что это за взвод!

(Исполняется на мотив песни «Эйзу махлака»¹²⁷.)

2

Эта земля – родная для всех;
Возьми наш взвод под свое крыло;
И даже если смертная тень коснется нас,

¹²⁶ Здесь и далее подстрочный перевод песен выполнен автором романа.

¹²⁷ «Что это за взвод» (ивр.).

Мы не заметим, продолжая улыбаться тебе.

Мы идем по солнцу среди развалин,
Суем пайки направо и налево;
Распуши свой хвост над нашим взводом,
А мы сбережем для тебя полпайки.

(Исполняется на мотив песни «Аль адама шэль кавод»¹²⁸.)

3

Ты ушла от меня,
осталось одно разочарование;
ты ушла в город
чтобы стать заботницей¹²⁹.
Тебя подобрал элитный жеребец,
поставил тебя раком на городской площади;
кто бы мог подумать, что сука может
совокупляться с жеребцом;
кое-кто, видать, только выиграл от асона.

(Исполняется на мотив песни «Азавт оти, яльда»¹³⁰.)

4

Прилетай к нам, самолет,
забери нас в подземную «Сороку»¹³¹;
пусть нам там пришьют яйца —
может, мы перестанем так бояться.

Прилетай к нам, самолет,
привези нам растаскивающего порошка;
может, мы научимся лизать себе яйца,
и в жизни появится хоть какое-то удовольствие.

Прилетай к нам, самолет,
развези нас по домам.
Пусть наши коты оторвут нам яйца —
может, мы передумаем в них стрелять.

¹²⁸ «По земле чести» (*ивр.*).

¹²⁹ На рубеже 2020–2021 годов возник внесистемный феномен «заботниц»: молодые женщины (хотя иногда эту роль играли мужчины) посвящали значительную часть времени ежедневному обходу проживающих в разрушенных городах, поддерживающим разговорам с этими людьми и заботе об их нуждах. Бытовал стереотип, согласно которому «заботницы» в первую очередь искали возможности избежать одиночества и установить дружеские, а возможно – и сексуальные связи.

¹³⁰ «Девочка, ты оставила меня» (*ивр.*).

¹³¹ Одна из крупнейших больниц Израиля; во время Войны и асона впервые задействовался подземный комплекс, рассчитанный на чрезвычайные обстоятельства.

(Исполняется на мотив песни «Рэд элейну, авирон»¹³².)

¹³² «Прилетай к нам, самолет» (ивр.).

69. Надо попросить

Были свои, пятнистые, и были, конечно, коты и несчастный каракал с незаживающей, ободранной бурей до кости ногой, и было несколько енотов, от которых никто не ждал ничего осмысленного, зато они тишком-молчком разнесли по лагерю весть о том, что эта встреча на задах слоновьего загона состоится; и были землеройки, вечно благостные землеройки, от вида которых он почему-то сразу занервничал. Договорились, что надо все делать до захода солнца, пока лагерь более или менее занят своими делами, он ждал и бегал кругами по пересохшей, утоптанной до каменной плотности площадке, усыпанной окурками дрянных пайковых сигарет, но рано или поздно пришлось начинать, и из-за того, что были здесь не только коты, но еще и еноты, и землеройки, он был вынужден говорить по-человечески, и это уже было нехорошо, неправильно, он это чувствовал. И еще он чувствовал, что это получится нехороший, нервный разговор, и все время смотрел на самого старшего из троих своих – вернее, на самую старшую из своих – на Карину, у которой пятна на скулах сходились в темные жесткие тени; от Карины и ее сыновей он больше всего ждал неприятностей, а еще боялся, что два молодых – младше него, розовоносых, – тоже пойдут за ней, как за мамкой, тем более, что один из них был зоопарковый, совсем простой мальчик. Землеройки стали засыпать, он понял, что пора говорить, и заговорил сухим ртом. Он сказал, что самое главное – не надо ни с кем ссориться. Надо попросить. Надо сказать: «Нам не нравится так каждый день, неприятно. Неприятно два раза в день чтобы кормили, как маленьких. Рокасет каждый день в очереди тоже неприятно». Надо сказать, что они не дети, не глупые. Они могут. Пусть им дадут. Пусть даже люди проверяют, пусть им дадут понемножку, но только не надо два раза в день, не надо один раз в день, неприятно. Он еще говорил о том, что надо больше стараться за золотые звездочки, надо быть в совете, он понял, как работает совет, а сейчас там только два енота, с енотами нельзя договориться, он пробовал: они только смеются, у них свои дела, им все равно, а надо, чтобы больше наших было в совете, вот он старается, у него уже шестнадцать звездочек, это нетрудно, надо только стараться, а когда ты в совете – легче подойти, легче объяснить про неприятно, нет? Он еще говорил про то, что еноты же смогли, еноты живут, как хотят, а надо не только енотам, и совсем не обязательно при этом быть плохими, как еноты, нет; можно быть хорошими. Он еще объяснял, как именно можно быть хорошими, когда темноскулая пошла к выходу и те двое, розовоносые, пошли за ней. Он затравленно посмотрел на котов: беленький котик вылизывался, серенький котик ностальгически смотрел на мелких землеройных детенышей, черненький котик сосредоточенно думал о чем-то своем, выкусывая грязь между пальцами и переводя взгляд с его морды на удаляющийся хвост темноскулой. «Если они сейчас пойдут за ней – все кончится плохо», – сказал он себе. Дело было не в этих трех котах, дело было, конечно, в том, чего хотел он – и чего хотела темноскулая: не золотых звездочек, нет. Коты пошли. Землеройки визгливо, поддакивая друг другу, корили его: такая неблагодарность, еда есть, рокасет есть, таблетки от червяков в животе дают, как ему не стыдно, такая неблагодарность; он не слушал: он смотрел, как темноскулая, окруженная кошачьими малыши и большими, идет через слоновник – и как трое людей с двумя детьми играют прямо у нее на дороге, и как она идет на них, не сворачивая, идет и идет, идет и идет, пока они, замолчав, не разбегаются в стороны.

70. Мамааааша

– Мамаааааша, – сказал он, глядя ей прямо в глаза желтыми своими глазами.

– Не смей меня так называть, вилде хае¹³³, – слабо сказала Грета Маймонид и попыталась ткнуть в горелого палкой, но кот немедленно оказался у нее за спиной, а серый, обмотанный бесценным чулком с шелковой ручной вышивкой у самой пяточки (когда-то, в невообразимое время, эти чулки подарил Грете Маймонид человек, однажды при ней затоптавший ногами крысу), спрыгнул с загаженного подоконника, с треском и скрежетом провел когтями по грязному гипсу на ноге Греты Маймонид и тоже сладостно протянул:

– Мамаааааша.

¹³³ Тварь, скотина (*идиш, литературное*).

71. И птиц

Дело шло к драке, к той бессмысленной драке, которая начинается с обидных попыток перевопить друг друга и неловких толчков, а заканчивается всеобщим ревом и материнскими усталыми увещаниями, – но только в то лето все переменялось, Эли Гору и Ниру Гору тогда исполнилось десять, а Сури Магриб девять, и драки вдруг стали иными, болезненными и бесслезными, и вообще все стало другим. Только разговоры их – иногда, совсем редко, если никого не было рядом, – все еще оставались иногда прежними разговорами, и были они втроем против всего мира и друг за друга. Вот сейчас был такой разговор; они лежали на пересохшей траве парка Ган-Шауль, прямо под водонапорной башней, слушали, как где-то недалеко перекрикиваются цофим¹³⁴ и как привычно урчат их собственные животы, и Нир Гор спросил: «Если бы хвост – то какой?» – и немедленно испугался, что брат сейчас скажет взрослую, дешевую сальность, но Эли Гор ничего не сказал, задумался, и тогда сам Нир Гор сказал: «Я хочу, как у лисы». Эли Гор сказал, что у лисы, конечно, красиво, но он бы хотел, как у обезьяны, как у очень сильной обезьяны, чтобы цепляться за ветки и летать. Это очень понравилось Ниру Гору, теперь и он захотел хвост, как у очень сильной обезьяны, и ткнул в бок Сури Магриб и спросил, хочет ли она хвост, как у обезьяны. Сури Магриб вдруг сказала, чтобы они шли к ибенимат. Это было так неожиданно, что братья перевернулись на живот и уставились на нее, а она сказала, что вопросы у них дурацкие, как у маленьких, и давайте лучше на скорость добежим до жратвомобиля и купим сосисок. Нир Гор сказал, что, наверное, Сури Магриб пошел бы хвост, как у свиньи, крючком, и заржал. Сури Магриб спросила, случалось ли когда-нибудь этим двум дебилам видеть свинью, явно не случалось, а то бы они сразу узнали в ней себя, и вообще весь этот разговор про хвосты дебильный, и оба они дебилы. Тогда Эли Гор сказал, что сейчас, блядь, сам приделает этой бат-зоне хвост, схватил стручок харува¹³⁵ и попытался перевернуть Сури Магриб на живот. Сури Магриб стала брыкаться и попала коленом Нику Гору в челюсть. Тогда братья навалились на нее вдвоем, Сури Магриб пыталась вырвать огромный стручок харува у Эли Гора, но тот укусил ее за бедро, а Нир Гор сумел заломить ей руку за спину, и как Сури Магриб ни вжималась животом в испещренный равнодушными муравьями мрамор фонтана, Эли Гору удалось свободной рукой расстегнуть ей пуговицу на шортах, а Нир Гор дернул шорты вниз – и тут они увидели то, что увидели. Потом они сидели, все трое, красные и потные, пытаясь отдышаться, братья смотрели на Сури Магриб, а Сури Магриб не смотрела ни на кого. Потом Эли Гор осторожно спросил: «Он растет?» – а Сури Магриб сказала, что не растет, всегда такой был. Тогда Нир Гор спросил, может ли Сури Магриб им шевелить, а Сури Магриб сказала, что нет, но иногда он сам быстро-быстро двигается вправо-влево, особенно если нервничаешь. Тогда Нир Гор спросил, умеет ли Сури Магриб понимать язык зверей, но Эли Гор ткнул брата стручком харува и велел ему заткнуться, а сам спросил, чувствует ли эта штука что-нибудь, а Сури Магриб сказала: «Побольше тебя, идиот».

¹³⁴ Бойскауты (*ивр.*).

¹³⁵ Рожковое дерево (*ивр.*).

72. Будущее принадлежит нам

На шести верблюдах везли для бабушки Рахми Ковальски паркет из карельской березы от Яффского порта до крошечного, пыльного Тель-Авива: девочка занимается балетом, девочка гениальная, вы еще увидите, она станет первой звездой балета в Эрец-Исраэль. Верблюдов бабушка ненавидела и боялась, балет ненавидела и боялась, по ночам молилась, чтобы верблюды ступили на зыбучий песок и земля проглотила их, чтобы верблюды упали в пропасть и переломали себе ноги. Это был девятнадцатый год, а в двадцать четвертом году бабушка стала первой звездой балета в Эрец-Исраэль, больше было некому, некуда было отступать, и был знаменитый снимок – как она исполняет прелестный арабеск на фоне палестинских холмов, на спине у верблюда, которому тоже отступать было некуда.

73. Брадифазия – это...

...замедленная речь как результат заторможенности мышления. «Мы Гольдберги... – невыносимо медленно говорил радужный, как волшебный камень, жук, слишком слабый, чтобы оторвать от земли огромные и прекрасные свои мандибулы, – мы Гольдберги...» – но дальше дело не шло, и каждый раз Йонатану Киршу было непонятно, зачем жук это произносит и чего от Йонатана Кирша хочет – но чего-то же явно хочет? Жуки знали все, и все знали, что жуки знают все, но разговаривать с ними было невозможно, и один только Йонатан Кирш жуков этих, сбившихся в стадо под корнями пламенеющей и нежной альбиции на площади Рамбам, не избегал, сам не зная, почему: может, именно из-за того, какой медленной и необязательной была их речь, Йонатан Кирш и сам мог сказать с ними пару слов. Вообще же Йонатан Кирш спускался на землю редко, нехорошо было на земле – впрочем, и наверху было нехорошо, были там белки, которые приходили стаяй, обсиживали дерево и опустошали, не оставляя Йонатану Киршу ни ягодки, ни задохшейся твердой мандаринки, и майны, ни с кем не вступавшие в сговор, намертво державшиеся друг друга и умевшие кричать чужими голосами, чтобы наивные, обманутые воробьи и горлицы говорили им, где поспела горькая пираканта, этим страшным, буйным летом плодоносившая ягодами размером с вишню; даже птенцы майн – и те умели сбиться в кучу и медленно, медленно гнать Йонатана Кирша с ветки на ветку, пока не приходилось ему улететь. Никому не удавалось договориться с майнами ни о чем, а Йонатан Кирш в изгойском своем одиночестве был существом сговорчивым – может быть, это и почувляли тогда псевдопески, египетские летучие собаки, отбившие его у котов, – увидели, что от него выйдет им немалая польза, а может, и просто пожалели по какой-то, что ли, летной, крылатой общности; но больше всех бились за него тогда Крупный и Худая, этих Йонатану Киршу трудно было заподозрить в сострадании – они так точно поняли, что когда он перестанет трястись и задыхаться, его можно будет пустить в дело. Так и вышло, что послушный Йонатан Кирш с сильным клювом и сильными ногами, которые кое-как держали его на скользких радужных ветках, жил на земле, с псевдопесками, а день свой проводил наверху, сбрасывая вниз финики, резиновые личи, лопающиеся при ударе об асфальт, и страшные, как меч, стручки рожкового дерева, которыми Йонатан Кирш каждый раз боялся убить кого-нибудь из мелкоты. Псевдопески поселились в дальних комнатах «Бейт а-Эзрах», темных и забитых столами, бумагами, цементными осколками, но в остальном почти целых, и Йонатан Кирш спал там, среди них, забившись в угол; на полах уродливых кабинетов этого уродливого здания лежали коврики, и передвигаться по ним и по плотному слою бумаг псевдопескам было легче, чем по скользкому мрамору; хорошее место; один раз, правда, в «Бейт а-Эзрах» заходили шакалы, переселившиеся в эти пайковые края из парка Яркон; шакалам понравилось, и пришлось псевдопескам орать невыносимыми голосами (поразительно похожими на шакальи) и бить шакалов отяжелевшими крыльями по мордам; в ход пошли зубы, Худая и еще двое погибли, а маленькому черному самцу, который всегда был против Йонатана Кирша и его небесной помощи не принимал, шакал зубами оторвал крыло – он две ночи плакал, пока не умер, и Йонатан Кирш под этот плач почему-то думал о Даниэле Тамарчике и думал, к своему удивлению, совсем не плохое, жалостливое. Шакалам было тяжело: кроме пайков, никакой еды для них теперь не было, пайки же армия в стальной и непреклонной мудрости своей стала с некоторого момента планомерно урезать (алюф Гидеон не без помощи Иланы Гарман-Гидеон придумал слоган «Лагерь – новый город» и гнул свою линию, не видя повода и дальше тратить драгоценные ресурсы на раздачу пайков отщепенцам). Шакалы же, в свою очередь, рассказывали про лагерь страшное: то говорили, что люди стали выгонять из лагерей животных, то наоборот, что за пределы лагеря теперь запрещено выходить, за все наказывают, требуют, чтобы в стае было не больше трех шакалов (тут Йонатан Кирш полностью готов был лагерные власти поддержать), и запрещают бадшабам

переговариваться своим языком. Йонатан Кирш хотел однажды толком поговорить про лагерь с отставшим от своих старым шакалом (запах целой стаи он вынести не мог, пахли шакалы хуже псевдопесков), расспросить, но шакал о лагерях говорить не желал, а желал говорить только о котках, да и тут все его разговоры сводились к глухой и тоскливой смертной ненависти. Йонатан Кирш не раз видел издали, как на развалинах коты и шакалы дерутся группами насмерть, а однажды довольно близко наблюдал, как шакалы с котами бились по очереди, один на один, а люди стояли вокруг, кричали, хлопали, и на этом месте утром была кровь и пустые консервные банки – от людей везде оставались консервные банки, и один человек – огромный, пухлый – иногда собирал эти банки в огромные пухлые черные пакеты и с руганью относил к переполненным, вонючим мусорным бакам; смысла в подобных действиях никакого не было – понимали это и Йонатан Кирш, и сам пухлый человек. Иногда из этих баков пытались есть олени, а еще случалось Йонатану Киршу видеть страуса, злого и бесстрашного, рвущего черные пакеты клювом; страус получал рокасет и кусал солдатам пальцы, когда высыпали ему в рот очередной порошок, и ходил слух, что в живом уголке парка Яркон страусов два и что второго этот, кривоногий, забил клювом уже в городе – не поделил с ним кубики с картинками, к которым сам сильно пристрастился. Страус в последнее время стал навязчивым ужасом Йонатана Кирша, почему-то боялся он страуса сильнее, чем шакалов и котов, – может, потому, что бедные умирающие Гольдберги боялись страуса так, что смогли даже выдавить из себя историю о том, как страус дальним жукам, Кацам, жившим аж на детской площадке за Сдерот А-Елед, поразбивал клювом спины; есть, конечно, не стал, а красивые, больные, радужные надкрылья позасовывал себе между перьев; не было зверя страшнее страуса, и хотя почти никто его не видел, все страшились его, даже олени, пришедшие из парка непонятно зачем, – вот уж кому и без пайков в парке еды хватало; а только все равно лучше бы им, дурачкам, в лагерь – но они так боялись людей, что даже за рокасетами к солдатам не подходили, смотрели издали, и глаза у них были невозможной красоты – радужные, а в середине черные; без рокасета оленям было совсем плохо, и по всему Рамат-Гану лежали маленькие кучки ярко-зеленой оленьей рвоты, и еноты иногда за порошок-другой уговаривали оленей перевезти их, енотов, на большие расстояния, даже и на другой конец Рамат-Гана. Страшен был мир внизу, страшен наверху, и нигде не было места бедному Йонатану Киршу, лишенному стаи и дома, и он ждал смерти, а все равно не мог отказаться от солдатских порошков и консервированных ананасов, которые приносил человек в черной кипе, покрытой серой пылью, и презирал себя, и по ночам с закрытыми глазами воображал, что его, Йонатана Кирша, больше нет, и только это приносило ему утешение, а от разговоров рабби Арика Лилиенблюма с псевдопесками, наоборот, делалось только хуже, и Йонатан Кирш старался их не слушать, потому что из них всяко выходило, что он, Йонатан Кирш, долго еще вынужден будет быть. Чего от этих разговоров ждал и хотел рабби Арик Лилиенблюм – это сейчас дело десятое, но вот чего он не ждал точно – это что псевдопески начнут по вечерам про что-то спорить, быстро говорить, даже пару драк видел Йонатан Кирш, пока не забивался в угол и не закрывал глаза, и главное слово в этих визгливых спорах было «Иерусалим». Йонатан Кирш почувствовал недоброе и испугался; он спустился даже вниз, к жукам Гольдбергам, долго молчал, а потом, когда опять послышалось «Иерусалим», вопросительно склонил голову – и самый старый, еле движущийся жук Гольдберг с трудом оторвал мандибулы от земли и сказал: «Если увидите там... Если там увидите...» – но договорить не смог, хотя Йонатан Кирш пару раз двинул его клювом. Так Йонатан Кирш понял, что Иерусалим – это какое-то «там», а потом вдруг как-то оказалось, что завтра, буквально завтра с утра псевдопески отправляются в Иерусалим, вот так, по земле, таща на себе младенцев, и рабби Арик Лилиенблюм, в ужасе от результатов собственного труда, что-то им говорил, смешно и дерганно взмахивая черными руками, но псевдопески отвечали про молоко и мед, а еще говорили, что тут их убьют, непременно убьют, тут у них своего места нет, а там – там будет, и еще – что не хотят растить здесь младенцев, и еще про какую-то песню, ужасную песню, и что не

может в прекрасном Иерусалиме быть такой ужасной песни. От отчаяния рабби Арик Лилиенблум заговорил даже с Йонатаном Киршем, сказал: «Они вас уважают, может, они послушаются вас, ну пожалуйста, скажите им, я знаю, вы же можете», – но изумленный Йонатан Кирш только отвернулся к стене, а ночью снова пошел к жукам Гольдбергам. Старый жук уже умер, Йонатан Кирш толкнул клювом в бок его еле движущуюся жену, и медленно, слово за словом выбил из нее, что ему надо туда, что все такие, как он, Йонатан Кирш, – огромные белые и мелкие бледно-желтые, карикатурно-голубые и ослепительно зеленые – летят туда, в Иерусалим, испокон веков слетались в Иерусалим, в зоопарк, все они летят в зоопарк, там все такие, как он, Йонатан Кирш, там хорошо. В ярости Йонатан Кирш чуть не убил жучиху Гольдберг, а если бы старый жук Гольдберг был жив – Йонатан Кирш бы, наверное, убил и его; Йонатан Кирш молча отшвырнул жучиху Гольдберг ногой, но она сумела перевернуться с живота на спину, подползла к нему, сказала: «Если увидите... Если там... Или где... Нойбергов, Нойбергов... Или сестер Розен... Скажите им... Скажите про нас... Скажите, что мы умираем». «Куда?» – спросил Йонатан Кирш, и жучиха Гольдберг, всегда знавшая, как и все ее племя, где Иерусалим, показала ему, и он полетел.

Уставал он быстро, и голова у него заболела быстро; один раз он думал даже спуститься и попросить рокаста, когда увидел внизу пайкомобиль на пустой площади пустого города и серую, слабую очередь к нему; но он не был приписан здесь, а мысль о том, чтобы вступить с солдатами в объяснения, была невозможной. Оставались еще еноты, но лучше головная боль, чем еноты, и он просто решил лететь медленно, отдыхая чаще, чем хотелось бы. Пока внизу был город, он забивался под разрушенный камень, один раз к нему как следует принялись два кота, он проснулся чудом, чудом же сумел прорваться вверх сквозь какую-то черную трещину, хорошая порция перьев осталась котам на украшения, коты это с некоторых пор любили; впрочем, могло оказаться, что именно эти коты украшают себя вовсе даже не зеленым, а белым или красным, он видел пару раз, как белые бьются с красными, последние чаще всего как-то метили себя обрывками липких бумажек, которыми запечатывались пайковые пакеты с кормом. Еду он по-быстрому заглатывал, стараясь не терять бдительности; его манили деревья, на которых с недавних пор стали расти сразу бананы и виноград, или, скажем, финики, внутри которых обнаруживались молочно-нежные ядра белого ореха, или даже кусты ардофа¹³⁶, на которых стали появляться маленькие засахаренные кумкваты, которые Йонатан Кирш обожал в своем маленьком, засахаренном детстве. Но вокруг всех этих сладостных даров божиих шла война, внизу и наверху, и Йонатану Киршу приходилось довольствоваться пресными яблоками и опавшими финиками, и там, среди фиников, видел он очередных медленных, радужных, с мандибулами, словно приковывающими их к земле; они указывали ему направление, а он, сам не зная, зачем ему, спрашивал их: «Нойберги?» – и они говорили: «Мы Хаиты... Хаиты... Но если там... Если вы там... Аксельманов... Яселей... Или Розен, сестер Розен... Скажите им про нас... Скажите...» Йонатан Кирш не дослушивал, зная, что сказать, и тяжело поднимался в воздух, и летел большую часть времени с закрытыми от боли глазами: маршрут его из-за этого был дик, он понимал, что летит как-то наобум, рывками и зигзагами, но понимал и то, что приближается к цели, и на каждой передышке спрашивал: «Аксельманы? Нойберги? Ясели? Хейфецы? Шиллеры?» – и еще, и еще, и только один раз оказалось, что его собеседники – действительно Шиллеры, но это были не те Шиллеры, и никаких Маршаков они не знали, но знали сестер Розен и говорили: «Розен... Если увидите сестер Розен...» На четвертый день он ночевал в городе, где не было вообще никого, ни жуков, ни людей, ни белок, и не росло ничего вкусного; все стены тут были исписаны вязью, в стенах были дыры от пуль. Йонатан Кирш попробовал рвать и жевать газеты, исписанные такой же вязью, хрустящие от долгого лежания на палящем солнце, потому что слишком устал и у него не было сил искать среди

¹³⁶ Олеандр (*ивр.*).

листвы более подходящую еду. Подлетая, он видел левее, совсем немного левее огромный и бесформенный, огражденный коричневым и исчерченный желтым лагерь; жуки говорили о нем что-то, он запомнил: «Бет», караванка «Бет». Вкус газеты был отвратительным; Йонатан Кирш закрыл глаза и позволил себе вообразить, каково это – пайки каждый день, и рокасет каждый день, и, наверное, можно пожаловаться кому-нибудь тайно, не выдавая себя, на шакалов и на котов, а может, и жаловаться ни к чему; в конце концов, можно было бы не говорить ни с кем, кроме этих самых жуков, должны же там быть эти жуки, живые и бодрые, какие-нибудь Адлеры или Берковичи, а то, глядишь, и Розен, сестры Розен, они бы сказали все за него. Внезапно Йонатан Кирш перестал понимать, какие, собственно, препятствия мешают ему поступить именно так. Лагерь, сладостный лагерь стоял перед ним яркой картинкой вроде тех, что рисовал до войны Даниэль Тамарчик – быстро, безрадостно, Йонатан Кирш знал: это было ненастоящее, «халтура». Слово «халтура» тут же вцепилось в Йонатана Кирша, он и сам не смог бы объяснить, почему податься в лагерь – это «халтура», почему надо двигаться дальше: не в жуках же дело, господи помилуй, не обязался же он им, в конце концов, и кроме того, что ему до «таких, как он», жил он без «таких, как он» и дальше будет жить без «таких, как он», а только в воображении Йонатана Кирша были теперь как будто две линии, и одна, с чистым и понятным словом «лагерь», была грязной, а другая, с пыльным, и больным, и кривым словом «Иерусалим» – чистой, и от досады Йонатан Кирш медленно заплакал, слезы были радужные и падали Йонатану Киршу на радужные когти, а потом он заснул.

Проснулся Йонатан Кирш от чьего-то огромного беззвучного присутствия и, раскрыв глаза, беззвучно, дико заорал, высунув до упора длинный черный язык. Двое сидели перед ним: манул с подранным, но уже хорошо заживающим боком и мелкий узкоголовый ягуар, припадающий к земле от малейшего шума. Йонатан Кирш попытался взлететь, но манул успел перехватить его тяжелой лапой, и Йонатан Кирш, дрожа, остался сидеть на земле. «Да не трясись ты, – раздосадованно сказал манул. – Вот же везет мне на трясучих. Что мы тебе сделаем, ну?» Йонатан Кирш хорошо помнил, что с тобой могут сделать коты – просто коты, мелкие рамагтанские коты, даже и теперь; он дрожал. «В Иерусалим, небось, летишь? – сказал манул. – Видали мы тут таких». «Пошли от него, – плаксиво сказал ягуар. – Вон облако какое; а ну как начнется? Пошли». «Как же ты заебал меня, – сказал манул, глядя на ягуара с отвращением. – Ну что ты за мной ходишь, а? Прись уже в „Бет“, там тебе, тряпке, самое место, а? В семь утра подъем, в семь тридцать зарядка, а? В десять отбой, я на тебя посмотрю, как ты, дебил, в десять заснешь. Или нет: запрягут тебя на ихней фабрике в тележку, будешь с девяти до пяти мешки таскать, а? Вали уже от меня». Ягуар смотрел на манула обожающими глазами. Манул дал ягуару хороший когтистый подзатыльник, встав для этого на задние лапы, и спросил Йонатана Кирша, откуда он. Йонатан Кирш молчал. Тогда манул спросил Йонатана Кирша, долго ли он уже летит. Йонатан Кирш молчал. «Молчишь, да?» – сказал манул, глядя на Йонатана Кирша. Йонатан Кирш с трудом кивнул. «Видали мы тут таких», – сказал манул. Йонатан Кирш все еще боялся шевельнуться. Манул сказал, что много чего видал в зоопарке, много видал его, Йонатана Кирша, отродья, оно-то по клеткам не сидело, а где хотело, там и летало; были совсем гады, дразнят, только что не на нос садятся, в еду гадят, а были и ничего, но такие вот, как Йонатан Кирш, – они часто гады. Йонатан Кирш яростно замотал головой, а манул сказал, чтобы он расслабился, хоть бы и гад, теперь-то не те времена, да и мы не в зоопарке. Видно было, что о зоопарке ему хочется поговорить. Йонатан Кирш осторожно поднял голову, заставил себя кое-как взглянуть на манула – мол, да-да, я слушаю, говорите в свое удовольствие. Манул говорил много и быстро, и зоопарк, зеленый и пронизанный светом, возникал здесь, в городе без людей и жуков, призрачным и прекрасным первозданным миром; а про то, что случилось потом, потом – когда бежали из зоопарка те, кто мог, бежали и ходили по улицам Иерусалима, и плакали, и кричали, и солдаты стреляли в них транквилизаторами, – про это он не говорил, а сказал только, что и он, манул, и его жена, и многие еще, просну-

лись в тесных клетках, в огромном ангаре, где пахло железом и страхом, а потом был асон, и лагерь «Алеф», и в лагере тоже было очень плохо, потому что одни люди все время хотели к ним лезть, а другие люди, наоборот, хотели их всех выгнать, потому что им самим не хватало ничего, и была стрельба, и крик, кто-то погиб – например, два белых медведя, злых и бешеных, и почти все обезьяны, потому что они, дуры, не хотели прятаться, воевали на стороне первых людей, кидались камнями, вцеплялись в волосы, но вторые люди победили, устроили дезинсекцию, а остальных собрали, построили, обвязали веревками, с плетками и криком привели сюда, в город Аль-Джиб, и выпустили – пусть их армия кормит; а птицам, сукам, хорошо, жри с деревьев, лети в свой сраный Иерусалим. Йонатан Кирш не смотрел на манула, не мог, а смотрел на стену какого-то красного домика с провисшей стиральной веревкой, аккуратно увешанной прищепленными трусами; веревку покачивал ветерок, и зеленые поношенные трусы то скрывали зад нарисованной на стене страшной собачки с револьвером вместо хвоста, то снова открывали. Одна прищепка вдруг отщелкнулась и упала манулу под ноги, Йонатан Кирш не выдержал, посмотрел на манула и вдруг увидел, что у того в уголках рта выступает пена, а потом манул вдруг со всего размаху ударил по шее ягуара и бросился бежать прочь, куда-то в низкие темные переулки. Ягуар посмотрел ему вслед, сказал нежно: «Вот говнюк», – и побежал следом, хвост у него был грязный, шерсть слиплась, и почему-то от вида этого хвоста Йонатан Кирш принялся судорожно чиститься, а потом забрался повыше, пролез в темное, похожее на птичий глаз чердачное окно и там заснул. Ночью его два раза будило громкое пощелкивание: еноты обходили район, предлагали порошки, шоколад, кубики с картинками. Йонатану Киршу страшно хотелось горького обезболивающего порошка, и на третий раз он не выдержал, спустился к енотам. Они долго не понимали его жестов, потом сообразили, с него потребовали фиников и долго вели его к дереву с финиками и фиолетовой приторной клубничкой размером с его, Йонатана Кирша, голову. Он попытался сперва выпросить порошок – долбить финиковые черенки раскалывающейся головой было омерзительно, но еноты сделали странное: сложили пальцы так, что один, большой, торчал между средним и указательным, и Йонатан Кирш догадался, что порошка вперед ему не будет. Он кидал и кидал вниз финики, еноты требовали еще, и под конец от боли и головокружения Йонатану Киршу стало все равно, он спустился и лег, уперев лоб в землю, точно были у него тяжеленные огромные рога, тянущие голову вниз, и тогда еноты перевернули его, один порошок высыпали в рот, а второй положили рядом, финики завернули в какую-то тряпку, ушли, он остался лежать, и от долгого перерыва кокаиновый порошок сделал с ним удивительное: стало ему легко и внутри как-то мягко, и выяснилось, что второй порошок тоже очень важно принять прямо сейчас, и он развернул бумажку, вылизал порошок языком. Может быть, так хорошо стало Йонатану Киршу просто потому, что прошла головная боль, а может, дело было совсем в другом, но только чистое слово «Иерусалим» вдруг пошло у него в голове сияющими радужными разводами, и ясно стало, что лететь надо сейчас, прямо сейчас, и Йонатан Кирш, пружиня на странных мягких ногах, обошел несколько деревьев – а может, сто – и нашел жуков-оленей, и пожалел их так, что чуть не заплакал, но, к счастью, были они не Хейфецы и не Аксельманы, не Маранты и не Берковичи, и не было у Йонатана Кирша для них печальных вестей; «Если увидите... если увидите...» Йонатан Кирш уже ждал услышать про сестер Розен, но ему просто сказали, что если он увидит «хоть кого-то, хоть кого-то из наших – пусть скажет...» Йонатан Кирш знал, что сказать, а ему объяснили, что лететь в Иерусалим теперь вон туда, это уже близко, а зоопарк будет сразу, как прилетите, – но как Йонатан Кирш ни старался, он уже не мог представить себе зоопарк.

Действие порошков кончалось, кончалось и кончилось, он летел крошечными отрезками, то и дело садясь, чтобы перевести дух, и теперь держался древесных крон, чтобы не слышать и не видеть больше Фридманов и Айзенштернов, и как ни страшно было наверху, на ветках (один раз его жутким верещанием, от которого он проснулся, хватая ртом воздух, разбудила огромная стая мармозеток, пытавшихся от любопытства, а то и еще за каким делом, хватать

его руками; он еле от них улепетнул) – это было лучше, чем внизу. В Иерусалим с его чудесами, с его стаями родных душ и деревьями, на которых только свои чистят перышки своим, он словно бы перестал верить; двигало им упрямство – и понимание, что занять себя ему больше совершенно нечем, жизни в нем как будто всего и осталось, что на этот перелет, а там хоть коты. Иерусалим открылся перед ним в одну секунду: вот не было его, а вот он есть, и по всему Иерусалиму стоял горький лекарственный запах. Йонатан Кирш пристроился на ветке и смотрел: внизу ходили люди в белых костюмах и масках, армейские люди, со шлангами, начинающимися где-то в грязных боках белой армейской машины, и распыляли белый порошок, и в ужасе он подумал, что это дезинсекция, прямо тут, на улицах, и попытался не дышать, но запах был слишком знакомый, аптечный, горький, манящий, и Йонатан Кирш понял, что эти люди распыляют рокасет, что рокасетом текут улицы иерусалимские, и спустился, и никто не гнал его, и кругом были коты и еноты, уродливые мелкие шакалы, и крысы, которых Йонатан Кирш раньше никогда не видел, и божьи коровки, и все они ходили по порошку и нюхали порошок, и Йонатан Кирш вместе с ними нюхал прекрасный, неподвижный в безветрии порошок, нюхал его, пока не перестала болеть голова, но не мог остановиться и еще нюхал, над ним уже беззлобно посмеивались молодые крысы, а поджарый лысый кот со страшной, как в ночном кошмаре, головой, сказал ему: «Мальчик, а приостановись-ка», – но Йонатан Кирш приостановился, лишь когда ноги и спина у него стали неметь, как будто по всему телу ползла радость, и от радости больше не надо ему было чувствовать измученное свое тело. Кто-то понял, что он ищет зоопарк, – и ему сказали, что не надо ему в зоопарк, про зоопарк говорят такое, что не надо ему в зоопарк, все ваши давно разлетелись из зоопарка. Он засмеялся и не поверил, лететь на немеющих крыльях было трудно, но приятно, он как будто все время проваливался вниз, а потом медленно, тяжело снова набирал высоту, это было смешно, а когда он опять провалился вниз, он увидел там, внизу, сестер Розен.

Они были ярко-рыжие, огромные, совершенно не похожие друг на друга: одна была почти квадратной, как коробка, а другая – длиннющей и узкой, и мандибулы у них обеих были увесистые и страшные, почти мужские, и когда Йонатан Кирш увидел их, они были заняты делом: то ели, отрывая огромные куски, текущий соком шесек¹³⁷, а то вдруг дрались между собой. Йонатан Кирш сел перед ними, открыл сухой рот, и рот этот оказался способен говорить, и тогда Йонатан Кирш начал перечислять. Гольдберги, Аксельманы, Хец, Нойманы, Ясели, Шиллеры, Арманы, говорил он и добавлял, ворочая давно разучившимся гнутья жестким языком: «Они умирают», – и продолжал: Лерманы, Саабы, Захаровы, Айхманы, Икерманы – и добавлял: «Они умирают», – и когда он упомянул Авнеров, Сомов и Емцев, квадратная жучиха, капая шесекным соком на сестру, обернулась наконец к нему и заорала. От неожиданности Йонатан Кирш попятился, но жучиха не давала ему уйти, шла за ним, шевеля страшными жвалами, а сестра у нее за спиной разворачивалась медленно, как танк, и слабым эхом повторяла, слово в слово, фразы старшей сестры – про то, что Савидоры и Мозманы, Корманы и Златковы жили там, где жили, а не тут, где им положено было жить, и считали, что им можно жить там, где они живут, а не тут, где им положено жить, и вот чем это закончилось, и что они были идиоты, и вот чем это закончилось, а Йонатан Кирш все пятился и пятился, и под конец не полетел, а косо, тяжело побежал по земле, по перегоревшим от жары листьям, по тонкой изморози белого порошка на траве, потому что боялся, что страшные сестры Розен поднимутся за ним в воздух и там, на лету, сделают с ним совсем уж бог весть что. Он пробился сквозь какую-то покореженную сетку, побежал, ныряя шеей, на отяжелевших ногах, и забился в корни какого-то никогда раньше не виданного дерева – так, чтобы вкопанная в землю маленькая табличка с текстом загораживала его от мира. Кто-то пел и разговаривал в кроне дерева десятками голосов – точно таких, каким пел и разговаривал бы Йонатан Кирш, если бы он разговаривал и

¹³⁷ Мушмула (ивр.).

пел; несколько раз мелькнули в воздухе хвосты, синие и зеленые. Йонатан Кирш зажмурил глаза, чтобы не видеть этих хвостов, и несколько раз беззвучно открыл и закрыл рот, а потом лег на землю, как ложился на пол Даниэль Тамарчик. Ему стали видны две пары ног в стоптанных армейских сапогах; обладатели этих ног явно жгли коноплю, один говорил, что всех их отвезут в Рамат-Ган, что база теперь в Рамат-Гане, а другой не соглашался и говорил про Ашдод, говорил, что в Ашдоде под землей построено такое, о чем никто не слышал, а только у него двоюродный брат служил с человеком, чей сосед во время милуима проходил месиму¹³⁸ в Ашдоде, и там под землей... Йонатан Кирш слышал их не очень хорошо, потому что с ветром волнами наплывал рокот, как будто гигантский жук, размером с тысячу сестер Розен, готовится подняться в воздух. «Если увидите... – сказал Йонатан Кирш, – если увидите...» – но так и не сумел придумать, кого.

¹³⁸ Спецздание (*ивр.*).

74. Сетки надо ставить, рыть рвы, возводить стены

Ури Факельман. Ебанулся на хуй, да?

Яся Артельман. Да отъебись ты, блядь, уже.

Ури Факельман. Вертолет, блядь! Вертолет!!! Ты не врубился, да? Ты охуел тут со зверем своим на хуй и по-человечески понимать перестал, да?

Яся Артельман. Ты хуйню сейчас сказал, дебил.

Ури Факельман. Нет, ты реально охуел. Сучка эта вонючая – с ней понятно, ей тут самое место, оскотинилась и пускай, полевок жрет, я пришел – у нее жареная мышь на палке, я чуть не сблевал. Павлину хвост ободрала, у всех на глазах, мы сидим, пыхаем, она крадется, воняет на три метра, как бросится! Он, сука, еле вырвался, орал! Тоже хочешь павлинов жрать, да?

Яся Артельман. Уебу сучку на хуй, когда это было? Хуй я ей отдам павлина, он, может, у нас теперь один павлин на всю страну, вот же тварь ебанутая, когда это было? Что павлин? Сетки надо ставить, найти сетки и ставить...

Ури Факельман (*опуская руки*). Реально, блядь, ебанулся. Павлиний рыцарь, блядь. Артельман, бен-зона сраный, я тебе последний, блядь, раз говорю: вертолет!!!

Яся Артельман. Да отъебись ты уже, блядь!

Шестая-бет. Что такое «отъебись»?

75. Круглая штука

Рав Арик Лилиенблюм. Ну допусти хоть на минуту, что ты действительно гильгуль¹³⁹. Почему тебе так тяжела эта мысль?

Змееныш Шуфи. Она про то, что Господь либо не все может, либо не так уж меня любит. Если я умираю и попадаю к нему и он смотрит на меня и оценивает все мои поступки, неужели одного его строгого взгляда будет недостаточно, чтобы моя душа тут же прошла весь путь исправления, как если бы во мне починили пылесос, – вон Моти Пакси вчера чинил круглую штуку в пылесосе, а я помогал, лазил внутрь, смотрел? Я так представляю себе: я предстаю перед ним, как они говорят, и он видит все плохое в моей душе и как будто запускает взгляд туда, внутрь, вот сюда (*касается хвостом груди*), и там взглядом чинит меня, как будто пальцами. Это будет, наверное, страшно больно. (*Замирает; продолжает через секунду*) Я не думаю, что на земле бывает так больно, как когда он будет меня чинить. Никто-никто не может сделать так больно, как он: так зачем ему отправлять меня обратно на землю исправляться? Ну, или он не все может. А я чувствую, что он все может.

Рав Арик Лилиенблюм. Но ведь гильгуль не всегда отправляется на землю исправляться – я, наверное, тебе плохо объяснил. Иногда гильгуль отправляется, наоборот, чтобы научить других, показать путь другим.

Змееныш Шуфи. Я вижу, тебе хочется взять меня в руки; ты любишь, я знаю. Ты возьми, только не надо ртом меня трогать; она трогает, ей я разрешаю, у нее рот сухой, а другие противно. (*Извиваясь у рава Арика Лилиенблюма между пальцами, продолжает говорить.*) Нет, я не верю, что я такой хороший, чтобы учить других: я разный, ты меня не знаешь. А если кто-то такой хороший, нечестно отправлять его на землю, это получается наказание; Бог не такой, ты не знаешь, а я знаю. И еще если ты такой хороший, ты просто не будешь понимать всех остальных, почему они делают плохое. Нет, это так не работает.

Рав Арик Лилиенблюм. Почему ты настолько во всем этом уверен?

Змееныш Шуфи (*после долгой паузы, нехотя*). Я однажды... лежал. Глубоко. И как будто я остался один. А только я был не один. Я с тех пор никогда не один. (*Переходит на свою обычную подростковую скороговорку.*) Да и вообще все это совершенно понятно. Я знаю, ты тоже уверен в том же самом, тебе просто нельзя так говорить, а мне можно.

Рав Арик Лилиенблюм. После разговоров с тобой я ни в чем не уверен.

Змееныш Шуфи. А зря ты меня слушаешь, это все неважно, что я говорю. Я просто так говорю, и ты просто так говоришь, а от этого ничего не меняется, Бог просто разрешает нам говорить что попало, потому что нам так легче. Ему нас очень жалко, он и разрешает нам делать всякое, чтобы нам было легче, вот нам и легче.

Рав Арик Лилиенблюм. Даже плохое?

Змееныш Шуфи. А я не делаю плохое, и ты не делай, вот и все. А вообще ему все равно, когда мы делаем плохое, он на нас и не смотрит. Вот как она: приходит, занимается своими делами, иногда кубик подкидывает ногой, иногда очень много раз, я видел, как она сто раз, наверное, подкидывала. Сто – это сколько? Неважно, понятно же. А я лежу, смотрю на нее. Я думаю, Бог тоже так: я лежу, она на меня не смотрит. Я специально взял, зашипел, напугал кошек: она не смотрит, ей все равно. Вот если бы кошки ей пожаловались – она бы на меня посмотрела, а так она может, заметила, а может, и нет; а мне без разницы, я на нее смотрю – это важно, а наоборот – неважно. Это я все так про Бога понял, когда на нее смотрел. Еще буду смотреть, еще много пойму. Я хорошо понимаю.

Рав Арик Лилиенблюм. Если бы ты был евреем, тебя бы называли «гаон», я думаю.

¹³⁹ В каббале – душа, вернувшаяся на землю после смерти.

Змееныш Шуфи. А я не еврей? Мне нравится, как ты сказал, что евреи – избранный народ. Бог на них чаще смотрит, да? Мне вообще-то неважно, но приятно было бы. Мне нравится всегда быть не один.

Рав Арик Лилиенблюм. Нет, ты не еврей.

Змееныш Шуфи. А ты бы хотел, чтобы я был еврей?

Рав Арик Лилиенблюм. Очень.

Змееныш Шуфи. А ты окуни меня в бассейн, мне не жалко, если тебе от этого будет хорошо. Я буду еврей.

Рав Арик Лилиенблюм. Евреем так нельзя стать.

Змееныш Шуфи. А как?

Рав Арик Лилиенблюм. Длинная история, надо много учиться. Я родился евреем, а есть люди, которые учатся и проходят всякие проверки, чтобы стать евреями. Если ты не родился евреем, надо долго учиться.

Змееныш Шуфи (*изумленно*). А Богу это зачем? Ему же все нужны, вот нас окунут в бассейн – и мы сразу станем друзьями Бога, он будет не один. Он же хочет быть не один?

Рав Арик Лилиенблюм. Я думаю, очень.

Змееныш Шуфи. Ну так и начните всех подряд окунать. Нас всех подряд окунут, даже Софи, хотя она вообще ни слова не понимает. То есть понимает, я с ней хожу проповедовать, нас в пару поставили, она все правильно выучила и говорит, кубики показывать умеет, я тоже умею, но не могу, мне неудобно, что хвостом, что головой. А только она все время о чем-то думает, а еще говорит, что Бог умер и не хочет про него разговаривать, сразу рычит, зубы скалит. Я думаю, она меня убьет.

Рав Арик Лилиенблюм. Что? Почему?..

Змееныш Шуфи. Она хочет, чтобы я с ней куда-то шел, искать ее сестру. Она говорит – сестру украли и держат, надо пролезть в дом, того человека укусить и убить. Я говорю: «Я же больше никого не могу кусать, ты подумай сама», – только когда она про сестру говорит, она совсем дура, как будто ничего не понимает. Я никуда с ней не пойду, а она сердится страшно, зубы скалит, рычит. Я думаю, она рассердится и меня убьет. Это все равно, я буду с Богом и буду оттуда над ней смеяться, как она кого-то другого будет уговаривать пролезть и укусить. Может, она Бат-Шеву уговорит, фретки хорошо везде пролазят, а Бат-Шева дура. Бат-Шева всех жалеет, надо было Софи сразу ее звать. Но до крещения она меня не убьет, так что ты еще приходи разговаривать.

Рав Арик Лилиенблюм. Я поговорю с ней, ну, с этой вашей... Послушай, это ужасно, мы вместе пойдем, если собака тебе угрожает – ты должен сказать, я с тобой пойду, это ужасно.

Змееныш Шуфи. Не ходи! Ее ругать будут, а до крещения надо хорошими быть, а если она меня убьет – они рассердятся, или даже если узнают, что я думаю, что она меня убьет. Могут не крестить ее, а она очень хочет креститься, а я думаю, это неважно. Она думает, после крещения она, когда умрет, будет со своим Богом вместе, а я ей говорю: «Так Бог же умер!» Она зубы скалит, лапой меня пыталась ударить, а мне смешно. Потому что вообще-то крещение – это глупости все. Так что и ты не переживай: крещение – это глупости все, это тебе только кажется, что оно во мне что-нибудь изменит. А Бог его просто придумал для таких, как она, чтобы им легче было. Та мне говорит: ты один из какой-то большой цифры, вот ты крестишься и сразу это почувствуешь. Я ей скажу: «Я почувствовал», – пусть ей хорошо будет, мне не жалко. Пустяк меня, у меня занятие скоро, вообще-то они интересное рассказывают, мне про Урию понравилось, там сразу понятно, что Богу все равно, умрет Урия или нет, а то Бог бы Давида с той женщиной задавил ногами, а Урию вкусно накормил и дал ему еще много женщин. Так что ты не переживай, крещение – это все равно. И вообще, вот ты еврей. Разве еврей от крещения больше не еврей?

Рав Арик Лилиенблюм. Это ужасно сложный вопрос. Нет, все равно еврей. Но ты же не веришь, что ты гильгуль? Или все-таки веришь?

Змееныш Шуфи. Да какая разница? Вот скажи, ты бы если узнал, что ты гильгуль, – тебе бы лучше стало или хуже?

Рав Арик Лилиенблюм. Хуже... Нет, лучше... Но я бы знал, что исправляю, я уже понял, но только, кажется, я это очень плохо исправляю. От этого знания мне стало бы лучше, но тяжелее. Так что в каком-то плане – хуже.

Змееныш Шуфи. У меня занятие скоро. Давай ты мне будешь говорить не что надо, а по-честному? А то мне с тобой скучно разговаривать. Ты до крещения только приходи, а то потом не знаю, что будет. Ты попробуй по-честному давай. Дай бог, оно тебе поможет.

76. Дышим

Стонет сизый голубочек, стонет он и день и ночь: миленький его дружок отлетел на север, в район Галилеи, про которую почти ничего не понятно, и одна радость: голуби (большие, сизые; с серыми трусливыми горлицами все иначе) по нынешним временам оказались мало того, что сговорчивыми, – они еще и какие-то, извините, цофим, у них в голове карта страны в больших подробностях, скажешь им, куда, – летят, скажешь «ищи лагерь» – ищут. Впрочем, посмотрим, как и что они ищут: эта гениальная идея с голубями только-только пришла в голову Петровскому Андрею Сергеевичу, нашему Энди, нашему театральному гению и неумному источнику ценных идей (например, идея не только давать, но и *отнимать* золотые звездочки – его, его); пока что из отправленных сизых голубочков никто не вернулся, но мы их ждем со дня на день и навернякаждемся – не даром их сердечные дружки остались тут, у нас, мы специально так отбирали наших маленьких посланцев; проблема только в том, что мозг у голубей – с хумусовое зерно, а ну как забудут и про привязанную к спине бумажку, и куда назад лететь, и про любовь свою романтическую? Впрочем, последнее нас пока не очень беспокоит: судя по тому, как их самочки тут у нас боле не воркуют и пшенички не клюют, все тоскуют, все тоскуют и тихонько слезы льют (ладно, про слезы преувеличение, но уж больно хорошо песенка поется), у нас есть все шансы хоть что-то узнать о Галилее: слухи ходят удивительные, вроде как никаких лагерей там нет, а живут все стадами на бескрайних пастбищах, питаются травкой и плодами древесными, а рокасет у них падает с неба мелкой крупкою, каждый день ровно столько, сколько надо, а в пятницу выпадает двойная порция, потому что в субботу не выпадает ничего. Словом, как ни крути, идея с голубями гениальная – а бороться за нее Андрею Сергеевичу Петровскому пришлось не месяц и не два, потому что всякие идиоты (среди которых, естественно, Мири Казовски) устраивали скандалы и живописали, как будет сохнуть, сохнуть не приметно страстный верный голубок: вот он уже и ко травке прилегает, носик в перья завернул: уж не стонет, не вздыхает: голубок навек уснул от измождения, отсутствия рокасета (не давать же ему порошки в дорогу? Он их будет принимать как именно?), и вообще, бумажка в полипропиленовом мешочке ему шейку натрет. Андрей Петровский был вынужден дойти аж до самого тат-алюфа Чуки Ладино, сперва испугав того до дрожи: мать всегда говорила тат-алюфу Чуки Ладино, что голубей обижать нельзя, голубь – птица Божия, ангелы с голубями на короткой ноге и от них узнают про все, что на земле делается. Андрей Петровский не отставал, тат-алюф Чуки Ладино тянул и тянул с ответом, просил у покойной матери совета по ночам, но та молчала, и тат-алюф Чуки Ладино лежал без сна, думал: если все зеркала плохо срastутся, мы всегда будем видеть себя кривыми – и дальше длинное, мутное, про женщин; а тут еще во время последнего визита тат-алюфа Чуки Ладино в караванку «Гимель», тоже вымученного – но куда было деваться, ситуация с «йордим»¹⁴⁰ требовала принятия решений, и он, тоскуя, полтора часа проговорил с этими идиотами, рвущимися уйти из лагеря с детьми и прихвостившимися к ним животными, чтобы «строить жизнь заново» в разрушенных городах. Жизнь строить! Им там заброшенные пятикомнатные квартиры рисуются, а армия им и зверью ихнему пайки вози, а потом их, ободранных, в «Бриюту» таскай, а дети небось вообще одичают, вот про Рамат-Ган говорят, что там в районе Герцля орудует сиротская банда, старшему двенадцать лет: отжали у котов фонтан на площади, сами держат, сами пошлину взимают, а только поймать их не удастся, они юрк в развалины – и нету, а внутри развалин вроде как уже ходы проложены и можно чуть ли не от Тирцы до Аялона пройти, ни разу наружу не показавшись, а взрослому в те ходы не пролезть – ну не собак же отправлять этих искать и потом

¹⁴⁰ Буквально «сошедшие» (*ивр.*) – до асона, например, бытовало выражение «йордим ми-ха-Арец» – «уехавшие из Израиля» (в противоположность «олим», «взошедшие», то есть «приехавшие в Израиль»).

за шкуру в лагерь тащить? Тат-алюф Чуки Ладино будущих йордим и бандами этими припугнул, и котами припугнул, и урезанными пайками припугнул (долго ли на фруктах-ягодах протянешь, особенно с детьми?), и сказал, что недоглядишь – а их собственные дети, не дай бог, сами в такую банду убегут, будут пайковые крекеры у прохожих выпрашивать и с енотами за норы драться – словом, он им про недоубранные трупы, мор и глад, а они ему про «ешув а-арец»¹⁴¹; и вдруг стало тат-алюфу Чуки Ладино совсем все равно. С ним в последнее время такое случалось все чаще и чаще, внезапно он словно бы оказывался шага на три левее собственного тела и совершенно не понимал, почему он, Чуки Ладино, тат-алюф, и почему он все это говорит, и как вообще оказалось, что такая у него жизнь. На этот вопрос у тат-алюфа Чуки Ладино ответа не было, он сказал йордим: «Да как хотите», – и пошел прочь, к своей лошадке: она была глупая и смирная, рот при важном человеке лишний раз открыть боялась, и Чуки Ладино научился справляться с ней довольно неплохо. Но нет, возле лошадки его уже поджидали: на него напала Мири Казовски с какими-то еще духовно богатыми бадшабниками и стала ему говорить про голубей, живописать, как голубочки даже если и вернутся – а сердечные их подружки померли, а голубочек плачет, стонет, сердцем ноя... На этом месте тат-алюф Чуки Ладино, изнывая, вспомнил, что он все-таки тат-алюф, сделал каменное тат-алюфье лицо (это ему всегда хорошо удавалось, скульпы рубленные, брови черные, лоб – как у изваяний с островов Пасхи), рывкнул про государственные интересы, саботаж и истекающее его, тат-алюфа, терпение, пригрозил отобрать по тридцать звездочек у каждого, кто попытается воспрепятствовать, и так далее – и голубочки полетели, и скоро вернутся, и мы узнаем, что там, в Галилее, где райские сады и сладкие реки, где им, сукам, хорошо, небось, хотя зачем нам это знать – пока непонятно, все равно туда далекооооо. Мири же Казовски решает после отлета голубочков устроить текес¹⁴², чтобы «помолиться за всех, кого нет с нами» (не помолиться, конечно, – какое-то другое слово, они же все как бы атеисты, эти духовно богатые либералы с медитациями, плетением фенечек землеройкам на шею и кармическими камланиями по поводу и без повода) – да, вот именно, устроить кармическое камлание на лугу хочет Мири Казовски, но при этом специально оговаривает во время заседания совета (и потом в объявлениях, прибитых на информационные доски), что каждый будет волен камлать тому боженьке, которому захочет, или даже просто так перед лицом вселенной со свечкою стоять. Совет посмеивается, но на луговое камлание приходит неожиданно много людей – в лагере как-то очень буквально поняли это самое «нет с нами», пришли даже те, кто сам от себя этого не ожидал, все еще только пробираются в толпе поближе к своим, а дирекция уже думает о том, что текес бы надо сделать ежемесячным – вон как хорошо пошло, а объединяющим мероприятиям сейчас придается особое значение. Животных сперва мало, в основном те, что ходят за людьми хвостиком, вроде Артура и гигантской черепахи Марии, да вокруг самой Мири Казовски трется парочка ее мелких прихвостней, из тех, с кем она на этом лугу по утрам пытается проводить групповые медитации («...Дыыышим – и не думаем... дыыыышим – и не думаем... и становимся листиком травы... листиком травы...»; глаза варана, зебры и двух собак стекленеют, еще с десятков-полтора божьих тварей сидит с такими же остекленевшими глазами, и дышат они все, как одна большая божья тварь, а Мири Казовски уже и думать разрешила, и спасибо всем сказала, и в пояс поклонилась, а они все так и сидят кругом, и Мири Казовски уходит тихо, на цыпочках, и чувствует себя не очень хорошо, а почему – боится подумать; «не думаем – и дыыыышим...»). Ближе к семи вечера, когда собирается толпа, набегает всякая любопытная шушера, и даже слон Момо, на котором в последнее время все поставили крест, вышел из загона и пошатывается неподалеку. Мири Казовски мечется в толпе, раздавая свечки, кото-

¹⁴¹ Буквально «заселение Святой земли» (*ивр.*) – концепция в иудаизме, подразумевающая необходимость заселять землю Израиля.

¹⁴² Церемония (*ивр.*).

рых ей выделили явно недостаточно, – но все-таки к половине восьмого весь луг теплится огоньками, становится горьковато и возвышенно, над головами плывет запах слабого пайкового гашиша. Решено, что все желающие смогут выйти к микрофону и сказать про тех, «кого нет с нами»; сама Мири Казовски, с пылающими щеками и разметающимися грязноватыми дредами, начинает с голубей и глядит на дирекцию со значением; дирекция улыбается в огромные, как у порнозвезд семидесятых годов, мохнатые усы: бриться сейчас сильно несподручно, кто мог обрасти – оброс. Потом Мири Казовски поминает всех, кто умер в медлагерях, потом – вообще всех, кто умер во время асона, потом вспоминает и тех, кто умер до асона, и, кажется, готова чуть ли не до жертв Холокоста добраться; обстановка портится, всем вдруг становится смешно и неловко, кто-то уже идет к караванкам, сунув погасшую свечку в руки медлящему соседу, но вдруг кто-то оттесняет Мири Казовски от микрофона. Мы с вами уже успели пробраться почти к самому выходу, так что лица говорящего нам не видно, но микрофон работает отлично, вот же – не пожалели власти для общественного мероприятия силы генератора, – и мы слышим, как человек этот говорит, что вчера его друзья с двумя детьми ушли из лагеря, а позавчера еще две семьи, и что страшно за них очень, а только он их понимает, потому что казарменные порядки и все вот это, и все бы тут разбежались, если бы уходящих из лагеря не лишали пайков, и про то, что нечего стоять здесь с постными лицами и делать вид, что непонятно, кого именно «больше нет с нами», и что самим, небось, просыпаться не хочется, и какими тут вырастут дети, на этих бравурных ксенофобских брошюрах вроде «Папа идет в разведку», и «Папа встречает врага», и... Толпа почти не дышит, очень тихо становится в толпе, про йордим же не говорят у нас, тем более в микрофон, но кто-то внезапно свистит, потом еще кто-то и еще, и возмущенная толпа уже последними словами ругает этого человека, этого нехорошего, непатриотичного человека. Мири Казовски оттирает его от микрофона, а кроме того, к нему подходят сзади двое наших ребят в форме и осторожно берут в тиски, секунда – и всех троих уже не видно, в толпе гул и шум, Мири Казовски собирается плаксиво что-то сказать, но и ее отодвигает твердое плечо: дамы и господа, текес окончен, спасибо всем большое, пожалуйста, не оставляйте за собой мусор: лагерь – наш общий дом, а также важное сообщение: сегодня внеочередным образом будет горячая вода в душевых, с шести до отбоя, занимайте очередь и шаббат шалом¹⁴³. Горячая вода – это важно, толпа взволнованно гудит и основательно поторапливается, а на Мири Казовски вдруг наваливается чувство, в принципе Мири Казовски незнакомое: это, как мы понимаем, экзистенциальное отчаяние в чистом виде, внезапное осознание совершенной тщетности своих усилий и незначительности собственного существования – но Мири Казовски, светлый человечек, назвать его не умеет (в жаргоне светлых человечков какие-то слова для вот этого вот высасывающего из тебя жизнь волосатого нетопыря, засевшего в грудной клетке, наверняка имеются, но Мири Казовски в силу своего душевного склада им не научилась, не пришлось). К душевым уже выстроилась огромная очередь, ходят по рукам листки с номерками, Мири Казовски очень не помешало бы помыться, но вместо этого она забредает за свой караван и там, среди ставшей безобидной крапивы и покрывшихся шипами ослепительных одуванчиков, пытается представить себе, как с пожелтевшим от песчаной грязи оранжевым рюкзаком, где в неожиданно стройном порядке лежат ее цветастые тряпки, отправляется на рассвете... Дайте сориентироваться, куда (автор представляет себе точное расположение караванок и медлагерей довольно приблизительно) – кажется, на север; ближе всего Рамат-Ган, и вот Мири Казовски ведет там, в каком-никаком Рамат-Гане, осмысленную жизнь, легкая от урезанных пайков и звенящая от необходимости помогать и заботиться, охранять и поддерживать, и все становится иначе, и даже какой-то совет, с как минимум двумя десятками людей и зверечков, рисуется Мири Казовски, и никто там, в этом совете, не улыбается в усы, когда она открывает рот, и нет никаких золотых звездочек, а только

¹⁴³ Букв. «мирной субботы», прощание перед наступлением субботы (ивр.).

совесть и стремление, хватит всего этого детства. В той воображаемой вселенной, где живет Мири Казовски, это называется «начать жизнь сначала».

Спать Мири Казовски приходит на свою полку в караване, поворачивается к стеночке, чтобы не видеть никого, жалеет себя до маленьких, кругленьких слез, потом спит, и во сне к ней тянутся йордим с голодными и жадными радужными глазами; стонущие, длинные, как угри, коты выбираются из развалин и пытаются поймать Мири Казовски за волосы человеческими пальцами, и все вокруг покрыто крошечными сладкими комочками, но если присмотреться – у каждого из них есть брови и зубы. Мири Казовски просыпается на рассвете в ознобе, у нее болит голова, но мир больше не крошится, как засохший хлеб; в конце концов, Мири Казовски надо умыться и бежать, вот сейчас они придут, соберутся – а Мири Казовски нет, а ждать они не умеют, давай, Мири Казовски, давай-давай.

На лугу очень тихо, никто не оборачивается, услышав торопливые шаги Мири Казовски. Они сидят кружком, еноты и землеройки, варан Цуки и слепые шарпеи Арик и Алекс, пантера Карина и две-три безымянных козы, и еще с десятков-полтора божьих тварей; сидят они с остекленевшими глазами, и дышат, как одна большая божья тварь. Хлопают крылья, на голову фалабеллы Артура садится здорово потрепанный голубь, сизый голубь с мелко исписанной картонкой, плотно примотанной к шее обрывком ярко-зеленой бумажной ленты, какими раньше украшали подарочные упаковки, смотрит на Мири Казовски с отстраненным любопытством; в ветвях равнодушная ко всему голубка шумно чистит перья. На цыпочках Мири Казовски подходит к голубю, хватает мерзкую птицу, отбегает к кустам и рвет картонку в мелкие серые хлопья.

77. Енот Мико Дрор пьет порошковую кока- колу из фляжки с солдатами-репортерами на задворках радио «Галей Цаһал»

– ...Ярконы пошли, Алленбахи пошли, Маймоны пошли, зачем пошли? Я не знаю, зачем взрослые в школу идут? Я не знаю, а только такой день был, все пошли, я много у кого ел, я видел: йом-шиши, а в домах пусто, все пошли. И Дорманы пошли. Дорманы – я у них больше всего ел. Честные люди! По правилам играли, хорошие; я много у кого ел, я знаю, что говорю; бывают такие... А эти честно играли. Переехали, сразу запахло хорошо; я пришел. Сначала просто так черные мешки ставили, их мусоровоз прямо со двора забирал, но это утром, а вечером я что хотел – ел, такие правила же, да? Я честно играю, на кухню не ходил, с веранды не брал, только из мешков. Я хорошо ел, у них много еды было, продукты хорошие, дорогие, я все из мешка вынимал, раскладывал, выбирал, ел, а в кухню не ходил, на веранду тоже не ходил, потому что это нечестно было бы. Они сначала мешки стали высоко ставить – это нормально, это по-честному игра. Я камень прикатил, еще доска была, я сбрасывал все вниз, раскладывал, выбирал, ел. Хорошие люди, я по еде всегда знаю, я много у кого ел: эти едят вместе, готовят вкусное, большое – значит, хорошо живут. Я с ними тоже по-честному: не разбрасывал, просто так тоже не игрался, чтобы по всему двору: аккуратно вынимал, раскладывал, выбирал, ел. Они контейнер большой завели, стали в него мешки ставить – нормально, это честная игра. А то такие бывают... Я что сделал? Контейнер пластиковый, я трещину нашел, камнем туда начал бить, полетели крошки, хорошо; долго бил, недели две; они выбегут, светят фонариком – меня нет: я хорошо играю. Пока к другим ходил, жирные, богатые, а живут плохо: все в коробочках, липкое. И к Гидеону ходил: еда хорошая, и выкидывает много, а играет очень плохо, нечестно: накидал что-то однажды, смотрит из окна. Вроде хлеб, а вроде нет. Рвало потом очень, живот болел. Плохой человек, так нельзя играть, так не играют. Я все запомнил. Когда ходить смог опять, вернулся к Дорманам. Прихожу – их нет, йом-шиши, а они в школу пошли. Зачем тогда столько взрослых в эту школу пошли? А только я тогда не знал. Взял камень, стал в трещину бить, уже совсем большая, можно голову засунуть, мешок порвать и прямо так повинимать кое-что, но я хорошо играю: пусть будет большая дыра, чтобы я весь залез. Бил-бил, дальше стал зубами отрывать, где побилось. Молодец, залез. Потом что? Потом все. Бак покатился, камни падали, бак пробило в двух местах, я вцепился в мешок, держусь, кричу очень. Потом во что-то врезался бак, я спиной ударился, страшно, темно; вылез, веранда горит, на веранде лошадь деревянная горит, а кухни нет, и ничего нет. Тут как земля задрожит – у Алленбахов дом вперед упал. Как мусорный бак, да? Целиком. Я очень кричал, лежу за баками, кричу, а потом думаю: вдруг Дорманы в школу не пошли? Если ты с кем играл, хорошо играл, то он тебе уже как-то... Это не просто тебе схватил и удрал. Побежал на веранду, горит, страшно, я подбежал, где меньше горит, стал в окно бить и кричу, очень странно кричу, раньше так не умел, кричу: «Вы где? Вы где?» Раньше так не умел, испугался; они не отвечают, я понял – вот как хорошо, они в школу ушли. Не знал тогда еще про школу. Потом совсем не ел, долго. Коты уже в развалинах начали искать, люди начали искать всякое, я видел еду, хорошую – печенье видел, целую кастрюлю кцицот видел, все равно не ел. А потом слышу – коты говорят про школу, я подошел. Коты плохо играют, очень нечестно, но я все равно подошел. А они говорят: Гидеон солдатам сказал сначала искать в том крыле, где дочка его была, и пока не найдут – больше нигде не искать. А когда уже потом искали в других местах, то это было потом. А я не могу, думаю: это честная игра? Не понимаю. Это честная игра? А? И еще думаю: а ведь я ел у него. Сiju иногда и думаю: а ведь я у него ел.

78. Как на фюзеляжах появились звезды

Дед деда деда северного оленя Хрусталя, который родился в 2019 году в Московском зоопарке, воевал на карельском фронте. В один день прилетели люди на грязном белом самолете, кричали и стреляли в воздух, а потом заставили всех сняться с места, и все пошли, и повезли нарты. Сто пятьдесят километров шли пешком, это длилось несколько дней, и все дни стояла ночь; а с ними шла Луот-хозик, дед деда его деда (будем говорить просто «дед», в ту войну все были «деды», «деды воевали») ее хорошо видел, и чем дальше они от дома отходили, тем она становилась больше, каждый волос ее меха был теперь, наверное, длиной с дедову морду, а сквозь тонкие бледные уши дед видел небо, и звезды на небе, и бледный зеленый свет. Идти деду нравилось, он любил ходить, хотя еды было мало, все уже повибито теми, кого так же провели тут раньше; прилетали самолеты и дважды сбрасывали еду, и еще часто был крик, особенно ночью: кто-то кидался бежать по снегу, а голые люди – так говорили о тех, на ком не было меха и кто шел в глупой, ненастоящей одежде, – кричали им вслед и потом стреляли. Бегать дед не любил и никогда бы не побегал, а потом бежать стало невозможно: их привели к поезду, и так дед впервые увидел поезд и совершенно его не понял. Когда деда и других подогнали к первому вагону, Луот-хозик встала перед вагоном и опустилась на четыре ноги и стала мотать головой, как больной или совсем раненый олень, и смотреть на деда. Дед все понял и отказался входить в вагон, он просто стоял как вкопанный, и даже если несколькими людям удавалось подтащить его к двери вагона, он цеплялся за притолоку рогами и не шел, и другие, видя, как он себя ведет, не шли, дед был очень большой, на него смотрели. Политрук, голый человек, стал стрелять над дедом в воздух, дед повернулся и пошел на него, и голый человек попятился, но продолжал держать пистолет над головой, еще раз выстрелил в воздух, а потом прицелился в деда. Тогда дед запомнил этого человека. Позвали нойду, и нойда стал перед дедом связывать небо и землю и показывать, как через них поезд идет к великому сейду всех народов СССР, но смотрел не на землю и не на небо, а на деда и на Луот-хозик, и тогда Луот-хозик отступила от вагона, а дед подумал: «Ладно», – и вошел в вагон. Они ехали еще три дня, и все дни была ночь, и дважды их бомбили, а еще раз в небе над ними бились самолеты, один упал и загорелся, и многие загорелись, но дед выжил. Когда они приехали на место и выгрузились, и выгрузили нарты, вокруг грохотало и пахло гарью, и им сказали, что надо ходить с нартами туда, где грохочет и кричат и снег пахнет сырым мясом, и вывозить оттуда окровавленных людей, а самолеты будут прилетать и их забирать. Голые люди приказали остальным людям снять нормальную одежду и стали надевать на них огромные белые тряпки. Дед был большой, и белая тряпка не налезала на него; тогда тот человек, которого дед запомнил, велел принести белой краски, какой обливали вагоны и куваксы, взял ведро и полил деда отвратительной, едко пахнувшей краской, и дед стал захлебываться в ее запахе. Тогда дед понял, что когда все заснут, он убьет этого человека и уйдет. Дед пошел к нойде и сказал: «Сейчас я убью этого человека и уйду, ты можешь сесть на меня, я тебе разрешаю». Нойда сказал: «Как я пойду? У меня здесь младший сын, я его не оставлю». От засохшей краски деду было страшно холодно, никогда раньше он не знал, что такое настоящий холод, и дед понял, что никуда не добегит. Но нойда стал шептать что-то и постукивать камнем о камень, и от этого проснулась Луот-хозик. Дед еле успел отскочить, чтобы она не наступила на него своей огромной босой ногой, а Луот-хозик присела и начала мочиться, покачиваясь спросонья, трясая мохнатым телом и поблескивая золотыми зубами. Дед подбежал и стал подставлять бока под горячую струю, и всю краску с него смыло, а деду стало жарко. За это дед сказал нойде: «Я разрешаю сесть на меня и твоему сыну тоже. Я убью политрука, и мы побегим». Нойда сказал: «Мой сын член партии, он никуда не пойдет». Тогда дед рассердился, сильно ударил нойду по ноге копытом, растоптал все его вещи и зубами сорвал с его груди амулеты, а потом пошел в

белую куваксу, где спал политрук, но там спали еще солдаты, и деда бы сразу застрелили. Дед пожалел, что обидел нойду, и решил пойти к нойде извиниться и попросить помощи. Смотрит – а Луот-хозик держит нойду в зубах, потому что нойду теперь не защищали амулеты, и собирается закинуть его на луну. Дед закричал: «Пусти его, пойдем, я покажу тебе человека, который приказал тебя разбудить! Разве нойда что-нибудь может? Он старый и слабый, все его силы давно забрал политрук, я слышал, как он смеялся и говорил: „Я подчиняю себе людей и оленей, и когда мы пойдем назад, Луот-хозик встанет на четвереньки и повезет мои нарты. Разбудите ее, пусть она смотрит на небо – не летят ли наши самолеты забирать раненых; от вида самолетов Луот-хозик задрожит от страха, и грохот ее старых костей вовремя нас разбудит!“» Тогда Луот-хозик взвыла от ярости и выпустила из зубов нойду, нойда упал и разбился, и там, где он упал, теперь стоят один на другом три огромных камня – столько его сыновей были члены партии, и все ушли на войну. А Луот-хозик пошла к куваксе политрука, и земля под ее ногами дрожала, и от этого политрук, младший сын нойды, проснулся и понял, что ему пришел конец. На каждом рукаве у него было пришито по звезде с серпом и молотом. Политрук выбежал из куваксы и замахал руками, чтобы небо притянуло к себе звезды на рукавах и подняло политрука вверх; но в небе уже подлетали два самолета, и пилотами в них были средний и старший сыновья нойды. Один серп зацепился за один самолет, а другой – за другой; Луот-хозик схватила политрука, дернула вниз и разорвала пополам, а звезды с его рукавов так и приклеились к фюзеляжам самолетов. Тогда средний сын нойды сказал старшему: «Смотри, откуда взялись звезды на наших фюзеляжах? Наверное, наш отец сумел загладить свою вину перед партией». А пока внизу все бегали вокруг тела политрука, дед ушел из лагеря и вернулся к себе домой, и весной пошел и стал искать себе жену, и нашел, и так у него еще до конца войны родились две дочки, белые, как снег, и никакая бомбежка им была не страшна, а если наверху летели самолеты и дед видел звезды на фюзеляжах, он всегда говорил жене: «Одним политруком меньше».

79. Операция «Молоко»

Удивительно, что сам Коби Левин не порезался ни разу, – а может, и порезался, но не заметил; руки у него тряслись, он говорил себе: «Это адреналин, это адреналин», – но это был не только адреналин. Из восемнадцати ящиков, рассыпанных сейчас вокруг лишившейся одного колеса угнанной тачки, они вскрыли один, но в нем были шестьдесят четыре банки; Коби Левин открыл трясущимися своими руками, наверное, банок сорок и теперь смотрел, как крошечный, тоже весь трясущийся – от природы – Нурбек невыносимо косит глазами, пытаясь разглядеть оставленную жестяной кромкой кровавую ссадину на крошечном своем язычке. Вообще лакать из маленьких, на детскую ложечку рассчитанных баночек оказалось непросто, и кто поумней – те доставали куриную пресную размазню лапами, а старый шакал, которого люди называли «Табаки» (имя это казалось Коби Левину смутно знакомым и смутно же беспокоило), приспособил к делу узкий и длинный кусок угля, валявшийся на полу пещеры. Четырнадцать (примерно) лет назад Коби Левин уже был в этой пещере – ставшие тесными в паху грязные бежевые шорты, рубашка еще грязнее, почти без нашивок (цофэ из нескладного Коби Левина был никакущий), да синий галстучек о двух концах, да пахнущая потом, пылью и бодрым отрядным костром толстоватая девочка, тоже основательно извалянная в родной земле; пуговицы на рубашке у нее давно расстегнуты, лифчик уполз куда-то вверх и впивается косточкой ей в сосок, который Коби Левин пытается освободить трясущимися пальцами, и только треклятый синий галстук не дает наконец распахнуть, сорвать, как следует наконец прихватить. Вожатые говорили, что в пещерах водятся шакалы, и однажды они с Лией действительно спугнули шакала: толстый и ленивый, он взвизгнул человеческим голосом, а потом потрусил прочь и затерялся в растущих по бокам от входа гигантских кактусах. Но сейчас эта пещера на отшибе караванки «Далет», почти на самом краю парка, принадлежала не Табаки и не его родичам (трусливым и мелким, ни на какое рискованное дело не согласились бы пойти), и Коби Левина до сих пор изумляло, что Табаки оказался таким дерзким; впрочем, Табаки любил поесть, и Коби Левин подозревал, что старику хотелось попробовать этого вымечтанного, легендарного сказочного детского питания, а терять в его возрасте было почти нечего. Табаки позировал Коби Левину, пока тот пытался нарисовать щенка (голову побольше, лапы потолще, а глаза получились такими огромными, что Коби Левин собрался было цапнуть в «творческом» караване другой кусок картона и начать заново, но Карина (которую люди звали Кариной) сказала «нет», и он, как умел, написал под щенком: «Наши дети давятся сухим кормом, пока ваши дети обжираются паштетами», и Карина так долго смотрела на буквы, что Коби Левин заподозрил ее в умении читать. Ничего, кажется, страшного не было в Карине – если можно не дрожать перед огромной самкой ягуара (у асона тридцать три фасона), – и Коби Левину казалось, что все дело в черных страшных резных скулах – вернее, в том, как пятна сходятся у нее под скулами; несколько раз он пытался представить себе Карину без этих пятен, но получалось только страшнее. Карина как-то вычислила его, вынюхала, когда он в свою очередь стоял добровольцем на животной помывке; шли все собаки да кошки, он, Коби Левин уже был мокрым насквозь, а тяжело беременная Карина лежала неподалеку, смотрела, вылизывала огромное брюхо и раздутые сосцы, а потом встала и пошла, и Коби Левин понял, что походка эта адресована ему, и пошел за ней с колотящимся сердцем, как шел за женщиной два или три раза в жизни, и Карина ему все объяснила, и все началось. Два старших сына Карины не стали есть почти ничего – так, вылизали банку-другую; ничего более дикого, чем эти два зверя, которые галопом несутся по разбитым велосипедным дорожкам бывшего парка, таща за собой груженную детским питанием телегу, Коби Левин не видел, и чувство совершенной нереальности происходящего так и не покинуло его до сих пор, хотя давно рассвело, и страшная черная буря, в ожидании которой весь лагерь попрятался кто куда, облегчив им задачу, уползла

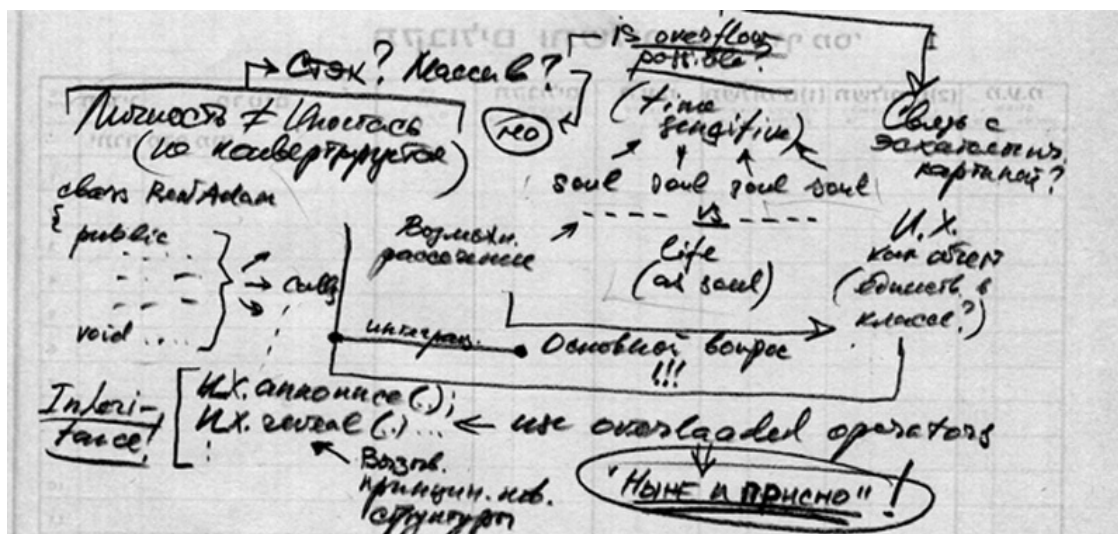
далеко, и Коби Левин говорил себе, роняя очередную банку с идиотской улыбающейся курицей на этикетке, что это все адреналин, адреналин; кур в лагере было много, и их яйца были предметом яростных философско-этических споров в лагерном совете. Внезапно Коби Левин понял, что не смотрит на Карину, не может на нее посмотреть, и что именно от этого у него трясутся руки, но что Карина – это и не глядя было ему совершенно понятно – не притронулась к «Нежной курочке» и притрагиваться не собирается, и ему стало ясно, что все это он делал только ради Карины, во имя Карины, и еще – что разговорами и выговорами дело не кончится, что у операции «Курочка» будут последствия, и последствия эти коснутся вовсе не Карины. Коби Леви заставил себя посмотреть на Карину и на то, как она лежит, выставив торчащие сосцы; две новорожденных дочери, которых люди называли Камилла и Лада, и трое их большеголовых братьев-близнецов жадно сосали мать, ритмично подрагивая задними ногами. Тогда Коби Леви подошел к Карине, лег, свернулся, спиной отодвинув копошащихся теплых котят, вытянул шею и припал к свободному соску. Но как он ни напрягал и ни втягивал губы, молоко не шло.

80. Как мы это назовем?

سنسميه إزالة الحشرات

*«Назовем это дезинсекцией» (араб.), граффити, разрушенное здание хайфской мэрии, июнь 2022.

81. Фрагмент амбарной книги, которую Юлик Артельман заполняет по семь-восемь часов в день



Комментарии:

1. Эта книга – третья из уже заполненных Юликом Артельманом; всего в его распоряжении имеется восемь амбарных книг, найденных его отцом, Ильей Артельманом, в развалинах «Бейт Авгад» и принесенных домой специально для сына. Отецская любовь, отправившая Илью Артельмана в неприятную и необъятную разрушенную зону Алмазной биржи, впрочем, окупилась сторицей, хотя к самой бирже и некоторым другим зданиям того же рода Илья приближаться боялся: там орудовали звери посерьезнее Ильи. Но перепало и ему. Часы, в первую очередь часы.

2. С этой страницей Юлик Артельман явился на второе в своей жизни собрание свидетелей Иеговы. У него были вопросы. После третьего собрания и еще четырех страниц человек, важнее которого для Нурит Бар-Эль во всем мире нет, вызывает Нурит Бар-Эль к себе и ласково поручает ей Юлика Артельмана, вот, познакомьтесь. Нурит Бар-Эль пытается представить себе, как в ее группе среди канареек, кошечек, собачек, фреток, мышек, ежей-хуежиков сидит огромный, длинный, очкастый Юлик Артельман с безудержной разноцветной порослью на верхней губе и голым, в редких длинных волосах подбородком, и задает вопросы – но тут выясняется, что ежики-собачки отдельно, а Юлик Артельман отдельно, что Юлик Артельман теперь будет заниматься с ней лично – Юлик большой интеллект, для нас честь, что такой мыслящий, такой интересующийся молодой человек примкнул к нам (Юлик Артельман: «Я не примкнул. Я хочу сказать, что...») Далее Юлик Артельман говорит, а Нурит Бар-Эль почти не слушает его: она смотрит на его гладкий, белый, как у девушки, лоб и на роскошные черные волосы и прямо видит, как демоны Ахашмаброд и Рангадамор подступают к Юлику Артельману и руками о десяти пальцах огненных тянутся к этим волосам, а она говорит им: «Нет, подождите»; и кланяется ей Ахашмаброд, и покорно склоняет голову Рангадамор).

3. В тот день, когда все рушилось вокруг нее, она стояла, боясь шевельнуться и подвывая, и держалась обеими руками за бронзовые рога оленя, маленького оленя на маленькой площади маленького города, и с ней ничего не случилось, и она даже не захлебнулась в пыли и дыме, как женщина, лежавшая рядом на скамейке, и когда обрушился ее дом, она видела, как красиво стали вылетать деньги из лопнувшего зеленого банкомата; некоторые купюры перекрещивались в воздухе и становились похожими на бабочек или подбитых птиц. Потом она перебралась через несколько покореженных автомобилей и несколько покореженных тел и вошла в то,

что еще вчера было Залом Царства, через огромную пробоину в стене. Никого не было там, и только Ахашмаброд и Рангадамор, покорные ей с детства, с тех пор как мать ее сказала им: «Вот та, которая вам нужна», – и перекрестила ее, переговаривались, не видя, что она стоит позади них. «Бросим же ее и уйдем, – говорили они, – ибо она познала такой страх, что хребет ее сломан, хотя тело ее цело. Никогда не приведет она к нам сто сорок четыре тысячи верующих, и не выполним мы то, что приказал нам Отец наш». Тогда она топнула ногой, чтобы они обернулись, и трясущимися руками подняла с пола пришибленную крысу, и откусила ей голову, и больше Ахашмаброд и Рангадамор не спорили с ней никогда, никогда, а не то плохо пришлось бы Юлику Артельману.

82. Πεντάμορφος¹⁴⁴

Госпожа! Уважаемая госпожа! Помню вкус муравья, когда еще было можно. Муравей кислый, нежирный. Помню также вкус долгоносика. Жирный, похоже на шкедим¹⁴⁵. Уважаемая госпожа! Восхищаюсь и благоговею. Уважаю и люблю ловкостью, жесткостью, правом на поедание. Отдельно ценю вашу сильную руку, столь необходимую всем нам в это трудное время. Мечтал о восстановлении естественного порядка, ценю, благодарен, глубоко впечатлен. Позволю себе только заметить: есть пингвины. Пингвин некрасив, жирен, мясист, глуп. Я ходил, смотрел, корма было много, некоторые еще живы. Уважаемая госпожа! Я ходил, смотрел: можно давать корм, пингвин непрожорлив, неразговорчив, неповоротлив, стыдлив. От моего крика, который позволю себе назвать впечатляющим и даже уникальным, замирает, стоит. Уважаемая госпожа! Я внимателен, почтенен, послушен. Мое восхищение и преклонение, искреннее глубокое уважение мое к вам будет доставлять вам ежедневное удовольствие. Я также красив. Видя ваши успехи, раскрываю хвост и этим приветствую и поддерживаю. Таким образом, я необходим и ценен, а также стар, жилист, постноват. С пингвином строг. Кричу, пингвин замирает, стоит, смотрит, глаза – во, в ответ не хамит, сопротивления не окажет. Уважаемая госпожа! В честь нашего с вами общего будущего, в честь ваших питательных достижений красиво прохожу вот так и вот так на расстоянии, которое считаю весьма почтительным. Вот так и вот так.

¹⁴⁴ Красавчик (*греч.*).

¹⁴⁵ Миндаль (*ивр.*).

83. Подавился, да?¹⁴⁶

Суммируем: полученный от выделения морфина раствор по удалении спирта отгонкой разбавляют аммиаком для удаления смолистых веществ, после чего обрабатывают известью для удаления меконовой кислоты; полученный раствор упаривают до небольшого объема, разбавляют после подкисления крепким спиртом для удаления остатка смолистых веществ, и, наконец, после удаления спирта из раствора выделяют соль кодеина путем кристаллизации, и вот эта уже соль фасуется на конвейере, а костлявая металлическая рука раскладывает на другой ленте бумажки, и на каждую бумажку сыплется немножко порошка, а Хани эту бумажку заклеивает и уже привыкла, и ей почти нравится, даже запах порошка уже почти нравится, а раньше был страшный. Раньше все было страшное, а теперь все становится иначе, Хани даже не думала, что все может стать иначе, но больше она не ходит спать к собакам, спит со всеми, иногда они с душой Лили даже спят, вжавшись друг в друга, сами не замечают, как подползают во сне друг к другу и так спят. Дура Лили теперь пахнет так же, как Хани, и Орли теперь пахнет, как Хани, а Тоби, и Рони, и Моти, и Бени теперь пахнут почти как Дуди, и цвет у них теперь у всех яркий, красивый. Дура Лили уже носит кладку и все время про нее забывает, смотрит себе на живот и спрашивает: ой, что это? Ей объясняют, а она опять забывает, опять смешно, хорошо. Без Нати вообще часто смешно, Орли, оказывается, смешная, с ней хорошо, а Лили – это Лили. А с Нати получилась такая история: ей и еще десяти, наверное, говорят: надо ходить за собаками, за упряжкой, и какие порошки падают с тележки – подталкивать к желтой линии, там их будут собирать. А Нати говорит: «Нет, нет, не надо к собакам, нет», – а они говорят: «Не капризничай», – она хотела убежать, а они поймали, говорят: «Наше дело важное, понимаешь? Без нас всем людям будет плохо, и всем бадшабам будет плохо, и голова будет болеть, и тошнить, и чесаться будут, ты разве этого хочешь?» А Нати подумала и говорит: «Не знаю». А они ей говорят: «Не дури». И отнесли ее и их всех в левое крыло, где собаки ездят. А собаки ее не узнали, она же теперь пахнет не так (а вообще они теперь пахнут для собак, наверное, вкусно, собаки нюхают-нюхают, но поди разбери теперь, что это значит) и красивая, большая. И она держалась подальше, а тут перерыв был, дали пайки, и одна собака доела паек и стала петь про маленькую жучку, жучку-сучку, а другая собака с ней запела, а третья не запела, а стала с ними подвывать, получалось красиво, а потом она в конце: «Гав-гав-гав! Гав-гав-гав!» – и тут Нати как начнет: «Гав-гав-гав! Гав-гав-гав!» – а что она такое сказала, они уже не узнали, потому что эта собака как бросится на нее, Нати мечется, а собака зубами, зубами, за ногу почти, и тут Нати как побежит туда, где чан. А собака гав-гав-гав и за ней. А Нати по чану вверх. А собака прыгает. А Нати еще выше. А собака прыгает и цепляется лапами за край. А Нати по краю побежала. А собака гав-гав-гав и пытается достать. А Нати гав-гав-гав и как юркнет на внутреннюю сторону чана. А собака как прыгнет внутрь. А люди уже бегут, кричат, а поздно: чан глубокий очень, порошка много. Только так вышло, что когда собака перевалилась, она задней лапой задела Нати и сбила вниз. А когда люди прибежали, то уже все. Подавился, да? Подавился, да? Подавился, да? А что Нати в этот раз гав-гав-гав – это Орли пыталась у собак узнать, а они ей: «Пошла вон», – собаки их не любят теперь, приходят и нюхают специально, и хоть понятно, что не съедят, а душа страхом обволакивается.

Но вот оказалось, что без Нати Орли смешная, а Лили почти не дерется, только кусается очень, когда совокупляется, Дуди ее обратно кусает, они подерутся, а потом совокупляются, так каждый раз, а Хани, хотя и без хвоста, но тоже совокупляется, Тоби, например, даже нравится, наверное, что без хвоста, это удобно, Тоби больше всех с ней совокупляется. Их даже ругали,

¹⁴⁶ В главе используются цитаты с сайта «Справочник химика 21» (<http://chem21.info>).

что они во время работы совокупляются, больше они так не делают, только после работы и до работы. А в целом все это была, от начала и до конца, обычная подростковая история, нет?

84. С комментариями автора: «Поджопнички»

*Михаэль Артельман
Специально для «Резонера»*

...Рассказывают, что эксперимент с поголовной регистрацией провалился в Уфе очень смешным образом: регистрироваться-то зверюшки как бы и регистрируются, но живут впятером по одному паспорту, лишь бы цвет совпадал.

...Рассказывают, что олень убил на охоте сотрудника Роснефтеснаба¹⁴⁷. Фраза эта так хороша, что дальше бы ничего не писать, но придется писать: известная контора в Подмоскowie, с девяностых годов устраивающая охоту с банькой для любителей пулять в чужую мякотку, ушла, естественно, в подполье¹⁴⁸ – и там, в подполье, организовала себе сюжетик: научились выходить на подсадных уток. Уток, оленей, кабанов, белок – научились, короче говоря, через лесников или еще кого-то находить в лесу больнушечек, или старичков, или еще кого убогого, выкармливать, вылечивать, а то и подсаживать на вещества¹⁴⁹ – и вот этот новый, можно сказать, сотрудник компании уже встречает очередную партию клиентов, и ведет в лес, и выводит на уток, оленей, кабанов, белок – хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. Так вот, приехала компания роснефтеснабовской мелкой шушеры – менеджеры двенадцатого звена, рисующиеся перед менеджерами тринадцатого звена, – потешиться с ружьишками. Привели к ним старого оленя со шра-

¹⁴⁷ Через неделю после того, как этот материал был опубликован в «Резонере», новость внезапно подхватили крупные СМИ – семья погибшего подала в суд на охотничью контору (называлась она «Попси»), но адвокаты конторы отбили иск в полпинка – естественно, сотрудником конторы олень не был, естественно, никакой договор с ней не подписывал, потому что подписать не мог, и опять – как это происходило в больших и маленьких ситуациях такого рода по всей стране – отвечать за происшедшее было некому. Тогда семья погибшего, ни на что не надеясь, подала в суд на оленя. Иски такие подавались в те дни пачками и сыпались в мусорные корзины, потому что до появления Раздела XIII Уголовного кодекса Российской Федерации оставалось четыре месяца; но судья, пожилая дама с железными яйцами, иск приняла и, насколько могла, дала делу ход; по крайней мере, олень не был сразу отослан «на базу» (если верить знаменитой статье Костюченко про эти «базы»*, оленю, парадоксальным образом, здорово повезло), а успел трижды побывать в зале суда. Транскрипты этих заседаний до сих пор читаются в Театре имени Лены Гремминой в качестве verbatim-спектакля «Морошка», очень, говорят, хорошего. Фразу «А вы под язык капайте», кажется, вся Москва знает.*Но куда-то же их надо было девать? Вот этих, лягающихся или бодающихся, покусавших или проворовавшихся, – и говорили еще, что лучше так, чем самосуд; Костюченко же писала, что «нет ничего страшнее, чем эта страшная пародия на российскую колонию для несовершеннолетних, – только здесь закона не существует не в переносном, а в самом простом, самом буквальном смысле слова». Автор этой книги предпочитает верить Костюченко; Впрочем, ответа на вопрос «А как надо?» у автора, естественно, нет и быть не может.

¹⁴⁸ *Комментарий 1:* Но вообще эти ребята сопротивлялись событиям дольше других таких контор – как-то они смогли призвать своих клиентов на помощь, среди тех важные шишки были; это под их офисом, между прочим, эпически рубились «озверевшие» с отказниками, а за спинами у «озверевших» стоял цепью ОМОН и уходить никому не давал, пока отказники не отпиздят; у самих-то ОМОНовцев руки, получалось, чистые – они и пальцем никого не тронули, нет, а только охраняли общественное спокойствие. Говорят, у них эта тактика называется «поджопничать».

¹⁴⁹ Сначала так говорили про собак, про тех самых собак, что торговали у метро китайскими светящимися яйцами с музыкой и неоновой помадой, про дворняг со слезящимися глазами, стоявших в переходах с кепкой у грязных лап, просивших деткам на операцию, на корм, на то, на се, про рослых псов с узкими мордами, которые увязывались за тобой на темной улице, – и ты покрепче перехватывал рюкзак с кошельком внутри, пока не вцепились в него желтые зубы: мол, их подсаживают, дозы-то нужны крошечные, и подсаженных столько, что рынок героина переживает в Москве бум, а уж о Челябинске и Саранске говорить нечего. Потом заговорили про «Е» – тут уже речь шла о холеных хипстерских мейн-кунах и левретках, о фретках и мини-пигах, от которых хозяевам хотелось большой любви (не поймите неправильно – просто любви, любви, нежности), и термин «микродозинг» поменял значение, а в клубах пошли по рукам пакетики с розовыми и салатowymi горшинками гомеопатического размера. Потом к ребятам, быстро поднявшимся на совершенно легальной торговле мататаби, стали приходить большие неприятные парни, и весь этот сегмент рынка аккуратно перешел к совсем другим людям, благо и фасовка, и производство – удобно же все на одном оборудовании делать. И вот недавно Михаэль Артельман впервые в жизни испугался собаки: стояла эта собака у его, Михаэля Артельмана, подъезда, пошатывалась, и Михаэль Артельман готов был потом поклясться себе, что глаза собачьи были налиты кровью. «Мужик, – сказала собака нехорошим голосом, словно икала, а не говорила, – мужик, позвонить надо», – и скорость, с которой Михаэль Артельман заскочил в подъезд, была, честно скажем, совершенно постыдной, и когда Михаэль Артельман вошел в квартиру, уже другие налитые кровью глаза посмотрели на него из зеркала, и кухонному стулу с милым поджопничком, сшитым Оксаной вручную, как следует досталось, и стенке, соответственно, досталось тоже.

мом во весь бок – черт знает, где его так угораздило, а может, у них там предприятие полного цикла было, сами саданули, сами вылечили, сами к делу приспособили. Олень вежливый, кланяется каждому, те с ним тоже здоровкаются честь по чести. «Вам бы, – говорит, – чего, господа, хотелось?» А тут надо сказать, где в этой схеме слабое место было: попробуй, глядя оленю в глаза, сказать: «Нам бы оленей пострелять». Хоть ты одиннадцатого звена будь – сердце-то екнет. Ну, они и говорят: «Мы люди скромные, нам бы женам на воротники зайчиков добыть». «Это, – говорит олень, – не проблема, вот покушаем и пойдем». Ну, там, как положено, поляна накрыта, они поели, водочки приняли, оленю тоже пятьдесят грамм поднесли, он вежливый, не отказывается. Собрались, пошли. Олень тихо идет, они тоже стараются не хрустеть. Зашли глубоко, вдруг олень осторожно так качнулся вправо – смотрят, на поляне целое ушастое семейство сидит. Ну, они давай палить, а сами на оленя посматривают: тот вроде ничего, не реагирует, вроде ему похуй. Три минуты прошло – зайцы лежат. Ну, собрали, пошли обратно, но вот проблема – ребята чувствуют себя обманутыми. Придраться вроде не к чему, но разве ж это охота? Разве ж эти, из тринадцатого звена, так поймут, кто тут настоящий мужик? Идут недовольные, тащат зайцев, каждый думает: «Сейчас хоть бухну еще», – олень сзади идет, тоже что-то такое говорит про ребят на базе, которые и освежают, и упаковуют, и поджарят. Вдруг один наноменеджер видит – полная поляна желтеньких ягодок, налитых, вроде мелкой малинки. «О! – орет наноменеджер и ломится в середину поляны. – Морошка! Давайте пакет какой-нибудь, хоть морошки пожрем!» И тут сзади слышится такой звук, как будто в сторону наноменеджеров несется гигантский локомотив, выбрасывая тысячи кубометров пара. Или сотни тысяч. Наноменеджер оборачивается – стоит олень, голова наклонена, грудь ходуном ходит, с губы каплет слюна. «Ах вы ж суки, – говорит. – Ах вы ж суки блядские. Мало вам, да? Вам еще морошку подавай. Морошку вам еще подавай, сукам...» Ну и пошел вперед рогами. А потому что these violent delights have violent ends.

...Рассказывают, что одна контора, занимающаяся импортом животных из какого-то там Гондураса¹⁵⁰, – своих импортируемых называет «лирики», в смысле «лишенные речи», а наших местных как? «Пиздики».

...Рассказывают, что в каком-то зоопарке¹⁵¹ бурая медведица по имени Февронья откопала снаряд времен Отечественной войны. Прибежали саперы – Февронья сидит и снаряд по земле валяет, туда-сюда, туда-сюда. «Февронья! – кричат саперы. – Не трожь его, Февронья! Иди сюда! Потихонечку сюда иди!» – и машут пряниками. Тут выходит из-под искусственной скалы разбуженный Февроньин муж. Они и ему кричат: «Петр! Не иди туда! Сюда иди!» – и тоже пряниками машут. Он жене дает по уху, снаряд отбирает и катит прямо на саперов. Те с матом отбегают, роняя пряники. Петр подходит, сжирает один пряник, другой, поворачивается к жене и кричит: «Копай еще, мать, – они эту хуйню на пряники меняют!»¹⁵²

...Рассказывают, что некоторые деликатные люди стали менять таблички «Осторожно, злая собака» на «Осторожно, преданное животное». Ну не прелесть ли?

¹⁵⁰ *Комментарий 2:* Ну, или откуда нам сейчас готовы поставлять зверушек для, так сказать, научных исследований без угрызений совести и без «ой, мамочка, больно!»? Вся история с Утрехтской конвенцией довольно, надо сказать, поразительная – я был уверен, что ее не примут, а если и примут, то в такой форме, что работать она не будет; но я старый мизантроп, а мир, как мы видим, полон прекрасных добрых людей с золотыми сердцами. А лекарства мы теперь будем испытывать на себе. Начинать можно с меня, меня никому не жалко.

¹⁵¹ *Комментарий 3:* Маленькая дочка нашего коллеги Вани Сонькина называет зоопарки «злопарками».

¹⁵² *Комментарий 4:* Врут, конечно, но трудно не наблюдать с восхищением, как у нас на глазах, вот прямо в эти дни, рождается новый пласт анекдотов – и новый пласт анекдотических персонажей; не изволит ли читатель погуглить одновременно слова «медведи», «Петр» и «Февронья» – и, возможно, ахнуть, как ахнул я?

85. Типуль нимрац¹⁵³

РАСШИФРОВКА АУДИОЗАПИСИ РАДИОЭФИРА ПЕРЕДАЧИ «РЭФУА ШЛЕМА: МИЛА ЯФА ЛЕ-РИПУЙ РЭГШИ ВЭ-ФИЗИ» ОТ 26 АВГУСТА 2022 ГОДА; ИЗ ДОКУМЕНТОВ К ДЕЛУ № 07/90315736/30 «ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ ПРОТИВ МИКО ДРОРА (ТЕУДАТ БАДШАБ 303811145)»; ФРАГМЕНТ 12

«...слушок, что алюф Гидеон издал тайное распоряжение про ветлагерь, да-да, про наш Господом оберегаемый ветлагерь, которому столько из нас жизнью обязаны, здоровьем обязаны? А говорят такое: теперь, мол, ветеринары должны лечить только тех, кто совсем умирает, а если ты не умираешь, так говорить тебе, что ты полежишь и сам выздоровеешь, потому что как же стране тебя лечить, когда надо позаботиться о... Ну, говорят, о людях, вот так прямо и говорят: „Когда о людях надо позаботиться“? Так нет, это плохой слушок, неправильный, несправедливый к нашей стране, и к алюфу Гидеону несправедливый, нехороший слушок, а ведь алюф Гидеон в нашем округе и есть страна, наша с вами, так сказать, Родина и есть алюф Гидеон, разве нет? Что на самом деле сказал алюф Гидеон? Это нам сейчас не известно, такое время, что поделаешь, никто нам отчет давать не обязан, это очень понятно, это вам асон, а не чтобы пресса во все лезла, все выводывала, – это мы все понимаем, – но даже из того, что лично мне посчастливилось, повезло, случайно удалось узнать, – оно разумное, важное, полезное: вроде как алюф Гидеон замечательно придумал, что теперь в ветлагерях только снимают острые симптомы, понимаете? Замечательное, мудрое решение: если снимать только острые симптомы, насколько же больше острых симптомов можно снять, а если симптомы неострые, то они, может, и острыми никогда не станут, хамса-хамса-хамса, а в такое трудное время, которое выпало на долю нашей с вами бедной страны, разве не разумно...»

¹⁵³ Реанимация (ивр.).

86. Меха́бшаб¹⁵⁴

Ему захотелось кинуть в Зеева Тамарчика венчиком для взбивания яиц, когда тот опять завел, что они заняты не тем, что надо просто-напросто оставить пробелы вместо недостающего слова и дописать уже методичку. Венчик он завел за спину и ласково спросил Зеева Тамарчика, куда тот торопится, и нет ли у него дел поважнее, и не злоупотребляют ли они его вниманием. Но тут Сури Магриб сказала из своего угла: «Меха́бшаб. Это должно называться „меха́бшаб“».

¹⁵⁴ От «меха́бэль» («террорист», *ивр.*) и «бадшаб».

87. Дислалия – это...

...ничего ужасного, это просто когда произносят «фы» вместо «пы», «зы» вместо «сы» или даже «у» вместо «е», чем черт не шутит. Старшего фельдшера Ларри Лапида Костя Маев дразнит Рарри Рапидом и еще называет «Япани»¹⁵⁵ – за глаза, конечно, в глаза Костя не любит никого обижать, а Ларри Лапида и просто уважает, иногда Ларри Лапид хвалит его за хорошую работу, но вообще Костя Маев неожиданно для себя оказывается остроумным парнем – по крайней мере, он теперь много шутит шепотом, за дверью хозяйственной части, а лисички смеются, тоже тихо-тихо: «Кхе-кхе-кхе, тяф», «кхе-кхе, тяф», и Костя Маев тоже иногда говорит «тяф», когда ему весело, и от этого лисички снова смеются. Привезли месяц назад девять лисичек, а осталось пять, от них пахло шашлыком и горелой шапкой («не встречался ли вам маленький мальчик, тощенький такой, шапки боится?» – а откуда Костя Маев знал запах горелой шапки, он и сам не понимал, вот так разве что намечтал из книжки), одна выла совершенно звериным, нечеловеческим голосом, слышно было даже в тенте, где спали никайонщики¹⁵⁶, и Костя Маев от этого звука проплакал полночи, а утром пошел к Ларри Лапиду, назвал его честь по чести «самалем Лапидом» и попросил показать ему лисичек. Досужих любителей слоняться по ветлагерю как по зоопарку здесь терпеть не могли, но Костя Маев был существом послушным, ласковым, и Ларри Лапид пустил его посмотреть на лисичек через прозрачную клеенчатую стену послеоперационного тента. Их в то утро еще было шесть, этих лисичек, и Костя Маев изумился, что они совсем не рыженькие, а серо-коричневые и вообще похожи на мелких собачек с большими хвостами (а две были почти без хвостов) и с густо подведенными чем-то черным глазами, как у девчонок в те далекие, далекие, пахнущие железом и бензином ночи, про которые Костя Маев теперь помнил как-то странно, как будто кино посмотрел (и только иногда между ног, на внутренней стороне бедер, у Кости Маева при этих воспоминаниях становилось горячо, и он даже несколько раз спускал штаны – но нет, ни покраснения там не было, ничего). На шеи лисичкам были надеты пластмассовые конусы, одна лисичка лежала на боку и смотрела прямо на Костю Маева половиной обожженной морды, ему показалось, что у нее отошел наркоз и сейчас ей станет больно, но лисичка не плакала и не дергалась (а другие подергивали во сне лапами, кто четырьмя, а кто и тремя), и потом, когда лисичек перевели в обычный тент, Костя Маев пришел и стал читать этой лисичке, но и другие его тоже слушали, так что постепенно стало так: Костя Маев сидит на полу, а лисички сидят вокруг, качаются на шеях кривоватые конусы, которые режет вручную в подсобном корпусе светлобродный Витя Иванев из никогда не заканчивающихся, заготовленных на случай апокалипсиса в количестве несметных каких-то десяти тысяч плакатов «Пять причин не верить слухам». У кого-то из лисичек вокруг шеи шло слово «попадаются», у одной почти весь текст пятого пункта («5. Слухи множат слухи. Пересказав слух, родишь новых двух. А если...») тенями бегал по узкой морде, а у той лисички, что смотрела на Костю Маева из-за прозрачной стенки реанимации, конус был чистый, склеенный Витей Иваневым из каких-то обрезков и остатков; иногда все тело этой лисички резко дергалось, и Костя Маев успевал, не отрываясь от чтения, поймать падающую маленькую капельницу. Много кто из персонала приходил читать выздоравливающим; все книжки были одинакового размера, в похожих обложках – их, эти книжки, тоже, видимо, заранее готовили мудрые власти, прикапывали где-то (теперь о таком принято было говорить – «из бункера», и о содержимом этого самого бункера ходили слухи один удивительней другого); читали кошкам и собакам, читали мангусту и майнам, читали несчастной лосихе, которая постоянно озиралась одним глазом, искала у себя под ногами кого-то малень-

¹⁵⁵ Японец (*ивр.*).

¹⁵⁶ От *ивр.* «никайон» – «уборка».

кого, теплого, хрупкого, безрогого и спрашивала недоуменно: «Где они? Где же они?..» Читали в основном детское, потом обменивались в курилках и отдыхалках курьезами нелюдского восприятия («Элиэзер вэ-а-гезер»¹⁵⁷ – это же умереть что; смеялись до поздней ночи и каждый день, с новой партией пациентов, возникали новые истории; из-за толкований к «Плуту» случались драки, а «Винни-Пух» в исполнении одной из медсестер слушали в двести, наверное, ушей, и медсестра теперь ходила знаменитой). Но лисички были умные, и Костя Маев читал им про Иофора, тестя Моисея, и как тот поверил в народ и Бога Израилевых, и принес этому Богу жертвы, и все стало хорошо. Читал Костя Маев по своей тетрадке, всем на уроках Танаха выдавали такие удобные толстые тетрадки, с одной стороны тетрадки можно было записывать за учителем, а с другой стороны ты делал домашнюю работу – своими словами излагал библейские истории, а учитель Грег Даян потом проверял и помогал поправить, чтобы все было по Торе. Когда Костя Маев читал лисичкам про Иофора первый раз, он нервничал, что они не поймут, но они слушали, лениво щурились на солнце, похлопывали по резиновому полу хвостами, да еще однажды та самая лисичка перебила его на середине фразы и сказала: «Парень, невпадлу, сбегай принеси воды, пожалуйста». Костя взял миску и побежал за водой, за спиной у него раздалось тихое «кхе-кхе-кхе, тяф», но это было ничего, у Кости Маева и у самого першило в горле, очень сухой был этот отфильтрованный воздух. Он побежал к кулерам, боясь, что лисички разбредутся по подстилкам, и тут же во что-то влетел, и услышал детский визг: миска-то, оказывается, еще была полна воды, а вот и детская экскурсия, их стали привозить недавно, чтобы прикомандированные к ветлагерю верблюды не возвращались порожними из «Гимеля» и «Далета», и сразу вели детишек в тент к выписанным, развивать эмпатию и учиться лучше понимать наших новых маленьких друзей. Что они делали около нашего тента? Ну, их трое, и они слышали, что тут есть тигр, и вот... Та писюшка, которую Костя Маев случайно облил водой, спрашивает, где тигр, и Костя Маев вдруг преисполняется восторга, и заговорщицки сообщает, что у него есть кое-кто получше тигра, и на цыпочках, точно актер в детском спектакле, ведет писюшку с ее пажами за собой, и говорит: «А вот и мы!» – и весело раскидывает руки. Они смотрят на Костю, его лисички, и та, которая послала его за водой, по воду, говорит: «Охуел, что ли?» – а потом медленно поворачивается к нему мертвой, скрюченной половиной морды. Детский вопль раздается у Кости Маева за спиной, умножается на три, лосиха бросается вперед, крича страшно и трубно: «Там они! Это они!»; падают и подпрыгивают капельницы, рвется тетрадка, взлетает в воздух отброшенное копытом хрипящее серо-коричневое тельце со сведенной крючковой лапой, изо рта у этого тельца удивительной красоты веером вылетают капли крови, и пока тельце летит, подведенный черным страшный глаз смотрит на Костю Маева, а Костя Маев, так и застывший с дурацкой улыбкой, распахнутыми руками и пустой лисьей миской, чувствует, как эти криво торчащие когти что-то вытягивают у него изнутри – кишочки, жилочки, потрошка, – тянут-потянут, тянут-потянут, тянут-потянут.

¹⁵⁷ «Элиэзер и морковь» – ивритский вариант «Репки».

88. На наших и на ваших

Смотреть было не надо, незачем, если бы он смотрел, он бы не выдержал, не выдержал бы и бросился на них; два раза это едва не стоило ему жизни, а один раз стоило ему трех пальцев – Сувар Марбури сказал ему тогда, что это как подарок ко дню рождения, осталось ровно столько пальцев, сколько ему лет, но он не знал тогда, что такое день рождения; так вот, если он смотрел, то не умел ждать: глаза как будто переполнялись, а потом их заливало черным светом, и он бросался вперед и кричал, и убивал, и его убивали, но не убили. Кроме того, глаза надо было закрывать, потому что белки видно в темноте; их учили подолгу держать глаза закрытыми и не засыпать, и хорошо научили. Поэтому сейчас он не стал смотреть, закрыл глаза и стал нюхать воздух, и вдруг исчез и появился в совсем другом месте: в той деревне с настоящими каменными домами, это называлось «медицинская база». Никого не было на базе, к их приходу все давно уехали, убежали. Им было велено разбиться на пары и обойти базу, если увидят кого-то – не стрелять: таких людей, какие бывают на медицинской базе, имело смысл связывать и приводить Сувару Марбури, Сувар Марбури обходился с ними хорошо и потом получал за них деньги. Он пошел искать в паре с Атифом Амхаром, Атиф Амхар был большой, плечи у него были как коромысла, и поэтому в узкие места Атиф Амхар протискиваться не мог, а он, Марван Гаранг, мог, и поэтому если где-то была закрыта дверь, они обходили каменный дом, выбивали камнями окно или форточку, а потом Атиф Амхар подсаживал его, он срезал ножом сетку и забирался внутрь. Он помнит, как запах, этот невероятный запах ударил ему в ноздри, как только на землю полетели осколки стекла. У Атифа Амхара нос был сломан, Атиф Амхар не чувствовал никаких запахов, стоял и пыхтел там, внизу. Здесь не было сетки, он полез внутрь и утонул в этом запахе, таком сильном, что он стал задыхаться, но не мог уйти, все стоял и стоял, пока снаружи не занял Атиф Амхар. Он не знал, что это за удивительные, благоухающие, нежные на ощупь ярко-голубые камни, он никогда раньше не видел такого мыла, а если и видел до войны, то забыл, для мытья Сувар Марбури выдавал им огромную бутылку с жидким детергентом, он пах фальшивыми цветами и горючим. Он набрал полную сумку этих камней, но все равно в комнате оставались еще сотни, а может, тысячи таких, в больших белых коробках с нарисованными на них очень красивой белой женщиной и белым же младенцем с синими страшными глазами, как у водяного. Он не хотел, чтобы Сувар Марбури видел эту женщину, но не мог и помыслить о том, чтобы утаить находку от Сувары Марбури. Он принес Сувару Марбури голубые камни и спросил: «Они волшебные?» Сувар Марбури расхохотался, плеснул себе на руки из бутылки и показал, как на ладонях и вокруг камня собирается пена, а прекрасный запах передается рукам человека. Сувар Марбури решил им всем помыть руки с мылом, и все они до самой ночи нюхали свои ладони, но ему этого было мало. Утром, когда Сувар Марбури отпустил их отдыхать после учебной стрельбы по маленьким пустым банкам из-под своего пива, он достал голубой брусок и стал ковырять его ножом, зажатым в двух пальцах, и за два дня вырезал из мыла водяного с огромными, жуткими синими глазами, и отнес Сувару Марбури. Сувар Марбури повертел в руках водяного и вдруг стал лить на него воду из бутылки; Марван Гаранг пришел в ужас, но Сувар Марбури просто показал ему, как от воды водяной становится гладким, и они сделали водяного гладким, и Сувар Марбури промокнул его полотенцем и положил к себе в сумку. Потом, много месяцев спустя, когда почти никого не осталось в живых и белые люди с той стороны кричали на ломаном арабском: «Мы не хотим стрелять! Мы не хотим стрелять в детей! Мы не враги! Мы вам поможем!» – а они стреляли в этих людей, стреляли хорошо, точно, он увидел, как Сувар Марбури лежит в смешной позе, как будто бежит лежа и одновременно смотрит в небо, и немедленно понял, что Сувар Марбури убит, он пополз к его сумке, прижатой длинным и узким Суваровым телом к земле, и вытащил оттуда несколько обломков голубого мыла и еще кое-что

– маленькую мягкую игрушку, черного кота. Кот пах мылом и еще чем-то – теплом, пылью, игрушкой, кот пах игрушкой, он лежал и лежал с этим котом, лежал и лежал, прижав кота к носу, и когда стрельба прекратилась, его так и нашли, единственного живого, привалившегося к Сувару Марбури, и так и сфотографировали – картинку эту он видел потом сто раз, наверное, и оставался «мальчиком с той картинки» еще много лет: мертвое тело полевого командира и привалившийся к нему ребенок с огромными глазами под сползающей на лоб каской: «калаш» на коленях, открытые ладони, на одной – голубые осколки мыла, на другой – плюшевый кот, «мальчик-солдат показывает сотрудникам гуманитарной помощи свои сокровища»; на самом деле они кричали ему: «Покажи ладони», – хотели убедиться, что он не прячет гранату. А сейчас где-то здесь, под кроватью, лежал кусок мыла, он мог в этом поклясться, украденный и спрятанный вот в этом, наверное, раскуроченном чемодане кусок мыла со склада; в караванке «Далет» мыло выдавали раз в две недели, не сэкономишь. Марван Гаранг лежал на полу под кроватью у беременной женщины Кати Маевой совершенно голый – это была ее идея, когда они стали стучаться в ее караван с криками: «Битахон! Битахон!» – она вдруг начала стаскивать с него красную футболку, и он быстро понял ее идею, и теперь его было совсем не видно. Кота они впустили раньше, он пришел через форточку, стал стучать лбом в стекло, а когда вошел, сказал: «Облава». Марван Гаранг успел спросить: «На ваших?» – кот ему был не враг, с котами у них был нейтралитет: у котов свои дела, у его ребят – свои; ему было смешно, что коты играют в политику, но он уважал чужую силу, а коты показывали силу, и этот, один из главных Карининых ребят, – в первую очередь, однажды им даже удалось провернуть вместе дельце, которое принесло Марвану Гарангу около пяти тысяч шекелей, если пересчитывать карточки и кубики прессованного пайкового гаша на деньги. Кот успел сказать: «На наших и на ваших», – и тут в дверь заколотил битахон, умная Катя Маева начала сдирать с него футболку, и теперь этот черный кот лежал под мышкой у Марвана Гаранга, и от него пахло плюшевой игрушкой; Марван Гаранг шепнул ему: «Глаза закрой, видно», – и кот послушно закрыл глаза, а Марван Гаранг подумал, что потом от кота будет пахнуть мылом и так могут вычислить Катину кражу – хотя нет, глупости. От Кати Маевой действительно всегда хорошо пахло, сейчас для этого надо было прилагать большие усилия, и Марван Гаранг это ценил; когда он впервые начал ухаживать за Катей, она уже была беременной, с животиком; он никогда не спрашивал, где ее муж, хотя муж где-то был, Марван Гаранг видел его один раз, а потом мужа, кажется, забрали в медлагерь. Катя Маева ни разу не заговорила о муже; Марван Гаранг ценил и это. Однажды кот услышал, как Марван Гаранг лежит с Катей Маевой на кровати и шутит, что надо бы сделать еще заход: может, если они постараются, детки все-таки родятся черненькие. «Марина и так называет меня „африканской подстилкой“, – лениво сказала Катя Маева, отводя двупалую черную руку от своей голой промежности. – Вот еще детей моих будут черными бандитами считать». Марван Гаранг уже собрался щелкнуть Катю Маеву по лбу, но кот вдруг запрыгнул к ним на кровать и спросил, потершись головой о набухший Катин сосок: «Почему африканской подстилкой?» Они засмеялись и объяснили ему, что люди часто делают это живот к животу, лежа, женщина снизу, мужчина сверху. Кот сказал, что это он много раз видел, он не про это, а про почему африканской? Марван Гаранг сказал, что он из Африки, но коту все равно было непонятно, и понятно было, что именно непонятно. «Ну потому что я белая, а он черный, это считается неправильно», – сказала Катя Маева, и еще сколько-то времени они пытались объяснить черному коту, в чем тут дело, и смеялись до колик, и Катя Маева сказала, что ей сейчас нельзя так напрягаться, а Марван Гаранг скинул кота на пол и сказал, что ему не нравится, когда кто-то говорящий трется об его голую женщину, а кот очень серьезно сказал: «Понимаю», – и они чуть не умерли со смеху. Примерно в два часа ночи кот выберется из-под кровати, оставив Марвана Гаранга лежать, и отправится на разведку, и вернется примерно через полчаса с очень плохими новостями: битахон забрал куда-то Нгоси Гвандою, Моси Зубери – правую руку Марвана Гаранга, Нуни Коэна, Зосима Хануку и еще как минимум троих из Марвановых ребят:

взяли или нет Ави Бабака, кот не знал; времени узнавать у него не было, его собственные дела были плохи, отловили почти всех, а кто-то видел, как шла в окружении четырех битахонщиков Карина, повели ее в сторону «катакомб», и ничего хорошего это не обещает. Марван Гаранг сказал, что он в долгу у кота, что сейчас он уйдет из лагеря, но когда-нибудь отдаст долг и что кот может пойти с ним, если хочет, но кот сказал, что нет, сейчас его ребятам важно не сдаваться, сейчас важно показать этим свиньям, что никакой облавой их не остановить. Еще кот сказал, чтобы Марван Гаранг не беспокоился, он присмотрит за его женщиной.

89. Больше некому

Яся Артельман (*гладя сидящего на ладони крупного шестидневного крольчонка, покрытого черным пухом; второй крольчонок, темно-коричневый, сосет Шестую-бет, закрыв полуслепые глазки*). Ты крольчишка-дуришка, да? Ты крольчишка-дуриииишка. У кого лапки? У кого маленькие лапки? У кого сладкие маленькие лапки? Кто крольчака-дуряка? Ты крольчака-дуряка, ты крольчака-свиняка, да? Да, ты крольчака-свиняка! Ты крольчака-урчака-поросяка... Ты крольчака-котяка-говняка...

Крольчонок (*оглядывая себя в изумлении*). Я? Я?..

90. Я тебя не знаю

Он убедил Дану Гидеон пойти с ним, хотя Дана Гидеон хотела купаться, в последнее время она стала пробовать радужную морскую воду языком, когда взрослые не видели, и клялась, что радужная пленка по вкусу похожа на курицу, и уговаривала Марика Ройнштейна хотя бы лизнуть прибрежный камень там, где пленка, наслаиваясь день за днем, стала походить на невозможной красоты стоцветный студень. Она говорила, что не сегодня-завтра попробует есть эту пленку прямо пальцем, и он смотрел, как она, черпая воздух горстью, лижет этот кривоветый палец бледным языком, – и вдруг, обливаясь горячей волной желания, ощущал вспышку ненависти к ней, к ее бесстрашию и бездумию. Волна уходила, он оставался стоять с пересохшим горлом, не мог лизнуть этот омерзительный студень, не мог броситься в воду за ней и за ее безмозглой собакой, боялся ловить медуз палкой и кричать им: «Не ваш пляж! Не ваш пляж!» Бедр у нее были мягкие, под попой лежала крошечная складочка жира, ему хотелось положить в эту складочку палец, медленно провести им слева направо, вынуть и облизнуть, но вместо этого он шел на дальний конец пляжа, к Соне, и наматывал на кулак ее холодные белые волосы, а она молчала и даже голову не поднимала, чтобы песок не лез в нос. Но в этот раз ему удалось убедить Дану Гидеон пойти с ним – даже не убедить, нет: кажется, она так удивилась, когда он сам предложил что-то делать, а не молча кивнул в ответ на очередную ее придумку и не побрел за ней, потирая шершавый кадык, что выскочила первой на тропинку, ведущую к отелю, и побежала, как делала часто, спиной вперед, по шагам отца, или учительницы Гилы Ицхак, или хромого Нафтали угадывая, вправо или влево, уже пришли или еще нет. Их досмотрели на входе, как досматривали по приказу альяфа Цвики Гидеона всех, включая собаку Дору, и Дана Гидеон сказала ему: «Давай быстро», – и заговорщицки схватила его за руку, потому что учительница Гила Ицхак запрещала им ходить по гостинице в пляжной одежде, и побежала, спрашивая: «Сюда? Туда?» – и он понял, что опять она ведет его, и вырвал руку, и нарочито медленно пошел рядом с ней сам. У него не было ничего назначено, в этом-то и была вся задумка, он просто ходил и высматривал их, и высмотрел наконец в комнате старшей горничной, на которой теперь висела рукописная табличка «Пикуах-6»¹⁵⁸. Двое совокуплялись, третий выкусывал блох из-под хвоста. Дана Гидеон тихо-тихо, на цыпочках, подкралась к этим двум, совокупляющимся, села на корточки и попыталась заглянуть самке под брюхо, а генерал-фельдмаршал главнокомандующий войсками Марик Ройнштейн гаркнул так, что Дана Гидеон от неожиданности упала на попу:

– Смирpp-но!

Самец, не вынимая, посмотрел на генерал-фельдмаршала главнокомандующего войсками Марика Ройнштейна и сказал:

– Я тебя не знаю.

Самка жадно запищала и заворочалась под ним, и на секунду генерал-фельдмаршалу главнокомандующему войсками Марику Ройнштейну показалось, что они сейчас так и продолжат дрыгаться, цокая по полу когтями и повизгивая. Его обдало горячей волной ужаса; Дана смотрела на него, ничего не понимая, и он крикнул снова:

– Смирpp-рно!

Самец слез с самки, но на задние лапы не встал; на секунду генерал-фельдмаршала главнокомандующего войсками Марика Ройнштейна посетила сладостная мысль, что это просто какие-то не те, какие-то незнакомые крысы, что может же в гостинице жить два племени крыс, и одно из них раньше никогда не выходило на свет, а теперь вот, к несчастью его, выползло на поверхность, но тут самец сказал:

¹⁵⁸ Зд.: «Пост 6» (ивр.).

– Ты мне не командуй. Ты мне не командир.

Тут пришла к генерал-фельдмаршалу главнокомандующему войсками Марику Ройнштейну блаженная ярость, просветляющая и успокаивающая, и он медленно, не без наслаждения, поинтересовался, предвкушая дальнейшие события:

– И кто же это, извините, пожалуйста, ваш командир? Не могу не поинтересоваться, чьи это рядовые (вдох) так замечательно (выдох), так блистательно (вдооох) демонстрируют свою выправку (выдох) перед генералом. Фельдмаршалом. Главномкомандующим. Войсками!!! – (Вопль. Тут генерал-фельдмаршал главнокомандующий войсками Марик Ройнштейн внезапно видит себя со стороны – ссутуленного в этом вопле, с повисшими в солнечном луче брызгами слюны, вылетевшими изо рта.)

– Я не рядовой, – говорит самец, и тот, другой говнюк, серый с коричневыми подпалинами за ушами, позабывший о блохах и давно плящущийся на торчащую у Даны Гидеон из кармана обертку от «Мекупелет»¹⁵⁹, вдруг подхватывает:

– Он не рядовой. Он третий младший снизу маленький царь.

Это звучит смешно, и Дана Гидеон смеется, и собака Дора фыркает по-человечески у нее за спиной. От неожиданности генерал-фельдмаршал главнокомандующий войсками Марик Ройнштейн даже не переспрашивает ничего, теперь он подражает самому себе, он хочет звучать так, как звучал минуту назад, он пытается делать все те же вдох и выдох, он говорит:

– Даю вам три минуты на то, чтобы вызвать сюда вашего командира. Вы запомните этот разговор надолго.

– Ты их дрессируешь? – спрашивает Дана. – Они умеют танцевать? У нас в школе была девочка, так у нее была крыса, так она учила ее танцевать, но у нее ничего не вышло, потому что крыса была очень умная.

– Я рядовой, – внезапно говорит самка.

– Две минуты, – говорит генерал-фельдмаршал главнокомандующий войсками Марик Ройнштейн. – Командира сюда.

– Я тебя знаю, – говорит серый с подпалинами, стоя на задних лапах и держа Дану за палец, и тогда генерал-фельдмаршал главнокомандующий войсками Марик Ройнштейн узнает его и взвизгивает:

– Смирно, тараш¹⁶⁰!

– Я не тараш, – говорит серый с подпалинами, прерываясь, чтобы цапнуть с Даниного пальца шоколадную крошку. – Я второй младший снизу маленький царь. Командир тот самый. Не кричи.

– Я не понимаю, – говорит Марик Ройнштейн, теребя кадык, и тогда второй младший снизу маленький царь, глядя ему в глаза черными блестящими глазами, вдруг вонзает зубы в Данин розовый палец.

Визжит Дана Гидеон, собака Дора, бешено оскалившись, лает по-собачьи, а второй младший снизу маленький царь вдруг рывкает страшным голосом:

– Молчааать!!!

¹⁵⁹ Дешевое детское лакомство.

¹⁶⁰ Ефрейтор (*ивр.*).

91. И за всю мою жизнь наругала меня

Буря, обойди меня стороной!
Ой, как в бурю черную плохо мне —
как будто мама моя ожила
и за всю мою жизнь наругала меня!¹⁶¹

(Эти четыре строки, записанные проф. А. Г. Довганем со слов Мамика, личного верблюда главы временного штаба Южного округа алюфа Цвики Гидеона, считаются первым зафиксированным фольклорным текстом у бадшабов в частности — и, возможно, у животных вообще [известную поговорку «Сухую лапу из воды не вынешь», зафиксированную в Бологом исследовательской группой Александры Архиповой, формально считают вторым текстом — из-за примерно получасовой разницы в датировке]. Этот фрагмент, показавший, что бадшабы не только испытывают чувство экзистенциальной вины при столкновении со слоистыми бурями, но и рефлексиируют по этому поводу, послужил одним из значительных толчков для возникновения «кумулянимизма»¹⁶² как системообразующего философского и исследовательского направления, подразумевающего существование у всех живых существ механизма «приращения души», завязанного на владение языком. Парадоксальным образом, А. Г. Довгань станет одним из самых яростных оппонентов ккумулянимизма, настаивая на своей теории «ложной вины» и на том, что чувство экзистенциального стыда, возникавшее во время БВХ, не имело отношения к реальной оценке жизненных поступков в качестве «постыдных» или «плохих».)

¹⁶¹ Пер. с иврита автора книги (размер и условный уровень рифмовки сохранены).

¹⁶² От лат. *accumulatio* — «накопление» и лат. «анима» — «душа». Термин принадлежит Р. К. Богуславскому (Богуславский и Шольц, 2024).

92. Прелестная романтическая чистота

Нет у него никаких фантазий, ну какие фантазии – он смущенно улыбается, алюф Цвика Гидеон, и Илану Гарман-Гидеон эта улыбка, это отсутствие эротических требований поначалу умиляет: невинность, своего рода прелестная романтическая чистота, совершенно неожиданная в человеке эдакой судьбы, видится тут ей; иногда алюф сверху, а иногда, изредка, и снизу – а в остальном он большой мастер лежать в обнимку, дуть ей в волосы, вжиматься щекой в ее веснушчатое плечо, отгоняя ногой эту чертову Дору, Дору, которой никогда нет дела ни до Иланы Гарман-Гидеон, ни до алюфа Цвики Гидеона, кроме как вот в такие моменты: запахи ее привлекают, что ли? Один раз Илана Гарман-Гидеон даже проверяет эту версию: пока муж подмывается в ванной, ругаясь на пролившуюся из таза воду, Илана Гарман-Гидеон поднимает с ковра, уже основательно замусоренного крошками и бог весть чем еще, мужнины трусы, тщательно подтирается ими и идет к балкону, куда успела убрести Дора; «А вот что есть!» – говорит Илана Гарман-Гидеон и трясет трусами; Дора, на секунду заинтересовавшаяся, скучливо кладет морду на лапы. «Сучка ревнивая», – очень тихо говорит Илана Гарман-Гидеон и быстро возвращается в постель, кинув трусы на прежнее место, и потом, когда муж заправляет в штаны рубашку, вдруг думает о приворотях и еще о чем-то таком, и на секунду ей приходит в голову дикая мысль выдрать у собаки из хвоста клочок шерсти и сжечь – или что там еще делают, чтобы отворотить, отогнать, обессилить? Ей кажется, что у Доры, глупой молчаливой Доры, есть какая-то дурная власть над ее мужем, шла бы речь о бабе – ей-богу, Илана Гарман-Гидеон решила бы, будто что-то было между ними. «Хорошая собачка, – бормочет Илана Гарман-Гидеон, чеша жмурящуюся Дору под подбородком, – хорошая собачка, где алюф сегодня был, а? Куда ходил, а?» Дора, маленькая большая дурочка, всегда рассказывает Илане Гарман-Гидеон все, о чем ни спросишь, а пускают Дору везде – то ли привыкли к ней совсем, то ли не возымел должного действия плакат «Все уши могут слышать!», отпечатанный три месяца назад и распространенный, насколько было возможно, по всему югу (три наложенных друг на друга портрета – кошка со злыми глазами, ненашенского вида человек со злыми глазами и накуранный солдат со стеклянными глазами, косяком в руке и глупо раскрытым ртом, что-то втирающий хорошенькой солдатке, неприятно похожей на сильно помолодевшую Адас Бар-Лев). «Хорошая собачка, – говорит Илана Гарман-Гидеон. – Что Марик сегодня делал?» Марик Ройнштейн, елейный Марик Ройнштейн, который подслушивает, подглядывает, подговаривает, врет, умеет, кажется, играть только с крысами, хотя тут Дора несла какую-то уже совсем околесицу; Илана Гарман-Гидеон думает, про кого бы еще спросить; ей хочется спросить про Адас Бар-Лев, но мешает осторожность; нет, с Адас Бар-Лев ничего важного для Иланы Гарман-Гидеон происходить не может, нечего и палиться. Люди разговаривали с собаками и раньше, большое дело; Дора – не любительница поболтать, но, кажется, внимание Иланы Гарман-Гидеон и ей приятно – на днях она пришла к Илане Гарман-Гидеон в ванную, когда Илана Гарман-Гидеон брила ноги уже затупившейся пайковой одноразовой бритвой (а новой ждать еще четыре дня), сказала: «Алюф спит там, на кухне», – и Илане Гарман-Гидеон захотелось плакать, потому что он часто спал днем там, на штабной кухне, не шел домой, но Илана Гарман-Гидеон, умная женщина, сказала себе: «Терпи. Запомни и терпи», – и это в конце концов оказалось хорошей, выигрышной стратегией; а другой раз Илана Гарман-Гидеон спросила про Зеева Тamarчика, и собака сказала лениво: «Смешно. Она делает садку, а он убегает», – и Илана Гарман-Гидеон тоже запомнила, она все запоминала про Адас Бар-Лев, а кто еще это мог быть, кроме нее? Она сказала мужу вечером, в постели (которую давно пора бы поменять, но стирали сейчас вручную, белье меняли раз в месяц, и подушка алюфа Цвики Гидеона откровенно потемнела от пота и всего такого – привычки умыться особенно тщательно у него не было): «Как я рада за Адас с Тamarчиком – если, конечно, у них

все получится», – и не без удовольствия заметила, что алюф на секунду сжал губы – он всегда так делал, когда старался не выдать досаду, и добавила: «Мне кажется, правда, она заинтересована больше, чем он, но, дай бог, все срастется». «Она замужем, между прочим», – сухо сказал алюф, а Илана засмеялась, и погладила его по голове, и сказала: «Ты мой романтичный консерватор», – и потушила свет, и попробовала сделать садку, но алюф был против. Он все чаще спал днем прямо в штабе, среди венчиков и сковородок, а ночью лежал, не закрывая глаз, и фантазии уносили его из этой гостиницы – или нет, не так: фантазии переносили его в какое-то помещение вроде парадного зала этой самой гостиницы, и там ему вручали... ну, что-то; может быть, что-то такое, золотое и тяжелое, за детскую книжку, которую он написал; эта фантазия была махонькой и шла первой, на разогреве; дальше он думал про поле боя или, скажем, еще что-то совсем страшное – лучше не в гостинице, а прямо в лагере, что-то ужасное, стонущие тела и кровь, крик и ужас, и он, алюф Цвика Гидеон, ползает по полю боя и зашивает раны каким-то им одним изобретенным швом (что-то вроде крестика с перетяжкой), и потом его именем называют этот шов, а руки у него в крови, и сам он в крови, и говорит Илане Гарман-Гидеон: «Если бы ты знала, как мне было страшно». А последней, предсонной, была фантазия про север; про север и центр; и тут уже подробностей не было, но было ясно, что ему отдают страну, всю страну, и он... и он... и он не портил мыслями о том, что же он, этот прекрасный момент, ему хватало самого момента, он засыпал, ревниво слушая шум за стенкой, не понимая, что там, в розовом номере с красной кроватью, бедный Зеев Тamarчик силится поймать бедную Соню, бедную маленькую зверюшку Соню, плачущую и хохочущую одновременно, за тоненькие, как веточки, руки, что пытаются то добраться до его промежности, то обнять его за шею или залезть под воротник рубашки; бедный Зеев Тamarчик, которому давно надо бы вызвать сюда врача, уставшего пожилого человека с уколами и таблетками, и сделать так, чтобы Соня больше никогда не кричала (и ему не приходилось бы зажимать ей рот, путаясь пальцами в белых волосах): «Ну почему ты меня не любишь? Ну почему ты меня не любишь? Ну чем я хуже мамы?!...» Лежала с открытыми глазами и Илана Гарман-Гидеон, но ее фантазии не шли дальше этой спальни, дальше крошечной фразы: «Я все знаю – но никогда тебя не предаю», – и когда она представляла взгляд алюфа Цвики Гидеона после того, как эта фраза будет сказана, живот ее наполнялся горячей волной. Она не станет ничего особенно подробно объяснять, она только намекнет ему на маленькую историю про «нет», сказанное когда-то по телефону, – на историю, которую она выжала из Доры, так ничего и не понявшей Доры, по капле, захваливая и улещивая, почесывая и поглаживая.

И все это была нормальная жизнь, нормальная повседневная жизнь, идущая нормальным чередом.

93. Лучше

الكلب الحي أفضل منا الموتى

*«Живая собака лучше мертвых нас» (араб.), граффити, отделение гинекологии и родовспоможения, больница «Сорока», Беэр-Шева, март 2022.

94. «Страшная тайна Йоника»

Материал для детского чтения

Предназначен для самостоятельного детского чтения, чтения с родителями, для методических занятий в школах и педиатрических медлагерях, для использования при оказании психологической помощи.

*Изд. «Отдел социальных проектов Южного военного округа»
(Маарахот-Даром)*

Серия «Книжка спешит на помощь»

Текст: Илана Гарман-Гидеон, Цвика Гидеон

Илл.: Илана Гарман-Гидеон

Возр. катег. 7-10 лет.

Изд. код А-006КСМП-92

Пять! Четыре! Три! Два!

Всего через два дня у Йоника день рождения. Йонику исполняется шесть. Приятно быть совсем большим и важным! А еще приятнее думать о гостях, которые через два дня соберутся к Йонику на день рождения – даже из дальних караванов, из зоны М1, придет двоюродная сестра Йоника Саша с тетей Фаиной.

Мама всегда пекла на день рождения Йоника удивительные торты – синие, зеленые, оранжевые; иногда с шоколадом, иногда с апельсинами, иногда с клубникой, а Йоник ей помогал. На этот раз вместо торта будет праздничное желе – его специально выдают всем, у кого скоро праздник. Йоник и мама разведут цветной душистый порошок горячей водой и порежут в желе много-много фруктов. Будет казаться, что фрукты плавают в цветном воздухе, как волшебные. Йоник, конечно, скучает по маминым тортам, но мама Йоника всегда говорит: «Назад оглядываться – себя не жалеть». Вот Йоник и не оглядывается!

Но больше всего Йоник ждет подарков. Конечно, в этот раз Йонику не принесут ни пожарных машин с радиоуправлением, ни фигурку Барта Симпсона, ни роскошную книжку с картинками про мальчика, который не хотел разбить поросенка. По своим нарядным книжкам и любимым игрушкам Йоник тоже скучает, но никогда не признается в этом маме: мама, наверное, очень расстроится. И все равно Йоник ждет подарков с замиранием сердца – ведь гости сделают их своими руками! Интересно, что нарисует Саша, – она рисует очень здорово, совсем как взрослая? А что слепит из пластилина маленький Коби, который умеет делать драконов и морских чудовищ? Наверняка они постараются удивить Йоника!

Даже даман Шай, с которым Йоник очень дружит и к которому ходит в гости почти каждый день, явно готовит Йонику сюрприз. Вчера Йоник с мамой шли от тети Фаины домой и проходили мимо маленькой скалы, которую рабочие построили специально для даманы и других бадшабов, обожающих скалы. Мама сказала, что Шай, наверное, уже спит, но Йоник попросил сбегать сказать ему «спокойной ночи». Мама осталась ждать, а Йоник побежал к скале – и вдруг увидел, что Шай шепчется о чем-то с двумя большими черными воронами. Йоник встал на цыпочки и заглянул в глубокую расщелину между камнями – вот она, вся семья Шая, спит, уткнувшись друг другу в мохнатые бока. Йоник тихонько позвал: «Шай! Шай!» – и удивительное дело: Шай увидел его и бросился прочь, а вороны улетели. На секунду Йонику даже показалось, что мордочка у Шая была злая, сердитая – как будто он совсем не рад видеть Йоника. Ну что ж, если бы Йоник готовил Шаю сюрприз ко дню рождения, а Шай чуть бы все не испортил, Йоник бы, наверное, тоже мог показаться сердитым! Йоник совсем не обиделся, но теперь ему мочи нет как хочется поскорее узнать, что готовит Шай.

Лежит Йоник в кровати и представляет себе: вот сидит он с друзьями за своим деньгожденным столом, и вдруг прилетают десять ворон, и с неба сыплются блестящие цветные бумажечки – конфетти. Красота! Все в восторге, а Шай говорит: «С днем рождения, Йоник!» И тогда, может быть, девочка Миа возьмет Йоника за руку, и посмотрит ему в глаза своими удивительными зелеными глазами, и скажет: «Йоник! Какой ты необыкновенный!» Или даже так: вот сидит он с друзьями за своим деньгожденным столом, и вдруг прилетают десять ворон, кружатся и поют: «Йоник, Йоник – самый лучший друг!» Это, наверное, понравилось бы Мие еще больше... Нет, Йоник не сможет заснуть, пока не узнает, что для него готовит Шай!

Быстро-быстро слезает Йоник со своей койки, осторожно-осторожно спрыгивает на пол, чтобы не разбудить спящую внизу маму. Нет, Йоник, конечно, не спросит Шая, что тот задумал, Йоник просто поговорит с Шаем немножко, скажет ему «спокойной ночи» – а Шай ведь может и случайно проговориться, правда? Йоник крадется по лагерю, он такой маленький, что даже тень у него короткая-короткая, и дежурные солдаты его не замечают. Вот и скала. Но кто это? Неужели Шай? Шай куда-то бежит в такой поздний час – конечно, готовить сюрприз! Йонику здорово повезло!

Йоник бежит быстро-быстро, чтобы не отстать от Шая; но куда это Шай его ведет? В этой части лагеря Йоник никогда не был – детям здесь совсем не место, он сразу это понимает: тут тянутся длинные ряды каменных, деревянных и полипропиленовых домиков, некоторые очень длинные – Йоник знает, что это называется «ангар» и что в ангарах хранятся очень важные вещи: продукты, лекарства, одежда, оружие для солдат. Солдаты стоят около каждого ангара, охраняют все, без чего людям в лагере не выжить. Секунда – и Шай шмыгает за угол одного из ангаров! С колотящимся сердцем Йоник бросается за ним – и замирает: он чуть не наступил на хвост большой старой лисице. Еще один шаг – и Йоника бы заметили!

Вдруг Йонику становится очень не по себе. Ворон здесь не десять, а всего две, и еще две лисицы, три или четыре енота, большущий пес с клочковатой шерстью, черная кошка и лошадь Рути из контактного зоопарка – один раз Йоник на ней катался, а мама держала его за руку. Вдруг больше всего на свете Йонику хочется в свой караван – лежать в постели, слушать, как внизу мирно дышит мама, а на соседних кроватях ворочаются тетя Нурит и ее маленькая дочка Ноэль. Но Йоник стоит, прижавшись к деревянной стенке, и слушает, как старая лисица говорит остальным:

– Чем больше лекарств мы захватим, тем меньше нам придется делиться с людьми.

«Делиться хорошо!» – хочет крикнуть Йоник, но ему страшно, и он молчит. И тут вдруг Шай говорит:

– Правильно. Мы сами себе хозяева! Вот она, – говорит Шай и показывает на огромную черную ворону со страшным кривым клювом, – умеет открывать любые замки. Завтра мы устроим налет на склад, а Рути поможет нам увезти все лекарства. Какое нам дело до всех обитателей лагеря – пусть себе болеют, а мы должны позаботиться о себе!

Йоник не помнит, как возвращается домой, он начинает плакать еще на бегу, и из-за слез луна как будто разбита на маленькие кусочки, а свет фонарей дрожит, как дрожат коленки у Йоника. Нет, он никому не скажет про то, что услышал! Шай – его друг, а друзей выдавать нельзя, хуже этого ничего нет. Но утром Йоник просыпается – и не чувствует никакой радости от того, что до дня рождения остался всего один день. Ему плохо, очень плохо, и мама Йоника пугается: неужели Йоник заболел? Йоник совсем бледный, глаза у него покраснели – а все от того, что у Йоника в груди лежит огромный холодный ком. Йоник не знает, как жить с тем, что Шай оказался таким плохим, но еще страшнее Йонику от мысли, что бадшабы украдут важные лекарства – а кто-нибудь как раз серьезно заболеет! От огромного холодного кома в груди Йонику трудно дышать. Мама укладывает его в постель, дает горячего чая с сахаром, но Йонику делается только хуже. Днем у Йоника поднимается температура. Йоник заболел!

Доктор Цури приходит к Йонику уже совсем поздно вечером. Он очень устал, но улыбается Йонику и осматривает его очень внимательно. Мама стоит рядом, гладит Йоника по голове, а пока Йоник держит под мышкой термометр, доктор Цури рассказывает, что сегодня был у очень больной маленькой девочки – и увидел, что она пошла на поправку.

– Как хорошо, что у нас есть все нужные лекарства! – говорит доктор Цури. – Не знаю, что бы с нами было без них. Если эта девочка будет умницей и станет принимать лекарства, которые я ей даю, каждый день, она обязательно выздоровеет.

И тогда Йоник начинает плакать; он плачет так сильно, что мама пугается и бросается его обнимать.

– Что случилось, хавери? – спрашивает доктор Цури, но Йоник только мотает головой. Шай его друг – что же Йонику делать, как быть? Мудрый доктор Цури смотрит на Йоника, а потом говорит: – Мне кажется, наш Йоник заболел страшной тайной. Боль от таких тайн бывает очень сильной. Я ничем не могу помочь Йонику. Я умею лечить только от болезней, а от страшных тайн – нет.

И тогда Йоник представляет себе ту больную девочку, о которой рассказал доктор Цури; она очень похожа на Мию, эта девочка. Она лежит в постели и дышит тихо-тихо и тяжело-тяжело, а доктор Цури входит в ее караван, смотрит на нее несчастными глазами и говорит: «Милая девочка, у меня нет для тебя лекарств...»

И тогда Йоник выкладывает маме и доктору всю правду. Он плачет взахлеб, а ледяной ком у него в груди как будто тает, но его края все еще больно колют, и Йоник всхлипывает. Мама прижимает Йоника к себе, а доктор Цури вскакивает.

– Спасибо тебе, малыш, – говорит доктор Цури, – спасибо, что ты все рассказал. Может быть, ты спас жизни многим людям. Я должен спешить, мне надо срочно поговорить с директором лагеря, но ты можешь не волноваться: я думаю, утром ты проснешься совершенно здоровым.

...Что это за веселый смех в сто шестом караване? Это Йоник празднует день рождения! Здесь и Миа, и Саша, и тетя Фаина, и дядя Ури, и все, кого Йоник любит, а ярко-оранжевый желейный торт – просто загляденье: Йоник сам порезал в него бананы, ананасы, манго и физалис, которые растут на дереве за караваном. Саша нарисовала Йонику очень красивую пожарную машину, Коби слепил из пластилина большущего динозавра, Йоник чувствует себя настоящим героем дня – и очень счастлив. Только дамана Шая нет на дне рождения у Йоника, и думать об этом Йонику больно и грустно. Но когда ему вспоминается мордочка Шая, Йоник велит себе думать про маленькую девочку, о которой ему рассказал доктор Цури, – о том, как она выздоровела и снова пошла в школу, и у нее тоже будет день рождения, и все будут веселиться совсем как сегодня.

Миа тихонько подходит к Йонику.

– Твоя мама мне все рассказала, – говорит она. Йоник в панике оглядывается на маму, но Миа добавляет: – Ты герой, Йоник. Представляю себе, как тебе было трудно!

И тогда Йоник берет Мию за руку, крепко-крепко, и бежит с ней играть в прятки. Только на секунду Йоник оглядывается, чтобы взглянуть на маму, а мама улыбается Йонику, легонько машет рукой и тихо-тихо говорит:

– Назад оглядываться – себя не жалеть!

Как ты думаешь...

- Что значит фраза «Назад оглядываться – себя не жалеть», которую говорит мама Йоника?

- Какие подарки ты мог бы сделать для друзей своими руками?

- Почему мама Йоника расстроится, если он скажет, что скучает по книжкам и игрушкам?

- Как изменилось отношение Йоника к Шаю?
- Почему доктор Цури был уставшим?
- О чем доктор Цури собирался говорить с директором лагеря?
- Как бы ты поступил на месте Йоника?

Доп. материалы в серии «Книжка спешит на помощь», возр. катег. 4–9 лет:

- С. Магриб, «Лапка-башмак», А-006КСМП-48;
С. Магриб, «Загадочное происшествие в девятом караване», А-001КСНП-49;
С. Магриб, «Шули прячется от бури», У-002КСНП-412;
Р. Маймонид, «Марик заболел», А-003КСНП-49;
К. Гагнус, «Самый роскошный праздник», Е-004КСНП-49;
Р. Маймонид, «Шули скучает по дому», Е-005КСНП-812;
Р. Маймонид, «Как папа стал спасателем», А-007КСНП-49;
Т. Климански, «С новосельем, Марик! или Второе происшествие в девятом караване», А-008КСНП-810;
С. Климански, «Белый корабль в радужном море», В-009КСНП-49;
Т. и С. Климански, «Рони-Макарони, молчаливый башмак», У-010КСНП-412;
И. Гарман-Гидеон, «Кто подружится с Артуром?», А-011КСНП-36;
Л.-К. Маран, «Кот Ноах устраивает шабат», Т-012КСНП-36;
Л.-К. Маран, «Душа кота Ноаха», Т-013КСНП-211;
Л.-К. Маран, «Агада кота Ноаха», Т-014КСНП-11;
Т. Климански, «Что мы знаем о лисе?», Е-015КСНП-15;
Л.-К. Маран, «Десять зернышек граната: Рош а-Шана для всех и каждого», У-016КСНП-36;
О. Порат, «Марик исчезает, или Третье происшествие в девятом караване», У-017КСНП-98;
Р. Маймонид, «А помнишь?..», А-018КСНП-11;
Л.-К. Маран, «Сидур кота Ноаха», Т-019КСНП-42;
Л.-К. Маран, «Кот Ноах строит ковчег», Т-020КСНП-42;
О. Порат, «Наши не сдаются», В-021КСНП-24;
О. Порат, «Мечтатель из лагеря „Алеф“», У-022КСНП-86.

Изд-во «Отд. соц. проектов Южн. воен. окр.», апр. 2023.

95. Ему никто не отвечает

– Вы все сдохнете, – говорит Марик Ройнштейн пересохшим ртом. У него полный рот песка, он трет язык о зубы, но от этого песок только сильнее скрипит на зубах. – Вы все сдохнете, твари, мерзкие суки, вы никуда не дойдете, вы все сдохнете от жары.

Ему никто не отвечает.

Сначала они, конечно, ему не верят. То есть, конечно, он сразу не идет к ним, он начинает с Иланы Гарман-Гидеон, с Илануш, и ему удастся расплакаться самыми настоящими слезами – это слезы ярости, конечно, ярости и бессилия, но Илануш принимает их, как он и планировал, за слезы страха. Он якобы не хочет ничего сказать, он заставляет ее себя уговаривать – ах, ему так стыдно признаться, что он подслушивал и подглядывал, но он почуял, прямо вот тут, в животе, почувствовал, что какая-то страшная вещь происходит, и стал подглядывать и подслушивать. И узнал... узнал... Дальше слезы мешают ему говорить, Илана просмаркивает его в свой платок, как маленького, и он успокаивается немного, и продолжает.

– Буря из вас паштет сделает, – говорит Марик Ройнштейн. – Мерзкий крысиный паштет. Всюду будут валяться кровавые крысиные ошметки. – Глаза у Марика Ройнштейна слезятся от песка, он знает, что главное – не давать себе их тереть, но мочи нет никакой, и периодически он яростно трет кулаками зудящие веки, слезы текут по щекам, оставляя розовые бороздки на грязном лице. Марик Ройнштейн хлопает текущим носом, сморкается в край футболки. – Шкуру пообдерет с вас до костей, – говорит Марик Ройнштейн, всхлипывая. – Мелочь вашу пополам порвет.

Ему никто не отвечает.

К алюфу его приводит Илануш, Илануш требует, чтобы тот выслушал мальчика совершенно серьезно, и делает мужу страшные глаза, когда тот с привычной своей брезгливостью смотрит на Мариков мокрый нос и острый кадык. И Марик Ройнштейн рассказывает все, что собирался рассказать, время от времени вскидывая испуганные влажные глаза на Илануш, и один раз, словно в забытии, даже вцепляется в ее штанину, но быстро отпускает. Алюф не верит. Он переспрашивает, он требует повторить, он вызывает Зеева Тамарчика и снова требует повторить, и Марик Ройнштейн опять раздражается слезами, ему хочется убить этих двух мудаков, но он жалобно шлепает губами и намеренно несет околесицу: а если они захватят гостиницу и лагеря и поубивают наших солдат? А если они украдут детей, как в той сказке? А если... Зеев Тамарчик с алюфом переглядываются и молчат. Тогда Марик Ройнштейн говорит: «Я покажу».

– Стоять! – орет генерал-фельдмаршал главнокомандующий войсками Марик Ройнштейн. – Я сказал – стоять! Я ваш генерал-фельдмаршал главнокомандующий войсками! Смирно! Немедленно расступиться! Немедленно выпустить меня! Назначаю третью и четвертую роту сопровождающими! Немедленно сопроводить меня в лагерь!

Ему никто не отвечает.

И показывает – вечером, в сумерках, они вылезают из повозки, не доехав примерно километр до караванки «Бет», и крадутся к лугу, к затоптанному и закаканному лугу, где днем вольнопитаются вольнопитающиеся, и Зеев Тамарчик с алюфом Цвигой Гидеоном видят то, что видят: ряды, шеренги, когорты, острые палки под мышками у право- и левофланговых, команды совершенно непонятные – выдумали они их, что ли? – и выполняются эти команды плоховато, но, господи помилуй, какая разница? Тут наступает опасный момент: «Может, они просто играют?» – говорит слабым голосом Зеев Тамарчик, чувствуя, к чему идет дело, и

Марик Ройнштейн уже готов рассказать, как он слышал всякие ужасные разговоры, но алюф Цвика Гидеон говорит: «Господи помилуй, какая разница?»

Воздух внезапно становится невыносимо прозрачным, и теперь пустыня видна до самого горизонта, до самого Рахата, до его разрушенных стен и сгибающихся под плодами олив веток, – а над этой прозрачностью ползет черный воздух, черная полоса, из которой с криком падают на землю замешкавшиеся птицы. Крысы останавливаются и начинают рыть норы. Марик Ройнштейн, подвывая и ругаясь всеми худшими словами, какие он только знает, тоже начинает рыть землю, он все роет и роет, ломая ногти, но твердая, как камень, сухая почва Негева поддается плохо.

– Помогите же мне! – завывает Марик Ройнштейн. – Да помогите же вы мне, мерзкие суки!

Кое-как Марик Ройнштейн забивается в раскопанную трещину, наваливает на себя землю, натягивает на лицо футболку, закрывается с той стороны, откуда ползет буря, надерганными кое-как ветками ротема¹⁶³. Мысли о Соне наползают на него вместе с бурей, от стыда и ужаса он воет, он хочет все исправить, он хочет вернуться назад и все исправить.

– Мне надо обратно! – завывает он. – Ну пожалуйста, мне надо обратно!

Ему никто не отвечает.

Внезапно становится ясно, что Зеев Тамарчик этого сделать не может. Он подчинится приказу, конечно, но начнет выбирать день с идеальными погодными условиями (какими? что? погода не меняется – но он сумеет что-нибудь придумать про скорость ветра, про кучность облаков, про температуру воды, про хуй на палочке), потом окажется, что нет достаточных запасов вещества... как оно называется? – потом то, потом се... Несколько секунд Цвика Гидеон всерьез думает назначить ответственным за все Марика Ройнштейна – вот уж за этим говнюком не заржавеет. Но даже если бы всерьез можно было поставить на такую задачу двенадцатилетнего сопляка, это было бы неправильно, думает алюф Цвика Гидеон. Нет, ему нужен тот, кто их не ненавидит, а боится, для кого вся ситуация будет подтверждением его худших опасений, для кого... И тут алюф Цвика Гидеон находит решение, блестящее решение, достойное великого стратега. «Я уверен, что проблема не только у нас, – говорит он. – Я читал про них и кино смотрел: они умеют передавать сообщения на огромные расстояния, эти твари. Нам надо объединить усилия, надо выступить единым фронтом». Завтра он поедет в караванку «Далет», пусть отправят голубя тат-алюфу Чуки Ладино. Может быть, он уже в курсе происходящего, а может, и нет; что ж, алюф Цвика Гидеон откроет всем глаза на общую опасность. И пусть операцией заведует Йоав Харам, Йоав Харам отлично справится, ему будет полезно. Илануш говорит, что среди населения придется провести разъяснительную работу.

– Я вернусь в лагерь и приеду назад на квадроцикле, – говорит Марик Ройнштейн, держась за ободранную шею, повязанную куском футболки. – Я знаю, где они прячут настоящий квадроцикл, настоящий квадроцикл, я знаю, где его прячут. Квадроцикл не разговаривает, он нас не выдаст. Я нагружу его пайковым шоколадом, и водой, и крекерами, и кусками полипрена, у меня лучшие друзья работают на складах, они для меня ничего не пожалеют. Я вернусь и буду ставить вам полипреновые палатки. Я вернусь, даю честное слово, только отпустите меня.

Ему никто не отвечает.

Йоав Харам, директор караванки «Далет», хочет, чтобы животные перестали с ним разговаривать. Этого он хочет каждый день – а сейчас он еще хочет, чтобы с ним перестали разговаривать все, абсолютно все. Маленькие серые трупы лежат по всему лагерю, просто маленькие – и совсем маленькие. «Странно, – говорит ветеринар Анри Голан, и Йоав Харам видит, что руки

¹⁶³ Ракитник (ивр.).

у него дрожат; внезапно Йоав Харам понимает, что ветеринар Анри Голан мертвецки пьян. – Одни, видно, попрятались в норы, мы их не достали, конечно, а другие, наоборот, почему-то лезли наружу». «Они что-нибудь говорили?» – вдруг спрашивает Йоав Харам. Ветеринар Анри Голан смотрит на него и молчит.

– Я больше не могу, – говорит Марик Ройнштейн, с трудом ворочая распухшим языком.

Те, кто остался в живых после этого дня перехода, – может быть, половина, может быть, всего тысяча или даже меньше – встают вокруг него и ждут. Из задних рядов подкатывают бутылку с водой, он пьет, пьет, выпивает ее всю, никто его не останавливает. Марик Ройнштейн ложится на землю и смотрит, как перекасти-поле медленно перескакивает через несколько серых тушек, оставшихся лежать там, где только что прошла серая волна.

– Оставьте меня здесь, – говорит Марик Ройнштейн, – оставьте меня, пожалуйста, здесь, и все.

Они стоят вокруг него сплошной низкой стеной и ждут. Со стоном Марик Ройнштейн поднимается.

– Вы никогда не дойдете, суки, – говорит он.

Ему никто не отвечает.

В Рахате Бениэль Ермиягу лежит, скрючившись от боли, и густой баритон говорит ему, похихатывая, откуда-то из левого подреберья, что идут сееерые, идут беееелые, по жаре идууу-уут, говнюка ведууууут, ахаха, ахаха.

96. И задорный стук молотков

Цит. по «Пыльная дорога: непрозвучавшие беседы», фонд «Духовное наследие митрополита Иерусалимского и Ашкелонского Сергия (Омри) Козна», 2028, Новый Ашкелон.

«...Не помню, чтобы когда-нибудь я просыпался с таким спокойным и даже радостным предчувствием нового дня, как тогда. Караванка „Гимель“ нравилась мне, я готов был видеть в ней город, и мне казалось, что город этот постепенно обустраивается, и воображение услужливо подсовывало мне какие-то пряничные картинки, в которых фигурировали стропила, и цветочные горшки, и „задорный стук молотков“ – именно так. Дело, я думаю, было не только в особенностях моего состояния, о которых я сейчас скажу подробнее, но и в том, что „Гимель“ был фактически предоставлен начальством лагеря самому себе; происходили иногда вещи страшные, и теперь я со стыдом понимаю, что их было много больше, чем я тогда замечал, но я, выздоровевший и окрепший, словно бы не видел их – а вернее, видел и слышал, но никак не отмечал для себя, как будто это были вещи совершенно второстепенные. После бесконечно длинного дня я возвращался в свой караван далеко за полночь, едва волоча от усталости ноги, но утром с легкостью просыпался часов в семь или полвосьмого и был готов снова жить. Я был занят – о, как полно я был занят! У меня начал складываться небольшой приход, и я говорил себе, что могу расценивать это как знак некоторой подлинности моего пасторского призвания. Я крестил и отпевал, исповедовал и читал проповеди; что-то в этих проповедях меня беспокоило: они были гладкими, находили отклик – но казались мне какими-то слишком ловкими; я и сам не взялся бы определить, что имею в виду, а просто обещал себе из недели в неделю, что над следующей проповедью поработаю подольше. Но ведь я был так занят! Требы, воскресная школа, куда к моему удивлению, приводили детей и те, кто не был моими прихожанами (многим из них, я знаю, хотелось занять детей чем-нибудь разумным от греха подальше – а с изучением иудаизма было связано, по-видимому, слишком много разнообразной социальной специфики), бесконечные разговоры с моей растерянной, измученной бытовыми трудностями и убитой потерями паствой – все это само собой разумелось; не настораживало меня ни то, с какой легкостью я находил ответы на невозможно сложные, невообразимые в прежние времена вопросы, от которых даже отцы церкви пришли бы в ошеломление, ни как часто те, кто посещал одну службу, не являлись на вторую. Паства моя оказывала мне бесценное внимание и не скупилась на комплименты – я помнил о грехе гордыни и говорил себе, что таким образом они выражают свою привязанность не ко мне, а к церкви, но их поведение, безусловно, очень поддерживало меня в моих трудах и придавало им опасной легкости. Я вызвался работать в одном из стройотрядов, которых в лагере насчитывалось не менее двух десятков, и мои мышцы ночью сладостно ныли от работы пилой, рубанком или молотком, сделанными тут же, в лагере. Я брался за любую, самую тяжелую работу, но быстро оказался бригадиром – и, думаю, дело было не в моих отсутствующих трудовых навыках, а в той оптимистичной легкости, с которой все давалось мне в эти дни. Вечером я успевал зайти в старческий лазарет; первое время у меня были опасения, что недавно выбранный верховный раввин лагеря, тоже регулярно посещавший больных, вступит со мной в какого-нибудь рода тихую конфронтацию, но он всячески приветствовал; по некоей договоренности я посещал это печальное место как частное лицо – я все-таки понимал, что я, по большому счету, гость в его доме, и меня это не угнетало. Небольшой голос, который обнаружился у меня еще в семинарии, помог мне получить третьестепенную роль в нашем лагерном театре: я пел Папу Малыша в довольно безумной постановке „Карлсона“. Наконец, я хотя бы пятнадцать минут в день проводил в одном из „спортзалов“ под открытым небом с грубыми тренажерами из гнутых труб – такие спортзалы были отстроены

по всему лагерю: мне хотелось, чтобы и тело мое подтягивалось вслед за духом, и я отжимался и делал приседания, несмотря на тянущую боль в недавней ране. И я, конечно, всегда спешил – мне ведь надо было сделать так много важных дел, – и приходилось очень стараться, чтобы не частить в требованиях. Вечером, перед тем как я засыпал, ушедший день прокручивался в моем сознании длинным списком, состоящим из дел больших и малых, и список этот приносил мне спокойное удовлетворение: я был полезен людям, я был цельным, я имел право сотворить свою вечернюю молитву в полном сознании того, что я нашел себе место в этом искалеченном мире, что я приношу людям какую-никакую пользу. Спешил я и в тот день, когда после службы ко мне подошел мужчина с насупленной девочкой лет шести; уж не помню, какие меня ждали срочные дела, – сострадательное подсознание убеждает меня, что я спешил к умирающему, но я твердо помню, что это не так: я, кажется, вызвался помочь с оформлением наших театральных декораций. Мужчина заговорил; я стоял, удерживая на лице маску сочувственного смирения, но перед моим внутренним взором прокручивался тот самый список сегодняшних дел. Он как будто расплывался, разжижался: как же я не скажу себе сегодня перед сном, что принес помощь людям еще и покраской декораций? Мужчина вдруг начал всхлипывать, и я с ужасом понял, что не слушаю его, а в следующую секунду лицо девочки уткнулось мне в ногу: мужчина подтолкнул ее ко мне, и она упала на меня, как равнодушная ко всему кукла. Тут я наконец понял, что говорит мужчина: он отказывался от девочки, своей дочери. Его жена и мать погибли под руинами Рош-а-Аина, он больше не справляется с дочерью один, он боится сделать что-нибудь ужасное с собой, но ведь и ее одну оставить тут он не может, а значит, надо... Он все подталкивал и подталкивал ко мне девочку: „Вы ее вырастите, – бормотал он, – мне про вас сказали, вы хороший человек, а я не могу больше, не могу...“ „Вы сами не верите в то, что говорите, – сказал я, отстраняя девочку и подталкивая ее в руки отца. – У вас просто плохой день, вы любите ее, а Господь любит вас; приходите ко мне завтра с утра, я буду в двести третьем караване, приходите рано, и мы побеседуем“. Мужчина коротко взвыл, и девочка вдруг коротко взвыла точно таким же голосом; они стояли бок о бок так, будто раньше их руки ни разу не соприкасались. „Погуляйте с ней, – сказал я. – Почитайте ей книжку, а завтра я дам вам новых, только что вышедших“. Вдруг мужчина закрыл лицо рукавом и побежал прочь. Девочка медленно пошла за ним, как лошадь, которую ведут на длинной веревке, и видно, что веревка вот-вот натянется до предела. Сердце у меня колотилось. Я бежал в зону А32, где был наш Театр-Подле-Слоновника, как любила шутить труппа; я пытался вспомнить, что мне поручили принести, но на меня как будто напозлало черное облако, воздух вокруг меня как будто сгустился, а сам я оставил свое тело, обливающееся потом, на волю судьбы, и смотрел на него со стороны, и мне было тошно от его накаченных мышц и загорелого лица. То была минута чистого просветления, какое бывает не только даром Господним, но мукой, ибо в подобные мгновения открываются глаза у человека – „не для того, чтобы видеть, ибо и прежде они могли видеть“, и он узревает, что наг перед Господом – и что ему дано узреть свою наготу, ибо он совершил поступок, лишивший его божьей благодати. Мне трудно описать, что творилось со мной; я только понял вдруг и сразу, что подлинной милости, подлинного сострадания к ближнему почти не осталось во мне, и тем ужаснее звучали у меня в голове слова этого несчастного отца: „Вы хороший человек...“ Кто я теперь был на самом деле, подменивший подлинное сострадание бесконечной чередой „добрых дел“ и считавший физическую усталость признаком собственной праведности? Я стоял, как сейчас помню, позади одной из столовых – кажется, той, про которую ходили слухи, что она снабжается лучше, – и от огромной горы манговых очисток на пластиковом подносе с клеймом Службы Чрезвычайных Ситуаций шел невозможно прекрасный, невозможно сладостный запах – и вдруг этот запах показался мне искусственным, даже синтетическим, так что я принял. Реальность навалилась на меня: я знал, что в столовой на завтрак давали кашу, консервированный тунец и фрукты, в обед давали фрукты, кашу и консервированное мясо, а ужин будет мало отличаться от обеда и зав-

трака... Весь запал мой исчез, и у меня чуть не подкосились ноги: я увидел страшную нищету, из которой нам, может быть, никогда уже не доведется выбраться; тесные караваны, в которых люди, может быть, ссорятся с утра до ночи, невыносимо устав друг от друга; сердца, истекающие кровью в тоске по погибшим или пропавшим близким; детей, живущих в хаосе лагеря для перемещенных лиц... В этот момент, в этот страшный момент я готов был поклясться, что не я один лишен в этом мире Божией благодати, а что Божья благодать навеки ушла из мира, и если бы спросили меня, наказал ли нас Господь тем, что с нами сейчас происходит, отвернулся ли он от нас в гневе за наши грехи, – я бы, наверное, не нашел в себе сил возразить. Я побрел к своему каравану – так, по крайней мере, мне казалось, на самом же деле я не знал, куда иду. Помню, как я понял, что уже очень поздно, потому что на улицах лагеря почти никого не было; один человек, сильно пахнувший мылом, шепотом предложил мне купить у него мыла и приоткрыл куртку: на подкладке был пришит крючок, а на крючке болтались четыре куска не виданного с мирных времен голубого туалетного мыла, пробитые насквозь и подвешенные на веревочках. Эта лукавая метафора моего ужасного состояния показалась мне омерзительной, и я с тоской подумал, что вот так человек начинает видеть в повседневных событиях издевательские проделки Князя тьмы. Я убежал от этого торговца и вновь оказался позади передовой столовой: так я понял, что хожу по лагерю кругами и что ум мой тоже бежит кругами, задыхаясь, ибо Тот, к кому привык я обращать свои помыслы перед лицом тяжких испытаний, больше не отвечал мне; я был один – я верил, что был один. „Я должен взять себя в руки“, – подумал я, но не мог и помыслить пойти домой и лечь в кровать; тогда я решил, что теперь буду сворачивать то направо, то налево. Вдруг лагерь кончился: передо мной был луг, и какие-то тени качались на лугу, и все освещал холодный лунный свет, и я слышал что-то вроде приглушенного пения. Я признаюсь: был момент, когда я почти поверил, будто вижу шабаш – таким это показалось естественным продолжением всего, что творилось у меня на душе; я почти представил себе, что сейчас столкнусь с силами тьмы лицом к лицу, и не усомнился, что буду поглощен ими, ибо они, может быть, теперь властвуют над землей. Я замер у дерева; сердце выскакивало из груди, и я услышал, как эти голоса говорят: „Дышим – и не думаем... Дышим – и не думаем...“ Помню, что там была зебра и было, кажется, несколько шакалов; множество маленьких фигурок я не разглядел, да и не смог бы: слезы уже застилали мне глаза. Я смотрел на них, ищущих того, чего сейчас так жадно искал я и боялся не найти, и думал, что Господь явил нам немыслимую и невообразимую благодать, объединив теперь наши души с душами тех, кто еще недавно был для нас в лучшем случае „меньшими братьями“, и даровав нам общую жизнь – по крайней мере, на нашем земном пути. Я стоял и слушал их; ничего комичного не было в их медитации, и я сам шепотом повторял: „Дышим – и не думаем... дышим – и не думаем“, – пока они вдруг не прервали свою встречу и не разошлись. До сих пор я совершенно твердо уверен, что Господь явил мне высшую милость, показав в тот вечер сперва все ничтожество души моей, а затем все величие своего замысла, и что иначе меня ожидал бы страшный путь медленной утраты веры – утраты через растворение в себе и в собственной горделивой пустоте».

97. Бери

Яся Артельман входит в запасник к кроликам, держа в руках жестяную конструкцию – что-то вроде двухэтажного домика, сделанного из пустых канистр из-под оливкового масла.

Яся Артельман. Жрете, хрючелы ушастые? (*Принюхивается.*) Что ж у вас вечно мочой-то воняет? Только поменял же сено ваше гребаное. По-человечески прошу: не жрите вы его, жрите траву, специально же ношу, а ссыте – на сено; пол же провонял, ну что мне теперь, перекапывать его? (*Наливает из бутылки воду в большую миску, ногой разрыхляет сено.*)

Шестая-бет. Яблочко есть?

Яся Артельман (*передразнивая*). «Яблочко есть?» Хоть бы раз спасибо за что сказали.

Сорок Третий. Спасибо за что.

Яся Артельман смотрит на него несколько секунд со сложным выражением лица.

Яся Артельман. Мелкие где? (*Замечает коричневого крольчонка, спящего под столом с пыльным электронным оборудованием, достает его оттуда.*) Чучело-мурчучело! Просыпайся. Смотри, что я сделал! Где братан твой? Смотри, что я вам сделал. (*Демонстрирует жестяной домик.*) Вот сюда можно лазить и сюда, а вот тут можно перейти на второй этаж, а вот тут прятаться можно, за дверочкой. (*Осторожно сажает крольчонка на пологую жестяную полоску внутри домика, крольчонок, все еще сонный, медленно забирается по ней на второй этаж, закрывает глаза.*) Ладно, проснешься – допрешь, оно реально крутое, я потом еще к нему всякое приделаю. У нас с Мири крыса была, у нее дом был на полстола прямо, она была ма зэ¹⁶⁴ умная, все лабиринты проходила. Ты ж головой не в маму с папой пойдешь, да? Нееет, вы с братиком будете у меня умненькие, я вас развивать буду, лабиринт вам сделаю еще, только не ссыте в него... (*Осторожно вынимает.*) Где братан твой? (*Заглядывает под стол, роется у живота Шестой-бет.*)

Шестая-бет. Что?

Яся Артельман. Где второй мелкий? Черный где?

Шестая-бет. Съела.

Яся Артельман. Что?

Шестая-бет. Съела.

Яся Артельман. Что?

Шестая-бет. Я съела. (*Затухающим голосом.*) Ты водички не принес... Я пить хотела и съела...

Яся Артельман (*отступая на два шага*). Что?

Сорок Третий (*затухающим голосом*). Ты же водички не принес...

У Яси Артельмана начинают дрожать руки.

Яся Артельман (*севшим голосом*). Что, блядь?

Сорок Третий (*испуганно пытается что-то сказать, но от страха заикается*). А-тя-тя-тя... А-тя-тя-тя...

Яся Артельман молчит.

¹⁶⁴ Зд.: «очень» (*ивр.*).

Сорок Третий. Атятятятя...

Яся Артельман (*холодно*). Вдохни глубоко. Выдохни.

Сорок Третий вдыхает и выдыхает.

Яся Артельман. Вдохнул-выдохнул.

Сорок Третий вдыхает и выдыхает.

Яся Артельман. Теперь сосчитай до трех и говори: «Я хотел сказать...»

Сорок Третий (*очень испуганно*). Раз-два-три... Я хотел сказать... Я хотел сказать – есть еще!

Яся Артельман молчит.

Сорок Третий (*испуганно*). Есть еще! Тебе надо? Есть второй! Бери!

Шестая-бет (*испуганно*). Бери! Бери второго!

В следующую секунду Яся Артельман хватается жестяной домик и с размаху бьет им Шестую-бет по спине.

Яся Артельман (*наносит удар за ударом по верещащей от боли и ужаса Шестой-бет*). Вы звери! Вы звери блядские, блядские твари, вы звери поганые, вы звери!

Сорок Третий визжит, забившись под перевернутую миску для воды; вода стекает с его морды, на полу быстро образуются два мокрых пятна – одно у морды, второе под хвостом. Шестая-бет замолкает и больше не двигается. Яся Артельман молча запускает домиком в Сорок Третьего, домик с грохотом ударяется об миску, Яся Артельман бросается вон из запасника, его ботинки грохочут по лестнице. Внезапно направление шагов меняется: Яся Артельман возвращается, вбегает, трясущимися руками хватается коричневого крольчонка со стола и опускает в карман. В следующую секунду Яся Артельман начинает гоняться по запаснику за Сорок Третьим.

Сорок Третий (*без слов*). Не надо! Не надо! Не надо!!!

Яся Артельман наконец ловит Сорок Третьего сперва за заднюю лапу, а потом за загривок, другой рукой подхватывает с пола свой китбек, снова несется вниз по лестнице с истерически верещащим кроликом в руке, выбегает из запасника и изо всех сил швыряет Сорок Третьего в сторону жирафника. Следующий раз мы видим Ясю Артельмана примерно через пятнадцать минут: обезжав огромную воронку, оставленную позади жирафника артиллерийским снарядом, Яся Артельман выходит в покореженные ворота зоопарка с колотящимся крольчонком у колотящегося сердца.

98. Раз, и второй, и третий

– Я не держу котов, – говорит Грета Маймонид с презрением. – Ноги этих мерзких тварей в доме моем не будет. Я их выгнала к чертовой матери.

Они просят разрешения осмотреть квартиру – разрушенную квартиру Греты Маймонид. Они очень вежливые, очень внимательные, они спрашивают Грету Маймонид, не нужна ли ей какая-нибудь помощь, один пытается поддержать Грету Маймонид, опирающуюся дрожащей рукой на косяк, за талию. Грета Маймонид одаривает его таким взглядом, что он поспешно убирает руки и извиняется. У Греты Маймонид все еще есть способность смотреть на мужчин таким взглядом.

– Даже и не надейтесь, – говорит Грета Маймонид. – Вы знаете, сколько стоит одно платье, одно мое платье? Я не позволю вам мацать мои вещи, у вашего поколения вместо рук плоскогубцы.

Они объясняют ей, что она просто не понимает, какие эти коты на самом деле. С ней они, эти коты, наверное, милейшие зверюшки, но на самом деле эти коты бандиты, серьезные бандиты, и помогают бандитам, и этих бандитов надо остановить, а без помощи Греты Маймонид это никак невозможно.

– Я не понимаю? – Грета Маймонид раздражается хохотом, серебристым хохотом молодой красавицы; у Греты Маймонид все еще есть способность так хохотать. – Да они суки, негодяи, поганые твари. Они рвали мои вещи и смеялись, они сволочи, если бы я знала, где они, я бы своими руками вам их притащила.

Они говорят Грете Маймонид, что если коты вернутся, нужно вести себя с ними очень-очень ласково и обязательно-обязательно сообщить. Ей даже ходить никуда не надо, надо просто сказать слово «коты» на ушко солдатам, которые привезут пайки, солдаты будут в курсе. Они даже вида не подадут, что ее поняли, пусть она не боится.

– Бубале¹⁶⁵, – говорит Грета Маймонид, шуря глаза и запрокидывая серо-рыжую голову. – Я перестала бояться, еще когда твой дедушка думал, уезжать ему из Берлина или не уезжать.

Они уходят, и один говорит другому: «Ну и огонь бабка». Грета Маймонид идет к бутылкам с водой, расставленным вдоль медленно осыпающейся стены, дрожащими руками наливает воду в хрустальную миску, поддерживаемую серебряными херувимами, и несет ее к себе в спальню, и открывает шкаф с платьями.

– Сидите тут еще час, – говорит котам Грета Маймонид. – Ясно? С этих станется вернуться, я знаю их повадки, я всегда знала их повадки, они возвращаются раз, и второй, и третий.

Коты смотрят на Грету Маймонид, горелый молча кивает, серый трется большой грязной головой о ее руку.

– Суки мерзкие, – говорит Грета Маймонид, – ненавижу вас, бэһэймэс¹⁶⁶.

¹⁶⁵ Лапочка (*ивр.*).

¹⁶⁶ Скоты (*идиш*).

99. Интермундия

Флаг развевается над полем. Флаг развевается низко, он привязан к палке, флаг цепляется за выжженные солнцем колосья космина¹⁶⁷. Ветра почти нет, флаг развевается совсем чуть-чуть. Вольнопитающиеся не едят космин, космин сухой и невкусный. Собака Луиза однажды попробовала есть космин, поцарапала горло, потом смешно хрюкала три дня. Марина Слуцки смотрела ей в пасть, давала пить молоко из своего пайка. Собака Луиза облилась молоком, лемур Джо повис у нее на шее, жмурился, слизывал молоко, говорил: «Мама», – Марина Слуцки радовалась. Собака Луиза старая, она сенбернар, ей тринадцать лет, она вынимала людей из развалин в Рамат-Гане, застряла, сломала ногу, теперь она на пенсии, Марина Слуцки очень ее уважает, обращается к ней «уважаемая». Собака Луиза помогает Марине Слуцки с вольнопитающимися: Марина Слуцки сидит в траве, поет, собака Луиза ходит за козами по пятам, козы едят по прямой, идут и едят, могут уйти далеко. Сегодня козы ели неспелые шесеки, теперь у них отрыжка, они лежат кругом у ног Марины Слуцки. Молодая коза Галина лежит у Марины Слуцки между ног животом кверху, Марина Слуцки водит палкой по ее ноге. Остальные козы стоят, смотрят. Собака Луиза лежит, смотрит. Молодой козе Галине смешно, она дергается.

– Там-то ты не будешь дергаться, – говорит Марина Слуцки. – Вот тут тебя свяжут, – Марина Слуцки хватает молодую козу Галину под самые задние копыта, – рrrрраз – и вздернут на веревке. Понятно?

Козам смешно. Марина Слуцки ведет палкой вокруг козьего копыта, заглядывает козе Галине в глаза.

– Вот тут резанут, – говорит Марина Слуцки, – потом вот сюда разрежут. – Палка движется вдоль козьего бедра, молодая коза Галина хихикает и извивается. – Потом специальным ножиком раз, раз, и шкуры нет.

– А меня? – с интересом спрашивает зебра Лира.

Марина Слуцки задумывается.

– Ты вроде лошадь, – говорит она, поразмыслив, – И тебя.

– А меня? – спрашивает разморенная жарой собака Луиза.

– Это как пойдет, – говорит Марина Слуцки и наклоняется вперед, и качает головой. – Если совсем плохо станет, то и тебя.

Марина Слуцки говорит совсем доходчиво, старается. Марине Слуцки хочется объяснить. Марина Слуцки водит по телу молодой козы Галины палкой. Зебре Лире смешно.

– Вот тут огузок будет, – говорит Марина Слуцки. – Вот это бедро, его на вертеле надо сделать, медленно-медленно поворачивать. Вот отсюда котлеты хорошо. Тут жира много, но всем не до того будет. Понимаешь? Все сожрут, может, даже сырое. Может, даже огня уже не будет. Может, даже Момо сожрут. Как-нибудь спустят шкуру и сожрут.

Слон Момо ничего не слышит, он далеко у себя в голове, там серый туман с нежнейшими проблесками тропического сладостного леса. Слон Момо никогда не слышит Мариной болтовни.

– Палкой? – спрашивает зебра Лира.

– Ножом, хозяйка, – говорит Марина.

– Больно будет, – с тревогой говорит зебра Лира.

– Не больно, хозяйка, – говорит Марина Слуцки, похлопывает молодую козу Галину по розовому животу. – Вы мертвые будете.

¹⁶⁷ Спельта (ивр.).

– А, – говорит зебра Лира, поворачивается к Марине Слуцки спиной и начинает щипать подорожник.

– Страшно? – говорит Марина Слуцки.

– Чего страшно? – равнодушно говорит молодая коза Галина. – Я ж мертвая буду.

– Так умирать-то, небось, страшно, – говорит Марина Слуцки; ей хочется, чтобы вольнопитавшиеся испугались, а для чего это надо – она и сама не понимает, но знает, что ей самой от этого станет легче; ей неважно больше бояться одной, ей нужно, чтобы боялись и Джо, и Луиза, и козы, и Артур, которого можно пугать заново каждую неделю.

– Почему страшно? – говорит молодая коза Галина, встает на ноги и начинает щипать подорожник. – Вот я живая – значит, не мертвая; а буду мертвая – значит, не буду живая. Чего мне бояться?

– Я Артура боюсь, – говорит собака Луиза. – Он как начнет кричать.

Тут выясняется, что все боятся бедного сумасшедшего фалабеллы Артура, старая коза Уна говорит, что не хочет с Артуром вольнопитаться, другие тоже не хотят с Артуром вольнопитаться, пусть он вольнопитается сам, пусть его даже съедят, можно так сделать, чтобы Артура съели? Бедный сумасшедший фалабелла Артур стоит прямо здесь, тяжело дышит, глаза его наливаются кровью, козы Уна и Галина жмутся к ногам Марины Слуцки и блеют, собака Луиза бежит прятаться за слоном Момо, остальные вольнопитающиеся бросаются врассыпную.

– Господи, девочки, – вдруг говорит Марина Слуцки совершенно нормальным голосом, – ну что ж вы тупые-то такие, все никак не поумнеете. Эдак мне придется с людьми общаться, а я не хочу.

Тем временем Мири Казовски, невидимая для вольнопитающихся, сидит в траве на дальнем краю поля с закрытыми глазами и, обливаясь потом, говорит похрустывающим колосьям космина, говорит подорожникам и кашке, авгару¹⁶⁸ и дикой пшенице: «...Дыыышим – и не думаем... дыыыышим – и не думаем... и становимся листиком травы... листиком травы...»

¹⁶⁸ Репейник (*ивр.*).

100. Вам судьбу я предскажу

– Я в коробочке сию,
Вам судьбу я предскажу!
Налетайте, покупайте,
Свою долю выбирайте!

Михаэль Артельман подходит к этому человеку – толстенькому, небольшому, с почти пунцовым румянцем во всю щеку и с таким же румяным пышным носом.

– Сколько стоит? – спрашивает Михаэль Артельман.

– Я скажу вам без затей —
дайте пятьдесят рублей!
Вам полтинничек – немного,
А мне будет на дорогу, —

заученно балагурит этот румяный человек, и Михаэль Артельман, которого несколько передергивает от всех этих бойких строчечек, лезет в карман, но полтинника там нет, там есть сотенная.

– Уж позвольте нам тогда-ть
даже дважды погадать:
на любовь и на судьбу,
чтоб врагов видать в гробу! —

поспешно говорит румяный человек и даже слегка наседает своей коробкой на Михаэля Артельмана, которому приходится сделать шаг назад.

– «Тогда-ть» – это прямо ничего, – говорит Михаэль Артельман. – А ведь я вас помню, вы тут, наверное, года с двухтысячного стояли, я тогда в Леонтьевском в редакции сидел и мимо вас ходил. А потом вы исчезли. Что с вами было-то?

На секунду Михаэлю Артельману кажется, что человек с коробкой заговорит с ним человеческой речью, но мелькнувшее на лице у гадалщика печальное выражение исчезает, он снова улыбается огромными, ровными желтыми зубами и сообщает, что:

– Побывал я тут и там,
по земле и по волнам,
а вернулся в дом родной —
и Евлампий мой со мной!

– Ладно, ладно, – говорит Михаэль Артельман. – Куда мне деньги-то класть? Я помню, что их куда-то класть надо.

– Положи свой дар, дружочек,
ты Евлампия в мешочек,
и Евлампий сей же час
просветит о жизни вас! —

торопливо сообщает гадалыщик; видимо, это самое узкое место в воронке продаж: некоторые посмотрят Евлампия, послушают поэзию и уходят. Михаэль Артельман внимательнее приглядывается к висящей на шее у гадалыщика плоской коробке, в которой сидит, прикрыв глаза, шиншилла Евлампий, и видит, что это целый дом: какие-то дверочки, комнатеночки, подстилочки. В левом углу, поближе к зрителю, и правда стоит, раззявившись, холщовый мешочек. Михаэль Артельман опускает туда свернутую тугой трубочкой сотку с налетом белого порошочка, и гадалыщик цапает ее удивительно элегантной рукой, прячет в нагрудный карман. It's show time, и гадалыщик слегка приободряется, а вот Евлампий как лежал, так и лежит.

– Ну, Евлаша, сей же час
просвети о жизни нас!
Что судьба нам подарит,
чем нас бог благословит? —

торжественно произносит гадалыщик и приподнимает крышечку над картонным ящичком в углу домика. Евлампий никак не реагирует, и гадалыщику приходится несколько раз встряхнуть домик, чтобы Евлампий заглянул в ящичек. Заглядывает туда и Михаэль Артельман: там лежит, наверное, штук сто туго свернутых бумажечек, и каждая красиво перевязана травинкой – не просто так, а бантиком. Евлампий медленно подходит к ящичку, достает зубами один рулончик и перегрызает травинку. Гадалыщик быстро закрывает ящичек, чтобы Евлампий не увлекся, и шиншилла тут же снова теряет интерес к происходящему.

– Я думал, он изречет что-нибудь, – говорит Михаэль Артельман разочарованно, – а у вас все как раньше.

– Не робей, товарищ мой, —
жизнь твоя перед тобой:
можешь сам ей насладиться,
можешь с нами поделиться, —

равнодушно говорит гадалыщик. Михаэль Артельман разворачивает бумажечку, но ничего интересного там не написано.

– Что ж, господь благослови,
погадаем о любви?
Ведь в сердечных-то делах
наш Евлампий просто ах, —

заявляет гадалыщик. Взгляд его уже выискивает в идущей от метро толпе следующего клиента; особое внимание он уделяет молодым парочкам – видимо, те, пребывая в хорошем настроении, часто готовы полюбоваться Евлампиевыми чудесами. Возле гадалыщика останавливается крупный лабрадор, и гадалыщик уже заводит: «Полсекунды подождать, чтоб навеки погадать...» – но Михаэль Артельман не уходит, и лабрадор бежит дальше. Михаэль Артельман бросает на землю дурацкий свиточек и осторожно берет усталого Евлампия в руки. Гадалыщик нервничает и хочет отобрать Евлампия, но Михаэль Артельман быстро пятится. Мех у Евлампия шелковый, теплый, невыносимо нежный, а сам Евлампий пахнет плюшевой игрушкой.

– Ты зверяка-дурыка, – говорит Михаэль Артельман, осторожно ведя пальцем от попы Евлампия к голове, от чего тонкие шерстинки встают тусклым наэлектризованным гребнем. —

Ты свиньяка-мохняка, да? Ты зверяка-дуряка, ты зверяка-нежняка... Вот заберу я его у вас, – говорит Михаэль Артельман гадалыщику, – что вы будете делать?

– Мой Евлампий дорог вам?
я за тысячу отдам, —

холодно сообщает гадалыщик.

– Забирайте, уходите,
только фокусов не ждите:
наш Евлампий, мать его,
не умеет ничего.

Михаэль Артельман прижимает Евлампия к щеке; крошечный хохочущий Яся бежит по коридору; Юлик – еще младенец, еще до всего – упирается пяткой в щеку Михаэля Артельмана, и тот поражается, что человеческая кожа может быть такой невыразимо нежной, как у сына на пяточках; колышется в мягком вечернем свете безволосая пухлая грудь Ильи; думать об этих вещах абсолютно бессмысленно, а главное – вредно. Буквально два дня назад в одном из тредов «Резонера» был страшный срач насчет всего этого – одни обвиняли других в том, что недостаточно горюют, беспокоятся и страдают, другие, идиоты эдакие, пытались что-то объяснить; у большинства представителей первой категории в Израиле была от силы седьмая вода на киселе, но ддррррама же! Как же упустить повод для ддрррррамы. Михаэль Артельман, умный человек, смолчал, конечно, разговаривать там было не с кем, но позиция его была ему самому совершенно ясна. Гадалыщик пытается перехватить руки Михаэля Артельмана, но мешает напузная коробка. Ловким коротким движением остроносого сапога Михаэль Артельман бьет гадалыщика в середину голени, и пока тот воет, скрючившись и рассыпая по асфальту внутренности картонного домика, Михаэль Артельман идет к метро, осторожно поглаживая спинку Евлампия в кармане куртки.

101. Афазия – это...

...полная утрата способности понимать чужую речь или пользоваться словами и фразами для выражения своих мыслей. А есть ли у афазии другие симптомы, очень интересные симптомы – например, полная утрата способности смотреть директору караванки «Далет» Йоаву Хараму в глаза? Или, скажем, полная утрата способности отходить в сторону, когда директор караванки «Далет» Йоав Харам идет прямо на тебя – так, что ему приходится буквально обходить каждого встречного, чтобы не столкнуться с ним нос к носу? Или, скажем, полная утрата способности отвечать Йоаву Хараму на вопрос «Что происходит?» – сначала растерянный, потом раздраженный, потом испуганный? «Что происходит?» – спрашивает Йоав Харам у солдат на КПП: он вернулся в свой лагерь вымотанным, совершенно вымотанным, с черным грузом на сердце, с ужасным и нелепым страхом, что вот он пойдет по лагерю – а они все еще лежат, и по их острым мордочкам ползают мухи; да нет, их, конечно, убрали, не могли не убрать за сутки, но все равно – ему бы сейчас доброе слово, ему бы пару хороших солдатских шуточек; но девочки и мальчики с автоматами пропускают Йоаву Хараму совершенно молча и отворачиваются от него, занятые собственным разговором. «Что происходит?» – спрашивает Йоав Харам через минуту или две у идущего ему прямо навстречу старшего врача Флорина Попеску, но тот продолжает идти прямо на Йоаву Хараму, спокойно глядя перед собой, мерно переставляя ходунки, и Йоав Харам отпрыгивает в сторону, как заяц. «Что происходит?» – спрашивает Йоав Харам у одного, и другого, и третьего – спрашивает, пересилив себя, у шарпея Нурбека и у лис Ширли и Лалы. «Что происходит?» – спрашивает Йоав Харам, не замечая, что перешел на бег; он говорит, что шутка затянулась, что этот розыгрыш не смешной, что у него к такому-то и такому-то встречному и поперечному срочный разговор по делу, что он примет административные меры, что это хара¹⁶⁹, пусть все прекратят эту хару. На секунду его посещает мысль, что он умер и его призрак никому не виден, и Йоав Харам трясущимися руками ломает ветки олеандра – убедиться, что они ломаются.

Но нет, Йоав Харам не умер – просто никто не разговаривает с Йоавом Харамом.

¹⁶⁹ Дерьмо (*ивр.*).

102. Почти прозрачный

Это снова я, покойный нарратор первой главы. Я просто хотел рассказать одну историю, все это время она крутится у меня в голове, не знаю почему. Это было на той квартире, где мы с Анни жили после переезда от родителей, там была крошечная кухня, заткнутая в какой-то угол, буквально раковина плюс две конфорки. Я пошел ставить бульон и вдруг увидел в раковине крошечного геккона. Он был почти розовый, почти прозрачный. Я стал выдирать из кармана застрявший телефон, я думал, геккон убежит, но он, наверное, так испугался меня, что только сидел и смотрел. Я снял его вертикально, но на металлической поверхности раковины его почти не было видно. Тогда я повернул телефон, чтобы сбоку появилась шкала освещения, стал водить пальцем по этой шкале – и вдруг уронил телефон прямо в раковину. Сам не знаю, как это произошло. Я схватил телефон, но геккончик был уже мертв, у него сломалась спина и оторвалась лапа. Мне пришлось вынести его во двор и положить на траву, я поддел его для этого одноразовым стаканом. Понятия не имею, зачем я это рассказываю, просто все это время у меня оно крутилось в голове, я все думал про это и думал.

103. Нет

На четвертый день они открыли дверь, распахнули. Карина обнаружила это, когда сумела понять, что ровная алая боль в правом глазу – совсем непохожая на пульсирующую пурпурную боль в левом глазу – вызвана светом, пробирающимся сквозь веко. Она начала работать со сложившейся ситуацией и через совсем короткий промежуток времени сумела открыть один глаз – левый, требовавший меньших усилий, – и привести голову в положение, позволявшее на несколько секунд сосредоточить взгляд. Это дало ей возможность убедиться в том, что дверь, бесспорно, открыта и что она сама (почти бесспорно) пребывает в сознании и может полагаться на собственные впечатления. После небольшого отдыха, который потребовался ее телу, чтобы восстановить потраченные на это открытие силы (свет медленно ушел, наступила ночь), она смогла сосредоточиться, составить небольшой план и привести его в действие. Результат оказался впечатляющим: теперь ее тело лежало на животе, слегка перекосившись, чтобы побережь раскрошенные ребра с одной стороны, и приняв стратегически важное направление – головой в сторону двери, задними лапами в темный угол, где уже пованивала открытая банка с тунцом. Свет из коридора огибал мягкое ведро, превращая его в тупой черный знак на фоне сияющего прямоугольника, наполненного утренним холодом. Если ее расчеты были верны (а она честно признавалась себе, что в данный момент ее способность правильно оценивать расстояния была далеко не на высоте), ей было необходимо всего лишь доползти до ведра, передохнуть, отбросить ведро с дороги и продолжить ползти в том же направлении – итого от силы метров пять или семьсот. Ей было необходимо всего лишь доползти до ведра, передохнуть, отбросить ведро с дороги и продолжить ползти в том же направлении – итого от силы метров пять или семьсот. Ей было необходимо всего лишь доползти до ведра, передохнуть, отбросить ведро с дороги и продолжить ползти в том же направлении – итого от силы метров пять или семьсот. Она доползла до ведра, и был вечер, и офицер вошел в подвал, и на этом закончился их захватывающий диспут о том, существует ли у мыслящих существ свобода воли, – диспут, начавшийся сразу после ее ареста и закончившийся одиноким выстрелом за закрытой дверью с криво сросшимся смотровым стеклом.

Благодарности

Автор выражает глубочайшую благодарность всем, кто помогал ему в работе над романом: Владимиру Ермилову, Борису Горелику, Лидии Горелик, Александру Гаврилову, Марии Степановой, Боруху Горину, Диме Неяглову, Дмитрию Аксельроду, Натали Нешер-Аман, Леониду Швабу, Анне Ростокиной, Динару Хайрутдинову, Александре Романенко и Ольге Ефимовой.